ISSN 0130–6545

6.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ОРХАН ПАМУК
Черная книга

РОБЕРТ ХАСС
Стихи

АЛЕССАНДРО БАРИККО
Шелк

ЛИТературный ГИД

XX век: СТОП кадр – 2

27 мая названы имена лауреатов наших ежегодных литературных премий

Премия ***ИЛлюминатор***

(учредители – «ИЛ» и Конверсбанк)

присуждена **ВЛАДИМИРУ ГРИВНИНУ**

за собрание сочинений КОБО АБЭ в 4 тт.

(составление, предисловие, переводы).

СПб., Симпозиум, 1998

Премия ***Инолит***

(учредители – «ИЛ» и Конверсбанк)

присуждена **АЛЕКСАНДРУ БОГДАНОВСКОМУ**

за переводы романа ЖОЗЕ САРАМАГО «Евангелие от Иисуса», книги воспоминаний ЖОРЖИ АМАДУ «Каботажное плавание» и книги НОРМАНА МЕЙЛЕРА «Портрет Пикассо в юности»

Премия ***Инолиттл***

(учредители – «ИЛ» и Конверсбанк)

присуждена **АСАРУ ЭППЕЛЮ**

за переводы поэмы ТАДЕУША РУЖЕВИЧА «Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста» и рассказа БРУНО ШУЛЬЦА «Комета»

Премия ***имени отца А.МЕНЯ***

(учредители – «ИЛ», Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Институт восточноевропейской истории Тюбингенского университета и Католическая академия Штутгарта)

присуждена **ГЕРДУ РУГЕ**

Премия ***имени А.КАРЕЛЬСКОГО***

(учредитель – «ИЛ»)

присуждена **ЕВГЕНИИ КАЦЕВОЙ**

за книгу

ФРАНЦ КАФКА. «Дневники»

(составление, вступительная статья, перевод, комментарии)

М., Аграф, 1998

Почетный ***диплом критики «зоИЛ»,***

присуждаемый независимым журналистским жюри,

вручен **ПЕТРУ ВАЙЛЮ**

за книгу эссе «ГЕНИЙ МЕСТА»,

публиковавшуюся на страницах «ИЛ» в 1995–1998 гг.

**Из общего тиража в 15 300 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 4 535 экземпляров.**

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ
«ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,
«ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»,
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА —
«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

6 **ИЮНЬ** **1999**

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕССАНДРО БАРИККО — Шелк *(Роман. Перевод с итальянского Геннадия Киселева)*..... 5
РОБЕРТ ХАСС — Стихи из книги «Солнце сквозь лес» *(Перевод с английского и вступление Глеба Шульпякова)*..... 33
ОРХАН ПАМУК — Черная книга *(Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой. Вступление Бориса Дубина)*..... 36

Литературное наследие

«Бамбук шелестит под осенним ветром...» *Из старинной китайской поэзии (Перевод с китайского и вступление Ильи Смирнова)*..... 167

К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина

РУФ ХЛОДОВСКИЙ — Пушкин и Парини. *О возможном источнике замысла романа «Евгений Онегин»*. ДЖУЗЕППЕ ПАРИНИ — Фрагменты поэмы «День» *(Перевод с итальянского Евгения Солоновича)*..... 180
БЕЛА РИГО — Пушкин и Йокаи *(Перевод с венгерского Т. Воронкиной)*..... 194
Иллюстрации АРНОЛЬДА ГАРЫ к «Евгению Онегину»..... 202

Литературный гид

XX век: СТОП-КАДР·2

ДИНО БУЦЦАТИ — Осколки невозможного *(Перевод с итальянского Н. Кулиш)*. 211
СОЛ БЕЛЛОУ — Литературные заметки о Хрущеве *(Перевод с английского Людмилы Мотылевой)*..... 215
ГРЭМ ГРИН — Еретик от марксизма *(Перевод с английского В. Горностаевой)*.. 220
ЛЮСЬЕН БОДАР — «Совершенный» человек *(Перевод с французского А. Николаевой)*..... 224
ЭНДРЮ КОПКИНД — Стать взрослым в эру Водолея *(Перевод с английского С. Силаковой)*..... 228
ПЬЕР ВЕЙЕТЕ — Смерть Франко *(Перевод с французского Н. Малыхиной)*..... 233
МАРТИН ЭМИС — Джон Леннон: от «битла» до «домохозяйки» *(Перевод с английского В. Горностаевой)*..... 240
ЯН ЮЗЕФ ЩЕПАНЬСКИЙ — Логика террора *(Перевод с польского К. Старосельской)*..... 243
ВИДИА С. НАЙПОЛ — После Революции *(Перевод с английского О. Варшавер)* 244
ПАТРИК ЗЮСКИНД — Германия, климакс *(Перевод с немецкого Э. Венгеровой)*..... 257
ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ — Post scriptum *(Перевод с польского К. Старосельской)* 262

Статьи, эссе

ИОН Д. СЫРБУ — Упражнения в ясности *(Фрагменты книги «Журнал журналиста без журнала». Составление и перевод с румынского Татьяны Ивановой. Предисловие Кирилла Ковальджи)*..... 264

Анкета «ИЛ»

Мировая литература: круг мнений. На вопросы анкеты отвечают ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ и МИХАИЛ РОЩИН..... 276

У книжной витрины..... 280

Курьер «ИЛ»..... 283

Авторы этого номера..... 286

©«Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

«БОГ МЕЛОЧЕЙ» — первый роман молодой индийской писательницы **Арундати Рой**, сразу ставший международным бестселлером и удостоенный Букеровской премии за 1997 год. В этой книге, написанной образным, поэтичным языком, переплетаются две вечные и трагические темы: социальная вражда и запретная любовь.

«ГАДИР, ИЛИ ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» — «античная» новелла, рассказ-сон, притча-парадокс немецкого писателя-экспериментатора середины XX века **Арно Шмидта**.

«ПОЛЬСКИЕ КОВРИКИ» — стихи из своеобразного «домашнего» цикла, созданного польским поэтом **Адамом Земяниным**.

Литературный гид «ГЕРТРУДА СТАЙН, ИЛИ АМЕРИКАНКА В ПАРИЖЕ» посвящен одной из ключевых фигур культуры XX века, писательнице, сыгравшей новаторскую роль в развитии современного иск усства.

Цветные иллюстрации номера — репродукции с известных китайских картин эпохи Сун (X–XIII вв.):

На 1-й стр. обложки — «Осенние забавы в павильоне «Неполной праздности» (Наложницы устраивают бой сверчков)
На 2-й стр. обложки — «Буддийский монах, наблюдая, учится играть в облавные шашки»
На 3-й стр. обложки — «Дети развлекаются боем сверчков»
На 4-й стр. обложки — «Мин Фэй переезжает через границу» (Императорская наложница отдана в жены предводителю северных кочевников)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
книжный центр «Проект О.Г.И.» — Трехпрудный пер., д.11/13
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Отпечатано с готовых диапозитивов. Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 28.05.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 28,43. Заказ №4262.

Тираж 15 300 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

АЛЕССАНДРО БАРИККО

Шелк

РОМАН

Перевод с итальянского ГЕННАДИЯ КИСЕЛЕВА

1

Хотя отец и рисовал для него блестящую карьеру военного, в конечном счете Эрве Жонкур стал зарабатывать себе на жизнь весьма необычным ремеслом, которому, по иронии судьбы, была не чужда особенность настолько привлекательная, что выдавала смутную *женскую* интонацию.

Эрве Жонкур зарабатывал на жизнь тем, что покупал и продавал шелковичных червей.

Шел 1861. Флобер сочинял «Саламбо», электрическое освещение значилось в догадках, а по ту сторону Океана Авраам Линкольн вел войну, конца которой он так и не увидит.

Эрве Жонкуру было 32 года.

Он покупал и продавал.

Шелковичных червей.

2

Вернее сказать, Эрве Жонкур покупал и продавал шелковичных червей, когда они пребывали еще не в виде червей, а в виде крошечных желтовато-серых яичек, неподвижных и как будто мертвых. На одной ладони их помещалось видимо-невидимо.

«Все равно что держать в руке целое состояние».

В начале мая яйца раскрывались, высвобождая личинку. Через месяц лихорадочного поедания тутовых листьев личинка окуклялась, навивая кокон. А еще через две недели окончательно прободала его, оставляя по себе солидный прибыток, выражавшийся в тысяче метров грубой шелковой нити и кругленькой сумме французских франков. При условии, что все проходило строго по правилам и — как в случае с Эрве Жонкуром — в каком-нибудь подходящем местечке на юге Франции.

Лавильдье — так звалось местечко, где жил Эрве Жонкур.

Элен — так звали его жену.

Детей у них не было.

3

Дабы избежать пагубных последствий мора, то и дело опустошавшего европейские рассадники, Эрве Жонкур все больше склонялся к покупке яиц шелкопряда за Средиземным морем, в Сирии и Египте. В этом заключалась утонченно-рискованная сторона его

© 1996 R.C.S. Libri and Grandi Opere S.p.A., Milano
© Г. Киселев. Перевод, 1999

ремесла. Что ни год, в первых числах января он отправлялся в путь. Тысяча шестьсот миль по морю и восемьсот верст по суше. Он отбирал товар, приценивался и покупал. Затем проделывал обратный путь — восемьсот верст по суше, тысяча шестьсот миль по морю — и поспевал в Лавильдье как раз в первое воскресенье апреля. Как раз к Праздничной мессе.

Еще две недели уходили на то, чтобы разложить и продать кладки яиц.

Остаток года он отдыхал.

4

— Какая она, Африка? — спрашивали его.

— Усталая.

У него был большой дом прямо за окраиной городка и маленькая мастерская в центре — прямо напротив заброшенного дома Жана Бербека.

Однажды Жан Бербек решил, что не будет больше говорить. И сдержал слово. Жена и двое дочерей ушли от него. Он умер. На дом никто не позарился, вот и стоял он в полном запустении.

Покупая и продавая шелковичных червей, Эрве Жонкур зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить себе и своей жене те удобства, которые в провинции принято считать роскошью. Он умело заправлял хозяйством, во всем знал меру, ну а вероятность — вполне достижимая — по-настоящему разбогатеть оставляла его совершенно равнодушным. Тем более что был он из тех, кому по душе *созерцать* собственную жизнь и кто не приемлет всякий соблазн *участвовать* в ней.

Замечено, что такие люди наблюдают за своей судьбой примерно так, как большинство людей за дождливым днем.

5

Спроси его кто-нибудь, Эрве Жонкур ответил бы, что готов жить так вечно. Но вот, в начале шестидесятых, моровое поветрие пебрины напрочь загубило рассадники шелкопряда в Европе, пахнув к тому же за море, в Африку, а по слухам, и в Индию. Когда в 1861 Эрве Жонкур вернулся из очередного путешествия со свежей кладкой яиц, спустя два месяца почти весь выводок был охвачен недугом. Для Лавильдье, как и для множества других мест, благоденствие которых держалось на шелковом деле, тот год показался началом конца. Наука была бессильна разгадать причины мора. Весь белый свет, до крайних своих пределов, находился точно в плену у загадочного колдовства.

— Весь, *да не весь*, — тихо молвил Бальдабью. — Да не весь, — добавил он, разбавляя на два пальца свой «Перно».

6

Бальдабью был тем самым человеком, который появился в здешних краях двадцать лет назад, прямиком направился к городскому голове, без объявлений вломился в его кабинет, раскинул на столе шелковый шарф цвета вечерней зари и спросил:

— Как по-вашему, что это?

— Женские фитюльки.

— Не угадали. Фитюльки, только мужские: звонкая монета.

Городской голова велел выставить его за дверь. Тогда Бальдабью построил вниз по реке прядильню, на опушке леса — ригу для разведения шелкопряда, а на развилке вивьерской дороги — церковку в честь святой Агнессы. Нанял десятка три работников, выписал из Италии диковинную деревянную машину — сплошные шестеренки да колесики — и не изрек ни слова еще семь месяцев. Потом снова нагрянул к городскому голове и выложил на стол тридцать тысяч франков крупными купюрами в аккуратных стопках.

— Как по-вашему, что это?

— Звонкая монета.

— Не угадали. Это доказательство того, что вы олух царя небесного.

Бальдабью собрал деньги, запихнул их в суму и пошел к выходу.

Городской голова остановил его:

— Что от меня требуется, черт подери?

— Ничего — и вы станете самым богатым городским головой в округе.

Через пять лет в Лавильдье было семь прядилен; городок стал одним из главных шелководческих и ткацких центров Европы. Бальдабью не был его единственным владельцем. На этом необычном поприще он обрел последователей среди местной знати и помещиков. Каждому из них Бальдабью без утайки раскрывал секреты ремесла. Это занимало его куда больше, чем тривиальное огребание денег лопатой. Он наставлял. И щедро делился тайнами. Такой он был человек.

7

А еще Бальдабью был именно тем человеком, который восемь лет назад изменил жизнь Эрве Жонкура. В то время первые моровые пагубы уже начали изводить европейские плантации шелкопряда. Бальдабью хладнокровно обмозговал положение и пришел к выводу, что задачу не нужно решать, ее нужно обойти. План у него созрел, не хватало только исполнителя. Он понял, что нашел его, когда впервые увидел Эрве Жонкура. Тот проходил мимо кабачка Вердена в щегольском мундире пехотного подпоручика, горделиво вышагивая, как и подобает молодому офицеру в отпуске. Тогда ему минуло 24. Бальдабью зазвал его к себе, развернул перед ним атлас, пестревший экзотическими названиями, и сказал:

— Поздравляю, мой мальчик. Ты наконец-то нашел серьезную работу.

Эрве Жонкур выслушал причудливый рассказ о шелкопрядах, личинках, пирамидах и морских странствиях. А потом сказал:

— Я не могу.

— Что так?

— Через два дня у меня кончается отпуск. Я должен вернуться в Париж.

— Военная карьера?

— Да. Такова воля отца.

— Это не вопрос.

И он повел Эрве Жонкура к отцу.

— Как по-вашему, кто это? — спросил Бальдабью, без объявлений вломившись в кабинет отца.

— Мой сын.

— Взгляните получше.

Городской голова откинулся на спинку кожаного кресла и почувствовал, что потеет.

— Это мой сын Эрве Жонкур. Через два дня он вернется в Париж. Там его ждет блестящая карьера в нашей доблестной армии, если на то будет воля Господня и святой Агнессы.

— Верно. Только у Господа и других дел по горло, а святая Агнесса терпеть не может военных.

Через месяц Эрве Жонкур отправился в Египет. Он вышел в море на корабле под названием «Адель». В каютах витали ароматы камбуза, некий англичанин уверял, что бился при Ватерлоо, вечером третьего дня на горизонте, словно хмельные волны, блеснули дельфины, в рулетку без конца выпадало шестнадцать.

Вернулся он спустя два месяца — в первое воскресенье апреля, как раз к Праздничной мессе — с двумя деревянными рундуками: проложенные ватой, в них почивали тысячи яичек шелкопряда. В придачу у него накопилась уйма всевозможных историй. Но когда они остались наедине, Бальдабью спросил его лишь об одном:

— Расскажи мне о дельфинах.

— О дельфинах?

— О том, когда ты их видел.

Таким был этот Бальдабью.

Никто не знал, сколько ему лет.

8

— Весь, *да не весь*, — тихо молвил Бальдабью. — Да не весь, — добавил он, разбавляя на два пальца свой «Перно».

Август, время за полночь. Обычно в этот час кабачок Вердена давно уже закрывался. Перевернутые стулья рядком выстраивались на столах. Стойка и все прочее были отчищены. Оставалось погасить свет и закрыть кабачок. Но Верден терпеливо ждал. Бальдабью продолжал говорить.

Эрве Жонкур сидел напротив с потухшей сигаретой во рту и неподвижно слушал. Как и восемь лет назад, он безропотно позволял этому человеку заново выстраивать его судьбу. Тихий, отчетливый голос перемежался ритмичными глотками «Перно». Он не смолкал в течение долгих минут. А напоследок заключил:

— У нас нет выбора. Если мы хотим выжить, нам нужно дотуда добраться.

Молчание.

Облокотившись о стойку, Верден поднял на них глаза.

Бальдабью целиком отдался поискам лишнего глотка «Перно» со дна стакана.

Эрве Жонкур примостил сигарету на краю стола, прежде чем сказать:

— А вообще, где она, эта Япония?

Бальдабью поднял палку, направив ее поверх церкви Святого Огюста.

— Прямо, не сворачивая.

Сказал он.

— И так до самого конца света.

9

В те времена Япония и впрямь была на другом конце света. Два столетия остров, собранный из островов, существовал в полном отрыве от остального мира, пренебрегая всякой связью с континентом, не подпуская к себе иноземцев. Китайский берег отстоял миль на двести, но императорский указ способствовал тому, чтобы он откатился еще дальше: указом повсеместно запрещалось строительство двух- или трехмачтовых кораблей. Следуя по-своему дальновидной логике, указ не возбранял покидать родину, зато обрекал на смерть каждого, кто посмеет вернуться. Китайские, голландские и английские купцы не раз пытались прорвать эту нелепую обособленность, но им всего-навсего удавалось сплести непрочную и чреватую опасностями сеть контрабанды. В итоге они довольствовались мизерным барышом, кучей неприятностей и расхожими байками, которые травили по вечерам в каком-нибудь порту. Там, где оплошали купцы, преуспели, бряцая оружием, американцы. В июле 1853 коммодор Мэтью К. Перри вошел в бухту Иокогамы с новейшей флотилией паровых судов и предъявил японцам ультиматум, в коем «уповалось» на доступность острова для иностранцев.

До этого японцы отродясь не видывали, чтобы морской корабль шел против ветра.

Когда семь месяцев спустя Перри вернулся за ответом на свой ультиматум, военное правительство острова пошло на подписание договора, по которому чужакам разрешался доступ в два северных порта Страны. Сверх того, им дозволялось заключать первые, весьма умеренные сделки. «Отныне море, омывающее этот остров, — объявил с некоторой помпезностью коммодор, — станет гораздо мельче».

10

Обо всем этом Бальдабью прекрасно знал. Знал он и о легенде, которая не сходила с языка у побывавших там странников. Легенда гласила, что на острове выделывают шелк, какого на всем белом свете не сыщешь. Выделывают добрую тысячу лет таинственным способом, достигшим чудесного совершенства. И все бы хорошо, только Бальдабью

полагал, что никакая это не легенда, а самая настоящая правда. Однажды он держал в руках платок, вытканный из шелковой японской нити. Так держат в руках воздух. И когда все, казалось, пошло прахом из-за кутерьмы с пебриной и недужными червями, он разом смекнул:

— Стоит себе остров. Шелкопряда на нем хоть отбавляй. И коли за двести лет на этот остров не ступила нога китайского купчишки или аглицкого страховщика, то никакой заразе туда вовек не дойти.

И не просто смекнул, а известил всех местных шелкоделов, собрав их для этого в кабачке Вердена. Никто из них в жизни ни слыхивал ни о какой Японии.

— Это что же нам, за отборными кладками теперь полсвета отмахать прикажешь? И куда? У них как завидят чужака, так мигом его и вздернут.

— Вздергивали, — поправил Бальдабью.

Шелкоделы не знали, что и думать. Кое-кто возражал:

— Почему-то же никому до сих пор не пришло в голову закупать там кладки?

Бальдабью мог бы для порядка и приврать, напомнив честному народу, что другого такого Бальдабью им днем с огнем не найти. Но он предпочел выложить все начистоту:

— Японцы смирились с тем, что шелк придется продавать. Но не кладки яиц. Их они берегут как зеницу ока. И объявляют преступником всякого, кто осмелится вывезти кладки с острова.

Шелководы из Лавильдье в большинстве своем были людьми добропорядочными. Им и в голову бы не пришло нарушать закон в собственной стране. Зато перспектива сделать это на другом конце света, похоже, устраивала их вполне.

11

Шел 1861. Флобер заканчивал «Саламбо», электрическое освещение значилось в числе догадок, а по ту сторону Океана Авраам Линкольн вел войну, конца которой он так и не увидит. Шелководы из Лавильдье объединились в товарищество и собрали порядочную сумму, необходимую для проведения экспедиции. Они сочли разумным доверить ее Эрве Жонкуру. Когда Бальдабью спросил его согласия, в ответ он услышал вопрос:

— А вообще, где она, эта Япония?

Прямо, не сворачивая. И так до самого конца света.

Он двинулся в путь 6 октября. Один.

На окраине Лавильдье он крепко обнял Элен и проронил:

— Ты не должна ничего бояться.

Она была высокой и медлительной. У нее были длинные темные волосы, которые она никогда не собирала в пучок. И чарующий голос.

12

Эрве Жонкур двинулся в путь, имея при себе восемьдесят тысяч франков золотом и полученные от Бальдабью имена трех людей: китайца, голландца и японца. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «морем». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк одиннадцать дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными путями пересек префектуры Исикава, Тояма и Ниигата, вступил в провинцию Фукусима, дошел до города Сиракава, обогнул его с восточной стороны, двое суток дожидался человека в черном, который завязал ему глаза и провел в деревню на холмах, где он заночевал, а наутро сторговал партию яиц шелкопряда у бессловесного человека,

чье лицо скрывал шелковый платок. На закате он укрыл товар в своей поклаже, встал к Японии спиной и тронулся в обратный путь.

Не успел Эрве Жонкур выйти за околицу, как его догнал и остановил какой-то селянин. Он что-то возбужденно затараторил и с любезной решительностью повел чужестранца назад.

Эрве Жонкур не знал по-японски и потому не уяснил речи селянина. Но сообразил, что Хара Кэй хочет его видеть.

13

Перегородка из рисовой бумаги отъехала вбок, и Эрве Жонкур вошел. На полу, в самом дальнем углу комнаты, скрестив ноги, сидел Хара Кэй. Темная туника, никаких украшений. Единственная зримая примета власти — недвижно лежащая рядом женщина: голова покоится на его животе, глаза сомкнуты, руки упрятаны в широкое алое кимоно, полыхающее как пламя на пепельной циновке. Он медленно запускает пальцы в ее волосы, словно поглаживая шерстку задремавшего ценного зверька.

Эрве Жонкур пересек комнату, подождал, пока хозяин сделает ему знак, и сел напротив. Какое-то время они молчали, глядя друг другу в глаза. Из ниоткуда возник слуга, поставил перед ними две чашки чая и снова обратился в ничто. Хара Кэй заговорил на своем языке. Его напевный голос истончался в назойливо-искусственном фальцете. Эрве Жонкур слушал. Он не отрывал глаз от глаз Хара Кэя и лишь на миг, почти непроизвольно, опустил их на женское лицо.

Это было лицо девочки.

Он поднял глаза.

Хара Кэй прервался, взял одну из чашек, поднес ее к губам и, помедлив, произнес:

— Попробуйте рассказать о себе.

Он произнес это по-французски, слегка растягивая гласные, хрипловатым, искренним голосом.

14

Недоступнейшему из японцев, хозяину всего, что пришельцам удавалось вывезти с чужедальнего острова, попытался Эрве Жонкур рассказать, кто он такой. Он говорил на родном языке, говорил не торопясь, даже не зная наверное, способен ли Хара Кэй понять его. Словно по наитию отбросил он излишние опасения и без умолчаний и прикрас поведал всю правду. Просто и ясно. Монотонным голосом и скупыми жестами он выстраивал в общий ряд незначительные подробности и главные события, подражая гипнотическому порядку меланхолично-сухой описи уцелевших после пожара вещей. Хара Кэй слушал — черт его лица не тронул и слабый налет выразительности. Он сосредоточенно смотрел на губы Эрве Жонкура, точно это были последние строки прощального письма. В комнате царили такая тишина и неподвижность, что происшедшее вдруг, при всей своей ничтожности, показалось чем-то неимоверным.

Внезапно,
без малейшего движения,
лежащая девушка
открыла глаза.

Не прерываясь, Эрве Жонкур бессознательно устремил на нее взгляд, и вот что он увидел, по-прежнему не обрывая речи: *у этих глаз не было восточного разреза*; и еще: они взирали на него с *пронзительной* остротой, как будто с самого начала неустанно следили за ним из-под век. Эрве Жонкур отвел взгляд со всей непринужденностью, на какую был способен, стараясь продолжить рассказ и не допустить излишнего перепада в голосе. Он прервался, лишь когда его взгляд упал на чашку чая, стоявшую перед ним на полу. Взял ее одной рукой, поднес к губам, отпил маленький глоток. И снова заговорил, ставя чашку на прежнее место.

15

Франция, хождения за море, дух шелковицы из Лавильдье, поезда на паровой тяге, голос Элен. Эрве Жонкур продолжал рассказывать о своей жизни, чего еще не делал никогда в жизни. Девушка продолжала смотреть на него; ее неистовый взгляд властно принуждал всякое его слово звучать с особой значимостью. Когда вся комната сползла в полную неподвижность, из ее кимоно совершенно неожиданно выпросталась рука и бесшумно скользнула по циновке. Эрве Жонкур видел, как это бледное пятно дотянулось до границы его зрительного поля, коснулось чашки Хара Кэя, а затем, необъяснимым образом, заскользило дальше, до следующей чашки — той самой, из которой неотвратимо пил *он сам*, — без колебаний взялось за нее, легонько вздело и унесло с собой. Хара Кэй ни на миг не отрывался от невозмутимого созерцания губ Эрве Жонкура.

Девушка чуть-чуть приподняла голову.

Впервые отвела она взгляд от Эрве Жонкура и направила его на чашку.

Медленно повернула чашку, пока губы в точности не совпали с тем местом, где пил он.

Прищурив глаза, сделала глоток.

Отстранила чашку от губ.

Спрятала руку в складках одежды.

Склонила голову на живот Хара Кэя.

Пристально глядя в глаза Эрве Жонкура.

16

Эрве Жонкур говорил еще долго. Он приумолк, лишь когда Хара Кэй отвел от него взгляд и еле заметно кивнул.

Молчание.

Слегка растягивая гласные, хрипловатым, искренним голосом Хара Кэй произнес по-французски:

— Надумаете вернуться — приятно будет вас видеть.

Впервые он улыбнулся.

— Вместо яичек шелкопряда вам подсунули рыбью икру: грош ей цена.

Эрве Жонкур потупился. Перед ним стояла чашка чая. Он взял ее и, вращая, начал осматривать, словно выискивал что-то на цветной каемке. Найдя, что искал, он пригубил чашку и выпил ее до дна. Затем поставил чашку перед собой и сказал:

— Я знаю.

Хара Кэй весело засмеялся.

— Оттого-то и расплатились фальшивым золотом?

— По товару и монета.

Хара Кэй посерьезнел.

— Вы получите то, за чем пришли, когда покинете эти места.

— А вы получите ваше золото, когда я покину этот остров целым и невредимым. Вот вам мое слово.

Эрве Жонкур не стал дожидаться ответа. Он поднялся, отступил назад и поклонился.

Напоследок он увидел ее глаза: совершенно безмолвные, они неотрывно смотрели в его глаза.

17

Через шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля — как раз к Праздничной мессе — он показался у въезда в Лавильдье. Остановился, возблагодарил Господа и вступил в город, считая шаги, чтобы у каждого шага было свое имя и чтобы уже не забыть их никогда.

— Ну и какой он, конец света? — спросил у него Бальдабью.

— Невидимый.

В подарок жене он привез шелковую тунику, которую стеснительная Элен так ни разу и не надела. Возьмешь ее в руки — и, кажется, держишь в руках воздух.

18

Яичные кладки, привезенные Эрве Жонкуром из Японии, оказались вполне здоровыми, после того как их высадили на множество мелко нарезанных листьев тутового дерева. Шелк в округе Лавильдье выдался в тот год каких свет не видал: и количеством и добротностью. Решили открыть еще две прядильни, а Бальдабью соорудил клуатр возле церковки Святой Агнессы. Он почему-то вообразил его круглым и заказал проект испанскому архитектору Хуану Бенитесу, построившему немало арен для боя быков.

— Да, и никакого песка: посредине мы разобьем сквер. И, если можно, у входа вместо бычьих голов — дельфиньи.

— Дельфиньи, сеньор?

— Ну, это рыба такая, Бенитес, улавливаешь?

Эрве Жонкур подбил кое-какие счета и обнаружил, что богат. Он прикупил тридцать акров земли к югу от своих владений и все лето занимался разметкой парка для усладительных прогулок в тиши и спокойствии. Парк представлялся ему невидимым, как тот конец света. По утрам он хаживал к Вердену, где узнавал о местных новостях и просматривал газеты, доставленные из Парижа. Вечерами допоздна засиживался вместе с Элен на открытой веранде своего дома. Она читала вслух, и он чувствовал себя счастливым, думая про себя, что на всем белом свете нет голоса краше, чем ее голос.

4 сентября 1862 ему исполнилось 33 года. Жизнь струилась перед его взором как дождь: легко и безмятежно.

19

— Ты не должна ничего бояться.

Раз уж так решил Бальдабью, Эрве Жонкур снова отправился в Японию в первый день октября. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «окаянным». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк одиннадцать дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными путями миновал префектуры Исикава, Тояма и Ниигата, вступил в провинцию Фукусима, дошел до города Сиракава, обогнул его с восточной стороны, двое суток дожидался человека в черном, который завязал ему глаза и провел в деревню Хара Кэя. Когда он открыл глаза, перед ним стояли двое слуг. Они взяли его вещи и довели до опушки леса. Там они указали ему на тропинку и оставили чужеземца одного. Эрве Жонкур зашагал в тени, отхваченной у дневного света наседавшими со всех сторон деревьями. Он остановился, когда зеленая завеса на обочине вдруг на мгновение приоткрылась, словно окно. Метрах в тридцати книзу виднелось озеро. На берегу спиной к нему сидел Хара Кэй, а рядом — женщина в оранжевом платье, с распущенными по плечам волосами. Стоило Эрве Жонкуру взглянуть на нее, как она медленно повернулась, ровно на то короткое время, которого хватило, чтобы поймать его взгляд.

У ее глаз не было восточного разреза; ее лицо было лицом девочки.

Эрве Жонкур продолжил путь в чаще леса и, выйдя, очутился на самой кромке суши. Чуть впереди, на корточках сидел одетый в черное Хара Кэй. Сидел не двигаясь, один. Вблизи лежало сброшенное на землю оранжевое платье и пара соломенных сандалий.

Эрве Жонкур подошел. Легкие покатые волны подгоняли озерную воду к берегу, будто присланные откуда-то издалека.

— Мой французский друг, — вымолвил Хара Кэй, не оборачиваясь.

Прошел не один час, пока они говорили и молчали, сидя друг подле друга. Затем Хара Кэй встал. Эрве Жонкур последовал за ним. Неуловимым движением, прежде чем ступить на тропинку, он выронил одну из своих перчаток рядом с оранжевым платьем, брошенным на берегу. В селение они пришли уже под вечер.

20

Эрве Жонкур гостил у Хара Кэя четыре дня. И жил как при дворе у короля. Все в том селении существовало ради этого человека; едва ли не каждое движение на окружных холмах свершалось, дабы охранить или ублажить его. Прочая жизнь кипела приглушенно, копошась украдкой, точно загнанный в логово зверь. Мир будто отдалился на века.

В распоряжении Эрве Жонкура был дом и пятеро слуг, сопровождавших его повсюду. Ел он один, под сенью цветущего дерева небывалой красоты. Дважды в день, с особой торжественностью, подавали чай. Вечером Эрве Жонкура приводили в просторную комнату с каменным полом, где совершался обряд омовения. Три пожилые женщины — на лицах подобие восковых масок — поливали водой и обтирали его тело теплой шелковой простыней. Руки у них были узловатые, а прикосновения — легкие.

Утром второго дня Эрве Жонкур наблюдал, как в селении появился белый человек. За ним катились две телеги, доверху груженные большими деревянными ящиками. Это был англичанин. Он приехал не покупать. Он приехал продавать.

— Оружие, месье. А вы?

— Я покупаю. Шелковичных червей.

Ужинали вместе. Англичанину было что рассказать. Восемь лет мерил он версты между Европой и Японией. Эрве Жонкур долго слушал, а под конец спросил:

— Не знакома ли вам молодая женщина, полагаю европейка, белая — что живет здесь?

Англичанин продолжал есть с непроницаемым видом.

— В Японии не бывает белых женщин. В Японии нет ни одной белой женщины.

На другой день он уехал с целой подводой золота.

21

Эрве Жонкур снова увидел Хара Кэя лишь утром третьего дня. Ни с того ни с сего пятеро его слуг, как по волшебству, улетучились, и через несколько мгновений возник он сам. Человек, ради которого вековали свой век здешние жители, постоянно перемещался в неком пустом пузыре. Как будто негласный указ предписывал всему свету оставить его в покое.

Они поднялись по склону холма на поляну. Небо над ней разлиновали десятки голубых большекрылых птиц.

— Местные жители смотрят на птиц и по их полету угадывают будущее.

Сказал Хара Кэй.

— Помню, в детстве отец привел меня на такую поляну, вложил в мои руки свой лук и велел стрелять по птицам. Я выстрелил, и голубая большекрылая птица камнем упала на землю. Угадай полет твоей стрелы, если хочешь знать, что ждет тебя впереди, сказал мне отец.

Птицы неторопливо парили в небе, то поднимаясь, то опускаясь, будто старательно пытались заштриховать его крыльями.

Они сошли в деревню при странном свете дня, казавшегося вечером. У дома Эрве Жонкура они распрощались. Хара Кэй повернулся и не спеша направился вниз по дорожке, сбегавшей вдоль реки. Эрве Жонкур задержался на пороге, глядя ему вслед. Он подождал, пока Хара Кэй отойдет шагов на двадцать, и произнес:

— Когда вы скажете мне, кто эта девушка?

Хара Кэй шел не останавливаясь, мерным шагом, в котором не было и тени усталости. Кругом царила полная тишина и опустошенность. Куда бы ни направлялся этот человек, он, словно по особому предписанию, погружался в совершенное и безграничное уединение.

22

Утром последнего дня Эрве Жонкур вышел побродить по деревне. Мужчины на его пути отвешивали поклоны; женщины, потупив взгляд, расплывались в улыбке. Он понял, что жилище Хара Кэя где-то рядом, когда разглядел громадную вольеру, вместившую немыслимое множество всеразличных птиц: чудеса, да и только. В разговоре с ним Хара Кэй признался, что выписывал их со всех концов света. Среди птиц были и такие, что стоили поболе всего шелка, который выткали бы в Лавильдье за год. Эрве Жонкур неподвижно смотрел на это великолепное безумие. Ему вспомнилась одна книга, в которой было сказано, что восточные мужчины, воздавая должное верности своих любимых женщин, имели обыкновение дарить им не драгоценности, но редких и восхитительных птиц.

Обитель Хара Кэя, казалось, утопала в озере тишины. Эрве Жонкур подошел и остановился у входа. Дверей не было вовсе, а на бумажных стенах появлялись и пропадали тени, не поднимавшие ни малейшего шума. Все это едва ли напоминало жизнь. Попытайся он выразить увиденное одним словом, это было бы слово «театр». Эрве Жонкур так и остолбенел у самого дома в ожидании неизвестно чего. За то время, что он предоставил судьбе, лишь тени и безмолвие просачивались за пределы этой необычной сцены. Эрве Жонкур повернулся и ходко пошел к собственному дому. Опустив голову, он смотрел себе под ноги, ибо это помогало ему не думать.

23

Вечером Эрве Жонкур собрал кладь. Потом дал препроводить себя для обряда омовения в комнату с каменным полом. Он лег, закрыл глаза и подумал о большой вольере — безрассудном залоге любви. На глаза ему положили влажное полотенце. Раньше этого никогда не делали. Он хотел было убрать полотенце, но чья-то рука овладела его рукой и остановила ее. Это не была старая рука старухи.

Эрве Жонкур чувствовал, как по его телу струится вода: сначала по ногам, затем вдоль рук и по груди. Вода словно масло. А вокруг — непривычная тишина. Он ощутил лекое прикосновение шелковой вуали. И женских рук — женских, нежно обтиравших его кожу повсюду; тех самых рук и того шелка — сотканного из пустоты. Он не шевельнулся, даже когда руки взметнулись с плеч на шею, а пальцы — шелк и пальцы — дотянулись до губ, осторожно притронулись к ним, всего только раз — и растаяли.

Напоследок Эрве Жонкур почувствовал, как шелковая вуаль взлетела над ним и упорхнула без следа. И была рука: она раскрыла его руку и что-то вложила в ладонь.

Он долго ждал в тишине, не шелохнувшись. Затем осторожно снял влажное полотенце с глаз. В комнате почти не было света. Кругом ни души. Он встал, взял сложенную на полу тунику, надел ее, вышел из комнаты, добрел до спальни и лег на циновку. Повернув голову, он стал наблюдать за тонким дрожащим пламенем лампы. И бережно остановил Время — на все то время, что хотел.

После этого уже ничего не стоило разжать ладонь и увидеть листок. Маленький. Несколько иероглифов вытянулись в столбик. Черные чернила.

24

Ранним утром следующего дня Эрве Жонкур пустился в обратный путь. В тайниках своей поклажи он увозил тысячи яичек шелкопряда — будущее Лавильдье, работу для сотен людей и богатство для десятка из них. Там, где дорога сворачивала влево, скрывая за холмистым очерком деревню, он остановился, не обращая внимания на пару прово-

жатых. Спешился и постоял у обочины, глядя на домики, взбиравшиеся по склону холма.

Спустя шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля — как раз к Праздничной мессе — показался он у въезда в Лавильдье. Навстречу ему выбежала Элен, и он ощутил запах ее кожи, когда обнял жену, и услышал ее бархатный голос, когда она сказала:

— Ты вернулся.

Нежно.

— Ты вернулся.

25

В Лавильдье текла размеренным чередом нехитрая, обыденная жизнь. Она омывала Эрве Жонкура сорок один день. На сорок второй он не выдержал, достал маленькую укладку из своего дорожного сундука, вынул карту Японии, открыл ее и взял припрятанный когда-то листок. Несколько иероглифов вытянулись в столбик. Черные чернила. Он сел за письменный стол и долго-долго на них смотрел.

Бальдабью он застал у Вердена, за бильярдом. Бальдабью всегда играл один — против самого себя. Такие вот партии. Здоровяк против калеки, говаривал он сам. Первый удар он делал как обычно, а второй — одной рукой. В тот день, когда победит калека, прибавлял Бальдабью, я навсегда уеду из этих мест. Годами калека проигрывал.

— А что, Бальдабью, нет ли у нас кого, кто знает по-японски?

Калека закрутил от двух бортов с откатом.

— Спроси у Эрве Жонкура — он все знает.

— Я в этом ни полстолько не смыслю.

— Ты же у нас японец.

— А толку.

Здоровяк согнулся над кием и всадил шестиочковый прямой.

— Тогда остается мадам Бланш. У нее магазин тканей в Ниме. Над магазином бордель. Тоже ее. Она богачка. И японка.

— Японка? А как ее сюда занесло?

— Главное, у самой мадам об этом не спрашивай, если хочешь что-нибудь разузнать. А, че-ерт.

Калека только что смазал четырнадцатиочковый от трех бортов.

26

Своей Элен Эрве Жонкур сказал, что едет в Ним по делам. И что вернется в тот же день.

Он поднялся во второй этаж магазина тканей по рю Москат, 12 и спросил мадам Бланш. Ждать пришлось долго. Гостиная была обставлена по случаю праздника, начавшегося много лет назад, да так с тех пор и не кончавшегося. Все девушки были как на подбор, молоденькие и француженки. Тапер наигрывал под сурдинку мотивчики, отдававшие Россией. В конце каждого из них он запускал в волосы правую руку и приговаривал себе под нос:

— Вуаля.

27

Эрве Жонкур ждал часа два. Затем его провели по коридору до последней двери. Он открыл ее и вошел.

Мадам Бланш сидела в широком кресле у окна. На ней было легкое кимоно, совер-

шенно белое. Крохотные ярко-голубые цветки увивали ее пальцы, словно кольца. Черные лоснящиеся волосы, безукоризненное восточное лицо.

— Неужели вы и впрямь столь богаты, что вообразили, будто можете лечь со мною в постель?

Эрве Жонкур застыл, сжимая шляпу в руке.

— Не окажете ли вы мне одну любезность. За какую цену — неважно.

Он извлек из внутреннего кармана пиджака свернутый вчетверо листок и протянул ей.

— Мне нужно знать, что здесь написано.

Мадам Бланш и бровью не повела. Полусомкнутые губы изготовились к улыбке.

— Прошу вас, мадам.

У нее не было никаких оснований выполнять его просьбу. И все же она взяла листок и, развернув, заглянула в него. Вскинула глаза на Эрве Жонкура и снова их опустила. Медленно сложила листок. Когда она подалась вперед, чтобы вернуть листок, кимоно приоткрылось у нее на груди. Эрве Жонкур успел заметить, что под ним ничего нет и что кожа у нее молодая и белоснежная.

— Вернитесь — или я умру.

Она произнесла это холодным тоном, глядя Эрве Жонкуру прямо в глаза и не выказав ни малейшего чувства.

Вернитесь — или я умру.

Эрве Жонкур убрал листок во внутренний карман пиджака.

— Благодарю.

Коротко поклонившись, он повернулся, подошел к двери и собрался было положить на стол пачку банкнот.

— Пустое.

Эрве Жонкур замялся.

— Я не о деньгах. Я о той женщине. Пустое. Она не умрет. И вы это знаете.

Не оборачиваясь, Эрве Жонкур положил банкноты на стол, отворил дверь и вышел.

28

Бальдабью говорил, что за ласками мадам Бланш иные приезжали из Парижа. Воротившись в столицу, они вдевали в петлицы фраков крохотные голубые цветки. Те самые, что она неизменно носила на пальцах, словно кольца.

29

Тем летом Эрве Жонкур впервые отвез жену на Ривьеру. В Ницце они поселились на две недели в гостинице, облюбованной англичанами и знаменитой своими музыкальными вечерами. Элен внушила себе, что в таком чудесном месте они сумеют зачать ребенка, которого напрасно дожидались много лет. Вместе они решили, что это будет мальчик. И что его нарекут Филиппом. В светской жизни курортного городка они участвовали весьма умеренно, зато потом, уединившись у себя в номере, вовсю потешались над разными чудаками, встреченными за день. Как-то вечером, на концерте, они познакомились с одним поляком, торговцем кожами. Он утверждал, что был в Японии.

Накануне отъезда Эрве Жонкур внезапно проснулся среди ночи. Было еще совсем темно. Он встал и подошел к кровати Элен. Когда она открыла глаза, он услышал, как его голос прошептал:

— Я буду любить тебя вечно.

30

В начале сентября шелководы Лавильдье устроили сход, чтобы порешить, как быть дальше. Правительство отрядило в Ним молодого биолога для изучения повальной болезни, приводившей в негодность личинки французского шелкопряда. Биолога звали Луи Пастер. Он работал с микроскопами, в которые можно было увидеть невидимое. Пого-

варивали, будто он уже добился необыкновенных результатов. Из Японии доходили слухи о предстоящей гражданской войне; ее разжигали силы, выступавшие против доступа в Страну иноземцев. В депешах французского консульства, недавно открытого в Иокогаме, рекомендовалось воздержаться от установления торговых отношений с островом — до лучших времен. Склонные к осмотрительности и чувствительные к огромным расходам, в которые выливалась каждая негласная экспедиция в Японию, многие из именитых граждан Лавильдье высказались за то, чтобы приостановить поездки Эрве Жонкура и положиться в этом году на вполне пригодные партии шелкопряда от крупных поставщиков с Ближнего Востока. Бальдабью слушал, не проронив ни слова. Под конец настал его черед. Тогда он водрузил свою бамбуковую палку на стол и обратил взгляд на сидевшего перед ним человека. И стал ждать.

Эрве Жонкур знал о пастеровских изысканиях и читал сообщения, поступавшие из Японии, но говорить об этом всякий раз отказывался. Он почти всецело посвящал себя проекту будущего парка, который собирался разбить вокруг своего дома. В укромном уголке кабинета Эрве Жонкур хранил сложенный вчетверо листок с несколькими иероглифами в столбик — черные чернила. У него был солидный счет в банке, он вел покойный образ жизни и питал осознанные надежды на то, что вскоре станет отцом. Когда Бальдабью обратил на него взгляд, он лишь сказал:

— Решай сам, Бальдабью.

31

Эрве Жонкур отправился в Японию в начале октября. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «остатним». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк десять дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Возникшая перед ним Страна пребывала в беспокойном ожидании войны, которая никак не могла разразиться. Не один день он провел в пути, отбросив всегдашние предосторожности, ибо география властей и проверок точно рассеялась накануне взрыва, грозившего полностью ее перекроить. В Сиракаве он встретил человека, который должен был отвести его к Хара Кэю. За два дня они доехали верхом до окрестностей деревни. Эрве Жонкур пошел в деревню пешком, чтобы весть о его прибытии докатилась вперед него.

32

Эрве Жонкура проводили на край деревни, в один из последних домов, на взгорке, прямо у леса. Его дожидались пятеро слуг. Он поручил им багаж и вышел на веранду. На противоположном конце деревни виднелся дворец Хара Кэя. Немногим больше остальных домов, дворец был окружен гигантскими кедрами, хранившими его уединение. Эрве Жонкур пристально смотрел на этот чертог, словно до самого горизонта ничего больше не было. И вот он увидел, как

внезапно

небо над чертогом окропилось сотнями взлетевших птиц; будто исторгнутая из земли, невиданная стая разлеталась повсюду, ошеломленная и обезумевшая, щебеча и галдя, — крылатый залп, цветное облако, выпущенное в яркий свет, звонкий фейерверк испуганных звуков, бегущая музыка, полет в небеса.

Эрве Жонкур улыбнулся.

33

Деревня засуетилась как ошалевший муравейник. Люди носились и вопили, таращась на небо и провожая взглядом птиц-беглецов. С давних пор птицы являлись гордос-

тью их Господина, и вот теперь они обернулись летящей по небу насмешкой. Эрве Жонкур вышел из дома и не спеша направился через всю деревню, глядя вперед с беспредельным спокойствием. Казалось, никто его не замечает, и он, казалось, не замечает ничего. Под ногами у него бежала золотая нить, пронизавшая уток ковра, вытканного безумцем. Он одолел стянувший реку мост, спустился к исполинским кедрам, вошел в их тень и вышел из тени. Прямо перед собой он увидал огромную вольеру: створки распахнуты настежь, внутри — пусто. А напротив вольеры — женщину. Не глядя по сторонам, Эрве Жонкур все так же медленно прошел дальше и остановился, лишь когда подступил к ней совсем близко.

У ее глаз не было восточного разреза; ее лицо было лицом девочки.

Эрве Жонкур шагнул ей навстречу, протянул руку и раскрыл ладонь. На ладони покоился сложенный вчетверо листок. Она скользнула по нему взглядом, и каждый уголок ее лица распустился в улыбку. Затем вложила свою ладонь в ладонь Эрве Жонкура, нежно стиснула ее, на миг помедлила и убрала руку, сжимая в пальцах обошедший полсвета листок. Не успела она затаить его в складках платья, как раздался голос Хара Кэя.

— Добро пожаловать, мой французский друг.

Хара Кэй стоял в нескольких шагах от них. Темное кимоно, черные волосы идеально собраны на затылке. Он подошел. И перевел взгляд на вольеру, осмотрев одну за другой раскрытые створки.

— Они вернутся. Ведь это так трудно — устоять перед искушением вернуться, не правда ли?

Эрве Жонкур не ответил. Хара Кэй заглянул ему в глаза и вкрадчиво произнес:

— Пойдемте.

Эрве Жонкур последовал за ним. Пройдя немного, он обернулся к девушке и слегка поклонился.

— Надеюсь скоро увидеть вас.

Хара Кэй шел не останавливаясь.

— Она не знает вашего языка.

Сказал он.

— Пойдемте.

34

Вечером Хара Кэй пригласил Эрве Жонкура к себе. В доме уже собрались несколько селян. Женщины были одеты с особым изяществом: густо набеленные лица полыхали огненными румянами. Пили саке. Из длинных деревянных трубок курили едкий табак с дурманящим запахом. В какой-то момент появились шуты и человек, забавлявший гостей тем, что искусно подражал голосам людей и животных. Три старухи играли на струнных инструментах и непрестанно улыбались. Хара Кэй сидел на почетном месте в темном облачении и с босыми ногами. Рядом, в сияющем шелковом платье — женщина с лицом девочки. Эрве Жонкура усадили на другом конце комнаты. Овеянный приторным ароматом назойливых женщин, он растерянно улыбался мужчинам: те наперебой потчевали его невесть какими баснями, понять которые он был не в состоянии. Стократно он искал ее глаза, и стократно она находила его. То был особый грустный танец, сокровенный и бессильный. Эрве Жонкур кружился в нем до поздней ночи, затем встал, пробормотал по-французски извинения, кое-как отделался от увязавшейся за ним женщины и, пробившись сквозь клубы дыма и скопище тарабаривших говорунов, двинулся к выходу. У порога он в последний раз взглянул на нее. Она не сводила с него безмолвных глаз, отдаленных на столетия.

Эрве Жонкур брел по деревне, вдыхая свежий ночной воздух и плутая в проулках, взбиравшихся по склону холма. Подойдя к своему дому, он увидел зажженный фонарь, трепетавший за бумажной перегородкой. Он вошел и обнаружил стоявших перед ним двух женщин. Совсем юную девушку восточной наружности, одетую в простое белое кимоно. И ее. В глазах играет лихорадочное веселье. Не дав ему опомниться, она взяла

его руку, поднесла ее к своему лицу, легонько коснулась губами, а затем, сильно стиснув, опустила в ладони застывшей рядом девушки и на мгновение придержала, не позволив ей вырваться. Потом она убрала свою руку, отступила на два шага, схватила фонарь, мельком заглянула Эрве Жонкуру в глаза и выбежала. Фонарь был оранжевым. Крохотный бегущий светлячок, он пропал в ночи.

35

Эрве Жонкур прежде никогда не видел эту девушку; сказать по правде, он не увидел ее и той ночью. В непроглядной комнате он ощутил красоту ее тела, познал ее руки и уста. Он ласкал ее целую вечность, как не ласкал ни разу в жизни, отдавшись на произвол непривычной медлительности. В темноте ничего не стоило любить ее и не любить *ее*.

Незадолго до рассвета девушка встала, набросила белое кимоно и вышла.

36

Наутро перед домом Эрве Жонкура поджидал человек Хара Кэя. При нем было пятнадцать листов тутовой коры, сплошь усеянной мельчайшими яичками цвета слоновой кости. Эрве Жонкур тщательно осмотрел каждый лист, сговорился в цене и заплатил сусальным золотом. На прощанье он дал понять человеку, что хочет повидаться с Хара Кэем. В ответ человек замотал головой. Жестами он сообщил Эрве Жонкуру, что Хара Кэй покинул деревню на заре, вместе со свитой, и что никто не знает, когда он вернется.

Эрве Жонкур бросился через всю деревню к жилищу Хара Кэя. Там были одни слуги. На любой вопрос они только качали головами. Дом выглядел опустевшим. И сколько ни всматривался Эрве Жонкур, даже в самых незначительных мелочах он не увидел и намека на оставленное для него послание. По пути в деревню он проходил мимо огромной вольеры. Створки снова были на запоре. Внутри, отгороженные от неба, порхали сотни птиц.

37

Еще два дня Эрве Жонкур ждал хоть какого-нибудь знака. Затем тронулся в путь.

Примерно в получасе езды от деревни дорога вывела его к лесу, из которого доносился необыкновенный серебристый перезвон. Сквозь густую листву проступали сотни темных пятнышек обосновавшейся на отдых стаи птиц. Ничего не говоря своим проводникам, Эрве Жонкур осадил коня, достал из-за пояса револьвер и дал в воздух шесть выстрелов. Смятенная стая взмыла в небо, подобно облаку дыма, выпущенному пожаром. Облако было таким большим, что виднелось спустя несколько дней пути. Оно чернело в небе уже без всякой на то причины. Если не считать его полнейшей растерянности.

38

Через шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля — как раз к Праздничной мессе — он показался у въезда в Лавильдье. Остановил экипаж и какое-то время просидел без движения, с опущенными занавесками. Потом вышел и медленно потащился вперед под грузом беспредельной усталости.

Бальдабью спросил у него, видел ли он войну.

— Видел, да не ту, что ждал, — прозвучало в ответ.

Вечером он лег в постель Элен и ласкал ее с таким нетерпением, что она испугалась и не могла сдержать слез. Когда он заметил их, она улыбнулась через силу.

— Просто... я так счастлива, — сказала она тихо.

39

Эрве Жонкур передал яичную кладку шелководам Лавильдье. После этого он несколько дней кряду не показывался в городке, презрев даже ритуальный променад к Вердену. В первых числах мая, ко всеобщему недоумению, он купил заброшенный дом Жана Бербека, того самого, что когда-то умолк и не заговорил уже до самой смерти. Все решили, что Эрве Жонкур надумал сделать из дома новую лабораторию. А он и мебель выносить не стал. Только наведывался туда время от времени и подолгу оставался один в этих комнатах. Неизвестно зачем. Однажды он привел в дом Бальдабью.

— А ты не знаешь, почему Жан Бербек перестал говорить? — спросил у него Эрве Жонкур.

— Об этом и о многом другом он так ничего и не сказал.

Спустя годы на стенах по-прежнему висели картины, а в сушилке у раковины — старые кастрюли. Невеселая картина: будь его воля, Бальдабью охотно бы ретировался. Но Эрве Жонкур как зачарованный пялился на покрытые плесенью мертвые стены. Он явно там что-то выискивал.

— Видно, жизнь иногда поворачивается к тебе таким боком, что и сказать-то больше нечего.

Сказал он.

— Совсем нечего.

Бальдабью не особо тяготел к серьезным разговорам. Он молчаливо разглядывал кровать Жана Барбека.

— В этакой берлоге у кого хочешь язык отнимется.

Долгое время Эрве Жонкур продолжал вести затворнический образ жизни. Он редко показывался на людях и целыми днями работал над проектом парка, который рано или поздно разобьет вокруг дома. Он покрывал лист за листом странными рисунками, похожими на машины. Как-то под вечер Элен спросила у него:

— Что это?

— Это вольера.

— Вольера?

— Да.

— А для чего она?

Эрве Жонкур не отрывал взгляда от рисунков.

— Ты запустишь в нее птиц, сколько сможешь, а когда в один прекрасный день почувствуешь себя счастливой, откроешь вольеру — и будешь смотреть, как они улетают.

40

В конце июля Эрве Жонкур поехал с женой в Ниццу. Они поселились в маленьком домике на берегу моря. Так захотела Элен. Она не сомневалась, что покой уединенного места развеет хандру, как видно овладевшую мужем. Однако ей хватило проницательности, чтобы выдать это за свою невольную причуду, подарив любимому сладостную возможность простить ее.

Три недели, проведенные ими вместе, были наполнены простым, неуязвимым счастьем. Когда спадала жара, они нанимали дрожки и забавы ради колесили по соседним деревушкам, притаившимся на окрестных холмах, откуда море казалось разноцветным картонным задником. Временами они выбирались в город — на концерт или светский раут. Как-то раз приняли приглашение от одного итальянского барона, устроившего по случаю своего шестидесятилетия званый вечер в «Отель Сюис». За десертом Эрве Жонкур нечаянно поднял глаза на Элен. Она сидела напротив, рядом с обольстительным английским джентльменом: в петлице его фрака красовалась гирлянда из крохотных голубых цветков. Эрве Жонкур увидел, как он склонился к Элен и что-то шепчет ей на ухо. Элен залилась упоительным смехом, коснувшись кончиками волос плеча английского джентльмена. В этом движении не было ни капли замешательства, но лишь обескуражи-

вающая точность. Эрве Жонкур опустил взгляд на тарелку. Он не мог не подметить, что его рука, зажавшая серебряную десертную ложку, неоспоримо дрожит.

Погодя, в фюмуаре, шатаясь от чрезмерной дозы крепких напитков, Эрве Жонкур подошел к незнакомому господину. Тот сидел в одиночестве за столом, осоловело вылупив глаза. Эрве Жонкур нагнулся к нему и произнес с расстановкой:

— Должен сообщить вам, сударь, одно весьма важное известие. Мы все отвратительны. Мы все на редкость отвратительны.

Господин был родом из Дрездена. Он торговал телятиной и плохо понимал по-французски. Господин разразился оглушительным смехом и закивал головой. Казалось, он уже никогда не остановится.

Эрве Жонкур и Элен пробыли на Ривьере до начала сентября. Им жаль было покидать маленький домик на берегу моря, ведь в его стенах они почувствовали легкое дыхание любви.

41

Бальдабью явился к Эрве Жонкуру спозаранку. Они уселись в тени портика.

— Парк-то не сказать чтобы ах.

— Я к нему еще не приступал, Бальдабью.

— Ах.

Бальдабью никогда не курил по утрам. Он вынул трубку, набил ее табаком и раскурил.

— Пообщался я с этим Пастером. Дельный малый. Он мне все показал. Он знает, как отличать больные яички от здоровых. Правда, еще не умеет их лечить. Зато может отбирать здоровые. И говорит, что где-то треть нашего выводка вполне здорова.

Пауза.

— Слыхал — в Японии-то война. На этот раз без осечки. Англичане снабжают оружием правительство, голландцы — восставших. Похоже, они сговорились. Пускай, мол, те хорошенько выложатся, а уж мы потом приберем все к рукам и поделим между собой. Французское консульство знай себе приглядывается. Они только и делают, что приглядываются. Эти умники разве депеши горазды строчить про всякие там смертоубийства да про иностранцев, заколотых, как бараны.

Пауза.

— Кофе еще найдется?

Эрве Жонкур налил ему кофе.

Пауза.

— Те двое итальянцев, Феррери и еще один, что прошлым годом подались в Китай... вернулись с отборным товаром, кладка — пятнадцать тысяч унций. В Болле уже взяли партию: говорят, хоть куда. Через месяц снова едут... Предложили нам хорошую сделку, по божеским ценам, одиннадцать франков за унцию, полная страховка. Люди верные, за плечами у них — надежные помощники, пол-Европы товаром оделяют. Верные люди, говорю тебе.

Пауза.

— Не знаю. Авось выдюжим. Вот и своя кладка у нас имеется, и Пастер не зря корпит, и у тех итальянцев, глядишь, чего прикупим... Выдюжим. Народ говорит, что посылать тебя снова — полное неразумие... никаких денег не хватит... а главное, уж очень боязно, и тут они правы, раньше было по-другому, а нынче... нынче оттуда ног не унесешь.

Пауза.

— Короче, они не хотят остаться без кладки, а я — без тебя.

Какое-то время Эрве Жонкур сидел, глядя на несуществующий парк. Затем сделал то, чего не делал никогда.

— Я поеду в Японию, Бальдабью.

Сказал он.

— Я куплю эту кладку. Если понадобится — на свои деньги. А ты решай: вам я ее продам или кому еще.

Такого Бальдабью не ожидал. Все равно как если бы выиграл калека, вогнав последний шар от четырех бортов по неописуемой кривой.

42

Бальдабью объявил шелководам Лавильдье, что Пастер не заслуживает доверия, что те двое итальяшек уже облапошили пол-Европы, что война в Японии кончится к зиме и что святая Агнесса спросила его во сне, а не сборище ли они презренных бздунов. Одной Элен он не смог солгать.

— Ему и вправду надо ехать?

— Нет.

— Тогда зачем все это?

— Я не в силах его остановить. Если он так хочет туда, я могу только дать ему лишний повод вернуться.

Скрепя сердце шелководы Лавильдье внесли деньги на экспедицию. Эрве Жонкур стал снаряжаться в путь и в первых числах октября был готов к отъезду. Элен, как и в прежние годы, помогала мужу, ни о чем его не спрашивая, утаив свои тревоги. Лишь в последний вечер, задув лампу, она нашла в себе силы сказать:

— Обещай, что вернешься.

Твердым голосом, без всякой нежности.

— Обещай, что вернешься.

В темноте Эрве Жонкур ответил:

— Обещаю.

43

10 октября 1864 Эрве Жонкур отправился в свое четвертое путешествие в Японию. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «святым». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк восемь дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными дорогами проскакал префектуры Исикава, Тояма, Ниигата и вступил в провинцию Фукусима. В Сиракаве он обнаружил полуразрушенный город и гарнизон правительственных войск, окопавшийся в руинах. Он обогнул город с восточной стороны и пять дней напрасно дожидался посланника Хара Кэя. На рассвете шестого дня он выехал в сторону северных холмов. Он продвигался по грубым картам и обрывочным воспоминаниям. После многодневных блужданий он вышел к знакомой реке, а там — к лесу и дороге. Дорога привела его в деревню Хара Кэя. Здесь выгорело все: дома, деревья — все.

Не осталось совсем ничего.

Ни одной живой души.

Эрве Жонкур окаменело смотрел на эту гигантскую погасшую жаровню. Позади у него был путь длиною в восемь тысяч верст. А впереди — пустота.

Он вдруг увидел то, что считал невидимым.

Конец света.

44

Эрве Жонкур еще долго оставался в разоренной деревне. Он никак не мог заставить себя уйти, хотя понимал, что каждый час, проведенный там, грозил обернуться катастрофой для него и для всего Лавильдье. Он не добыл яичек шелкопряда, а если и добудет — в запасе у него не больше двух месяцев: за этот срок он должен проехать полсвета, до

того как они раскроются в пути, превратившись в массу бесплодных личинок. Опоздай он хоть на день — и крах неизбежен. Все это он прекрасно понимал, но уйти не мог. Так продолжал он сидеть, пока не случилось нечто удивительное и необъяснимое: из пустоты совершенно неожиданно возник мальчик. Одетый в лохмотья, он двигался медленно, с испугом поглядывая на пришельца. Эрве Жонкур не шелохнулся. Мальчик подступил ближе и остановился. Они смотрели друг на друга; их разделяло несколько шагов. Наконец мальчик извлек из-под лохмотьев какой-то предмет, дрожа от страха, подошел к Эрве Жонкуру и протянул ему предмет. Перчатка. Мысленным взором Эрве Жонкур увидел берег озера, сброшенное на землю оранжевое платье и легкие волны: присланные откуда-то издалека, они подгоняли озерную воду к берегу. Он взял перчатку и улыбнулся мальчику.

— Это я — француз... за шелком... француз, понимаешь?.. Это я.

Мальчик перестал дрожать.

— Француз...

В глазах у мальчика блеснули слезы, но он засмеялся. И затарахтел, срываясь на крик. И сорвался с места, жестами призывая Эрве Жонкура следовать за ним. Он скрылся на тропинке, уходившей в лес по направлению к горам.

Эрве Жонкур не сдвинулся с места. Он только вертел в руках перчатку — единственный предмет, доставшийся ему от сгинувшего мира. Он понимал, что уже слишком поздно. И что у него нет выбора.

Он встал. Не спеша подошел к лошади. Вскочил в седло. И проделал то, чего и сам не ожидал. Он сдавил пятками бока животного. И поскакал. К лесу, следом за мальчиком, по ту сторону конца света.

45

Несколько дней они держали путь на север, по горам. Эрве Жонкур не различал дороги: он покорно следовал за своим провожатым и ни о чем его не спрашивал. Так они набрели на две деревни. Завидев пришлых, обитатели прятались в домах, женщины разбегались кто куда. Мальчишка, дико веселясь, выкрикивал им вдогонку какую-то абракадабру на своем наречии. Ему было не больше четырнадцати. Он без устали дул в маленькую бамбуковую свирель, извлекая из нее всевозможные птичьи трели. Вид у него был такой, будто он занят наиглавнейшим делом своей жизни.

На пятый день они достигли вершины холма. Мальчик указал на точку впереди себя: за ней дорога устремлялась вниз. Эрве Жонкур взял бинокль. Увиденное им напоминало некое шествие, состоявшее из вооруженных людей, женщин и детей, повозок и животных. Целая деревня пришла в движение. Эрве Жонкур распознал Хара Кэя на коне, облаченного в темное. За ним покачивался паланкин, занавешенный с четырех сторон пестрой тканью.

46

Мальчик соскочил с лошади, что-то проверещал напоследок и был таков. Перед тем как скрыться за деревьями, он обернулся и на мгновение замер, пытаясь выразить жестом, что путешествие было прекрасным.

— Путешествие было прекрасным! — крикнул ему Эрве Жонкур.

Весь день Эрве Жонкур следил за караваном издалека. Когда караван встал на ночлег, он продолжал ехать, не сворачивая с дороги, пока навстречу ему не вышли двое воинов. Они взяли его лошадь и поклажу и отвели Эрве Жонкура в шатер. Он долго ждал. Наконец появился Хара Кэй. Никакого знака приветствия. Он даже не сел.

— Как вы здесь очутились, француз?

Эрве Жонкур не ответил.

— Я спрашиваю, кто вас привел?

Молчание.

— Здесь для вас ничего нет. Только война. И это не ваша война. Уходите.

Эрве Жонкур достал кожаный кошель, открыл его и вытряхнул содержимое на землю. Сусальное золото.

— Война — дорогая игра. Я нужен вам. Вы нужны мне.

Хара Кэй и не взглянул на золотые чешуйки, разметавшиеся по земле. Он повернулся и вышел.

47

Эрве Жонкур провел ночь на краю лагеря. С ним никто не заговаривал. Никто его словно и не замечал. Люди спали на земле вокруг костров. Всего было два шатра. У одного из них Эрве Жонкур подметил пустой паланкин: с четырех углов свисали небольшие клетки с птицами. К решеткам клеток привязаны маленькие золотые колокольчики. Они легонько позванивали от дуновения ночного ветерка.

48

Проснувшись, он увидел, что вся деревня собиралась выступать. Шатры уже сняли. Открытый паланкин стоял на прежнем месте. Люди молча садились в повозки. Он встал и долго озирался по сторонам: но лишь глаза с восточным разрезом встречались с его глазами и тотчас склоняли взгляд. Он видел вооруженных мужчин и видел детей, которые даже не плакали. Он видел немые лица, какие бывают у гонимых людей. И дерево на обочине. А на суку — повешенного мальчугана. Того, что привел его сюда.

Эрве Жонкур подошел к мальчику и остановился как вкопанный, устремив на него отрешенный взгляд. Немного погодя он распутал обмотанную вокруг ствола веревку, подхватил тело мальчика, уложил его на землю и опустился перед ним на колени. Он не мог оторвать глаз от этого лица. И не заметил, как деревня тронулась в путь. Он только слышал казавшийся далеким шум каравана, который протянулся совсем рядом — по дороге, уходившей чуть в гору. Он не поднял глаз, даже когда поблизости прозвучал голос Хара Кэя:

— Япония — древняя страна. И законы ее тоже древние. По этим законам двенадцать преступлений караются смертью. Одно из них — доставить любовное послание от своей госпожи.

Эрве Жонкур не отводил взгляда от убитого мальчика.

— У него не было любовных посланий.

— Он *сам* был любовным посланием.

Эрве Жонкур догадался, что к его затылку приставили какой-то предмет, пригнув ему голову к земле.

— Это ружье, француз. Не поднимайте голову, прошу вас.

Эрве Жонкур не сразу понял. Но вот, сквозь смутный гул обращенного в бегство каравана, до слуха его долетел золотистый перезвон тысячи маленьких колокольчиков; звук близился, подступая к нему шаг за шагом, и хоть перед глазами у него была только серая земля, он представил себе, как паланкин качается, подобно маятнику, словно и впрямь видел, как, взбираясь по дороге, он мало-помалу приближался, медленно, но неумолимо, влекомый звуком, который становился все сильнее, невыносимо сильным, и надвигался все ближе, так близко, что можно было его коснуться; позолоченное журчание струилось уже напротив, как раз напротив него — в это мгновение — эта женщина — напротив него.

Эрве Жонкур поднял голову.

Восхитительные ткани, дивные шелка опоясали паланкин. Тысячецветье оранжево-бело-охряно-серебряного. Ни щелочки в волшебном гнезде, только шелестящее колыхание цветов, разлитых в воздухе, — непроницаемых, невесомых, невесомее пустоты.

Эрве Жонкур не услышал взрыва, разносящего в клочья его жизнь. Он уловил таю-

щий вдали звон, почувствовал, как от затылка отвели ружейный ствол, и разобрал голос Хара Кэя:

— Уходите, француз. И больше не возвращайтесь.

49

Только тишина на дороге. Тело мальчика на земле. На коленях стоит человек. Покуда брезжит дневной свет.

50

Эрве Жонкур добирался до Иокогамы семнадцать дней. Он дал взятку японскому чиновнику и заполучил шестнадцать кладок яиц шелкопряда, привезенных с юга острова. Эрве Жонкур обернул их шелковой тканью и запломбировал в четырех круглых деревянных коробах. Подыскал суденышко, уходившее на континент, и в первых числах марта сошел на русском берегу. Он двинулся северным путем, чтобы замедлить вызревание яичек и растянуть время, оставшееся до их раскрытия. С вынужденными остановками он проделал четыре тысячи верст по Сибири, перевалил через Урал и прибыл в Санкт-Петербург. Расплатившись золотом, он закупил сотни пудов льда и погрузил его вместе с кладкой яиц в трюм торгового судна, взявшего курс на Гамбург. Плавание заняло шесть дней. Выгрузив четыре круглых деревянных короба, он сел на поезд южного направления. Через одиннадцать часов пути, выехав из местечка Геберфельд, поезд остановился для заправки водой. Эрве Жонкур посмотрел вокруг. По-настоящему летнее солнце припекало пшеничные поля и все что ни есть на белом свете. Напротив Эрве Жонкура сидел русский коммерсант. Скинув ботинки, он обмахивался последней страницей газеты, набранной по-немецки. Эрве Жонкур взглянул на него повнимательнее. Он заметил на его рубашке мокрые пятна, а на лбу и шее — капли пота. Русский что-то сказал сквозь смех. Эрве Жонкур улыбнулся в ответ, встал, ухватил чемоданы и сошел с поезда. Вернулся в конец состава к товарному вагону, в котором везли мясо и рыбу, переложенные льдом. Вода лилась из вагона, как из таза, продырявленного сотней пуль. Он открыл вагон, залез внутрь, взял один за другим круглые деревянные короба, вытащил их и разложил на земле у самых рельсов. Закрыл вагон и стал ждать. Когда поезд был готов к отправлению, ему крикнули, чтобы он не мешкал и садился. Он помотал головой и махнул на прощанье рукой. На его глазах поезд уходил все дальше и дальше и вскоре скрылся из виду. Он подождал, пока утихнет всякий шум. Затем склонился к одному из деревянных коробов, сорвал с него пломбы и вскрыл. То же самое он проделал с тремя другими коробами. Медленно и аккуратно.

Миллионы личинок. Мертвых.

Было 6 мая 1865.

51

Эрве Жонкур приехал в Лавильдье спустя девять дней. Его жена Элен издали заприметила экипаж, кативший по аллее поместья. Она сказала себе, что не должна плакать и не должна убегать.

Она спустилась к парадному входу, распахнула дверь и встала на пороге.

Когда Эрве Жонкур подошел к ней, она улыбнулась. Обняв ее, он тихо сказал:

— Останься со мной, прошу тебя.

Они не смыкали глаз дотемна, сидя на лужайке перед домом, друг возле друга. Элен говорила о Лавильдье, о долгих месяцах ожидания, об ужасе последних дней.

— Ты умер.

Сказала она.

— И на свете не осталось ничего хорошего.

52

Шелководы Лавильдье взирали на тутовые деревья, покрытые листьями, и видели свою погибель. Бальдабью раздобыл несколько новых кладок, но личинки умирали, едва показавшись на свет. Шелка-сырца, полученного от немногих сохранившихся партий, еле хватало, чтобы загрузить две из семи местных прядилен.

— У тебя есть какие-нибудь мысли? — спросил Бальдабью.

— Одна, — ответил Эрве Жонкур.

На следующий день он объявил, что за лето собирается разбить вокруг своего дома парк. И подрядил с десяток-другой односельчан. Те обезлесили холм и сгладили косогор, полого спускавшийся теперь в низину. Стараниями работников деревья и живая изгородь расчертили землю легкими, прозрачными лабиринтами. Разнообразные цветы сплелись в причудливые куртины, открывшиеся словно шутейные прогалины среди березовых рощиц. Вода, позаимствованная из ближней речки, сбегала фонтанным каскадом к западным пределам парка, собираясь в небольшом пруду, обрамленном полянками. В южном урочище, меж лимонных и оливковых деревьев, из дерева и железа соорудили огромную вольеру, казалось повисшую в воздухе, точно вышивка.

Работали четыре месяца. В конце сентября парк был готов. Никто еще в Лавильдье не видывал ничего подобного. Поговаривали, будто Эрве Жонкур пустил на это все свое состояние. Будто вернулся он из Японии каким-то не таким, не иначе как больным. Будто запродал кладку итальяшкам и набил мошну золотом, упрятанным в парижских банках. А еще поговаривали, что, ежели б не его парк, — окочурились бы все с голоду в тот год. И что был он шельмой. И что был он праведником. А еще — будто нашло на него что-то, ровно напасть какая.

53

О своем хождении Эрве Жонкур сказал только то, что яички шелкопряда раскрылись неподалеку от Кёльна, в местечке под названием Геберфельд.

Спустя четыре месяца и тринадцать дней после его возвращения Бальдабью сел перед ним на берегу пруда у западных пределов парка и сказал:

— Рано или поздно ты все равно расскажешь кому-нибудь правду.

Сказал негромко, через силу, ибо сроду не верил, что от правды бывает хоть какая-то польза.

Эрве Жонкур устремил взгляд в сторону парка.

Стояла осень: повсюду разливался обманчивый свет.

— Когда я увидел Хара Кэя в первый раз, на нем была темная туника. Он неподвижно сидел в углу комнаты, скрестив ноги. Рядом лежала женщина. Она положила голову ему на живот. У ее глаз не было восточного разреза. Ее лицо было лицом девочки.

Бальдабью слушал молча. До последнего слова. До поезда в Геберфельд.

Он ни о чем не думал.

Он слушал.

Его больно кольнуло, когда под конец Эрве Жонкур тихо сказал:

— Я даже ни разу не слышал ее голоса.

И, чуть помедлив:

— Какая-то странная боль.

Тихо.

— Так умирают от тоски по тому, чего не испытают никогда.

Они шли по парку вместе.

Бальдабью произнес всего одну фразу:

— Откуда, черт подери, этот собачий холод?

Всего одну.

Как-то вдруг.

54

В начале нового, 1866 года Япония официально разрешила вывоз яичек шелковичного червя.

В следующем десятилетии одна лишь Франция будет ввозить японского шелкопряда на десять миллионов франков.

С 1869, после открытия Суэцкого канала, весь путь до Японии займет не больше двадцати дней. И чуть меньше двадцати дней — возвращение.

Искусственный шелк будет запатентован в 1884 французом по фамилии Шардонне.

55

Спустя полгода после его возвращения в Лавильдье Эрве Жонкуру пришел по почте конверт горчичного цвета. Вскрыв конверт, он обнаружил семь листов бумаги, испещренных мелким геометрическим почерком: черные чернила, японские иероглифы. Кроме имени и адреса на конверте, в послании ни слова латинскими буквами. Судя по штемпелю, письмо отправили из Остенде.

Эрве Жонкур долго листал и разглядывал его. Письмо напоминало каталог миниатюрных птичьих лапок, составленный с невменяемым усердием. Хотя и это были какие-то значки. Иначе говоря, прах сгоревшего голоса.

56

Несколько дней подряд Эрве Жонкур носил письмо с собой: сложенное пополам, оно покоилось у него в кармане. Переодеваясь, он всякий раз перекладывал и письмо. Но ни разу не заглянул в него. Он лишь ощупывал его рукой, пока говорил с испольщиком или ждал ужина, сидя на веранде. Как-то вечером он стал рассматривать письмо против лампы. У себя в кабинете. На просвет следы птичек-малюток сливались в глухой, неразборчивый клекот. Они гомонили либо о чем-то пустяковом, либо, напротив, способном перевернуть всю жизнь. Выведать истину было невозможно, и это нравилось Эрве Жонкуру. Появилась Элен. Он положил письмо на стол. Она подошла поцеловать мужа, как делала каждый вечер, прежде чем удалиться в свою комнату. Когда Элен нагнулась, ночная рубашка слегка разошлась у нее на груди. Эрве Жонкур увидел, что под рубашкой у нее ничего не было и что ее груди были маленькими и белоснежными, как у девочки.

Четыре следующих дня он жил привычной жизнью, нисколько не меняя благоразумно заведенного распорядка. Утром пятого дня он надел элегантную серую тройку и поехал в Ним. Сказал, что вернется засветло.

57

На рю Москат, 12 все было в точности как три года назад. Праздник так и не кончался. Девушки были как на подбор, молоденькие и француженки. Тапер наигрывал под сурдинку мотивчики, отдававшие Россией. То ли от старости, то ли от какого подлого недуга, но он уже не запускал в волосы правую руку и не приговаривал себе под нос:

— Вуаля.

Он только немо замирал, растерянно глядя на свои руки.

58

Мадам Бланш приняла его без единого слова. Черные лоснящиеся волосы, безукоризненное восточное лицо. На пальцах, словно кольца, крохотные ярко-голубые цветки. Длинное белое платье, полупрозрачное. Босые ноги.

Эрве Жонкур сел напротив. Вынул из кармана письмо.

— Вы меня помните?

Мадам Бланш неуловимо кивнула.

— Вы снова мне нужны.

Он протянул ей письмо. У нее не было ни малейших оснований брать это письмо, но она взяла его и раскрыла. Проглядев один за другим все семь листов, она подняла глаза на Эрве Жонкура.

— Я не люблю этот язык, месье. Я хочу его забыть. Я хочу забыть эту землю, и мою жизнь на этой земле, и все остальное.

Эрве Жонкур сидел неподвижно — руки вцепились в ручки кресла.

— Я прочту вам это письмо. Прочту. Денег я с вас не возьму. А возьму только слово: не возвращаться сюда больше и не просить меня об этом.

— Слово, мадам.

Она пристально взглянула на него. Затем опустила взгляд на первую страницу письма: рисовая бумага, черные чернила.

— *Мой любимый, мой господин,*

произнесла она,

— *ничего не бойся, не двигайся и молчи, нас никто не увидит.*

59

Оставайся так, я хочу смотреть на тебя, я столько на тебя смотрела, но ты был не моим, сейчас ты мой, не подходи, прошу тебя, побудь как есть, впереди у нас целая ночь, и я хочу смотреть на тебя, я еще не видела тебя таким, твое тело — мое, твоя кожа, закрой глаза и ласкай себя, прошу,

— мадам Бланш говорила, Эрве Жонкур слушал —

не открывай глаза, если можешь, и ласкай себя, у тебя такие красивые руки, они столько раз снились мне, теперь я хочу видеть их, мне приятно видеть их на твоей коже, вот так, прошу тебя, продолжай, не открывай глаза, я здесь, нас никто не видит, я рядом, ласкай себя, мой любимый, мой господин, ласкай себя внизу живота, прошу тебя, не спеши,

— она остановилась; пожалуйста, дальше, сказал он —

она так хороша — твоя рука на твоем члене, не останавливайся, мне нравится смотреть на нее и смотреть на тебя, мой любимый, мой господин, не открывай глаза, не сейчас, тебе не надо бояться, я рядом, ты слышишь? я здесь, я могу коснуться тебя, это шелк, ты чувствуешь? это мое шелковое платье, не открывай глаза, и ты познаешь мою кожу,

— она читала не торопясь, голосом женщины-девочки —

ты изведаешь мои губы; в первый раз я коснусь тебя губами, и ты не поймешь, где именно, ты вдруг почувствуешь тепло моих губ и не сможешь понять где, если не откроешь глаза — не открывай их, и ты почувствуешь мои губы совсем внезапно,

— он слушал неподвижно; из кармашка серой тройки выглядывал белоснежный платок —

быть может, на твоих глазах: я прильну губами к твоим векам и бровям, и ты почувствуешь, как мое тепло проникает в твою голову, а мои губы — в твои глаза; а может, ты почувствуешь их на твоем члене: я приложусь к нему губами и постепенно их разомкну, спускаясь все ниже и ниже,

— она говорила, склонившись над листами и осторожно касаясь рукой шеи —

и твой член раскроет мои уста, проникая меж губ и тесня язык, моя слюна стечет по твоей коже и увлажнит твою руку, мой поцелуй и твоя рука сомкнутся на твоем члене одно в одном,

— он слушал, не сводя глаз с пустой серебряной рамы, висевшей на стене —

а под конец я поцелую тебя в сердце, потому что хочу тебя; я вопьюсь в кожу, что бьется на твоем сердце, потому что хочу тебя, и твое сердце будет на моих устах, и ты будешь моим, весь, без остатка, и мои уста сомкнутся на твоем сердце, и ты будешь моим, навсегда; если не веришь — открой глаза, мой любимый, мой господин, и посмотри на меня: это я, разве кому-то под силу перечеркнуть теперешний миг и мое тело, уже не обвитое шелком, и твои руки на моем теле, и устремленный на меня взгляд,

— она говорила, подавшись к лампе; пламенный свет заливал бумагу, сочась сквозь ставшее прозрачным платье —

твои пальцы у меня внутри, твой язык на моих губах, ты скользишь подо мной, берешь меня за бедра, приподнимаешь и плавно сажаешь меня на свой член; кто сможет перечеркнуть все это: ты медленно движешься внутри меня, твои ладони на моем лице, твои пальцы у меня во рту, наслаждение в твоих глазах, твой голос, ты движешься медленно, но все же делаешь мне больно — и так приятно, мой голос,

— он слушал; в какое-то мгновение он обернулся к ней, увидел ее, попробовал опустить глаза, но не смог —

мое тело на твоем, выгибаясь, ты легонько подбрасываешь его, твои руки удерживают меня, я чувствую внутри себя удары — это сладостное исступление, я вижу, как твои глаза пытливо всматриваются в мои, чтобы понять, докуда мне можно сделать больно: докуда хочешь, мой любимый, мой господин; этому нет предела и не будет, ты видишь? никто не сможет перечеркнуть теперешний миг, и ты вечно будешь с криком закидывать голову, я вечно буду закрывать глаза, смахивая слезы с ресниц, мой голос в твоем голосе, ты удерживаешь меня в своем неистовстве, и мне уже не вырваться, не отступиться, ни времени, ни сил больше нет, этот миг должен был настать, и вот он настал, верь мне, мой любимый, мой господин, этот миг пребудет отныне и вовек, и так до скончания времен.

— она говорила чуть слышно и наконец умолкла.

На листе, который она держала в руке, не было других знаков: тот был последним. Однако, повернув лист, чтобы положить его, она увидела на обратной стороне еще несколько аккуратно выведенных строк — черные чернила посреди белого поля страницы. Она вскинула глаза на Эрве Жонкура. Он смотрел на нее проникновенным взглядом, и она поняла, какие прекрасные у него глаза. Она опустила взгляд на лист.

— Мы больше не увидимся, мой господин.

— сказала она —

— Положенное нам мы сотворили, и вы это знаете. Верьте: сделанное нами останется навсегда. Живите своей жизнью вдали от меня. Когда же так будет нужно для вашего счастья, не раздумывая, забудьте об этой женщине, которая без сожаления говорит вам сейчас «прощай».

Некоторое время она еще смотрела на лист бумаги, затем присоединила его к остальным, возле себя, на столике светлого дерева. Эрве Жонкур сидел не двигаясь. Он лишь повернул голову и опустил глаза, невозмутимо уставившись на едва намеченную, но безукоризненную складку, пробороздившую его правую брючину от паха до колена.

Мадам Бланш встала, нагнулась к лампе и потушила ее. В комнате теплился слабый свет, проникавший туда через круглое окошко. Она приблизилась к Эрве Жонкуру, сняла с пальца кольцо из крохотных голубых цветков и положила его рядом с ним. Потом сделала несколько шагов, отворила маленькую расписную дверцу, спрятанную в стене, и удалилась, оставив дверцу полуоткрытой.

Эрве Жонкур долго сидел в этом необыкновенном свете и все вертел в руках цветочное кольцо. Из гостиной доносились звуки усталого рояля: они растворяли время почти до неузнаваемости.

Наконец он встал, подошел к столику светлого дерева, собрал семь листов рисовой бумаги. Пересек комнату, не глядя миновал полуоткрытую дверцу и вышел.

60

В последующие годы Эрве Жонкур избрал для себя тот ясный образ жизни, какой пристал человеку, не ведающему нужды. Он коротал дни под опекой размеренных переживаний. В Лавильдье, как и прежде, восхищались этим человеком, ибо видели в нем воплощение *правильной* жизни, к которой и следует стремиться на этом свете. Говаривали, что таким он был и в молодости, до хождений в Японию.

Он взял за правило совершать раз в год небольшое путешествие со своей женой Элен. Они повидали Неаполь, Рим, Мадрид, Мюнхен, Лондон. Однажды добрались до самой Праги, где все казалось им театром. Они путешествовали, не считаясь со временем и не строя заранее планов. Их поражало все: втайне даже собственное счастье. Когда они начинали тосковать по тишине, то возвращались в Лавильдье.

Спроси его кто-нибудь, Эрве Жонкур ответил бы, что они готовы жить так вечно. Он источал совершенное умиротворение, как человек, живущий в согласии с собой. Иногда, ветреным днем, он выходил в парк, спускался к пруду и часами просиживал на берегу, глядя, как рябь на воде слагается в необычайные фигуры, играющие то тут, то там шальным блеском. Повсюду веял все тот же ветер, но при взгляде на водную гладь казалось, что их тысяча. От края до края. Пленительная картина. Легкая и необъяснимая.

Иногда, ветреным днем, Эрве Жонкур спускался к пруду и часами смотрел на воду, расчерченную легкими и необъяснимыми картинами, в которые слагалась его жизнь.

61

16 июня 1871, ближе к полудню, в дальней части кабачка Вердена, калека закатил дурака от четырех бортов с откатом. Потрясенный Бальдабью оцепенел, согнувшись над столом: одна рука отъехала за спину, другая все еще сжимала кий.

— Вот те на.

Он распрямился, положил кий и, не сказав ни слова, вышел. Через три дня Бальдабью уехал. Обе свои прядильни он подарил Эрве Жонкуру.

— О шелке я больше знать ничего не желаю, Бальдабью.

— Продай их, дурень.

Никому так и не удалось у него выудить, куда это он вдруг наладился. И на кой черт. Он что-то там промямлил насчет святой Агнессы, но никто толком не понял.

В день отъезда Эрве Жонкур и Элен проводили его на вокзал в Авиньоне. При нем имелся всего один чемодан, что, в общем, тоже было маловразумительно. Увидав пыхтевший у перрона поезд, он опустил чемодан на землю.

— Знавал я одного оригинала, который проложил железную дорогу для себя одного.

Сказал он.

— Самое интересное, что она была совершенно прямой: сотни верст без единого поворота. На то была какая-то причина, только уже не помню какая. Вечно эти причины забываются. Ну да ладно, прощайте.

Он не особо тяготел к серьезным разговорам. А прощание, как ни крути, разговор серьезный.

Они смотрели, как он удаляется: он и его чемодан. Навсегда.

И тут Элен совершила нечто странное. Отпрянув от Эрве Жонкура, она кинулась вслед за Бальдабью. Догнала его, крепко обняла и разрыдалась.

Элен вообще-то никогда не плакала.

Эрве Жонкур продал обе прядильни за бесценок Мишелю Ларио. Душа-человек. Двадцать лет, каждую субботу, он с несокрушимым постоянством продувал Бальдабью в домино. У него было три дочери. Первых двух звали Флоранс и Сильвия. Зато третью — Агнесса.

62

Три года спустя, зимой 1874, Элен заболела воспалением мозга. Врачи не смогли ни объяснить, ни вылечить его. Она умерла в начале марта. Дождливым днем.

Проститься с ней пришли все жители Лавильдье. Они молча поднимались по кладбищенской аллее. Элен была светлым человеком и не принесла никому горя.

Эрве Жонкур велел выбить на ее могиле одно-единственное слово:

Hélas[1].

Он всех благодарил, то и дело твердя, что ему ничего не нужно, и вернулся домой. Никогда еще дом не казался Эрве Жонкуру таким большим. А его судьба — такой бессвязной.

Поскольку отчаяние было крайностью ему не свойственной, он сосредоточился на том, что осталось от его жизни, и снова начал ухаживать за ней с неумолимым упорством садовника, берущегося за работу наутро после бури.

63

Однажды, спустя два месяца и одиннадцать дней после смерти Элен, Эрве Жонкур пошел на кладбище. Рядом с розами, которые он приносил на могилу жены каждую неделю, Эрве Жонкур увидел венчик из крохотных голубых цветков. Нагнувшись, он стал рассматривать их и долго еще пребывал в таком положении. Случись кому застигнуть эту сцену, она наверняка показалась бы ему странноватой, если не сказать смешной. Придя домой, Эрве Жонкур, против обыкновения, уже не выходил работать в парк, а сел в кабинете и задумался. С утра до вечера он только то и делал. Думал.

64

На рю Москат, 12 он обнаружил ателье. Ему сказали, что мадам Бланш давно здесь не живет. Он узнал, что она переехала в Париж и стала содержанкой какого-то высокопоставленного лица, вероятно политика.

Эрве Жонкур выехал в Париж.

На поиски адреса ушло шесть дней. Он послал ей записку с просьбой о встрече. Она ответила, что ждет его в четыре пополудни следующего дня. Точно в назначенный час он поднялся в третий этаж изящного особняка на бульваре Капуцинов. Дверь открыла горничная. Она провела его в гостиную. Мадам Бланш появилась в очень элегантном и очень французском платье. Волосы ниспадали ей на плечи, сообразно тогдашней парижской моде. Колец из голубых цветков на руках не было. Она села против Эрве Жонкура, не говоря ни слова. И замерла в ожидании.

---

[1] Увы *(франц.)*.

Он посмотрел ей в глаза, как посмотрел бы ребенок.

— Ведь это вы написали то письмо, не правда ли?

Сказал он.

— Элен попросила вас написать, и вы написали.

Мадам Бланш сидела, затаив дыхание, не отводя глаз, не выдавая ни малейшего волнения.

Наконец она промолвила:

— Письмо писала не я.

Молчание.

— Его написала Элен.

Молчание.

— Когда она пришла ко мне, оно уже было написано. Она попросила меня переложить письмо на японский. И я согласилась. Вот как все было.

В этот момент Эрве Жонкур понял, что будет слышать ее слова всю свою жизнь. Он встал и продолжал стоять, словно внезапно позабыл, куда идти. Откуда-то издалека до него донесся голос мадам Бланш:

— А еще она захотела прочесть его. У нее был чарующий голос. Она произносила эти слова с таким волнением, которого мне не забыть никогда. Как будто это были ее настоящие слова.

Эрве Жонкур шел по гостиной, еле волоча ноги.

— Видите ли, месье, я думаю, что больше всего на свете ей хотелось *стать той женщиной*. Вам этого не понять. А я слышала, как она читает свое письмо. И знаю, что это так.

Эрве Жонкур подошел к двери, взялся за ручку и, не оборачиваясь, выдохнул:

— Прощайте, мадам.

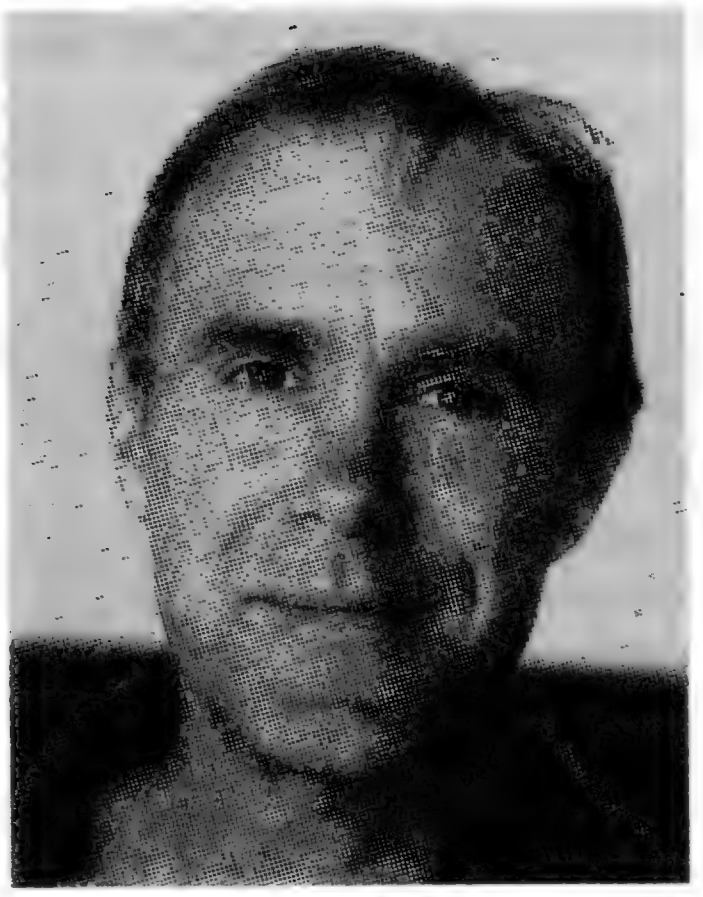
Это была их последняя встреча.

65

Эрве Жонкур прожил еще двадцать три года. Бóльшую часть из них — в добром здравии и душевном покое. Он уже никуда не уезжал из Лавильдье и не покидал своего дома. Он мудро распоряжался своим состоянием, и это избавило его от необходимости работать где бы то ни было, кроме собственного парка. Со временем он стал позволять себе удовольствие, в котором раньше всегда отказывал: навещавшим его он описывал свои путешествия. Слушая эти рассказы, жители Лавильдье познавали мир, а дети постигали чудо. Говорил он медленно, замечая в воздухе то, чего другие не замечали.

По воскресеньям он выбирался в город к Праздничной мессе. Раз в году объезжал местные прядильни, чтобы потрогать новорожденный шелк. Когда одиночество сжимало ему сердце, он приходил на кладбище поговорить с Элен. Остаток времени он проводил в кругу обрядовых привычек, ограждавших его от уныния. Иногда, ветреным днем, он спускался к пруду и часами смотрел на воду, расчерченную легкими и необъяснимыми картинами, в которые слагалась его жизнь.

■



РОБЕРТ ХАСС

Стихи из книги «Солнце сквозь лес»

Перевод с английского и вступление
ГЛЕБА ШУЛЬПЯКОВА

Роберт Хасс — поэт-лауреат США, чье творчество отмечено многочисленными премиями. Живет он в Калифорнии. Дни, когда ему не нужно преподавать в Беркли, проводит в городке Инвернесс на полуострове Пойнт-Рейс, и, возможно, именно поэтому линия морского горизонта появляется в его стихах довольно часто.

Стихи Роберта Хасса — идеально сбалансированные конструкции. Иначе говоря, слишком яркую эмоцию Хасс приглушает верлибром или же, наоборот, расшатывает буддийское оцепенение зимних американских пейзажей ритмом, который задают переносы строки.

Очень часто стихотворение Хасса строится на развертывании сюжета или на доказательстве философского тезиса. В таких случаях поэт балансирует «на грани» прозы, а стихотворение стремится к новелле или к логическому высказыванию — о чем свидетельствует его сборник «Людские желания». Неизбежная в таких случаях «сухость», однако, всегда скрашена у Хасса самыми простыми образами: «картинка», будь то туманный залив или пара рыжих лисиц, для его стихотворений едва ли не обязательна. Лаконичная дотошность, с которой поэт воспроизводит и — что тоже очень важно — озвучивает «картинку» («прыг-скок» теннисного мячика, треск коры, лай собаки), напоминает древневосточную лирику, поэтому я нисколько не удивился, узнав, что Хасс является составителем антологии хайку Иссы и Басё.

Литературные пристрастия Хасса также обусловлены его поэтикой, обрисованной нами в общих чертах выше. Он много переводил и переводит из Чеслава Милоша, в творчестве которого мысль, заключенная в поэтическую форму, находит наиболее яркое выражение. Неоднократно Хасс обращался и к Тумасу Транстрёмеру, оценив пейзажный аскетизм шведского поэта. Надо полагать, что активное участие Хасса в различных экологических движениях — это продолжение поиска новой формы для его поэтического самовыражения, но уже совсем в другом жанре. Иногда, впрочем, переход через границу жанра бывает важнее самого жанра — что Хасс, без сомнения, прекрасно знает.

Счастье

Потому что вчера утром
сквозь запотевшие от дождя стекла
мы увидели за ручьем двух рыжих лисиц,
поедавших яблоки, что попáдали за ночь (лисицы
посмотрели на нас своими зелеными глазами —
таким дóлгим взглядом, что я вдруг понял:
вот оно, чудо чужой жизни — и вернулись к яблокам),

© Robert Hass, 1996
© Г. Шульпяков. Перевод, вступление, 1999

и потому что сегодня утром
она вышла на балкон с этюдником и черным карандашом
в надежде уловить наконец то, что всегда от нее ускользало,
я же сел за руль и отправился в город
выпить чаю в кафе, сделать кое-какие заметки в блокноте,
а туман над заливом редел, и, казалось, сходила
пелена, за которой скрывалась какая-то сущность,
и гусиная стая сидела на мокрых полях, подкрепляясь,
как и прошлой зимою, на наших озимых
(вот еще одно чудо чужой жизни,
их часто называют «поющие гуси»:
снежно-белые с черными точками глаз),

и еще потому, что чай дымился передо мной,
а в блокноте, открытом на чистой странице,
ничего пока не было, кроме предчувствий,
я написал: *вот оно, счастье!*
на дворе заморозки, декабрь,
сегодня утром мы проснулись рано
и целовались в постели не размыкая век,
как летучие мыши.

Рождение музыки

Не написать ли мне стихи о благодати?

Когда рухнуло то, что рухнуло,
и погибло то, что погибло,
когда герой с отвращением смотрит на свое отражение в зеркале,
а героиня замечает, что морщин на лице стало больше,
когда оба чувствуют, что боль, которая живет в них,
притупилась, но не ушла,
когда уже можно подумать, спокойно и отрешенно,
о других людях, что спешат по своим делам,
об их пристрастиях и антипатиях, привычках и страхах
и о том, что любовь к себе оказалась сорным
цветком, за который они так цеплялись, —
да и кто может устоять против ее грубой, неистовой силы,
разве святой отшельник, погруженный в молчание и аскезу, —
вот тогда в их душе и рождается то, что похоже,
словно свет или отзвук мелодии, на благодать.

Мой приятель рассказал мне историю о том,
как он пытался покончить с собой, когда от него ушла девушка.
Сначала в его сердце поселились пчелы, потом
скорпионы, потом короеды. Когда же от сердца
осталась труха, он забрался на балку моста.
Над ним ярко светило солнце, внизу блестел залив,
и там, стоя на морском ветру, он вдруг подумал:
какое странное это слово — «морепродукты»,
никто ведь не говорит — «землепродукты».
И еще было в этом слове что-то обидное —
для полосатых окуней, которых он ловил на спиннинг
со скалы, а также для блестящих, как уголь, угрей,

проплывавших в прибрежных дебрях. И тогда он понял,
что это слово относится только к мидиям, крабам и устрицам,
во всех остальных случаях в меню пишут: «рыба»...
И когда он проснулся — а он проспал несколько часов,
свернувшись, как младенец, калачиком на широкой балке, —
солнце уже садилось, он почувствовал, что ему стало лучше,
и — испугался. Он надел куртку, которая служила ему подушкой,
осторожно спустился с моста
и поехал обратно — в пустое жилище.

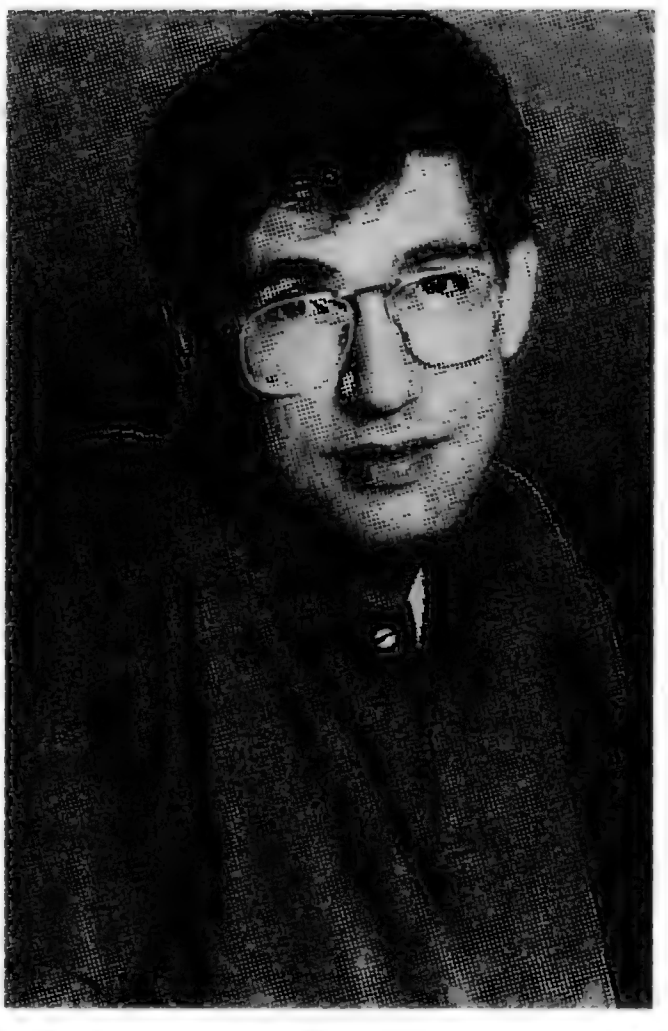
На крючке в ванной комнате он обнаружил
ее желтые трусики. Изучил их. Нашел, что застираны.
Заметив крохотное бурое пятнышко там, где промежность,
он задохнулся от тоски и боли. Он догадывался,
где она сейчас: в одной из квартир на Русском Холме.
Они только что занимались любовью. У нее на глазах слезы,
она нежно трогает его подбородок и говорит: «Господи,
мне было так хорошо с тобой». За окном —
мерцающие огни и туман, густеющий над заливом.
«Ты грустишь, — спросит он, — о нем?»
«Да», — ответит она и разрыдается. «Я так хотела,
чтобы все было хорошо», — всхлипывая, добавит она,
и он крепко обнимет ее
(на стене циновки, привезенные им из Гватемалы),
и они снова займутся любовью. Позже,
всплакнув еще раз, она уснет.

...Он прокрутил перед собой эту сцену
не однажды, и сказал себе: ну что ж,
ничего не поделаешь, надо жить с этим
долгое-долгое время, поскольку
ничего другого не остается... Потом
он вышел на крыльцо и стал слушать
вечерний шум летнего леса и тихий
треск, с которым лопается кора деревьев,
когда приходит ночная прохлада.

И все-таки это не из тех историй,
когда приятель, наклонясь к вам, шепчет: «И тогда я понял...»,
как обычно бывает в таких историях, которым
все равно никто до конца не верит. Просто
я подумал — если в мире так много боли,
то она непременно должна превращаться в музыку,
и что этот случай лишь подтверждает порядок:
сначала любовь к себе, потом боль, потом музыка.

В сорок с небольшим

Она задумчиво говорит: «Если ты когда-нибудь меня бросишь
и уйдешь к другой, моложе меня, и родишь от нее ребенка,
я всажу тебе в сердце нож». Они лежат в постели,
и она, забираясь к нему на грудь, повторяет,
глядя прямо в глаза: «Ты понял? В самое сердце».



ОРХАН ПАМУК

Черная книга

РОМАН

Перевод с турецкого ВЕРЫ ФЕОНОВОЙ

Роман-цивилизация, или Возвращенное искусство Шехерезады

«Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь чужой жизнью?» — спрашивает герой памуковской «Черной книги» (по-турецки ее заглавие звучит еще лучше — «Кара китап»), на самом деле задавая этот вопрос — так уж устроена любая книга! — нам, ее читателям. А каждый из шести изданных на нынешний день романов Орхана Памука прочитали сегодня сотни и сотни тысяч людей не только у него на родине, но и в большинстве стран Запада. Сорокасемилетний на нынешний день Памук — вероятно, главное открытие в мировой литературе девяностых годов (вместе с ним событием, кажется, стала и вся новейшая турецкая проза, включая совсем не «женские» романы писательниц Латифе Текин или Эмине Оздамар, в зеркала которых сейчас с интересом вглядывается Европа).

Орхан Памук — представитель старой и состоятельной семьи выходцев из греко-турецкого городка Маниса (древняя Магнезия) неподалеку от Измира (Смирны). Учился в американском Роберт-колледже, лучшей стамбульской спецшколе, три года стажировался в США, сейчас живет в Стамбуле. Дебютировал в 1979 году, двадцатисемилетним. В начале девяностых итальянский писатель Марио Бьонди окрестил Памука турецким Умберто Эко. «Великий турецкий роман» — представлял «Черную книгу» испаноязычным и французским читателям в 1996 году Хуан Гойтисоло. «Если говорить словами Борхеса и Памука...» — заканчивалась рецензия на американское издание «Кара китап» (1995) в газете «Нейшн». Дар воображения, пластическую силу и убедительность Памука сравнивали с энергией фантазии у Германа Гессе и Итало Кальвино, Джеймса Грэма Балларда, Уильяма Гасса, Джанет Уинтерсон. Мне же он напомнил тех — не раз и не два поминавшихся Борхесом — полуночных сказителей, confabulatores nocturni, которые слово за слово сплетают в веках бесконечную книгу «Тысячи и одной ночи» и которых звал к себе с восточных базаров скрасить бессонницу легендарный Зу-л-Карнайн, Александр Великий. С ковроткаческой выдумкой повествователей из городского торгового люда Памук соединяет многослойную аллегорическую метафорику ученой поэзии суфиев. Не зря герой нескольких «рассказов в рассказе», составляющих головокружительные галереи и лабиринты «Кара китап», — автор знаменитой и беспредельной «Книги о сокрытом смысле», легендарный персоязычный поэт-мистик XIII века Джалалиддин Руми, получивший титул «Мевляна» (наш господин).

Роман Памука — четвертый у него по счету — был написан в 1985—1989 годах, опубликован в 1990-м. Через год известный турецкий кинорежиссер О. Кавур снял

© Orhan Pamuk, 1990
© Вера Феонова. Перевод, 1999
© Б. Дубин. Вступление, 1999
Роман печатается в журнальном варианте.

по книге фильм (позже вышли памуковские романы «Новая жизнь», 1994, и «Меня называют Красный», 1998, ставшие в Турции уникальными по популярности бестселлерами). Поскольку «Черная книга» — если брать лишь *один* из уровней повествования — детектив («первый турецкий детективный роман», как отмечено в самом его конце), то я не стану излагать сюжет, прослеживать повороты запутанной интриги и предварять криминальную развязку. Скажу лишь, что перед читателями — классический, родовой образец романного жанра, «роман поиска» (novel of the quest). Причем поиск этот ведется опять-таки в нескольких направлениях и нескольких смысловых планах: Памук — писатель-симфонист, мастер большой формы; одному из рецензентов его роман напомнил гигантский кристалл Дантовой «Комедии».

Герой романа Галип (Шейх Галип — эта подразумеваемая перекличка важна! — крупнейший турецкий поэт-суфий XVIII века, член братства последователей Руми) несколько дней ищет по огромному Стамбулу внезапно пропавшего двоюродного брата, известного журналиста, мистификатора, исследователя чужих секретов и любителя головоломных псевдонимов Джеляля Салика и свою, тоже исчезнувшую, жену, поклонницу зарубежных детективов Рюйю (по материнской линии она, кстати, принадлежит к роду пророка Мухаммеда, а ее имя означает «мечта, греза»). Вместе с тем идущий по следам брата Галип отыскивает по его старым заметкам и памятным для них обоих с детства уголкам города *самого себя*, сливаясь с образом брата, больше того — как бы занимая его место и становясь писателем. «Единственный способ для человека стать собой, — заключает он в финале книги, — это стать другим, заплутаться в историях других».

Джеляль же в своих корреспонденциях — ими перемежаются сюжетные главы романа — пытался среди прочего разгадать тайну Мевляны: понять загадочную фигуру его духовного возлюбленного-двойника и наставника-мюрида, «зеркала его лица и души» Шемса Тебризи, разобраться в подробностях и смысле таинственного убийства Тебризи — из тоски по ушедшему другу и родилась у Руми его великая «Месневи». Кроме того, журналист, видимо, оказался опасным свидетелем политических игр в верхах. С образами закулисного комплота и тайного общества в роман входит дальняя и ближняя история Турции в ее отношениях с мифологизированным Западом: тема скрытого спасителя-махди и лжемессии с его лжепророками, мотив готовящегося пришествия антихриста (перекличка с «Легендой о Великом инквизиторе»), череда исторических развилок и нового выбора пути в сменяющихся попытках жесткой модернизации сверху и консервативного противостояния им снизу вплоть до кемалистской революции первой четверти XX века, левого подполья 1940—1950-х и военного путча в начале 1980-х годов. Романный quest приобретает еще более обобщенный, глубокий смысл. Наконец, через биографии героев в «Черную книгу» вплетаются мотивы религиозной ереси и двойничества. Дело в том, что братства-ордена́ хуруфитов и бекташи основаны на суфийской философии, которая подпитывает сюжетные перипетии романа.

Виртуозно оркестрованное повествование, то отвлекаясь в сторону и как бы спохватываясь лишь через несколько глав, то делая ложные ходы и тут же посмеиваясь само над собой, бликуя из второй части в первую и наоборот, эпизод за эпизодом набирает широту и силу. Рассказ о нескольких днях из жизни трех человек, наращивая слои как автобиографического, так и исторического материала, которые к тому же перекликаются друг с другом, становится своего рода хартией ближневосточного жизненного уклада — старой цивилизации, где сочетаются язычество и христианство, правоверный ислам и конкурирующие с ним движения и секты, седая древность и новомодная однодневка; так в находках на дне Босфора из заметки Джеляля соседствуют олимпийские византийские монеты и крышки от газировки «Олимпос». В сторону замечу: видимо, большую романную форму — по крайней мере, в XX веке — не поднять и не удержать, не синтезировав кропотливую реальность частного времени и места с универсальным горизонтом символов и идей, не соединив древность начал и высоту ориентиров. Кстати, не частый, но и не такой уж редкий в завершающемся столетии всеохватный роман-цивилизация, роман-хартия (прообраз их всех, джойсовский «Улисс», непредставим ни без гомеровской архаики, ни без католической литургии и латинской патристики, ни без дублинского нового Вавилона, но далеко не каждая даже из припозднившихся литератур может

подобным жанровым монстром похвалиться) — по-моему, одна из перспективных разновидностей крупной прозаической формы именно в последние десятилетия: для примера назову хотя бы «Хазарский словарь» Милорада Павича и «Лэмпировский словарь» Лоренса Норфолка, «Энциклопедию мертвых» Данило Киша, «Палинура из Мехико» Фернандо дель Пасо и «Дух предков, или Праздничную кутерьму на Иванову ночь» Хулиана Риоса. Причем подобная итоговая «хартия» не только вбирает в себя прошлое, по привычной нам формуле Белинского об энциклопедическом своде исторической и обыденной жизни нации (памуковский роман — неисчерпаемая коллекция бытовых вещей, умений и имен, примет своего времени, в том числе утерянных, забытых, потонувших или запавших в щель безделушек и мелочей), но и загадывает грядущее. В стереоскопической игре «тайной симметрии» — Гойтисоло говорит о «призматическом видении» Памука — роман постоянно отсылает не только к прошедшему, но и к будущему времени, а в одной из глав первой части, в очередном вставном рассказе одного из полуконспиративных персонажей разворачивается картина утопического государства завтрашнего дня.

Метафоры тайного сокровища и неотступного — то скрытого, то явного, а то и ложного — двойника, перекличка облика и отображения, города и карты, игра снов и зеркал, а в конце концов жизни и искусства в смене их сходств и различий («Все убийства, как и все книги, повторяют друг друга», — говорит Джеляль) — сквозные мотивы «Черной книги». Так, одно из навязчивых видений Джеляля — «третий глаз» («...глаз — это человек, которым я хотел бы быть»). Эта образная нить — Гойтисоло вспоминает в связи с Памуком иллюзионистскую архитектуру борхесовских новелл и сервантесовского романа — дает и чисто сюжетные узлы (скажем, представленный легковерным журналистам из Би-би-си макабрный театр исторических манекенов в заключительных главах первой части или подпольный публичный дом, где каждая из обитательниц изображает турецкую кинозвезду, соответственно, выступавшую некогда в нашумевшем кинохите в роли девицы легкого поведения). Но развиваются эти метафоры и в более общем плане — как своего рода философия романного письма. Здесь Памук повествовательными средствами разыгрывает, доводя до гротеска, некоторые идеи хуруфизма, своего рода исламской каббалистики с ее идеей соответствий между чертами внешнего образа (обликом места, лицом человека), буквами арабского алфавита и божественным строем мира в его пространственном и временном целом. В главе «Тайна букв и забытая тайна» символическая значимость любого предмета, имени, жеста, поступка вырастает перед героем до циклопического наваждения, угрожая ему утратой разума.

Вероятно, самая блистательная находка Памука здесь — замечательно воссозданный им в хронологической многослойности и социальной полифонии образ Стамбула. Гойтисоло верно замечает: подлинный главный герой памуковского романа — город. И какой! Город-символ, разорванный, как всякий символ, надвое между Европой и Азией. Палимпсест трех тысячелетий. Столица четырех империй от Римской до Османской, включая средневековую Латинскую, основанную крестоносцами. Странствия героев по пространству стамбульских кварталов, по векам истории, этапам собственной жизни, часам изменчивого дня — особое и увекательнейшее измерение «Черной книги». Уверен, ее будущие издания еще снабдят особым атласом и путеводителем, но уже и для сегодняшних читателей памуковский Стамбул вошел в особую литературно-историческую географию наряду с гамсуновской Кристианией и Парижем Пруста, Бретона или Кортасара, борхесовским Буэнос-Айресом, беньяминовским или набоковским Берлином и милошевским Вильно. Не случайно одна из финальных, символически нагруженных сцен романа — конкурс на лучшее изображение достопримечательностей и красот Стамбула, иронически рассчитанный опять-таки на глаз иностранца. Картины размещены в зале городского увеселительного заведения. Первую премию получает участник, придумавший повесить на противоположной стене гигантское зеркало. И очень скоро зрители замечают, что образы в зеркале живут своей жизнью — сложной, непредсказуемой и грозной...

БОРИС ДУБИН

Айлын посвящается

Согласно рассказанному Ибн Араби[1] якобы реальному случаю, его товарищ, бродячий дервиш, вознесенный духами на небо, сразу достиг легендарной горы Каф[2] и увидел, что она со всех сторон окружена змеями. Известно, что нет такой горы, как и нет змей вокруг нее.

Энциклопедия ислама

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Как Галип впервые увидел Рюйю

Не пользуйтесь эпиграфами, ибо они убивают тайну написанного.

Адли[3]

Коль суждено тайне погибнуть, убей сам и тайну, и лжепророка, ее сотворившего.

Бахти[4]

В приятной теплой полутьме комнаты Рюйя, уткнувшись в подушку, спала под покрывавшим всю кровать голубым в клеточку одеялом, складки которого образовывали мягкие холмы и тенистые долины. Снаружи в комнату проникали первые звуки зимнего утра. Шуршание шин редких автомобилей, скрип старых автобусов, звяканье поднимаемых и опускаемых на мостовую кувшинов салепщика[5], работающего в паре с пекарем, свистки распорядителя на стоянке маршрутных такси. По комнате разливался зимний серый свет, оттеняемый синими занавесками. Галип сонно посмотрел на видневшуюся из-под одеяла голову жены: подбородок ее тонул в пуховой подушке. Он видел только верхнюю часть лица, на котором проступало загадочное выражение, побуждающее с испугом задуматься: какие необычные мысли крутятся сейчас в этой голове? В одной из статей Джеляль писал: «Память — это сад...» У Галипа в уме тогда мелькнуло: «Сады Рюйи, сады Рюйи... — но он тут же оборвал себя: — Не думай, не думай: начнешь ревновать!» Однако сейчас, глядя на лицо жены, он задумался.

Он хотел бы прогуляться под ивами, акациями и вьющимися розами в запретном для него саду памяти Рюйи, погруженном в покой сна... Хотя и испытывал некий страх перед теми, с кем мог там встретиться: «Ааа... и ты здесь, привет!» Кроме неприятных лиц, о которых он знал и встреча с которыми его не удивила бы, он мог, к своему огорчению, наткнуться на тени мужчин, о существовании которых не подозревал: «Простите, а вы откуда знаете мою жену?» — «Ну как же! Мы познакомились три года назад в вашем доме... в лавке Алааддина, когда она покупала зарубежный журнал мод... в школе, куда вы ходили вместе... у входа в кинотеатр, вы еще держались за руки...» Нет, наверно, все же память Рюйи не так перенаселена и беспощадна; возможно даже, в единственном освещенном солнцем уголке темного сада своей памяти Рюйя вышла на лодочную прогулку с Галипом. Через полгода после того, как семья Рюйи приехала в Стамбул, оба они, Галип и Рюйя, одновременно заболели свинкой. Мать Галипа и красивая мать Рюйи, тетя Сузан, иногда возили их в трясущихся по мощеным дорогам автобусах в Бебек или Тарабью[6] покататься на лодке. В те времена было много болезней, но мало лекарств: считалось, что детям, болеющим свинкой, полезен чистый воздух Босфора. Утром море было

---

[1] Ибн аль-Араби (1165—1240) — арабский поэт и философ-мистик. (*Здесь и далее — прим. перев.*)
[2] В мусульманских преданиях: священная гора, отделенная от земли непроходимым пространством.
[3] Вымышленное автором лицо.
[4] Вымышленное автором лицо.
[5] Салепщик — продавец традиционного турецкого напитка салепа — горячего настоя из ятрышника.
[6] Районы в европейской части Стамбула на берегу Босфора.

спокойным, лодка белой, лодочник, всегда один и тот же, дружелюбным. Мама и тетя садились на корму лодки, а Рюйя и Галип — рядышком на носу, скрытые от матерей могучей спиной лодочника. Море медленно колыхалось под их спущенными в воду ногами с одинаково тонкими лодыжками; они смотрели на водоросли, радужные пятна мазута, мелкую полупрозрачную гальку и куски газеты на ней с четким шрифтом; они высматривали там имя Джеляля.

В день, когда Галип впервые увидел Рюйю, за полгода до того, как они заболели свинкой, он сидел на табуретке, поставленной на обеденный стол, а парикмахер стриг его. В ту пору высокий усатый парикмахер Дуглас по будним дням приходил к ним домой и брил Дедушку. Как раз тогда перед лавками Араба и Алааддина построили кофейни, контрабандисты продавали нейлоновые чулки, в Стамбуле появилось много «шевроле» 56-й модели, а Галип пошел в школу и пять дней в неделю внимательно читал статьи Джеляля за подписью Селим Качмаз на второй странице газеты «Миллиет»; читать Галип научился не тогда; читать и писать его научила Бабушка двумя годами раньше: они садились на угол обеденного стола, и Бабушка хриплым голосом объясняла самое большое из чудес — как бьются друг о друга буквы; Бабушка выдыхала дым сигареты «Бафра», вечно торчавшей в уголке ее рта, от дыма у внука слезились глаза, а громадного размера лошадь в букваре становилась голубой и расплывалась. Эта огромная лошадь, надпись под которой удостоверяла, что она лошадь, была больше костлявых лошадей, впряженных в повозки водовоза и жулика-старьевщика. Галипу хотелось капнуть на изображение этой крепкой лошадки волшебным эликсиром, который, попав на рисунок, оживит его, однако позже, когда ему не разрешат пойти сразу во второй класс и он по тому же букварю с лошадью будет учиться читать и писать еще и в школе, он сочтет это свое желание глупостью.

Если бы Дедушка тогда, как обещал, принес чудодейственное лекарство в бутылке гранатового цвета, Галип плеснул бы чудесную жидкость на страницы старых пыльных журналов «Иллюстрасьон», заполненные фотографиями цеппелинов, пушек и лежащих в грязи убитых в первой мировой войне; на открытки, присланные дядей Мелихом из Парижа и Марокко, на вырезанные Васыфом из газеты «Дюнья» снимки орангутангов, кормящих детенышей, на лица странных людей, тоже вырезанные из газет, но уже Джеляле. Однако Дедушка теперь не выходил никуда, даже в парикмахерскую, а сидел весь день дома. Одевался он так же, как в те дни, когда еще выходил на улицу: в старый, с широкими лацканами, английского покроя пиджак, свинцового, как и его отрастающая за воскресенье щетина, цвета, потертые брюки и чиновничий, как называл отец, галстух-шнурок. Мать произносила не «галстух», а «галстук», потому что ее семья была богаче. Мать с Отцом говорили о Дедушке, как говорят о старых деревянных домах, с которых каждый день осыпается кусочек штукатурки; потом, когда, забыв про Дедушку, родители начинали громко спорить между собой, они поворачивались к Галипу: «Иди наверх, поиграй». — «Мне подняться на лифте?» — «Нет, один на лифте не езди!», «Один в лифт не садись!» — «Можно мне поиграть с Васыфом?» — «Нет, он сердится!»

Васыф был глухонемой, он прекрасно понимал, что, ползая по полу, я играю в «потайной ход» и, пробираясь под кроватями, оказываюсь в конце пещеры, в мрачном подземелье под домом; я — солдат и бесшумно, как кошка, крадусь по туннелю, прорытому к окопам врага; Васыф не сердился, но кроме меня и Рюйи, которая появилась позже, никто не знал этого. Иногда мы с Васыфом подолгу смотрели из окна на трамвайные линии. Одно окно эркера нашего бетонного дома выходило на мечеть — один мир; другое на женский лицей — совсем другой мир; между этими двумя мирами находились полицейский участок, высокий каштан, перекресток и бойко торгующая лавка Алааддина. Мы смотрели на входящих и выходящих из лавки, показывали друг другу проезжающие машины, и Васыф вдруг начинал волноваться и издавал страшные хриплые звуки, словно во сне схватился с дьяволом, а я всякий раз чего-то пугался. Дедушка с Бабушкой сидели друг против друга недалеко от нас, слушая радио и дымя сигаретами, как две трубы; Дедушка, одна нога которого покоилась на низенькой скамеечке, говорил: «Васыф

снова напугал Галипа», а Бабушка без всякого интереса, по привычке, спрашивала: «Сколько вы там машин насчитали?» Но не слушала моего ответа о числе «доджей», «паккардов», «де сото» и новых «шевроле».

Радиоприемник, на котором стояла фигурка спокойной пушистой, совсем не турецкой собаки, был постоянно включен, и Бабушка с Дедушкой с утра до вечера слушали турецкую и европейскую музыку, известия, рекламу банков, одеколонов и лотерей и без умолку разговаривали. Они частенько жаловались на сигареты, которые не выпускали изо рта, — так жалуются на привычную непрекращающуюся зубную боль — и обвиняли друг друга в том, что никак не могут бросить курить; когда один заходился в кашле, другой с победным и радостным видом, впрочем быстро сменявшимся беспокойством и гневом, говорил: «Видишь, моя правда, надо бросать!» А тот, кто кашлял, нервно парировал: «Ради Всевышнего, отвяжись, только и осталось радости-то, что сигареты! — А потом добавлял почерпнутое из газет: — Говорят, они успокаивают нервы!» После этого Дедушка и Бабушка некоторое время молчали, и было слышно тиканье стенных часов в коридоре, но длилось это недолго. Они разговаривали и во время чтения шуршащих газет, и во время послеобеденной игры в карты, а когда вечером собирались родственники, чтобы вместе поужинать и послушать радио, Дедушка, огорченный очередной статьей Джеляля, говорил: «Может, он образумился бы, если б ему разрешили подписываться своим именем». — «Ведь взрослый человек, — вздыхала Бабушка и с выражением искреннего любопытства задавала, словно в первый раз, вопрос, который задавала всегда: — Интересно, он так плохо пишет потому, что ему не разрешают подписываться своим именем, или ему не разрешают подписываться своим именем потому, что он так плохо пишет?» — «Во всяком случае, — подхватывал Дедушка, — благодаря тому, что ему не разрешают ставить свою подпись под статьями, мало кто понимает, что он позорит именно нас». Это было их единственное утешение. «Никто не понимает! Разве кто-нибудь когда-нибудь говорил, что он пишет о нас?» — убежденно подтверждала Бабушка, но даже Галип улавливал, что доля сомнения в ее словах все же есть. Однажды, когда он уже стал получать еженедельно сотни писем от читателей, Джеляль слегка подредактировал и опубликовал одну из старых статей — на сей раз под своим громким именем; одни говорили, что он сделал это, так как у него иссякло воображение, другие — что из-за женщин и политики у него нет времени, а третьи — что он просто ленив. Дедушка с видом посредственного актера, повторяющего в сотый раз надоевшую и оттого фальшиво звучавшую реплику, возмущался: «Кто же не знает, что в статье «Дом» он пишет именно о нашем доме!» Бабушка молчала.

Дедушка начал рассказывать сон, который впоследствии будет ему часто сниться. Сон Дедушки был, как и те истории, которые Бабушка с Дедушкой рассказывали друг другу целый день, голубого цвета; так как в продолжение сна не переставая шел синий дождь, у Дедушки быстро росли волосы и борода. Терпеливо выслушав сон, Бабушка говорила: «Скоро придет парикмахер». Но Дедушку это не радовало: «Уж очень он много болтает и много вопросов задает!» Несколько раз Галип слышал, как после пересказа голубого сна и разговора о парикмахере Дедушка тихо говорил: «Надо было строить другой дом и в другом месте. Этот оказался несчастливым».

Позднее, когда они, продав, этаж за этажом, дом Шехрикальп[1], переехали в новый, похожий на все окружающие, где рядом с ними жили мелкие торговцы готовой одеждой, где размещались кабинеты гинекологов, делающих подпольные аборты, и страховые конторы, всякий раз проходя мимо лавки Алааддина и глядя на уродливый, мрачный старый дом, Галип думал: почему Дедушка так сказал? В то время Галипу казалось, что «несчастье» в Дедушкином мозгу связывалось с отъездом за границу старшего сына, бросившего жену с ребенком, и его возвращением в Стамбул с новой женой и дочерью (Рюей); Галип догадывался об этом, так как видел, что Дедушке вообще не нравится эта тема и не нравится вопрос: «Когда ваш старший возвращается из Африки?», который неиз-

[1] В Турции владельцы часто дают своим домам названия; Шехрикальп — сердце города.

менно, скорее по привычке, чем из любопытства, задавал во время бритья парикмахер,' — дяде Мелиху потребовались долгие годы на то, чтобы вернуться домой — сначала из Европы и Африки в Турцию, а потом — из Измира в Стамбул.

Когда начинали строить этот дом, дядя Мелих еще был в Стамбуле; Джеляль рассказывал, что отец Галипа и его братья приходили на стройку из принадлежащей им аптеки в Каракёе[1] и кондитерской в Сиркеджи[2], где они продавали сладости, а потом, не выдержав конкуренции с локумами и прочими изделиями Хаджи Бекира, стали торговать вареньем из айвы, инжира и вишен, которое варила и разливала по банкам Бабушка; туда же повидаться с родственниками приходил дядя Мелих; ему еще не было тридцати, в своей адвокатской конторе он чаще устраивал скандалы, чем занимался практикой, а на страницах старых дел рисовал карандашом пароходы и необитаемые острова; под вечер, появившись в Нишанташи[3], он снимал пиджак, галстук и включался в работу, чтобы подстегнуть рабочих, которые расслаблялись к концу рабочего дня. Как раз в это время дядя Мелих начал говорить, что необходимо кому-то поехать во Францию и Германию, чтобы изучить кондитерское дело в Европе, заказать красочную бумагу для упаковки засахаренных каштанов, договориться с французами о совместном производстве разноцветного пенящегося банного мыла, приобрести по дешевке — коль скоро в Европе и Америке свирепствует кризис и фабрики разоряются одна за другой — необходимое оборудование, а также купить рояль для тети Хале и показать глухонемого Васыфа хорошему отоларингологу и психоневрологу. Через два года Васыф и дядя Мелих отбыли в Марсель на румынском пароходе («Тристана»); Галип видел этот пароход на пахнувшей розовой водой фотографии из Бабушкиной коробки, а через восемь лет Джеляль прочитал в газетных вырезках Васыфа сообщение о том, что «Тристана» затонула, напоровшись на блуждающую мину. К моменту отъезда дяди Мелиха строительство дома было закончено, но в него еще не переехали. Вернувшийся год спустя уже один и поездом (на вокзал в Сиркеджи) Васыф «разумеется» оставался глухим и немым (Галип долгое время не мог разгадать причину и тайну этого многозначительного «разумеется», на котором всегда делала упор тетя Хале), но зато в руках он крепко держал аквариум с японскими рыбками; первое время Васыф не мог оторваться от рыбок, когда он смотрел на них, у него перехватывало дыхание, а иногда на глаза наворачивались слезы; и через пятьдесят лет Васыф будет так же наслаждаться внуками внуков этих рыбок. Джеляль с матерью в то время жили на третьем этаже, но, поскольку надо было посылать деньги дяде Мелиху, чтобы он мог продолжать свои коммерческие дела в Париже, они сдали квартиру какому-то армянину, а сами перебрались в крохотное помещение под крышей, которое поначалу использовалось как кладовка, а потом было превращено в подобие квартиры. Когда из Парижа от дяди Мелиха все реже стали приходить письма с описанием сладостей и пирожных и способов изготовления мыла и одеколонов, а также фотографиями артистов и балерин, жующих эти сладости и пользующихся этой парфюмерией, когда уменьшилось количество посылок с мятной зубной пастой, засахаренными каштанами, образцами шоколада с ликером, игрушечными пожарными машинами и матросской шапочкой, мать Джеляля решила переехать с сыном к своему отцу. Утвердилась она в своем намерении вернуться в деревянный дом в Аксарае[4], принадлежащий ее матери и отцу, мелкому служащему в фонде недвижимости, после того, как началась мировая война и дядя Мелих прислал им из Бенгази[5] открытку, на которой был изображен минарет странной мечети и самолет. После этой коричнево-белой открытки, где он сообщал, что дороги возвращения на родину заминированы, он прислал другие, черно-белые, из Марокко, куда отправился уже после войны. Потом пришла открытка, на которой был изображен раскрашенный от руки колониальный отель, послуживший съемочной площадкой для

---

[1] Каракёй — район Стамбула на берегу Золотого Рога и Босфора.
[2] Район Стамбула на берегу Босфора; там находится одноименный вокзал, откуда отправляются поезда в Европу.
[3] Район в центре европейской части Стамбула.
[4] Аксарай — район в европейской части Стамбула.
[5] Город в Ливии.

американского фильма, где торговцы оружием и шпионы избивали женщин из бара; из этой открытки Бабушка и Дедушка узнали, что дядя Мелих женился на турчанке, с которой познакомился в Марракеше[1], что невестка происходит из рода Мухаммеда и что она очень красивая. (Много позже, определив страны по флагам, которые развевались над балконом второго этажа отеля, Галип, в очередной раз разглядывая открытку и размышляя так же, как Джеляль в статье «Бандиты Бейоглу[2]», решил, что один из номеров этого отеля цвета крема для пирожного является местом, где было «брошено семя» Рюйи.) Когда через шесть месяцев после этого пришла открытка из Измира, никто не мог поверить, что ее прислал дядя Мелих: считалось, что он уже не вернется в Турцию; ходили сплетни, что дядя Мелих с женой приняли христианство, что они примкнули к миссионерам, направляющимся в Кению, и там, в долине, где львы охотятся на трехрогих оленей, построили храм секты, объединяющей крест и полумесяц. А один сплетник, знакомый с измирскими родственниками невестки, сообщил, что дядя Мелих в результате мошеннических операций (торговля оружием, взятка какому-то королю), которые он провернул в Северной Африке во время войны, стал миллионером, что он, не в силах противиться капризам легендарной красавицы жены, собирается с ней в Голливуд, где ее, как они полагали, ждет слава, и что фотографии невестки печатаются в арабских и французских журналах и т. п. А дядя Мелих тем временем прислал открытку, и она неделями гуляла по этажам дома и в результате была исцарапана в разных местах ногтями, словно денежная купюра, в подлинности которой сомневаются, и в этой открытке писал, что умирает от тоски по родине — так он объяснил их решение вернуться в Турцию. «В настоящий момент» дела у них идут неплохо, он ставит на новую, современную ногу бизнес тестя, занимающегося торговлей инжиром и табаком. Вскоре пришла еще одна открытка, где путано говорилось о проблемах с акциями; она была истолкована на каждом этаже по-своему, и из-за этих акций вся семья оказалась вовлеченной в ссору. Прочитав эту открытку будучи взрослым, Галип понял, что дядя Мелих не таким уж непонятным языком сообщал, что собирается в недалеком будущем вернуться в Стамбул и что у него родилась дочь, но имени ей ещё не дали.

Бабушка втыкала открытки по краям зеркала в буфете, в котором хранился ликерный набор; на одной из них Галип впервые прочитал имя Рюйи. Эти открытки с изображениями церкви, моста, моря, башни, корабля, мечети, пустыни, пирамиды, гостиницы, парка и различных животных складывались во вторую раму вокруг зеркала и время от времени вызывали гнев Дедушки; здесь же находились и сделанные в Измире фотографии Рюйи в младенчестве и в детстве. Галипа тогда не столько интересовала дочь дяди (по-новому, кузина), как говорили, его ровесница, сколько тетя Сузан из рода Мухаммеда, которая печально смотрела в камеру, раздвинув рукой сетку у входа в черно-белую пещеру, где в будоражащей воображение, пугающей глубине находилась ее дочь Рюйя. Фотографии Рюйи долго путешествовали из рук в руки, и в конце концов все мужчины и женщины поняли, что там, внутри пещеры, скрывается красота. Чаще других в семье обсуждался вопрос о времени прибытия дяди Мелиха с семьей в Стамбул и о том, на каком этаже они будут жить. Мать Джеляля, вышедшая замуж за адвоката, умерла молодой от болезни, которую врачи не сумели установить; Джеляль после ее смерти не в силах был жить в Аксарае, в доме с пауками, и по настоянию Бабушки вернулся в дом Шехрикальп и поселился в мансарде. Он писал о футбольных матчах, пытаясь разобраться в интригах вокруг футбола, рассказывал о таинственных и искусных преступлениях смельчаков из баров, притонов и публичных домов в закоулках Бейоглу, составлял кроссворды, где черных клеточек всегда было больше, чем белых; когда его патрон не мог прийти в себя после вина с наркотиком, писал за него продолжение приключенческого романа; имя Джеляля можно было встретить в рубриках «Читаем вашу судьбу по руке», «Толкование снов», «Ваше лицо — ваша личность», «Ваш зодиакальный знак сегодня» (в этой рубрике впервые стали помещать приветы родственникам, знакомым, а по неко-

[1] Марракеш — город в Марокко.
[2] Фешенебельный район в центре Стамбула.

торым утверждениям, и любимым) и «Хочешь — верь, хочешь — не верь»; если оставалось время, Джеляль писал рецензии на последние американские фильмы, которые смотрел в кинотеатрах, куда его пускали бесплатно; всю эту работу он делал для газеты, где впоследствии будет — поначалу под псевдонимом — вести постоянную рубрику; говорили, что если он и дальше будет жить в доме с родственниками, то при таком усердии сможет заработать журналистикой достаточно денег и сможет даже жениться. Однажды утром, увидев, как брусчатку вдоль трамвайных путей бессмысленно покрыли асфальтом, Галип подумал, что «несчастье», о котором говорил Дедушка, каким-то образом связано с ужасной теснотой в доме, с чем-то неясным, нелогичным и пугающим. Будто назло тем, кто не принимал всерьез его открыток, в Стамбул вернулся дядя Мелих: он прибыл поздно вечером (не сообщив заранее о приезде) с красивой женой, красивой дочерью, чемоданами, сундуками и, естественно, поселился в мансарде, где жил Джеляль.

Ночью, перед тем как Галип опоздал в школу, он видел во сне свое опоздание: он ехал в автобусе, рядом с ним сидела красивая незнакомая девочка с голубыми волосами; автобус увозил их от школы, где предстояло прочитать последние страницы букваря. В тот день Отец тоже поздно пошел на работу. Они завтракали; косые лучи утреннего солнца освещали стол, покрытый скатертью, похожей на бело-голубую шахматную доску; Мать с Отцом говорили о поселившихся вчера в мансарде с таким безразличием, словно речь шла о мышах, которые обосновались в перекрытиях дома, или о привидениях и джиннах — любимая тема прислуги Эсмы-ханым. Галипу не хотелось думать ни о приехавших родственниках, ни о том, что он проспал и не пошел в школу. Он отправился на этаж Бабушки и Дедушки, но там парикмахер, брея не выглядевшего очень счастливым Дедушку, как раз спрашивал о тех, в мансарде. Открытки, прикрепленные к буфетному зеркалу, разлетелись по полу, в комнате появились незнакомые и непонятные предметы; Галип уловил новый запах, который он так полюбит потом. Вдруг ему захотелось увидеть страны, изображенные на открытках. И красивую тетю, фотографии которой он видел. Его охватило желание поскорее вырасти и стать мужчиной! Он заявил, что хочет постричься, Бабушка обрадовалась, но болтун-парикмахер ничего не понял: он усадил Галипа не в Дедушкино кресло, а на табурет, поставленный на обеденный стол. К тому же белая накидка, которую парикмахер, сняв с Дедушки, крепко повязал ему, была слишком велика: мало того, что она душила его, она еще свисала ниже колен, совсем как девчачья юбка. Потом, уже после их женитьбы через — как он подсчитал — 19 лет 19 месяцев и 19 дней после их первой встречи, глядя иногда по утрам на утонувшую в подушке голову жены, спящей рядом, Галип чувствовал, что голубизна одеяла, укрывавшего Рюйю, вызывала у него такое же беспокойство, как та, белая до голубизны, накидка, но жене он об этом никогда ничего не говорил; возможно, потому, что знал: Рюйя не будет менять одеяло по такой дурацкой причине.

Галип подумал, что газеты, должно быть, уже лежат под дверью, легко и бесшумно поднялся с постели, но ноги понесли его не в коридор, а на кухню. Чайника на кухне не оказалось, возможно, он был в гостиной, там же, где и заварочный. Судя по тому, что медная пепельница была доверху заполнена окурками, Рюйя снова просидела до утра, читая, а может, и не читая детективный роман. Чайник он нашел в ванной: поскольку напор воды был слабый и невозможно было пользоваться устрашающим сооружением, именуемым «колонка», воду для всех нужд подогревали в чайнике; чайник же был один, второго они так и не купили. Иногда, перед тем как лечь в постель, они, как Дедушка с Бабушкой и как Отец с Матерью, покорно и вместе с тем нетерпеливо ждали, когда нагреется вода.

Во время одной из ссор, начавшейся словами: «Брось ты эти сигареты», Бабушка, обвиненная в неблагодарности, заявила Дедушке, что хотя бы раз в жизни, но она встанет после него. Васыф это видел. Галип слышал и не понял, что Бабушка хотела этим сказать. Джеляль написал что-то на эту тему, но не в том смысле, как говорила Бабушка. Он написал: «Не рожать при свете дня, вставать до рассвета, подниматься с постели раньше мужчины — таковы деревенские обычаи». Прочитав заключительную часть этой

статьи, где Джеляль описывал в точности церемонию утреннего подъема Бабушки и Дедушки (сигаретный пепел на одеяле, зубные протезы, лежащие в стакане с зубными щетками, привычный просмотр газетных объявлений о смерти), Бабушка сказала: «Стало быть, мы деревенские!» А Дедушка добавил: «Чтобы он понял, что такое «деревенские», надо кормить его по утрам чечевичной похлебкой!»

Галип полоскал чашки, искал чистую вилку, нож и тарелку, доставал из пропахшего бастурмой холодильника похожую на пластмассу брынзу и маслины, брился, подогрев в чайнике воду; он хотел шумом разбудить Рюйю, но не получилось. Потом он глотал ненастоявшийся чай, ел черствый хлеб и маслины с тимьяном, сонно читал пахнувшую типографской краской газету, которую, достав из-под двери, положил рядом с тарелкой, и думал о том, что вечером они могли бы пойти к Джелялю или в кинотеатр «Конак». Дойдя до статьи Джеляля, он решил прочитать ее вечером, когда вернется из кино; глаза, независимо от его воли, выхватили первое предложение статьи, но он без колебаний отодвинул от себя газету, оставил ее раскрытой на столе, встал, надел пальто и почему-то снова зашел в спальню. Сунул руки в карманы, полные табачных крошек, мелочи и использованных билетов; некоторое время молча, внимательно и почтительно смотрел на жену. Потом повернулся, тихонько прикрыл за собой дверь и вышел.

Лестница, застланная только что вытряхнутыми половиками, пахла мокрой пылью и грязью. Воздух на улице тоже был грязный, темный от дыма — дома топили углем и мазутом. Было холодно; выдувая изо рта облачка пара, он прошел между сваленными на землю кучами мусора и встал в длинную очередь на стоянке маршрутного такси.

На противоположной стороне улицы старик в пиджаке с поднятым воротником выбирал у лоточника пирожки с мясом и сыром. Неожиданно для себя Галип выскочил из очереди, побежал за угол, всучил деньги газетчику, пристроившемуся у двери дома, взял газету «Миллиет» и, сунув ее под мышку, вернулся на место. Как-то Джеляль язвительным тоном копировал одну из своих престарелых почитательниц: «Мы с Мухарремом так любим ваши статьи, Джеляль-бей, что иногда покупаем сразу два экземпляра «Миллиет»!» Тогда они смеялись вместе — Галип, Рюйя и Джеляль. После долгого ожидания, изрядно промокнув под начавшимся дождем, Галип, толкаясь, влез в маршрутку, пахнущую влажной одеждой и табаком; убедившись, что общей дискуссии в машине не затевается, он старательно и с удовольствием, как истинный газетолюб, сложил газету до размера статьи в рубрике на второй странице, рассеянно посмотрел в окошко и начал читать свежее творение Джеляля.

Когда отступили воды Босфора

Нет ничего более удивительного, чем жизнь.
Кроме слова.

Ибн Зерхани[1]

Вы обратили внимание на то, что воды Босфора отступают? Не думаю. Кто из нас нынче читает, кому интересно знать, что происходит в мире, где люди убивают друг друга с радостью и энтузиазмом детей, пришедших на праздник? Даже статьи известных журналистов мы читаем в толчее на пристанях, прижатые друг к другу в автобусах или трясущихся маршрутках, когда буквы дрожат и сливаются. Вот что я прочитал во французском геологическом журнале: оказывается, температура воды в Черном море повышается, а в Средиземном — понижается. Поэтому морские воды стали заполнять придонные ямы, и в результате возникших тектонических колебаний дно Гибралтара, Дарданелл и Босфора начало подниматься.

Мы недавно разговаривали с рыбаком на берегу Босфора, и он рассказал, что его

[1] Вымышленное автором лицо.

лодка, которую он раньше держал на воде, бросая якорь на цепи длиной в высоту минарета, сейчас оказалась на суше; рыбак спросил: «Неужели наш премьер-министр совсем не интересуется подобными вещами?»

Этого я не знаю. Я знаю, что ждет нас в ближайшем будущем, если процессы, о которых я прочитал, будут продолжаться. Совершенно очевидно, что через некоторое время райское место, которое мы называем Босфором, превратится в черное болото, посреди которого облепленные глиной остовы галеонов будут выглядеть как скалящие зубы привидения. Нетрудно предположить, что в конце жаркого лета это болото местами высохнет и превратится в глинистое дно скромной речки, снабжающей водой маленький поселок, а на окрестных холмах, орошаемых бурно стекающими нечистотами, вырывающимися, как водопады, из тысяч широких труб, будет зеленеть трава и даже расти ромашки. Девичья башня[1] на холме превратится в устрашающее сооружение, вознесясь над этой глубокой мрачной лощиной.

Я представляю себе новые кварталы, которые начнут строиться на этом глинистом пустыре, прежнем «проливе», под наблюдением муниципальных чиновников, бегающих туда-сюда с квитанциями за уплату штрафа: лачуги, палатки, бары, увеселительные заведения, луна-парки с каруселями, игорные дома, мечети, обители дервишей, помещения марксистских фракций, ателье по изготовлению некачественных пластмассовых изделий и чулочные фабрики... Среди этого невообразимого беспорядка будут торчать остовы лежащих на боку судов, оставшиеся от «Ширкети Хайрие»[2], крышки от бутылок и поля аурелий... Наряду с американскими трансатлантическими пароходами, оказавшимися на суше в день мгновенно отступивших вод, здесь можно будет увидеть скелеты кельтов и ликийцев, застывших с открытыми ртами, молящихся неведомым древним богам среди поросших мхом ионических колонн. Я могу предположить, что эта новая цивилизация, которая возникнет среди облепленных мидиями византийских сокровищ, серебряных и жестяных вилок и ножей, винных бочек, пролежавших тысячу лет, бутылок из-под газированной воды и остовов остроносых галер, получит топливо для своих печей и обогревателей из старого румынского нефтяного танкера, винт которого увяз в иле. В этой проклятой яме, поливаемой бурными потоками темно-зеленых нечистот всего Стамбула, среди вырывающихся из старых подземелий ядовитых газов, топкой глины, трупов дельфинов, меч-рыбы и камбалы, среди крыс, открывших для себя новый рай, распространятся эпидемии совершенно новых болезней; это главное, к чему мы должны быть готовы. Я знаю и предупреждаю: никто не убережется от трагедий, что произойдут в тот день в этом опасном районе, который будет огорожен колючей проволокой и объявлен запретной зоной.

С балконов, где когда-то наслаждались сияющей луной, серебрившей шелковые воды Босфора, мы будем теперь наблюдать свет голубоватого дыма от костров, на которых в спешке сжигают оставшихся незахороненными покойников. Мы почувствуем щекочущий ноздри, резкий, смешанный с плесенью запах мертвецов, гниющих по берегу Босфора, на столах, за которыми когда-то мы пили ракы[3], вдыхая одуряющий аромат багряника и женских рук. А на набережных, где рядами выстраивались рыбаки, мы не услышим больше дивных весенних песен птиц и шума перекатывающего свои воды Босфора: будут раздаваться лишь крики тех, кто схватил мечи, кинжалы, ржавые сабли, пистолеты и ружья, некогда выброшенные в воду из страха перед длящимися тысячу лет повальными обысками, и бьется теперь в смертельной схватке. Стамбульцы из прибрежных районов, которые раньше, возвращаясь домой, открывали настежь окна автобусов, чтобы, вдохнув морской воздух, снять усталость, теперь, напротив, будут затыкать автобусные окна газетами и тряпками, чтобы не просачивался запах ила и гниющих мертвецов, и будут стараться не смотреть вниз, в пугающую тьму, освещенную кострами. Из прибрежных кофеен, где продавали много халвы и воздушных шаров, мы будем наблюдать не праздничную иллюминацию, а кроваво-красный свет взрывающихся мин, взлетающих на воз-

---

[1] Дозорная башня на Босфоре, построена в 410 г. до н. э.
[2] Старинная судостроительная турецкая фирма.
[3] Турецкая виноградная водка с анисом.

дух вместе с любопытными ребятишками. Те, кто зарабатывал на хлеб, собирая на песчаном берегу выброшенные бурным морем византийские монеты и пустые консервные банки, отныне будут торговать скарбом из деревянных домов, некогда стоявших в прибрежных поселках; в глубине бывшего Босфора можно будет найти кофемолки, покрытые водорослями, часы с кукушками, черные фортепиано в броне из мидий. В один из таких дней я проскользну за колючую проволоку, чтобы найти черный «кадиллак».

Черный «кадиллак» был гордостью одного бандита из Бейоглу (язык не поворачивается сказать «гангстер»), за похождениями которого я следил тридцать лет назад, когда был начинающим корреспондентом, и двумя фотографиями которого, где он был изображен у входа в принадлежащий ему стамбульский притон, я восхищался. Такие автомобили в Стамбуле в то время были только у железнодорожного магната Дагделена и табачного короля Маруфа. Мы, журналисты, сделали из бандита героя, рассказ о последних часах его жизни мы печатали с продолжением в течение недели: в полночь он был окружен полицией, вместе со своей возлюбленной прыгнул в машину и — по одной версии, под влиянием наркотиков, а по другой — сознательно (так разбойник направляет коня к пропасти) — повел «кадиллак» к мысу Акынты и ринулся, не раздумывая, в черные воды Босфора. Я примерно знаю, где может находиться этот «кадиллак», который много дней искали на дне и не нашли подводники; о нем быстро забыли и журналисты, и читатели.

Он должен лежать там, в глубине вновь образовавшейся лощины, ранее называемой «Босфором», где можно наткнуться на башмаки семисотлетней давности, ставшие жилищем для раков, на сапог, на верблюжьи кости, бутылки с запечатанными в них письмами, адресованными неизвестным возлюбленным; или там, позади холмов, заросших губками и лесами из мидий, среди которых сверкают алмазы, серьги, крышки от газировки и золотые браслеты; он может покоиться в песке, неподалеку от лаборатории по производству героина, оборудованной на скорую руку в остове сгнившей баржи, там, где устрицы обильно орошены кровью коней и ишаков, зарезанных подпольными изготовителями колбас.

Разыскивая машину в безмолвии этой тьмы, пропитанной трупным запахом, прислушиваясь к сигналам автомобилей, проносящихся вдали по асфальтированной дороге, которая называлась прежде приморской, а теперь больше походит на горную, я увижу скрюченные кости дворцовых заговорщиков, все еще лежащих в мешках, в которых они задохнулись, и скелеты православных священников, вцепившихся в свои кресты и жезлы. Потом мне попадется затонувшая английская подлодка: она должна была торпедировать пароход «Гюльджемаль», перевозивший солдат с набережной Топхане в Чанаккале[1], но винт ее запутался в рыбачьих сетях, а нос ударился в скалу, поросшую водорослями; глядя на голубоватый дымок, поднимающийся из перископа, я пойму, что теперь он используется как печная труба, что скелеты англичан с открытыми от недостатка кислорода ртами выброшены из лодки, а наши соотечественники, сидя в обитом бархатом кресле капитана, пьют из чашек китайского фарфора чай, освоившись со своим новым убежищем, изготовленным в мастерских Ливерпуля. В темноте, подальше, валяется ржавый якорь броненосца из эскадры кайзера Вильгельма. Мне подмигнет перламутровый экран. Я наткнусь на остатки разграбленной генуэзской казны, короткоствольную пушку с забитым грязью жерлом, облепленные мидиями изображения некоторых исчезнувших государств и народов, стоящую вертикально латунную люстру с разбитыми лампочками. Шагая по глине и камням, постепенно опускаясь все ниже, я увижу скелеты прикованных к веслам рабов, уставившихся на звезды. Ожерелье, застрявшее в водорослях. Возможно, я не обращу внимания на очки и зонтики, но несколько мгновений буду внимательно и боязливо смотреть на рыцарей-крестоносцев, восседающих с оружием и в доспехах на скелетах все еще упрямо стоящих на ногах коней. И тогда я с ужасом пойму, что скелеты крестоносцев с оружием и в полной экипировке, заросшей ракушками, ждали черный «кадиллак», который теперь стоит рядом с ними.

---

[1] Порт в проливе Дарданеллы.

Медленно, с опаской, словно прося разрешения у охранников-крестоносцев, я подойду к черному «кадиллаку», освещаемому мерцающим, неясным, неизвестно откуда идущим светом. Я попытаюсь открыть дверцы «кадиллака», но машина, облепленная мидиями и морскими водорослями, не подчинится мне; зеленоватые окна также окажутся заклиненными. Тогда, вынув из кармана шариковую ручку, я попытаюсь расчистить ею слой водорослей фисташкового цвета на одном из окон.

В полночь я зажгу спичку в этой пугающей, волшебной тьме и — в металлическом отсвете красивых, все еще сверкающих, как броня крестоносца, руля, никелированного счетчика и корпуса часов — увижу, как сидящие на переднем сиденье бандит и его возлюбленная целуются, обнимают друг друга тонкими, в браслетах руками, пальцы которых унизаны кольцами. Не только челюсти, сами их черепа будут слиты в нескончаемом поцелуе.

И тогда, не зажигая больше спичек, глядя на огни города, я подумаю, что это лучший способ встретить смерть в момент катастрофы; я с горечью крикну далекой любимой: дорогая моя, милая, печальная моя, страшный миг настал, приди ко мне, где бы ты ни была: в прокуренном кабинете, на кухне, пропахшей луком, в голубой неубранной спальне — пора, приди ко мне; вот он, предсмертный миг, так давай же крепко обнимем друг друга в тихой полутемной комнате с задернутыми занавесками, чтобы забыть о приближении страшной катастрофы.

Передай привет Рюйе

Мой дед называл их «семья».

Рильке

Утром того дня, когда жена ушла от него, Галип, с прочитанной газетой под мышкой, поднимался по лестнице на холм Бабыали[1] к своей конторе; он думал о зеленой шариковой ручке, утонувшей в Босфоре во время одной из прогулок на лодке, которую устроили им родители много лет назад, когда они с Рюйей болели свинкой. Вечером он обнаружит, что прощальное письмо Рюйи написано точно такой же зеленой шариковой ручкой, как и та, что он потерял в детстве. Ту ручку двадцать четыре года назад Галипу на неделю дал Джеляль, увидев, как она ему понравилась. Узнав о том, что она потерялась, Джеляль спросил, в каком месте Галип обронил ручку, и, выслушав ответ, сказал: «Потерянной ее считать нельзя, потому что мы знаем, где она упала в пролив». Войдя в контору, Галип снова внимательно перечитал «Когда отступили воды Босфора» и удивился, что Джеляль расчищал фисташковые водоросли на окне «кадиллака» не той самой зеленой шариковой ручкой, а какой-то другой.

Галип слышал от Джеляля, что после отъезда дяди Мелиха в Париж и возвращения через год Васыфа, прижимающего к груди аквариум, Отец и Дедушка отправились в адвокатскую контору дяди Мелиха на Бабыали, погрузили в повозку его вещи, папки с делами, перевезли все это в Нишанташи и разместили на чердачном этаже своего дома. Позднее, когда дядя Мелих, вернувшийся из Магриба с красивой женой и дочерью Рюйей, потерпел крах в бизнесе (торговле сушеным инжиром), которым он занялся вместе с тестем в Измире, он не стал для поправки семейных дел возвращаться к аптекам и кондитерским, а решил возобновить адвокатскую практику и перевез эти вещи в новую контору, полагая, что своей солидностью они произведут хорошее впечатление на клиентов. Много лет спустя, вспоминая прошлое — как всегда с насмешкой, — Джеляль рассказал Галипу и Рюйе: была вызвана целая бригада грузчиков, специализирующихся на аккуратной перевозке вещей, таких, как холодильники или фортепиано, и оказалось, что один

[1] Квартал в центре Стамбула, где расположена резиденция губернатора.

из грузчиков двадцать два года назад таскал эти вещи на чердак; годы только поубавили волос на его голове.

А еще через двадцать один год, после того как этому грузчику Васыф, смотревший на него во все глаза, подал стакан воды, контора и все старые вещи перешли к Галипу: это произошло, по мнению отца Галипа, потому, что дядя Мелих боролся не столько с противниками своих клиентов, сколько с самими клиентами; мать Галипа считала, что Мелих переутомился, сошел с ума и стал путать законы, судебные протоколы и своды юридических актов с ресторанными меню и расписаниями пароходов; Рюйя же утверждала, что ее дорогой родитель уже тогда предвидел, какие отношения сложатся между его дочерью и племянником, и потому согласился передать свой офис Галипу, который тогда был не зятем, а всего лишь племянником. Портреты лысых западных юристов, столь знаменитых, сколь и быстро забытых, полувековой давности фотографии преподавателей юридической школы в фесках, документы истцов и ответчиков, судьи которых давно умерли, — вот что было в этой конторе, где одно время вечерами работал Джеляль, а по утрам мать Джеляля копировала выкройки одежды; да еще в углу — массивный черный телефон, бывший скорее тяжелым, громоздким и нескладным орудием борьбы, чем средством связи.

Иногда телефон звонил сам по себе, пугая Галипа; темная, как смола, телефонная трубка была тяжелой, как маленькая гантель, при наборе номера диск выдавал скрипучую мелодию, как старые турникеты на пристанях Каракёй[1]—Кадыкёй[2]; иногда телефон соединялся по своему капризу совсем не с тем номером, с каким было нужно.

Галип набрал свой домашний номер и удивился, что Рюйя сразу сняла трубку. «Ты проснулась? — Он был доволен, что она оказалась не в закрытом саду своей памяти, а в доступном мире. Он мысленно представил стол, на котором стоял телефон, неприбранную комнату, Рюйю у телефона. — Ты прочла газету, которую я оставил? Джеляль написал занятные вещи». — «Не прочла, — сказала Рюйя. — Который час?» — «Ты поздно легла, да?» — спросил Галип. «Ты сам приготовил завтрак», — донесся до него голос Рюйи. «Не хотелось тебя будить, — объяснил Галип. — Что тебе снилось?» — «Поздно ночью я видела в коридоре таракана», — услышал он в ответ. И голосом радиодиктора, сообщающего морякам местонахождение плавающей мины, Рюйя взволнованно добавила: «Между кухонной дверью и батареей в коридоре... В два часа... Такого огромного...» Наступило молчание. «Хочешь, я возьму такси и приеду?» — спросил Галип. «Когда занавески задернуты, дом такой страшный», — прозвучало в трубке. «Пойдем вечером в кино, в «Конак», а на обратном пути зайдем к Джелялю», — предложил Галип. Рюйя зевнула: «Я хочу спать». «Спи», — сказал Галип. Оба замолчали. И, уже опуская трубку на рычаг, Галип услышал, что Рюйя зевнула еще раз.

В последующие дни, когда Галип волей-неволей снова и снова вспоминал этот разговор, он уже не был уверен, что точно слышал зевок и все, о чем тогда говорилось. Сказанное Рюйей он вспоминал всякий раз по-другому и с сомнением думал: «А с Рюйей ли я разговаривал?» — и представлял, как его разыгрывала другая женщина. Потом ему будет казаться, что он прекрасно слышал то, что говорила Рюйя, это была именно она: просто он стал другим после того телефонного разговора. И уже как «другой» прокручивал в голове то, что неправильно понял или, как ему казалось, вдруг вспомнил. Галип будет представлять свой голос голосом постороннего человека, так как поймет, что, разговаривая по телефону, два человека на противоположных концах провода могут превратиться совершенно в других людей. А ведь поначалу он думал, что виной всему старый телефонный аппарат: это громоздкое чудовище звонило не переставая весь день.

После разговора с Рюйей Галипу сначала позвонил клиент — квартиросъемщик, судившийся с домовладельцем. Потом ошиблись номером. Потом позвонил незнакомый человек, спрашивал телефон Джеляля: «Я знаю, вы его родственник». После торговца металлом дозвонился — как выяснилось, после долгих усилий — Искендер; он тоже хотел связаться с Джелялем.

---

[1] Пристань и район на европейском берегу Босфора.
[2] Район и пристань на азиатском берегу Босфора.

Искендер был лицейским товарищем Галипа, они не виделись пятнадцать лет, поэтому он прежде всего поздравил Галипа с женитьбой на Рюйе и сказал, как говорили многие: все знали, что в конце концов именно так и будет. Теперь Искендер занимался рекламой. Он хотел устроить Джелялю встречу с телевизионной группой Би-би-си, готовящей программу о Турции: «Они хотят перед камерой поговорить с таким известным журналистом, как Джеляль, который уже тридцать лет находится в гуще событий». Искендер стал сообщать ненужные подробности: телевизионщики уже встречались с политиками, деловыми людьми, профсоюзными деятелями, но самая важная для них встреча — с Джелялем. «Не волнуйся! — сказал Галип. — Я немедленно найду его, прямо сейчас позвоню». Звонок Джелялю был хорошим предлогом прекратить разговор. «В редакции мне уже два дня морочат голову, — пожаловался Искендер, — потому я и позвонил тебе. Два дня не могу застать Джеляля в газете. Что-то там не то, по-моему». Джеляль, бывало, закрывался на три-пять дней в одном из своих тайных стамбульских убежищ, адрес и телефон которых он тщательно скрывал от всех, но Галип не сомневался, что найдет его. «Не волнуйся, — повторил он, — я тебе его быстро найду».

Однако до вечера Джеляль не нашелся. В течение дня Галип звонил ему домой и в газету «Миллиет» и представлял, как Джеляль снимет трубку и ответит не своим голосом (Галип тогда тоже, изменив голос, сказал бы, подражая интонациям его читателей и поклонников — они: Рюйя, Джеляль и Галип — часто вместе разыгрывали такой спектакль: «Я, конечно же, понял особый смысл твоей сегодняшней статьи, брат!»). Но на каждый звонок в газету секретарша отвечала: «Джеляль-бей еще не пришел».

Уже под вечер Галип позвонил тете Хале в надежде, что она знает, где Джеляль, и тетя позвала его на ужин. Он понял, что она снова перепутала их голоса и приняла его за Джеляля. Поняв, что ошиблась, тетя Хале сказала: «Все вы — мои беспутные дети, все одинаковы! Я бы и тебе позвонила». На всякий случай тетя отругала Галипа — видимо, за то, что обозналась, — а потом тоном, каким бранила обычно своего черного кота Кёмюра, когда он запускал острые когти в обивку кресла, попросила его по дороге зайти в лавку Алааддина и купить корм для японских рыбок Васыфа: рыбки, видите ли, едят исключительно европейский корм, а Алааддин продает его только знакомым.

— Вы прочитали его сегодняшнюю статью? — спросил Галип.

— Чью? — уточнила тетя с грозным вызывом. — Алааддина? Нет. Мы выписываем «Миллиет», чтобы твой дядя разгадывал кроссворды, а Васыф развлекался вырезками, а вовсе не для того, чтобы читать статьи Джеляля и переживать из-за того, что наш сын так низко пал.

— Позвоните Рюйе, пригласите ее сами на вечер, — попросил Галип, — у меня не будет времени.

— Не забудь! — сказала тетя Хале, напоминая Галипу про поручение и час ужина. Потом, словно оглашая список игроков долгожданного футбольного матча, чтобы подогреть интерес болельщиков, тетя зачитала список приглашенных на семейный ужин, который, собственно, никогда не менялся, как и меню семейных собраний: «Твоя мама, тетя Сузан, дядя Мелих, Джеляль (если объявится) и, конечно, твой отец; Кёмюр, Васыф и твоя тетя Хале». Обозначая таким образом как бы две команды, она не рассмеялась своим кашляющим смехом, а сказав: «Я испеку твои любимые пирожки», положила трубку.

Дом, где в одной квартире жила тетя Хале с Васыфом и Эсмой-ханым, а в другой дядя Мелих с Сузан (а раньше и с Рюйей), находился, по их мнению, на окраине Нишанташи. Вообще-то от полицейского участка, от лавки Алааддина и главного проспекта до этого места было пять минут хода — всего-то спуститься вниз через три улицы, поэтому другие никогда бы не назвали это место окраиной, но родственники Галипа не находили ничего привлекательного в этой мощеной улице, на которой они поселились, перевезя домашний скарб через глинистые пустыри и вскопанные огороды; не было ничего интересного и на соседних улицах, поэтому они считали, что это место никак нельзя было назвать центром Нишанташи. Вынужденные продать квартиры в доме Шехрикальп на

главном проспекте, который представлялся им центром не только их географического, но и духовного мира, и переселиться в этот старый дом, они со всей остротой осознали, что, покинув дом, «господствовавший над всем Нишанташи» (выражение тети Хале), будут жить в снятых квартирах, где прежде уже кто-то жил, и стали часто повторять слово «окраина», не упуская случая обвинить друг друга в несчастье, свалившемся на их головы, и несколько преувеличивая свое горе. В день переезда из дома Шехрикальп на окраину, за три года до смерти, Мехмет Сабит-бей (Дедушка) уселся в новой квартире в низкое одноногое кресло, поставленное немножко иначе по отношению к окну, выходящему на улицу, и по-прежнему (как в старом доме) по отношению к массивной тумбе под радиоприемником; наблюдая за тощей — кожа да кости — лошадью, перевозившей в тот день их вещи, сказал: «Ну что ж, пересаживаемся с лошади на ишака!» — и включил приемник, на котором уже возлежала на вязаной, ручной работы, салфетке игрушечная собака.

С тех пор прошло восемнадцать лет. В этот вечер Галип шагал под редким мокрым снегом, вдыхая воздух, загрязненный выхлопными газами и сажей из труб, пахнущий серой, углем и пылью; в восемь часов ставни почти всех лавок были закрыты, продолжали торговать только цветочник, бакалейщик и Алааддин; увидев знакомые огни, Галип остро ощутил, что с этим домом его связывают не просто восемнадцать лет воспоминаний. Ширина улицы, название дома, его местоположение не имели никакого значения: просто семья живет в этих квартирах с незапамятных времен. Войдя в подъезд со стойким запахом (в статье, вызвавшей в очередной раз гнев семьи, Джеляль вывел такую формулу: помесь запахов коридора, мокрого камня, плесени, разогретого оливкового масла и лука), Галип заторопился: хотелось скорее попасть туда, внутрь, в знакомую обстановку; так читатель привычно и нетерпеливо перелистывает страницы, перечитывая много раз прочитанную книгу.

Поскольку уже восемь, я увижу дядю Мелиха, сидящего в старом Дедушкином кресле; дядя Мелих принес с верхнего этажа газеты: он скажет, что не успел их прочитать, или произнесет многозначительно: «Известие, прочитанное на нижнем этаже, порой приобретает другой смысл, будучи прочитанным на верхнем», а может, просто пробурчит: «Просмотрю еще разок, пока Васыф не изрезал». Я услышу, как дядя Мелих, не в силах остановить несчастную тапочку, трясущуюся на кончике его беспрерывно качающейся ноги, скажет с горечью, как во времена моего детства: «Какая тоска, надо что-то делать, ох, какая тоска, надо что-то делать!» А Эсма-ханым, которую тетя Хале прогнала с кухни, чтобы спокойно, без помех, испечь пирожки, будет накрывать на стол; держа в зубах сигарету без фильтра «Бафра», которая никак не заменяет старый добрый «Ени харман», она задаст вопрос, на который будто бы не знает ответа, или другие знают ответ, которого она не знает: «Сколько нас сегодня?» Тетя Сузан и дядя Мелих, сидящие, как бывало Бабушка с Дедушкой, напротив моих родителей по обе стороны радиоприемника, некоторое время помолчат, а потом тетя Сузан, повернувшись к Эсме-ханым, спросит с надеждой: «Джеляль сегодня придет, Эсма-ханым?» Дядя Мелих привычно скажет: «Он никогда не образумится, никогда!»; отец же мой, с удовольствием и гордостью оттого, что может противоречить дяде Мелиху и что его считают более уравновешенным и серьезным, хоть он и младше, радостно похвалит одну из последних статей Джеляля. Защитив таким образом племянника, Отец переключится на меня: демонстрируя передо мной свою осведомленность, он произнесет в адрес Джеляля несколько одобрительных слов, над которыми первым, если бы слышал, поиздевался бы сам Джеляль, а потом выскажет «конструктивную» критику по поводу прочитанной статьи, затрагивающей жизненно важную для страны проблему, а Мама (мама, хоть ты не вмешивайся), кивая (так как она тоже считала своим долгом оберегать Джеляля от гнева дяди Мелиха, вставляя слова вроде: «Вообще-то он хороший, но...»), присоединится к отцу; я не сдержусь и, хотя прекрасно знаю, что они не наслаждаются статьями Джеляля, как я, не понимают и не могут понять того смысла в его статьях, который нахожу я, задам бесполезный вопрос: «А вы читали его сегодняшнюю статью?» В ответ я услышу, как дядя Мелих, у которого газета открыта как раз на той странице, где напечатана статья Джеляля, скажет: «Какой сегодня день?

Его что, каждый день теперь печатают? Не читал!» После этого включится отец: «Я не считаю правильным, что он так резко выступает против премьер-министра!» А мама произнесет фразу, из которой неясно будет, кого она считает правым — премьер-министра, моего отца или Джеляля: «Даже если ты не разделяешь чье-то мнение, уважай личность другого человека». Осмелевшая от такого неопределенного высказывания, в разговор вступит тетя Сузан: «Своими рассуждениями о бессмертии, безбожии и табаке он напоминает мне французов!» — и продолжит развивать тему сигарет и табака. Эсма-ханым, которая так и не решила, на сколько персон накрывать стол, стелет скатерть, как большую свежую простыню на постель — держит за один край и, взмахнув над столом, не выпуская сигарету изо рта, наблюдает, как удачно опускается противоположный край; потом я услышу, как снова вспыхивает спор между Эсмой-ханым и дядей Мелихом: «Эсма-ханым, ведь сигареты обостряют твою астму!» — «Если сигареты обостряют астму, то сначала ты, Мелих-бей, брось курить!» При этих словах я выйду из комнаты. На кухне среди теста и брынзы, в чаду разогретого масла, как волшебница, нагревшая котел для приготовления чудесного эликсира (волосы повязаны платком, чтобы на них не попало масло), тетя Хале печет пирожки; чтобы заслужить мое особое внимание, любовь, а может, и поцелуй, она быстро, как взятку — «Никому не говори!» — сунет мне в рот пышущий жаром пирожок и спросит: «Горячий?» А у меня от ожога на глазях выступят слезы, и я даже не смогу ей ответить: «Очень!» Из кухни я пойду в комнату, где проводили бессонные ночи Дедушка и Бабушка в обнимку с голубым одеялом, на котором Бабушка учила нас с Рюйей арифметике, чтению и рисованию; после их смерти сюда перебрался Васыф со своими любимыми японскими рыбками. В комнате я увижу Васыфа и Рюйю, они вместе будут любоваться рыбками или рассматривать коллекцию вырезок Васыфа из газет и журналов. Я присоединюсь к ним, и первые минуты, как бы для того, чтобы не было заметно, что Васыф глухонемой, мы с Рюйей будем молчать, а потом, совсем как в детстве, языком жестов, который мы для себя придумали, представим Васыфу сцену из старого фильма, недавно показанного по телевизору, или опять изобразим сцену из «Призрака в опере», всякий раз приводившую Васыфа в волнение. А потом понятливый Васыф отвернется от нас и подойдет к своим любимым рыбкам; мы с Рюйёй посмотрим друг на друга — я не видел тебя с утра, мы не разговаривали со вчерашнего вечера, я спрошу: «Как ты?» — «Ничего, нормально!» — как всегда ответишь ты, и я сосредоточенно буду думать, не кроется ли что-нибудь этакое в твоих словах, а чтобы скрыть тщетность моих раздумий, спрошу: «Чем ты сегодня занималась? Что ты делала сегодня, Рюйя?» — будто не знаю, что ты так и не начала переводить детектив, как собиралась, что ты клюешь носом, переворачивая страницы старых полицейских романов, ни один из которых я так и не смог осилить.

Тетя Хале открыла дверь:

— А где же Рюйя?

— Она не пришла? — удивился Галип. — Разве вы не звонили ей?

— Я звонила, но никто не ответил. Я подумала, что ты ей сообщишь.

— Может, она наверху, у отца? — предположил Галип.

— Да нет, твои дядя с тетей давно спустились.

Они помолчали.

— Она дома, — сказал Галип, — я сбегаю за ней.

— Ваш телефон не отвечал, — повторила тетя Хале, но Галип уже мчался вниз по лестнице.

— Ладно, — крикнула вслед тетя Хале, — только не задерживайся. А то пирожки остынут.

Галип шел быстро, холодный ветер, крутящий влажный снег, развевал полы его пальто, которое он носил уже девять лет (тема еще одной статьи Джеляля). Он давно подсчитал, что если не выходить на главный проспект, а идти маленькими улочками, то можно добраться от дома родственников до своего за двенадцать минут; он почти бежал в темноте мимо закрытых лавок, мимо работающего портного, мимо витрин, освещенных

светом рекламы кока-колы и нейлоновых чулок. Его подсчет оказался довольно точен. Когда он вернулся по тем же улицам (перед портным лежала та же ткань, и он вдевал новую нитку в иголку), прошло двадцать шесть минут. Открывшей дверь тете Сузан и остальным, когда они усаживались за стол, он сказал, что Рюйя простыла, напилась антибиотиков (проглотила все, что нашла в ящике стола) и заснула; она слышала днем телефонные звонки, но была не в силах подняться, а сейчас у нее нет аппетита, она хочет спать и просила передать всем привет.

Чтобы не сосредоточивать внимания на болезни жены, Галип хотел было начать: «Джеляль в сегодняшней статье...», но, вдруг испугавшись этой своей привычки, сказал другое, неожиданно пришедшее на ум: «Тетя Хале, я забыл зайти в лавку Алааддина!»

В это время зазвонил телефон. Отец Галипа с серьезным видом снял трубку. «Наверно, из полицейского участка звонят», — подумал Галип. Отец разговаривал, переводя ничего не выражающий взгляд со стены (обои на стенах — в утешение — были такие же, как в доме Шехрикальп: зеленые почки, опавшие с кустов плюща) на сидящих за столом (у дяди Мелиха разыгрался приступ кашля; глухой Васыф, казалось, слышал разговор; волосы матери Галипа после многочисленных окрасок приняли наконец точно такой же цвет, как волосы красавицы тети Сузан); Галип, как и все, слушал, что говорит отец, а когда тот умолкал, пытался понять, кто там, на другом конце провода?

— Нет, нету, сегодня не видели, с кем я разговариваю? Спасибо... Я — дядя, к сожалению, сегодня не с нами...

«Кто-то разыскивает Рюйю», — подумал Галип.

— Спрашивали Джеляля, — отец, довольный, положил трубку, — пожилая дама, поклонница, ей очень понравилась статья, она хотела поговорить с Джелялем, спрашивала его адрес, телефон.

— А какая статья? — спросил Галип.

— Знаешь, Хале, — сказал отец, пропуская вопрос мимо ушей, — очень странно, голос этой женщины был удивительно похож на твой!

— Голос пожилой женщины вполне может быть похож на мой, — отозвалась тетя Хале, и тут ее розовая шея вытянулась, как у гусыни, — но этот голос не имеет ничего общего с моим!

— Откуда ты знаешь?

— Эта, как ты ее назвал, дама уже звонила утром, — сказала тетя Хале, — у этой особы голос мегеры, старающейся говорить голосом дамы. Даже похож на голос мужчины, который пытается говорить голосом пожилой дамы.

— А ты не спросила, как эта дама узнала наш номер телефона? — поинтересовался отец Галипа.

— Нет, — ответила тетя Хале, — не сочла нужным. С тех пор как Джеляль в своей газете постоянно полощет наше грязное белье, будто сочиняет роман с продолжением, я не удивляюсь никаким его выходкам: он вполне мог дать наш номер, чтобы любопытные читатели подольше развлекались после какой-нибудь его статьи, где он в очередной раз издевается над нами. Когда я вспоминаю покойных папу с мамой и думаю о том, сколько огорчений он им принес, я понимаю: нет ничего странного в том, что он дал наш номер телефона, единственное, что странно — и хотелось бы это узнать, — за что он нас ненавидит столько лет?

— Ненавидит, потому что коммунист. — Дядя Мелих, преодолев кашель, с победным видом закуривал сигарету. — Когда коммунисты поняли, что им не удастся обмануть ни рабочих, ни народ, они хотели, обманув солдат, устроить большевистскую революцию наподобие янычарского бунта. Джеляль же со своими «кровавыми» статьями и ненавистью стал их орудием.

— Нет, — возразила тетя Хале, — это уж ты чересчур!

— Мне Рюйя сказала, я знаю, — настаивал дядя Мелих. Он даже хохотнул и не закашлялся. — Джеляль поверил, что после переворота, при новом, янычарско-большевистском — на турецкий лад — порядке он станет министром иностранных дел или послом во

Франции, он даже стал самостоятельно изучать французский язык. Поэтому поначалу мне почти понравился этот призыв к революции (ясное дело, что никакой революции и быть не могло), я подумал: а вдруг благодаря этому призыву мой сын, который в молодости не удосужился выучить иностранный язык из-за того, что вращался все больше среди босяков, теперь освоит французский. Но потом Джеляль совсем взбесился, и я запретил Рюйе общаться с ним.

— Да не послушала она тебя, Мелих, — сказала тетя Сузан, — Рюйя и Джеляль постоянно встречаются, скучают друг без друга, они любят друг друга, как родные брат и сестра.

— Ну хорошо, хорошо, — согласился дядя Мелих, — я сказал неправильно; не сумев обратить в свою веру турецкую армию и нацию, он взялся за сестру. Рюйя стала анархисткой. И если бы сын мой Галип не вытащил ее из этой крысиной норы, не увел от этих разбойников, Рюйя сейчас находилась бы не дома в постели, а неизвестно где.

Сосредоточенно рассматривая ногти, Галип думал о том, что в этот момент все опять дружно представили себе больную Рюйю, и ждал, не добавит ли дядя Мелих чего-нибудь новенького в список произошедших событий, который он озвучивал регулярно, раз в два-три месяца.

— Рюйя могла бы даже попасть в тюрьму, потому что она не была такой осмотрительной, как Джеляль, — продолжал дядя Мелих и, не обращая внимания на возгласы «Да защитит ее Аллах!», взволнованно развивал тему дальше: — Рюйя вполне могла вместе с Джелялем очутиться среди тех бандитов. Если бы бедная Рюйя проникла под предлогом подготовки репортажа в среду бандитов Бейоглу, производителей героина, содержателей притонов, употребляющих кокаин русских эмигрантов, она оказалась бы в одной компании со всеми этими человеческими отбросами. И сейчас нам пришлось бы искать нашу дочь среди приехавших в Стамбул в погоне за грязными удовольствиями англичан; гомосексуалистов, охотящихся за борцами; американок, обслуживающих распутниц в банях; аферисток, наших кинозвезд, которых в какой-нибудь европейской стране не взяли бы и в проститутки, не то что в актрисы; изгнанных из армии за долги и неповиновение офицеров; мужеподобных певиц с сиплыми от сифилиса голосами; квартальных покорительниц сердец, пытающихся выдать себя за светских дам. Скажи ей, пусть принимает истеропирамицин.

— Что? — не понял Галип.

— Лучший антибиотик при гриппе. Вместе с бекозим-форте. Принимать каждые шесть часов. А который час? Может, она проснулась?

Тетя Сузан сказала, что Рюйя наверняка еще спит. Галип, как и все, снова представил себе спящую Рюйю.

— Нет, — решительно выговорила Эсма-ханым. Она аккуратными движениями собирала многострадальную скатерть, краями которой, по оставшейся от Дедушки дурной привычке, невзирая на протесты Бабушки, как салфетками вытирали рот после еды. — Нет! Я не позволю в этом доме плохо говорить о моем Джеляле! Джеляль стал большим человеком.

Дядя Мелих считал, что его пятидесятипятилетний сын полностью разделяет это мнение Эсмы-ханым и потому совсем не интересуется, как там поживает его старый отец, мало того — никому не сообщает, в какой из своих квартир в Стамбуле изволит находиться, и, чтобы не только отец, но и никто из семьи — даже тетя Хале, которая всегда прощала ему все, — не мог с ним связаться, еще и выключает телефоны, номера которых никому не дает. Галип испугался, что на глазах дяди Мелиха сейчас появятся — по привычке, не от горя — фальшивые слезинки. Но этого не случилось, а дядя Мелих в очередной раз повторил, что всегда хотел иметь сына не такого, как Джеляль, а такого, как Галип (он словно забыл двадцать два года разницы в их возрасте), именно такого, как Галип, умного, зрелого, спокойного...

Впервые Галип услышал эти слова двадцать два года назад (значит, Джелялю было столько, сколько ему сейчас), в ту пору, когда он неожиданно быстро вытянулся и от

смущения не знал, куда девать свои нескладные руки; он мечтал, что слова дяди Мелиха сбудутся и он избавится от тоскливых ужинов с родителями: не надо будет сидеть, устремив взгляд в никуда, сквозь стены, ограждающие под прямым углом обеденный стол, за которым усаживались Отец, Мать и он (Мать: «От обеда осталась долма, хочешь?» Галип: «Не-е...» Мать: «А ты?» Отец: «Что я?»); каждый вечер он будет ужинать с тетей Сузан, дядей Мелихом и Рюйей. Его одолевали разные волнующие мысли: красивая тетя Сузан, которую он изредка видел в голубой ночной рубашке, когда воскресным утром поднимался, чтобы играть с Рюйей (в лабиринт, в прятки), становилась его мамой (здорово!); дядя Мелих, рассказы которого об адвокатской практике и об Африке он так любил, превращался в его папу (здорово!); а они с Рюйёй, поскольку она была одних с ним лет, превращались в близнецов (рассуждать дальше он почему-то боялся и на этом останавливался).

Когда со стола убрали, Галип сказал, что телевизионщики из Би-би-си, искавшие Джеляля, так его и не нашли; но, против ожиданий, это не вызвало новых пересудов о том, что Джеляль скрывает от всех свои адреса и номера телефонов, что, если верить молве, у него квартиры по всему Стамбулу, а потому где его искать — неизвестно. Кто-то объявил, что идет снег, и перед тем, как усесться в кресла, все подошли к окну и, раздвинув занавески, некоторое время смотрели в холодную тьму, на слегка припорошенную снегом улицу. Чистый умиротворяющий снег. (Такой снег описал Джеляль в одной из статей, но не для того, чтобы разделить тоску читателей «по прежним вечерам Рамазана», а чтобы поиздеваться). Васыф направился в свою комнату, Галип пошел за ним.

Васыф сел на край большой кровати, Галип устроился напротив. Васыф провел рукой по своим светлым волосам и дотронулся до плеча: Рюйя? Галип ударил себя кулаком в грудь и изобразил сильный кашель — больная, кашляет! Потом, соединив руки, изобразил подушку, к которой прислонил голову, — лежит. Васыф достал из-под кровати большую картонную коробку — лучшие вырезки из газет и журналов, которые он собрал за много лет. Васыф наугад вытаскивал из коробки листки, они разглядывали фотографии, и казалось, что рядом с Васыфом сидит Рюйя и они вместе смеются над тем, что он показывает: улыбающееся лицо знаменитого футболиста, двадцать лет назад рекламировавшего крем для бритья; впоследствии он умер от кровоизлияния в мозг, отбив головой угловой удар; тело иракского лидера Касыма в окровавленной униформе, убитого во время военного переворота; фотографии с места знаменитого убийства на площади Шишли (Рюйя в свое время комментировала их голосом актрисы из радиотеатра: ревнивый полковник в отставке, спустя двадцать лет узнав, что жена ему изменяла, долго выслеживал обидчика, распутного журналиста, и в конце концов застрелил его и сидевшую рядом с ним в машине молодую жену); премьер-министр Мендерес приносит в жертву верблюда, на заднем плане корреспондент Джеляль и верблюд смотрят куда-то в сторону. Галип собрался идти домой, когда Васыф выхватил из коробки очередную порцию вырезок, в которой оказались две старые статьи Джеляля: «Лавка Алааддина» и «Палач и плачущее лицо». Вот и есть что почитать в бессонную ночь! Галипу не пришлось делать слишком много «мимик», чтобы Васыф разрешил взять эти статьи. С пониманием встретили его отказ выпить кофе, который принесла Эсма-ханым; это означало, что на лице его написано: «Жена одна дома, больная». Галип стоял на пороге раскрытой двери. Даже дядя Мелих сказал: «Конечно, конечно, пусть идет!» Тетя Хале наклонилась над котом Кёмюром, вернувшимся с улицы; из комнаты еще раз донеслось: «Передавай привет Рюйе, пусть выздоравливает!»

...В квартире все было так, как оставил Галип: в гостиной свет был погашен, а в коридоре горел. Галип повесил пальто и пиджак, сразу же поставил на плиту воду для чая, в спальне при свете тусклой лампочки переодел мокрые носки. Потом, сев за стол, прочитал еще раз оставленное Рюйей письмо. Это письмо, написанное лежащей на столе зеленой шариковой ручкой, было даже короче, чем ему сначала показалось: девятнадцать слов.

Лавка Алааддина

Может, у меня и есть недостатки,
но речь не о них.

Бирон паша[1]

...Мы сидели в нашем доме с Алааддином, и я рассказывал ему историю зеленой шариковой ручки и детективного романа, много лет назад приобретенного в его лавке: в конце истории героиня, которой я подарил роман и которую очень любил, оказалась обреченной до конца жизни не заниматься больше ничем, кроме чтения детективных романов. Я сообщил, что именно в его лавке встретились патриотически настроенные офицеры и журналисты перед тем, как пойти на историческое собрание, где они составляли план совершения правительственного переворота с целью изменить нашу историю и историю всего Востока.

Когда я кончил говорить, настала очередь Алааддина. Большого труда стоило ему открыть эту лавку. Годами он собственноручно переплетал комиксы, утром, когда весь город еще спал, он открывал и убирал лавку, развешивал газеты и журналы на двери и на стволе и ветвях каштана, а свежие номера выставлял в витрине. У него в лавке были самые странные товары (игрушечные балеринки, передвигаемые с помощью магнита, трехцветные шнурки, маленькие гипсовые фигурки Ататюрка с горящими голубыми лампочками в глазах, перочинные ножи в виде голландской мельницы, таблички «сдается внаем» и «бисмилляхирахманирахим»[2], жевательная резинка с сосновым ароматом, в упаковку которой были вложены изображения птиц, пронумерованные от одного до ста, розовые кости для нардов, переводные картинки, капюшоны цветов футбольных команд: один, голубой, он сам носил десять лет...). Чтобы иметь возможность предложить все это клиентам — вдруг кому-нибудь понадобится, — он годами ходил по Стамбулу, лавка за лавкой, и никогда не ответил отказом ни на одну, даже самую невообразимую просьбу (нет ли у вас синих чернил с цветочным ароматом? Нет ли у вас поющего колечка?). Когда у него спрашивали что-нибудь, он считал, что, раз спрашивают, значит, это где-то есть, и говорил: «Завтра будет!» Потом он делал заметку в тетради, на следующее утро отправлялся в путь, как путешественник в поисках чуда, обходил все лавки в городе и непременно приобретал нужную вещь.

Я понял, что между Алааддином и его покупателями существует определенная связь, для объяснения которой он не сумел бы найти слов. Он любил и маленькую девочку, приходившую с бабушкой, чтобы купить обруч для волос с колокольчиками, и прыщавого юнца, который, забившись в угол лавки, пытался быстренько осуществить любовь с голой женщиной на обложке журнала. Любил он и очкастую служащую банка, которая покупала роман о невероятной жизни голливудских звезд, за ночь проглатывала его, а утром приносила обратно: «Оказывается, я его уже читала!» Ему дорог был старик, который просил завернуть картинку с изображением девушки, читающей Коран, непременно в газету без иллюстраций. Все же Алааддин был осмотрителен в своей любви: он мог понять мать и дочь, которые, развернув, как карту, выкройку из модного журнала, принимались прямо в лавке кроить материю, или ребятишек, которые, купив игрушечные танки, не выходя из лавки тут же начинали войну и ломали их, но, когда покупатель спрашивал ручной фонарик в виде карандаша или брелок с черепом, у него возникало чувство, что ему посылают какие-то знаки люди из совершенно незнакомого и непонятного ему мира. Знак какого волшебства нес с собой таинственный человек, явившийся в лавку снежным зимним днем и потребовавший для выполнения школьного задания «летние картинки»? А однажды, поздно вечером, когда лавка уже закрывалась, вошли два мрачных человека: они перебирали кукол в красивых одеждах, поднимающих и опускающих руки, причем держали их осторожно, умело и привычно, как доктора держат жи-

---

[1] Вымышленное автором лицо.

[2] Обращение к милости Аллаха перед началом какого-либо дела.

вых младенцев, с изумлением смотрели, как розовые создания открывают и закрывают глаза, потом купили куклу и бутылку ракы и исчезли в пугающей Алааддина тьме. Подобное случалось нередко и не проходило даром для Алааддина: он видел во сне своих кукол в коробках и целлофановых пакетах, ему снилось, что после закрытия лавки куклы открывают и закрывают глаза и у них растут волосы. Возможно, он хотел бы спросить меня, что это значит, но лишь умолк грустно и безнадежно, как обычно это делают наши соотечественники, вдруг почувствовав, что они слишком разговорились и чересчур заняли мир своими проблемами...

Уходя, Алааддин сказал, словно извиняясь, что теперь я очень много о нем знаю и могу написать что захочу...

Это чепуха

> Обычно уезжают потому, что для этого есть повод. А о поводе вас извещают. Вам предоставляют право возразить. Ведь не уезжают же вот так. Нет, это чепуха.
>
> *Марсель Пруст*

Прощальное письмо из девятнадцати слов Рюйя написала зеленой шариковой ручкой, которую Галип всегда клал у телефона. Не обнаружив ручку на месте, Галип стал искать ее повсюду, но, не найдя, решил, что Рюйя написала письмо, уходя из дома, в последний момент, и, вероятно, бросила ее в сумочку: вдруг пригодится; толстая ручка, которой Рюйя пользовалась, когда раз в сто лет собиралась написать кому-нибудь письмо (Рюйя никогда не дописывала письмо до конца, а если дописывала, то не оказывалось конверта, а если запечатывала, то забывала отправить), лежала на обычном месте — в выдвижном ящике тумбочки в спальне. Галип потратил много времени, чтобы выяснить, из какой тетради вырван листок для письма. Он безуспешно искал всю ночь, перерыл весь дом; после того как прозвучал утренний азан[1], глаза Галипа снова остановились на старом шкафу: он наугад протянул руку и вынул тетрадь, как раз ту, из которой был вырван листок — выдран безжалостно и нервно — из середины. Находка не дала ему ничего нового.

Письмо, пожалуй, нельзя было назвать «прощальным». Рюйя, конечно, не написала в нем, что вернется, но, с другой стороны, не написала и что не вернется. Было такое впечатление, что она расставалась не с Галипом, а с домом. Галипу же она пятью словами предложила стать соучастником преступления: «Придумай что-нибудь для моих родителей!» Он сразу согласился. Она не обвиняла Галипа в своем уходе, а соучастие в преступлении радовало: как-никак это их объединяло. Взамен за соучастие Рюйя пообещала: «Пришлю тебе весточку». Но в течение ночи вестей не последовало.

Всю ночь он слушал стоны, урчание и вздохи водопровода и батарей. За окном с перерывами шел снег. Прошествовал продавец бозы[2]. Галип сидел и переглядывался с зеленой подписью Рюйи. Вещи и тени внутри дома совершенно преобразились; дом стал совсем другим. Галипу хотелось сказать: «Надо же, оказывается, лампа, уже три года висящая под потолком, похожа на паука!» Он хотел поспать в надежде увидеть интересный сон, но заснуть не удалось. Ноги повели его на кухню, он пошел туда, как лунатик, открыл холодильник, ничего не взял, вернулся в комнату и опустился в любимое кресло.

На протяжении трех лет их семейной жизни из этого кресла он наблюдал, как сидящая напротив Рюйя нетерпеливо и нервно покачивает ногой, теребит волосы, глубоко вздыхает и с шумом переворачивает страницы детективного романа. Сейчас, в ночь, когда она покинула его, у него перед глазами стояла картина из прошлого.

---

[1] Призыв к молитве у мусульман.

[2] Боза — турецкий напиток из проса.

...Пятница, вечер, прошло года полтора после того, как семья Рюйи перебралась на самый верхний этаж, — значит, они учились в третьем классе; стемнело, с площади Нишанташи доносились приглушенные зимой звуки машин и трамваев; в тот вечер они, объединив игры «Неслышный проход» и «Я не видел», открыли новую игру, которую назвали «Я исчез»: один прятался в любой из квартир дядей или бабушек, забивался в какой-нибудь угол и «исчезал», а другой должен был искать, пока не найдет. Эта, казалось бы, простая игра воспитывала терпение и будила фантазию, поскольку в темных комнатах нельзя было зажигать свет и искать полагалось, пока не найдешь. Когда очередь «исчезать» пришла Галипу, он спрятался на шкафу в Бабушкиной спальне (он приметил это убежище еще два дня назад и сейчас влез на ручку кресла, осторожно ступил на спинку, подтянувшись, залез наверх и притаился). Он лежал на шкафу в темноте, понимая, что Рюйя никогда не найдет его здесь. Он воображал себя на месте ищущей его Рюйи, чтобы лучше почувствовать, в какое отчаяние она приходит от его исчезновения: ей тоскливо одной, хочется плакать, и она умоляет его со слезами на глазах выйти из темной комнаты, где он спрятался. После ожидания, длившегося бесконечно долго, как детство, Галип спустился со шкафа, даже не думая о том, что нетерпение победило его, и, когда глаза привыкли к свету, сам пошел по дому искать Рюйю. Он обошел все этажи и со странным ощущением нереальности и поражения пришел к Дедушке с Бабушкой. «Ты весь в пыли, — сказала Бабушка, — где ты был? Тебя искали!» А Дедушка ответил на его вопрос: «Пришел Джеляль, и они с Рюйей пошли в лавку Алааддина». Галип сразу побежал к окну, холодному, темно-синему окну: шел снег, медленный, печальный, зовущий человека на улицу. Из витрины лавки Алааддина через игрушки, иллюстрированные журналы, мячики на резинках, разноцветные бутылки и танки просачивался бледный свет, похожий на цвет кожи Рюйи, он неясно отражался на белизне снега, покрывавшего мостовую.

Эта давняя картина стояла у него перед глазами на протяжении всей нескончаемой ночи: Галип вспомнил нетерпение, которое испытал тогда, двадцать четыре года назад, нетерпение, которое, казалось, вот-вот перельется через край, как сбежавшее молоко: где, когда и что упустил он в своей жизни?

По утрам Галип отправлялся на работу, а вечером возвращался в маршрутках и автобусах, натыкаясь на чьи-то ноги и локти в толчее безликой мрачной толпы. Днем он по нескольку раз звонил домой, придумывая поводы, от которых Рюйя кривила губы; вернувшись домой, по тому, какие и сколько сигарет было в пепельницах, как стояла мебель и лежали вещи, появилось ли что-то новое в доме или по выражению лица Рюйи мог почти безошибочно определить, чем она занималась в этот день. Если бы в момент наивысшего счастья (исключение) или в самый тяжелый момент беспокойства он, точно мужья в западных фильмах, спросил — как он собирался это сделать вчера вечером, — как она провела день, они оба смутились бы оттого, что он вторгается в опасную и туманную, запретную для него область. Галип после женитьбы открыл, что человек, который статистикой классифицируется как «домохозяйка» (Галип никогда не мог уподобить Рюйю этим женщинам, занятым только детьми, кухней и стиркой), живет своей тайной и даже загадочной жизнью.

Иногда, когда Рюйя принималась чересчур весело смеяться над какой-нибудь его не очень смешной шуткой или словами, он проводил рукой по гуще ее, беличьего цвета, волос, и в них пробуждалась супружеская нежность, особая близость; в такие моменты, когда весь внешний мир, казалось, исчезал, Галипу хотелось спросить, что она делала сегодня дома, чем занималась, помимо стирки, мытья посуды, чтения детективов и прогулки (доктор сказал, что детей у них не будет, и Рюйя не проявляла особого желания что-либо предпринять, чтобы исправить это); но спрашивать он не решался: после подобного вопроса могло возникнуть пугающее отчуждение, а ответ мог быть дан в выражениях, весьма далеких от обычного языка их общения; поэтому он молчал, обнимал Рюйю и просто смотрел на нее. «Опять этот пустой взгляд!» — говорила Рюйя. И весело повторяла слова, которые в детстве говорила Галипу ее мать: «Ты бледен, как бумага!»

После утреннего азана Галип немного подремал, сидя в кресле в гостиной.

Очнувшись от дремы, он сел за стол и стал искать бумагу; то же, как он полагал, сделала и Рюйя девятнадцать-двадцать часов назад. Не найдя — как и Рюйя — бумаги, он стал на обратной стороне прощального письма составлять список людей и адресов, о которых думал всю ночь. Список все рос и рос, и конца ему не было, и это раздражало Галипа, потому что ему казалось, что он подражает героям детективных романов.

Когда окно окрасилось в нежно-голубой цвет, Галип выключил в доме все лампочки. Наскоро просмотрел выброшенные бумаги и выставил за дверь ящик с мусором — для привратника. Заварил чай, побрился, вставив в станок новое лезвие, надел чистое, но неглаженое белье и рубашку, привел в порядок дом после ночного разгрома. Одеваясь, взял газету «Миллиет», просунутую под дверь привратником, и за чаем стал читать статью Джеляля: это была старая история с «глазом», которую автор много лет назад пережил в отдаленном мрачном квартале. Галип уже читал эту статью, когда она была впервые опубликована, но снова ощутил ужас наблюдающего за тобой «глаза». В этот момент зазвонил телефон.

«Рюйя!» — подумал Галип, направляясь к телефону, и на ходу решил, в какой кинотеатр они пойдут сегодня вечером: «Конак». Он разочарованно отвечал на вопросы голоса в телефонной трубке: это была тетя Сузан. Температура у Рюйи уже меньше, всю ночь она очень хорошо спала, даже видела сон и рассказала его Галипу. Разумеется, она захочет поговорить с матерью: «Рюйя! — крикнул он в сторону коридора, — Рюйя, твоя мама звонит!» Он будто увидел, как зевающая Рюйя поднимается с постели, лениво потягиваясь, сует ноги в тапочки; тут Галип быстро сменил бобину в фильме своего воображения: обеспокоенный муж идет через коридор в спальню, чтобы позвать жену к телефону, но находит ее спящей. «Она заснула, тетя Сузан, у нее от температуры глаза распухли, она умылась, легла и снова заснула! Вечером мы, возможно, пойдем в «Конак», — сказал Галип довольно уверенно. «Не простудиться бы ей снова!» — забеспокоилась тетя Сузан, но, видимо, решив, что дает слишком много наставлений, переменила тему: «Знаешь, по телефону твой голос вправду удивительно похож на голос Джеляля. Или ты тоже простыл? Смотри не заразись от Рюйи!» Оба они положили трубки тихонько, осторожно, будто боялись разбудить Рюйю.

Положив трубку, Галип вернулся к статье Джеляля, снова вообразил себя человеком, за которым наблюдает «глаз», и вдруг его осенило: «Рюйя вернулась к бывшему мужу!» Он удивился, что, всю ночь мучаясь всякими фантастическими предположениями, не пришел к такому простому выводу. Решительно подойдя к телефону, он позвонил Джелялю: сейчас он расскажет ему о своем беспокойстве и решении: «Я иду искать их. Я найду Рюйю с бывшим мужем, это не займет слишком много времени, но боюсь, что не смогу убедить ее вернуться. Что сказать ей, чтобы она вернулась (он хотел сказать «ко мне», но не сказалось) домой?» — «Прежде всего успокойся, — сочувственно ответит Джеляль. — Когда Рюйя ушла? Успокойся! Давай подумаем вместе. Приезжай ко мне в редакцию». Но телефон не отвечал. Джеляля не было ни дома, ни в редакции.

Перед уходом Галип снял трубку с телефона. Если тетя Сузан пожалуется: «Я звонила, звонила, но было все время занято», я скажу: «Наверно, Рюйя плохо положила трубку, вы же знаете, какая она рассеянная».

Буквы горы Каф

Разве имя должно что-то значить?

Льюис Кэрролл

Выйдя после бессонной ночи на улицу, Галип понял, что сильный снег шел дольше, чем он предполагал: обычно свинцово-серый Нишанташи сверкал непривычной белизной. Пройдя мимо цветочных лавок с запотевшими окнами, пассажей, куда то и дело ныряли разносчики чая, лицея, где они с Рюйёй учились, мимо сказочного вида кашта-

нов, с веток которых свисали сосульки, Галип вошел в лавку Алааддина. Алааддин с голубой повязкой на голове, девять лет назад упомянутой в статье Джеляля, держал платок у носа.

— Алааддин, ты что, приболел?

— Простудился.

Галип перечислил названия левых политических журналов и попросил Алааддина подобрать их по одному экземпляру: в одних раньше публиковался бывший муж Рюйи, некогда популярный политик, в других были статьи в его поддержку, в третьих писали его противники. С обычным детским выражением на лице, в котором можно было прочитать опаску, иногда — недоверие, но никогда — враждебность, Алааддин сказал, что эти журналы покупают только студенты, и спросил:

— Тебе-то они зачем?

— Кроссворды буду разгадывать, — сказал Галип.

Алааддин рассмеялся, показав, что понял шутку, а потом сказал с грустью кроссвордомана:

— В них не бывает кроссвордов, брат! Вот тут два совсем свежих журнала, хочешь?

— Давай, — сказал Галип, а потом шепотом, как старик, купивший журнал с голыми женщинами, добавил: — Заверни-ка мне все это в газету!

Стоя в автобусе, ехавшем в Эминёню[1], он внезапно почувствовал, что пакет с журналами словно потяжелел, и тут же ощутил на себе чей-то взгляд. Но это не были глаза одного из пассажиров автобуса, потому что все пассажиры, качающиеся, как в катере на волнующемся море, старались удержаться на ногах и рассеянно смотрели на заснеженные улицы и пешеходов. Галип заметил, что на него с газетной фотографии смотрит Джеляль: оказывается, Алааддин завернул журналы в старый номер газеты «Миллиет». Эту фотографию он видел много лет каждое утро, но сегодня Джеляль смотрел с этой фотографии совершенно по-иному, пугающе, как бы одним глазом. Этот взгляд говорил: «Я тебя знаю и все время наблюдаю за тобой!» Галип закрыл пальцем этот проникающий в душу глаз, но на протяжении всего пути в автобусе ощущал его на себе.

Добравшись до своей конторы, он сразу позвонил Джелялю, но того не было на месте. Развернув газету, Галип осторожно отодвинул ее в угол, положил перед собой журналы и, внимательно читая их, вспомнил о Саиме, своем старом товарище, который собирал политическую литературу.

Ему хотелось получше познакомиться с черно-белым странным политизированным миром маленьких левых партий, чтобы, когда он найдет Рюйю, быть готовым к разговору с ее бывшим мужем, и, отыскав в книжке номер телефона, он позвонил приятелю-коллекционеру.

— Ты все еще собираешь журналы? — спросил он с надеждой. — Мне нужны кое-какие данные для защиты одного клиента, могу я поработать в твоем архиве?

— Конечно, — сказал Саим с обычной готовностью, довольный, что ему звонят по поводу «архива». Они договорились, что Галип придет вечером, в полдевятого...

Когда стемнело, Галип, не зажигая света, закрыл тяжелые ящики стола, надел найденное на ощупь пальто и вышел из конторы.

По холодным пустынным улицам он добрался до дома Саима в районе Джихангир.

Саим и его жена смотрели телепередачу. Когда программа закончилась и телевизор был выключен, в комнате воцарилась тишина; супруги вопросительно посмотрели на Галипа. Он объяснил, что взялся защищать студента, обвиняемого в преступлении, которого он не совершал. К сожалению, в деле фигурирует труп: трое неопытных молодых людей совершили ограбление банка; один из них в метаниях между банком и угнанным ими такси сшиб старушку. Несчастная женщина упала, ударилась головой о мостовую и скончалась на месте. («Надо же!» — воскликнула жена Саима.) Во время этого происшествия был задержан скромный на вид молодой человек, у которого нашли пистолет. Он

---

[1] Район Стамбула на берегу Золотого Рога.

не назвал полиции имена своих товарищей, устоял под пытками; плохо то, что своим молчанием, как сказали Галипу, молодой человек взял на себя ответственность и за смерть старушки. А студент-археолог Мехмет Йылмаз, который сбил старушку и стал виновником ее смерти, через три недели после происшествия был убит наповал в тот момент, когда писал лозунг на стене фабрики в новом районе бедняков в Умрание. Теперь, казалось бы, юноша мог назвать имя виновного; однако полиция не верит, что погибший был действительно Мехметом Йылмазом, к тому же руководители организации, устроившей ограбление банка, настойчиво утверждают, что Мехмет Йылмаз жив и по-прежнему пишет статьи в журнале, который они издают. Галип, который взялся за это дело по просьбе богатого и добронамеренного отца юноши, находящегося в тюрьме, хочет: во-первых, просмотреть статьи Мехмета Йылмаза, чтобы доказать, что тот, кто пишет сегодня под этим именем, не является Мехметом Йылмазом; во-вторых, установить по псевдонимам, кто подписывает статьи именем погибшего Мехмета Йылмаза; в-третьих, поскольку эту странную ситуацию создала политическая фракция, которую какое-то время возглавлял бывший муж Рюйи, Галип хочет посмотреть, чем эта фракция занималась последние шесть месяцев; и, наконец, в-четвертых, ему хочется разгадать, кто пишет, прикрываясь именами умерших и пропавших без вести людей.

Саим был взволнован рассказом Галипа, и они немедленно приступили к работе. Первые два часа они пили чай, который подавала жена Саима (Галип вспомнил, что ее зовут Рукие), бросали в рот кусочки кекса и просматривали имена и псевдонимы только авторов журналов. Потом расширили круг поиска до псевдонимов признавшихся на допросах и сотрудников журналов: скоро у них голова пошла кругом от этого увлекательного полулегального мира с его сообщениями о смертях, угрозами, признаниями, бомбами, опечатками, стихами и лозунгами, мира, который все еще существовал, но уже начал исчезать из людской памяти.

Саим считал, что большинство имен, с которыми они встречались в журналах, были вымышленными. Они пытались угадать, кто стоит за этими именами, понять, по какому принципу изобретались псевдонимы, расшифровать их; жена Саима ушла, оставив мужчин в комнате с наваленными повсюду грудами бумаг, газет, журналов и листовок. Было далеко за полночь; в Стамбуле царило волшебное снежное безмолвие.

Имя Мехмеда Йылмаза встретилось им в журнале четырехлетней давности. Галип подумал, что это случайность, и хотел было уже уйти, но Саим удержал его, заверив, что в его журналах — он так и называл их все: «мои журналы» — ничего случайного быть не может. Следующие два часа они усердно просматривали журналы и открыли, что Мехмет Йылмаз сначала превратился в Ахмета Йылмаза, а в журнале, где на обложке был изображен колодец, вокруг которого стояли крестьяне и разгуливали куры, Ахмет Йылмаз преобразился в Метина Чакмаза. Саим без труда установил, что Метин Чакмаз и Ферит Чакмаз — одно и то же лицо; отказавшись от сочинения теоретических статей, этот человек стал писать песни, но и в этом жанре работал недолго. Саим на цыпочках пошел в спальню, принес еще одну подборку журналов и в номере, вышедшем три года и два месяца назад, уверенно нашел своего героя, будто сам поместил туда его статью: теперь это был уже не Ферит Чакмаз, а Али Харикаульке, и он писал, что, поскольку в прекрасном будущем отпадет надобность в королях и королевах, то изменятся правила шахматной игры, что детей по имени Али хорошо кормят, поэтому они вырастут рослыми и крепкими, что в конце концов будут разгаданы все тайны, и счастливые люди будут беспечно сидеть по-турецки, и на лицах у них можно будет прочитать их имена. Открыв другой номер журнала, они поняли, что Али Харикаульке не автор, а переводчик этой статьи. Автором же статьи оказался албанский профессор. Галипа поразило, что рядом с биографией профессора он встретил имя бывшего мужа Рюйи, который никогда не скрывался за псевдонимами.

Галип молчал, удивленный, а Саим гордо сказал: «Нет ничего более удивительного, чем жизнь! Кроме слова».

Он снова на цыпочках пошел в спальню и принес две больших коробки, доверху

набитых журналами: «Это журналы фракции, имеющей связи с Албанией. Я открою тебе странную тайну, на разгадывание которой у меня ушли годы, поскольку вижу: то, что ты ищешь, каким-то образом связано с ней».

Саим разложил журналы, заварил чай и начал рассказ:

— Шесть лет назад, как-то в субботу после обеда, я листал последний номер одного из журналов, придерживающихся курса Албанской партии труда и ее вождя Энвера Ходжи (тогда выходило три таких журнала, и они вели между собой острую борьбу); итак, я просматривал журнал «Халкын эмеи»[1] — вдруг попадется что-нибудь интересное. Мое внимание привлекла статья и фотография к ней: в статье говорилось о торжествах по случаю вступления в организацию новых членов. Меня не удивило, что в нашей стране, где запрещена какая бы то ни было коммунистическая деятельность, открыто сообщалось о вступлении новых членов в марксистскую организацию, о церемонии с чтением стихов и игрой на сазе; пренебрегая опасностью, журналам всех мелких левых организаций ради выживания приходилось сообщать о своем росте и в каждом номере печатать подобные статьи. На черно-белой фотографии были видны плакаты с портретами Энвера Ходжи и Мао; собравшиеся читали стихи и курили сигареты с такой страстью, будто выполняли священный обряд; бросалось в глаза, что в зале двенадцать колонн. Это было странно. Но еще более странным было то, что вымышленные имена вступающих в организацию были сплошь имена алевитов[2], такие, как Хасан, Хюсейн, Али, то есть, как я открыл впоследствии, имена, дающиеся в честь основателей ордена Бекташи[3]. Если бы я не знал, насколько сильно было когда-то в Албании влияние ордена Бекташи, я бы даже не заметил здесь ничего загадочного; я стал изучать литературу о Бекташи, о янычарской армии, о хуруфитах[4], коммунизме в Албании и разгадал историческую загадку.

Ближе к утру Саим стал излагать семисотлетнюю историю ордена Бекташи, начиная с его основателя Хаджи Бекташи Вели. Он говорил об алевитских, мистических и шаманистских истоках ордена, о его участии в основании и возвышении Османского государства, о революционных и бунтарских традициях янычарской армии, основу которой составляли бекташи[5]. Если подумать о том, что каждый янычарский воин был членом ордена Бекташи, то станет ясно, какое влияние оказал на историю Стамбула орден, секреты которого всегда строго охранялись. В 1826 году после расстрела по приказу султана Махмуда II взбунтовавшихся армейских казарм, которые противились новой военной методике Запада, были закрыты дервишские обители — очаг духовного единства янычар, а отцов ордена выслали из города.

Через двадцать лет после первого ухода в подполье бекташи вернулись в Стамбул, но на сей раз как орден Накшибенди. В течение восьмидесяти лет, вплоть до того момента, когда Ататюрк после провозглашения Республики запретил деятельность всех орденов, бекташи представляли себя внешнему миру как накшибенди, но между собой они жили как бекташи, еще глубже спрятавшие свои тайны.

Перед Галипом лежала книга о путешествии в Англию; гравюра на раскрытой странице, изображавшая религиозный обряд бекташи, была в значительной мере плодом творческой фантазии художника, но Галип насчитал двенадцать нарисованных на ней колонн.

— Третий приход бекташи, — продолжал Саим, — состоялся через пятьдесят лет после провозглашения Республики, и на этот раз не в виде ордена Накшибенди, а в виде марксизма-ленинизма. — Помолчав, он взволнованно стал показывать журналы, брошюры, книги, собранные вырезки, фотографии и гравюры, свидетельствующие о том, насколько совпадало происходившее в ордене и в политической организации: обряд приема новых членов, физические испытания, которым подвергались молодые кандидаты

---

[1] «Труд народа».

[2] Алевиты, они же шииты, — последователи Али, зятя пророка Мухаммеда.

[3] Религиозный мистический орден, основанный в Турции в XV в. Хаджи Бекташи. Запрещен в 1926 г. Имел центр в Албании.

[4] Хуруфиты — члены шиитской общины, основанной в XIV в., верящие в мистическое значение букв.

[5] Члены ордена Бекташи.

перед приемом, преклонение перед павшими за идею, сами способы выражения этого преклонения, священный смысл, придаваемый слову «путь», значение единства и единения духа — не важно, какими словами оно выражается, — радения, узнавание друг друга единомышленниками по усам, бородам, даже по взглядам, сазы, звучащие во время обрядов, ритм и рифмы читаемых стихов и т. д. и т. п. — Даже если все это случайные совпадения, — сказал Саим, — и просто жестокая шутка, которую сыграл со мной Всевышний при помощи статей, главное — и надо быть совершенно слепым, чтобы не заметить этого, — налицо: в журналах политической организации с очевидностью, не оставляющей никакого сомнения, неизменно повторяется игра слов и букв, которую бекташи заимствовали у хуруфитов. — И в глубокой тишине, когда слышны были свистки сторожей из далеких кварталов, Саим стал медленно, как молитву, читать фразы, в которых он открыл игру слов, указывая на скрытый смысл прочитанного.

Спустя довольно долгое время, когда Галип погрузился в какое-то полусонное состояние и вспоминал о счастливых днях с Рюйей, Саим перешел, как он выразился, к «сути и самой поразительной стороне темы». Нет, вступающие в политическую организацию молодые люди не знали, что это организация бекташи; нет, подавляющее большинство членов организации — может быть, за исключением трех-пяти человек — не имели понятия о том, что между средним звеном партийного руководства и некоторыми шейхами Бекташи в Албании существует тайное соглашение; нет, этим увлеченным самоотверженным молодым людям, которым, вступив в организацию, приходилось в корне менять привычки, да и сам образ жизни, даже в голову не могло прийти, что снятые на фотографиях торжества, демонстрации, обряды, общие обеды некоторые отцы ордена Бекташи, находящиеся в Албании, считали продолжением деятельности ордена.

— Я наивно думал, — рассказывал Саим, — что это чудовищная тайная ловушка, что молодые люди были обмануты самым мерзким способом, я был так взволнован, что впервые за пятнадцать лет работы над архивом решил опубликовать большую статью о своем открытии, но довольно скоро отказался от этого намерения. — Он прислушался к тому, как по Босфору проходит танкер, стоном своего чрева вызывающий дрожь стекол в окнах домов, и прибавил: — К тому времени я уже понял, что, даже если и докажешь, что твоя жизнь — всего лишь сон другого, это ничего не изменит.

А потом рассказал историю народа Зерибан, который поселился высоко в горах Восточной Анатолии, куда не доходили караваны и даже птицы долетали с трудом; двести лет народ готовился совершить путешествие на гору Каф; и что изменится от того, что идея восхождения была почерпнута из книги снов, изданной триста лет назад, или станет известно, что у шейхов был тайный договор с османами — они передавали его по секрету из поколения в поколение, — согласно которому было дано обещание не предпринимать попыток восхождения на гору Каф? Что толку объяснять солдатам, заполнившим в воскресный вечер кинотеатр маленького анатолийского городка, что интриган-священнослужитель на экране, пытающийся по сценарию исторического фильма напоить отравленным вином отважных турецких воинов, в жизни всего лишь скромный актер и честный мусульманин? Что это даст, кроме того, что люди лишатся радости проявить праведный гнев? Под утро, когда Галип дремал, сидя на диване, Саим сказал, что некоторые партийные руководители Албании встретились с шейхами Бекташи в просторном отеле начала века; глядя со слезами на глазах на выставленные перед ними фотографии молодых турок, шейхи скорее всего не подозревали, что на них запечатлены приобщенные не к тайнам ордена, а к высоким идеям марксизма-ленинизма.

Пока Рукие собирала журналы, освобождая на столе место для завтрака, Саим просматривал свежие газеты, просунутые под дверь.

— Знание того, что статьи не есть сама жизнь, а просто-напросто статьи и в каждой присутствует некоторая доля фантазии, тоже ничего не изменит, — заключил он.

Три мушкетера

Я спросил его о врагах. Он считал. Считал. Считал.

Беседы с Яхьёй Кемалем[1]

Тридцать два года назад он описал, какими будут его похороны, двадцать лет назад он боялся, что они будут такими, как он описал. Были они именно такими. Участников церемонии, включая лежащего в гробу умершего писателя, было девять: двое из маленького частного дома для престарелых, служитель и сосед по комнате, пенсионер-журналист, которому когда-то в самое блестящее время своей карьеры он в чем-то помог, два растерянных родственника, которые не имели ни малейшего понятия о жизни и творчестве покойного, странная женщина в шляпке с вуалью и брошью, напоминающей те, что прикреплялись к головным уборам султанов, имам эфенди[2] и я. Когда гроб опускали в могилу, разыгралась снежная метель, поэтому имам скороговоркой прочитал подобающие молитвы, а мы наскоро побросали землю. После этого все разошлись.

Когда я познакомился с покойным, он был известным публицистом, ему было семьдесят, а мне тридцать. Я собирался в Бакыркёй[3] навестить приятеля и уже садился на пригородный поезд в Сиркеджи, как вдруг увидел его и еще двух популярных журналистов моего детства и юности, сидящих в вокзальном ресторане; перед ними на столе стояли стаканы ракы. Поразительным было не то, что эти три старца, герои моих литературных мечтаний, каждому из которых было сейчас по семьдесят, оказались в вокзальном ресторане, среди простой толпы, а то, что эти три рыцаря пера, которые на протяжении всей жизни ненавидели и оскорбляли друг друга, собрались, словно три мушкетера Дюма-отца двадцать лет спустя, спокойно сидели и пили за одним столом. За свою полувековую журналистскую деятельность три бойких на перо скандалиста пережили трех султанов, одного халифа и трех президентов; в чем только не обвиняли они друг друга: в безбожии, младотюркизме, западничестве, национализме, масонстве, кемализме, республиканстве, измене родине, приверженности падишаху, сектантстве, плагиате, нацизме, пособничестве евреям, арабам, армянам, гомосексуализме, оппортунизме, поддержке шариата, коммунизме, проамериканских настроениях и — мода самого последнего времени — экзистенциализме (один из них написал тогда, что самым крупным экзистенциалистом был Ибн Араби, а Запад через семьсот лет заимствовал его идеи и стал подражать ему). Некоторое время я наблюдал за тремя рыцарями, а потом, повинуясь внутреннему побуждению, подошел к их столику, представился и выразил восхищение их творчеством, стараясь быть одинаково внимательным к каждому.

Я хочу, чтобы читатели поняли: я был энергичен, молод, удачлив, уверен в себе и самонадеян, я подошел к ним с добрыми намерениями, но не без задней мысли. Я только что стал ведущим рубрики и ничуть не сомневался, что в те дни меня читали больше, чем их, я получал больше читательских писем и, уж конечно, лучше писал; если бы я не был уверен, что им известны как минимум два первых обстоятельства, я ни за что не осмелился бы подойти к этим трем мэтрам моей профессии.

Они поморщились, когда я назвал свое имя: я с радостью принял это как знак победы. Они отнеслись бы ко мне гораздо лучше, если бы я был не преуспевающим журналистом, а их рядовым почитателем. Они даже не пригласили меня сесть, мне пришлось ждать; потом посадили, но тут же послали на кухню, как официанта, я сходил; потом им захотелось посмотреть свежий журнал, я сбегал и принес; одному я очистил апельсин, другому изловчился быстренько поднять уроненную салфетку; на вопросы я отвечал так, как им было приятно — робея и смущаясь: нет, французского, к сожалению, не знаю, но вечерами пытаюсь со словарем осилить «Цветы зла». Мое невежество делало мою победу еще нестерпимее для них, но поскольку я очень стеснялся, вина моя смягчалась.

---

[1] Яхья Кемаль (1884—1960) — турецкий поэт.

[2] Имам — духовное лицо, главный служитель мечети, глава религиозной общины.

[3] Район Стамбула на берегу Мраморного моря.

Годы спустя, когда я проделывал такие же номера в присутствии молодых журналистов, я понял: три мастера прикидывались, что не обращают на меня внимания, когда разговаривали между собой, но на самом деле они старались произвести на меня впечатление. Я слушал их молча и уважительно: почему немецкий ученый-атомщик, имя которого не сходило в те дни со страниц газет, захотел принять ислам? Когда патриарх турецкой газетной журналистики Ахмед Мидхат-эфенди[1] подстерег на улице в ночи одержавшего над ним верх в публичной дискуссии коллегу и побил его, взял ли он с противника слово прекратить ведущуюся между ними полемику? Бергсон — мистик или материалист? Какие есть доказательства существования «другого мира», спрятанного на нашей Земле? Кто те поэты, которых осудили в последних аятах двадцать шестой суры Корана за то, что они не верили в Аллаха и не соблюдали обрядов, но делали вид, что верят и соблюдают? Андре Жид в самом деле был гомосексуалистом или, понимая пикантность этой темы, подобно арабскому поэту Абу Нувасу[2], любил женщин, но сознательно наговаривал на себя? Когда Жюль Верн в своем романе описывал площадь Топхане и фонтан Махмуда I, он наделал ошибок потому, что писал с гравюры Меллинга, или потому, что слово в слово переписал описание из «Воспоминаний о Востоке» Ламартина? Мевляна[3] включил в пятую книгу «Месневи»[4] рассказ о женщине, умершей во время совокупления с ослом, из-за занимательности истории или в назидание людям?

Деликатно обсуждая этот вопрос, они бросали взгляды в мою сторону, а потом их белые брови подали мне знак говорить. Я сказал, что, по моему мнению, рассказ был помещен в книгу так же, как и все другие рассказы, его просто прикрыли тюлевым покрывалом морали. Тот, на похоронах которого я был вчера, спросил: «Сын мой, вы пишете статьи для воспитания нравственности или ради развлечения?» Чтобы продемонстрировать, что у меня имеются четкие суждения по каждому вопросу, я выпалил первое, что пришло в голову: «Для развлечения». Мой ответ им не понравился. Они сказали: «Вы еще молоды и стоите в начале профессионального пути, мы дадим вам кое-какие советы!» Я стремительно вскочил с места: «Эфенди, я хотел бы записать ваши наставления!» Я помчался к кассе, взял у владельца ресторана стопку листков. И вот теперь я хочу поделиться с вами, мои читатели, наставлениями, записанными зелеными чернилами моей гладенькой ручки на обороте ресторанных бланков; итак, на одной стороне — название ресторана, а на другой — наставления, которые я получил во время той долгой беседы в воскресенье.

А. АДЛИ. В тот зимний день на нем был костюм кремового цвета из английской ткани (я так пишу, потому что у нас всякую дорогую ткань называют английской) и темный галстук. Высокого роста, ухоженный, с расчесанными седыми усами. Ходил с тростью. Он выглядел как английский джентльмен, у которого нет денег; впрочем, не знаю, можно ли быть джентльменом без денег.

Б. БАХТИ. Галстук перекошен, как и лицо. Одет в старый неглаженый пиджак в пятнах. Под пиджаком — жилет, в кармане жилета — цепочка от часов. Толстый, неряшливый. Беспрерывно курил, называл сигареты «Мой единственный друг!» и говорил, что настанет день, когда единственный друг предаст одностороннюю дружбу и убьет его, остановив сердце.

Дж. ДЖЕМАЛИ. Маленького роста, нервный. Старается выглядеть опрятным и респектабельным, несмотря на скромную одежду учителя-пенсионера. Выцветший пиджак, брюки почтальона и ботинки на толстой пластиковой подошве. Сильно близорукий, в очках с толстыми стеклами. Неприятная внешность, которую можно было бы назвать недружелюбной.

---

[1] Ахмед Мидхат (1844—1913) — турецкий писатель, просветитель; эфенди — вежливая форма обращения.

[2] Абу Нувас (р.747—762, ум.813—815) — арабский поэт, воспевавший обыденную жизнь.

[3] Мевляна (господин, наш учитель, *перс.*) — титул поэта-суфия, основателя суфийского ордена Джалалиддина Руми (1207—1273), ставший как бы вторым именем поэта.

[4] Месневи — жанровая форма поэзии Востока, состоит из попарно рифмующихся двустиший. «Месневи» — поэма Д. Руми из 6 томов притч и проповедей.

Итак, наставления мэтров и мой жалкий комментарий: 1. Дж.: Работа только для удовольствия оставляет журналиста без компаса в открытом море. 2. Б.: Журналист — не Эзоп и не Мевляна. Мораль всегда выходит из рассказа, а не наоборот. 3. Дж.: Пиши по уму читателя, а не по своему уму. 4. А.: Компас — это рассказ (очевидно, ответ Дж.). 5. Дж.: Не вникнув в загадку нашей истории и кладбищ, невозможно писать ни о нас, ни о Востоке вообще. 6. Б.: Ключ к теме Восток—Запад спрятан в словах Сакаллы Арифа: «Ах вы несчастные, следующие на Восток и глядящие с тихого корабля на Запад!» (Сакаллы Ариф — герой рубрики Б., имевший прототипа). 7. А.—Б.—Дж.: Обзаведитесь собственными пословицами, поговорками, анекдотами, остротами, стихотворными строками, афоризмами. 8. Дж.: Не надо начинать с поисков «своей» темы, сначала надо найти стоящий афоризм, а потом уже искать тему, подходящую для него. 9. А.: Не садись за стол, пока не нашёл первой фразы. 10. Дж.: Верь в то, что пишешь. 11. А.: А если у тебя нет искренней веры, сделай так, чтобы читатель поверил, что она у тебя есть. 12. Б.: Читатель — ребенок, мечтающий попасть на ярмарку. 13. Дж.: Читатель не прощает оскорбления Мухаммеда, ибо Аллах за это насылает паралич (понял, что сентенцией под № 11 А. задевает его и намекает на легкий парез уголка рта А., который писал статьи о женитьбе и личной жизни Мухаммеда). 14. А.: Люби карликов, их и читатель любит (ответ Дж. с намеком на его маленький рост). 15. Б.: Хорошая тема, например, загадочный дом карликов в Ускюдаре[1]. 16. Дж.: Борьба, когда она спортивная, тоже хорошая тема, о ней интересно писать (решил, что сентенция № 15 — опять намек на него, и отсылает меня к слухам о пристрастии Б. к мальчикам, порожденные серией статей журналиста о борьбе). 17. А.: Читатель живет трудно, читатель — это отец семейства, имеющий жену, четырех детей и ум двенадцатилетнего подростка. 18. Дж.: Читатель неблагодарен, как кошка. 19. Б.: Я бы не сказал, что умный зверь кошка — неблагодарная; она просто знает, что нельзя доверять писателям, любящим собак. 20. А.: Занимайся не кошками и собаками, а проблемами страны. 21. Б.: Узнай адреса зарубежных консульств (намек на слухи о том, что во время второй мировой войны Дж. подкармливало немецкое консульство, а А. — английское). 22. Б.: В полемику вступай только в том случае, если уверен, что одержишь верх над противником. 23. А.: В полемику вступай только в том случае, если сможешь привлечь на свою сторону патрона. 24. Дж.: В полемику вступай только в том случае, если у тебя под рукой пальто (намек на то, что Б. не принимал участия в освободительной борьбе, а остался в оккупированном Стамбуле, произнеся знаменитую фразу «Я не переношу анкарских зим!»). 25. Б.: Отвечай на письма читателей; если писем нет, сам пиши и отвечай на них. 26. Дж.: Наш бесспорный патриарх и мэтр — Шехерезада; не забывай, что ты, как и она, всего-навсего пишешь истории в пять-десять страниц, впихивая в них события, называемые жизнью. 27. Б.: Читай мало, но с наслаждением, будешь выглядеть более начитанным, чем те, кто читает много, но без удовольствия. 28. Б.: Будь нахрапистым, знакомься с такими людьми, о которых после их смерти можно написать воспоминания. 29. А.: Некролог начинай с сострадания и не кончай оскорблением покойного. 30. А.—Б.—Дж.: По возможности удерживайся от следующих фраз — а) еще вчера он был среди нас; б) профессия наша неблагодарна, уже на следующий день люди забывают написанное; в) слушали ли вы вчера такую-то программу радио?; г) как летят годы!; д) что сказал бы покойный об этом позоре?; е) такого не бывает и в Европе; ж) в таком-то году хлеб стоил столько-то; з) этот случай напоминает мне о... 31. Дж.: Слово «потом» существует только для новичков, не знающих дела; 32. Б.: Что является искусством, то не является статьей, а что является статьей — то не является искусством; 33. Дж.: Не расточай похвалы уму, который насилием над стихами погасил страсть к искусству (намек на поэтические занятия Б.); 34. Дж.: Пиши просто, легче поймут; 35. Дж: Пиши сложно, легче поймут; 36. Б.: Будешь писать сложно, наживешь язву (тут все вместе дружно засмеялись, будто впервые сказали друг другу доброе слово); 37. Б.: Состарься пораньше. 38. Дж.: Состарься пораньше, чтобы написать хорошую, глубокую статью! (Снова с симпатией улыбнулись друг другу); 39. А.: Три сильные темы, конечно же, смерть,

[1] Ускюдар — район на азиатской стороне Стамбула.

любовь и музыка. 40. А.: Но прежде надо самому решить, что такое любовь; 41. Б.: Ищи любовь (напомню читателям, что советы эти не сыпались один за другим, а перемежались молчанием, обдумыванием); 42. Дж.: Береги любовь, потому что ты писатель; 43. Б.: Любовь — это поиск; 44. Дж.: Скрывайся, пусть думают, что у тебя есть тайна; 45. А.: Дай почувствовать, что у тебя есть тайна, и тебя будут любить женщины; 46. Дж.: Каждая женщина — зеркало (на этом совете была открыта новая бутылка, и мне предложили ракы); 47. Б.: Помни нас хорошенько (конечно, буду помнить, эфенди, сказал я, и, как поймет мой внимательный читатель, многие статьи я написал, вспоминая их и их истории); 48. А.: Выйди на улицу, посмотри на лица — вот тебе и тема; 49. Дж.: Дай понять, что ты знаешь исторические тайны, но, к сожалению, ты не можешь о них писать (здесь Дж. рассказал историю; историю возлюбленного — я перескажу ее в другой раз, — который говорил своей любимой: «Я есть ты», и я ощутил наличие некоей тайны и любви, усадившей за один стол этих трех писателей, которые на протяжении полувека публично оскорбляли друг друга); 50. А.: Не забывай, что весь мир враждебен нам; 51. Б.: Этот народ очень любит своих пашей, детство и матерей, люби их и ты; 52. А.: Не пользуйся эпиграфами, они убивают тайну написанного; 53. Б.: А уж если суждено ей погибнуть, убей сам — и тайну, и лжепророка, ее сотворившего; 54. Дж.: Если будешь пользоваться эпиграфами, не бери их из западных книг, авторы и герои которых совсем не похожи на нас, и ни в коем случае не бери из книг, которых не читал, ибо именно так поступал Даджал[1]; 55. А.: Не забывай, что ты и дьявол, и ангел, и Даджал, и Он. Потому что читателю скучно, когда все хорошо или все плохо; 56. Б.: Когда читатель поймет, что принял Даджала за Него, когда в ужасе заметит, что обманут тобой и тот, которого он принимал за Спасителя, на самом деле Даджал, он непременно убьет тебя на темной улице!; 57. А.: Да, поэтому храни тайну, не выдавай тайну профессии; 58. Дж.: Не забывай, что твоя тайна — это любовь. Любовь — ключевое слово; 59. Б.: Нет, ключевое слово Он пишет на наших лицах. Смотри и слушай; 60. А.: Любовь, любовь, любовь, любовь!.. 61. Б.: Не бойся революции; вся тайна нашего трудного чтения и трудного писания спрятана в мистическом зеркале. Знаешь рассказ Мевляны «Состязание художников»? Он тоже взял этот рассказ у других, но сам... (тут я сказал: знаю, эфенди, знаю); 62. Дж.: Когда состаришься и тебе зададут вопрос, может ли человек быть самим собой, не забудь спросить себя самого, раскрыл ли ты эту тайну! (я не забыл); 63. Б.: Не забудь, что понимающих и снисходительных к старым автобусам и написанным наскоро книгам столько же, сколько непонимающих и непримиримых!

Тут откуда-то, кажется из дальнего угла ресторана, послышалась песня о несчастной любви, горе и тщетности жизни; они мигом забыли обо мне и, вспомнив, что каждый из них — пожилая и усатая Шехерезада, стали печально и дружески рассказывать друг другу истории. Вот некоторые из них.

Забавная и грустная история о публицисте, который всю жизнь страстно описывал прогулки Мухаммеда по седьмому небу, а потом случайно узнал, что нечто подобное уже сделал Данте: это было большое несчастье; рассказ о безумном падишахе-извращенце, который в детстве гонял с сестрой ворон на огороде; рассказ о писателе, потерявшем сон, когда его покинула жена, о читателе, который вообразил себя одновременно и Альбертиной, и Прустом; рассказ о публицисте, оказавшемся султаном Фатихом Сулейманом Мехмедом[2], и т. д. и т. п.

---

[1] Так, согласно исламу, зовут Антихриста, который должен появиться перед концом света.

[2] Мехмед II Фатих (Завоеватель) (1432—1481) — султан, который в 1453 г. захватил Константинополь и сделал его столицей Османской империи.

Кто-то преследует меня

То шел снег, то было темно.

Шейх Галип[1]

Весь тот день Галип снова и снова будет вспоминать как единственную подробность, оставшуюся в памяти от жуткого кошмара, старое кресло, которое он увидел утром, когда, выйдя из дома своего друга Саима, спускался в Каракёй по старым улицам и ступенькам узких тротуаров Джихангира. Это было на высоком холме позади Топхане, где Джеляль когда-то искал следы передвижения по Стамбулу торговцев наркотиками. Кресло стояло перед закрытыми лавками обойщика, обивщика, картонщика, столяра; лак на ручках и ножках облупился, кожа сиденья походила на рваную рану, и из этой раны уныло торчали ржавые пружины, словно кишки из развороченного живота раненой кавалерийской лошади.

Войдя в контору, Галип сел за стол и тут же принялся читать новую статью Джеляля. На самом деле статья была не новой, она уже публиковалась много лет назад. Это могло означать, что Джеляль давно не давал в газету новых материалов, но могло быть и тайным знаком чего-то другого. И вопрос: «Трудно ли вам быть самим собой?», который задает герой статьи, парикмахер, возможно, указывал на тайный смысл чего-то выходящего за рамки газетной публикации.

Галип помнил, как Джеляль что-то говорил ему на эту тему. «Большинство людей, — объяснял он, — не замечают сути вещей только из-за того, что они под носом, а видят и замечают второстепенные особенности, причем лишь потому, что они не бросаются сразу в глаза. Поэтому я не высказываю открыто основную идею, а прячу ее где-нибудь в середине статьи. Но не слишком глубоко, я словно играю в прятки с детьми, и читатели, найдя спрятанное, верят мне, как дети. Самое скверное — это когда газету выбрасывают, не поняв ни прямого смысла написанного, ни требующего немного терпения и ума другого, скрытого значения».

Что-то подтолкнуло Галипа, отложив газету, отправиться в редакцию газеты «Миллиет». Он знал, что Джеляль чаще ходит туда в конце недели, когда там не так многолюдно, и надеялся застать его одного в кабинете.

Джеляля он не нашел. Стол был убран, пепельница пуста, чашки на столе не было. Галип сел в кресло фиолетового цвета, в котором всегда сидел, когда приходил сюда, и стал ждать. Он был уверен, что через некоторое время услышит смех Джеляля, доносящийся из какого-нибудь кабинета.

К тому времени как он потерял эту уверенность, ему вспомнилось, как они в первый раз пришли сюда с Рюйей и Джеляль отвел их в типографию («Вы тоже хотите стать журналисткой, маленькая ханым?» — спросил пожилой печатник, а Рюйя по дороге домой задала этот же вопрос Галипу); Галип считал редакцию необыкновенной сказкой из «Тысячи и одной ночи», местом, наполненным фантазиями и бумагой, на которой сочинялись невероятные рассказы и истории.

В лотке на столе он увидел две папки с надписями «Пошедшие» и «Резервные». В папке «Пошедшие» лежали отпечатанные на машинке статьи, опубликованные за последние шесть дней, и для воскресного номера: она появится в завтрашней газете, видимо, ее набрали и положили обратно в папку.

Значит ли это, что Джеляль, никому ничего не сказав, отправился в какую-нибудь поездку или уехал в отпуск? Вообще-то он не любил уезжать из Стамбула.

Галип вошел в просторный кабинет одного из редакторов спросить, где Джеляль; за столом сидели, беседуя, двое пожилых мужчин.

Один из них был сердитый старик, публицист, известный под псевдонимом Нешати. В прошлом он вел в газете острую полемику с Джелялем, теперь же писал брюзгливо-нравоучительные воспоминания в рубрике менее популярной, чем рубрика Джеляля. У

---

[1] Мухаммед Эсад Галип деде (1757—1799) — османский поэт классической школы.

него было тоскливое, как у бульдога, выражение лица — точь-в-точь как на фотографии в его рубрике; взглянув на Галипа, он сказал:

— Джеляль-бей не появляется уже много дней! А вы ему кто?

Второй журналист тоже поинтересовался, зачем ему понадобился Джеляль. Лицо этого человека показалось Галипу знакомым, и он мучительно копался в памяти, пока не вспомнил, откуда ему знакомо это лицо: это был Шерлок Холмс в черных очках из журнала-приложения, который знал все и обо всех.

— Значит, вы родственник, — сказал этот второй журналист, — а я считал, что у Джеляль-бея, кроме покойной матери, никого близких не было.

— Если бы у него не было родственников, — съязвил старый публицист, — разве Джеляль-эфенди достиг бы того положения, которое занимает сегодня!

— Если вы хотите найти Джеляль-бея, — сказал журналист, — просмотрите его статьи, он в одном из мест, обозначенных в его статьях. Вы знаете, что его статьи полны знаков, особых маленьких весточек, которые отсылают вас куда-то. Понимаете, о чем я говорю?

В ответ Галип рассказал, что, когда он был ребенком, Джеляль показывал ему предложения, составленные из первых и последних слов абзацев или первых и последних слогов предложений... И еще много всяких игр с буквами. А одну игру слов он придумал специально, чтобы сердить их тетю.

— Это та, что осталась в девках? — спросил журналист.

— Да, ей не удалось выйти замуж.

— А правда, что Джеляль-бей был в ссоре с отцом?

Галип ответил, что это очень давняя история.

— Понимаешь, юноша, — сказал старый полемист, — все, о чем тебя сейчас спрашивали, мы узнали не от Джеляль-бея. У нас есть один коллега, увлекающийся расследованиями и хуруфизмом, он-то и откопал все эти сведения в статьях Джеляль-бея, в словах, за которыми Джеляль-бей прятал реальные факты. Это была кропотливая работа — все равно что иголкой колодец копать.

— Поскольку в этих играх есть смысл, — добавил журналист, — а может, потому, что в них была тайна или они были как-то связаны с тайной, Джеляль-бей превзошел своих коллег; тем не менее следовало бы напомнить ему истину: «Зазнавшегося журналиста хоронят на казенный счет».

— Его невозможно нигде найти, — рассуждал старый публицист, — потому что все оставленные им адреса оказываются вымышленными или он там уже не живет; Джеляль-бей испытывает странную, непонятную ненависть к близким и дальним родственникам, всем людям, на любовь которых не может ответить взаимностью.

Галип спросил, где он может найти Джеляля, если его нет в редакции.

— Джеляль-бей отдалился от всего человечества, спрятавшись в недоступном месте, потому что понял наконец, что никогда не избавится от ощущения невыносимого одиночества, которое преследовало его как злой рок со дня рождения из-за его неумения сближаться с людьми; неизвестно, в какую конуру он забился сейчас, как отчаявшийся безнадежный больной.

Галип сказал, что телевизионная группа Би-би-си хотела бы вытащить Джеляля из его «конуры»...

— Джеляль-бея скоро уволят! — резко оборвал его Нешати. — За последние десять дней он не прислал ни одной новой статьи. А машинописные материалы, которые он оставил как запасные, это его статьи двадцатилетней давности, и все об этом знают!

— А вдруг он, да сохранит его Аллах, умер, — предположил старый публицист. — Ну как, нравится вам игра, в которую мы играем?

А журналист продолжал спрашивать:

— Правда, что он потерял память?

— И правда, и неправда, — ответил Галип.

— А то, что у него много адресов в городе, которые он держит в тайне?

— Тоже: и верно, и неверно.

— Может, он сейчас изнывает в одиночестве от страданий в одной из своих квартир, — сказал публицист.

— Если бы это было так, он бы позвал кого-нибудь, кого считает близким, — высказал предположение журналист.

— Нет такого человека, нет у него близких, — настаивал публицист.

— Юноша, наверно, так не считает, — сказал журналист. — Кстати, вы не назвали своего имени.

Галип назвался.

— Скажите, Галип-бей, — продолжал журналист, — ведь у Джеляль-бея, который сейчас заперся бог знает в каком состоянии, есть люди, которых он считает близкими настолько, чтобы передать им свои литературные тайны, свое наследие? Ведь не настолько он одинок?

Галип подумал: «Нет, он не так одинок».

— Кого бы он позвал к себе, — спросил публицист. — Вас?

— Сестру, — уверенно сказал Галип, — у него есть сестра по отцу, на двадцать лет моложе его, он позвал бы ее. — И задумался. Вспомнил кресло, из распоротого брюха которого выскочили ржавые пружины.

— Кажется, вы начали понимать логику нашей игры, — отметил старый публицист, — и, похоже, получаете от нее удовольствие. В таком случае я вам прямо скажу: все хуруфиты плохо кончают. Фазлаллах Астарабади[1], основатель ордена хуруфи, был убит, как собака, к ногам его привязали веревку и труп таскали по всем базарам. Знаете ли вы, что шестьсот лет назад он начинал с толкования снов, как Джеляль-бей? Только он занимался этим не в газете, а в пещере за городом.

— Можно ли понять человека, проникнуть в тайны его жизни с помощью подобных сравнений? — рассуждал журналист. — Я, например, уже больше тридцати лет пытаюсь разгадать несуществующие тайны наших бедных артистов, которых мы, подражая американцам, называем звездами; в конце концов я понял: неправда, что люди созданы парами, — никто ни на кого не похож. Каждая бедная девушка бедна по-своему. Каждая звезда на небе несравненна и одинока.

— Кроме голливудских оригиналов, — не согласился старый публицист. — Я говорил вам, кому подражал Джеляль-бей. Кроме тех, кого мы уже называли, он постоянно заимствовал что-то у Данте, Достоевского, Мевляны, Шейха Галипа.

— Каждая жизнь неповторима! — возразил журналист. — Каждая история является историей потому, что не похожа на другую. Любой писатель несчастен и одинок.

— Я так не считаю! — не уступал старый публицист. — Возьмем статью Джеляля «Когда отступили воды Босфора», которая так всем понравилась. Разве светопреставление не заимствовано из книг, написанных тысячу лет назад, где рассказывалось о конце света перед пришествием Махди[2]; разве не заимствовано оно из Корана и Ибн Хальдуна[3]? Да еще он добавил к этому рассказ об обыкновенном бандите. Тут нет ничего значительного. И причина взволнованного восприятия статьи небольшой группой читателей и сотней истеричных женщин, звонивших нам в тот день, конечно же, не в чепухе, которая описана в статье. В тексте есть «послания», которые не можем понять ни я, ни вы, а могут понять мюриды[4], знающие шифры. Эти заполонившие всю страну мюриды, половина из которых проститутки, а половина — педерасты, воспринимают послания как приказ к действию и с утра до вечера звонят в газету, чтобы их шейха, Джеляля, не выгнали за то, что он пишет такой вздор. Несколько человек постоянно караулят его у редакции. Откуда нам знать, Галип-бей, не из их ли вы числа?

---

[1] Фазлаллах Астарабади (конец XIV в.) — основатель шиитской общины хуруфитов.

[2] Махди — так в исламе называют Мессию.

[3] Ибн Хальдун (1332—1406) — тунисский историк и философ.

[4] Мюрид — ученик, последователь суфизма — возникшего в X—XII вв. в исламе мистического течения о приближении к Богу и слиянии с ним через любовь и экстатические «озарения».

— Галип-бей нам понравился, — сказал журналист, — мы увидели в нем что-то от нашей молодости. Мы прониклись к нему симпатией настолько, что открыли ему кое-какие свои тайны... Что такое, молодой человек уходит?..

Выйдя на улицу, Галип внимательно посмотрел по сторонам. На противоположном тротуаре, где когда-то юноши из лицея имени имама Хатипа сожгли газету из-за статьи Джеляля, в которой осмеивалась религия, тоскливо стояли продавец апельсинов и какой-то лысый мужчина. Не было никого, кто мог бы ждать Джеляля. Галип подошел к торговцу, купил апельсин и, очистив, начал есть. И вдруг почувствовал, что кто-то следит за ним. Он шел в свою контору через площадь Джалалоглу, размышляя над тем, почему именно в этот момент ощутил, что за ним следят; медленно передвигаясь по спуску и заглядывая в книжные витрины, он никак не мог понять, почему это чувство столь реально. Словно над затылком у него находился какой-то «глаз», который просто едва различимо обозначал свое присутствие, и больше ничего.

Когда, замедлив шаг у одной из витрин, он встретился взглядом с другой парой глаз, он обрадовался так, будто встретил близкого человека. Это был магазин издательства, выпускающего детективные романы, которые запоем читала Рюйя. Самоуверенная сова, эмблема издательства, которую он так часто видел на обложках книг, снисходительно смотрела на проходящую мимо лавки субботнюю толпу и на Галипа. Галип вошел в магазин и купил три старых романа, которые, как он считал, Рюйя не читала.

Выйдя на улицу, Галип осмотрелся, но ничто не привлекало внимания: женщина, повязанная платком, с ребенком в на вырост пальто, разглядывавшая бутерброды в витрине; две школьницы в одинаковых зеленых гольфах; старик в коричневом пальто, ожидающий удобного момента, чтобы перейти улицу. Но как только он двинулся дальше к своей конторе, он снова почувствовал затылком следящий за ним «глаз».

Увидев слепого безногого нищего у двери рядом со входом в его контору, Галип подумал, что кошмар, в котором он оказался, связан в равной мере как с исчезновением Рюйи, так и с бессонницей. Войдя в офис, он сразу подошел к окну и, распахнув его, стал смотреть вниз, наблюдая за движением на улице. Когда он сел за стол, рука, против обыкновения, потянулась не к телефону, а к пачке бумаги. Достав чистый лист, он, не раздумывая, написал:

Рюйя может быть: у бывшего мужа; у родственников; у подруги Бану; в компании занимающихся политикой; в компании интересующихся политикой; в литературной компании; просто в знакомой компании; в доме у кого-нибудь в Нишанташи; в чьем-нибудь доме в любом другом районе. Он отложил ручку, после недолгих размышлений снова взял ее и вычеркнул все, кроме «у бывшего мужа». После этого он стал составлять второй список: Рюйя с Джелялем могут быть: в одной из квартир Джеляля; в гостиничном номере; в кино. Он словно увидел, что они находятся где-то вместе. Рюйя и Джеляль. Рюйя и Джеляль?

Галип позвонил домой, долго держал трубку около уха — напрасно. Тогда он набрал номер тети Хале.

Тетя сообщила, что беспокоилась о здоровье Рюйи и была у них дома, так как не могла дозвониться — никто не брал трубку, но и дверь никто не открыл; она вернулась ни с чем. Чтобы тетя не начала задавать вопросы, Галип на одном дыхании выложил ей: они не могли позвонить, потому что сломался телефон; болезнь Рюйи прошла за ночь, она совершенно здорова, довольна жизнью, а в настоящий момент сидит в своем фиолетовом пальто в такси «шевроле-56» и ждет Галипа: они едут в Измир навестить старого друга, который тяжело болен; пароход скоро отчаливает, Галип звонит из бакалейной лавки по пути, спасибо бакалейщику, разрешил позвонить: «До свиданья, тетя, до встречи!» Тетя Хале все же успела спросить, хорошо ли они закрыли дверь и надела ли Рюйя зеленый шерстяной свитер.

Галип размышлял о том, что происходит с человеком, когда он долго разглядывает карту города, в котором никогда не был. Позвонил Саим: после ухода Галипа он продолжил поиски в своем архиве и нашел кое-какие данные, которые могут быть полезными;

виновный в смерти старушки Мехмет Йылмаз, возможно, до сих пор жив, но живет не под именем Ахмета Качара или Хальдуна Кара, а бродит по городу, как призрак, под именем Муаммера Эргенера, которое не похоже на вымышленное. Этим именем подписаны две статьи, жестко критикующие Джеляля. Опубликованы они в старом номере маленького учебного журнала «Эмеин саати»[1], и в этом же номере есть статья за подписью: Салих Гельбаши; причем налицо тот же стиль и те же орфографические ошибки. Установив, что это имя и фамилия имеют одинаковые согласные с именем и фамилией бывшего мужа Рюйи и даже рифмуются с ними, Саим выписал для Галипа адрес редакции, находящейся за городом: Гюнтепе, ул. Рефет-бея, 13, Синанпаша, Бакыркёй. Найдя квартал Гюнтепе на карте города, Галип поразился: бесплодный холм, на котором двенадцать лет назад стояла одинокая маленькая лачуга, где после замужества поселились Рюйя с мужем, чтобы заниматься просвещением рабочих, превратился в густонаселенный квартал. Судя по карте, квартал был разбит на участки улицами, носившими имена героев Освободительной войны. На окраине была обозначена зелень парка, мечеть и помеченная маленьким квадратиком площадь с памятником Ататюрку посередине. Об этом районе Галип подумал бы в последнюю очередь.

Позвонив в редакцию и узнав, что Джеляль-бей еще не появился, Галип связался с Искендером. Он сказал, что нашел Джеляля, что Джеляль в принципе не против встретиться с английскими телевизионщиками, но в настоящее время очень занят. Искендер сообщил, что англичане пробудут в Стамбуле еще минимум шесть дней. Им очень хвалили Джеляля, и он уверен, что они подождут свидания с ним; если Галип хочет, он может сам позвонить им в гостиницу «Пера палас»[2].

«Глаз»

В тот период своей жизни он каждый день
писал статью объемом не менее пяти страниц.

Абдуррахман Шереф[3]

Случай, о котором я расскажу, произошел со мной зимней ночью. Это было нелегкое для меня время: первые и трудные годы журналистского труда остались позади, но усилия, потраченные на то, чтобы добиться минимального признания, давно иссушили волнение, с которым я осваивал свою профессию. Холодными зимними ночами я говорил себе: «Все-таки я сумел удержаться!» Но вместе с тем я понимал, насколько опустошен. Как раз в ту зиму у меня началась бессонница, которая стала мучением всей моей жизни, и я иногда оставался до поздней ночи в редакции вместе с дежурным по номеру и готовил некоторые материалы, которые не смог бы написать при дневном шуме и суете. Вечер как нельзя лучше подходил для подготовки материалов в рубрику «Хочешь — верь, хочешь — не верь», довольно модную в то время и в европейских газетах и журналах. Я раскрывал какую-нибудь европейскую газету с уже сделанными вырезками и внимательно рассматривал иллюстрации в рубрике «Хочешь — верь, хочешь — не верь» (изучать какой-либо иностранный язык я считал ненужным, более того, мешающим полету моей фантазии); рассмотрев рисунки, я тут же брался за ручку и с воодушевлением писал то, на что они меня вдохновляли.

В ту зимнюю ночь во французской газете («Иллюстрасьон») я увидел монстра со странной мордой (один глаз внизу, другой наверху); посмотрев некоторое время на это изображение, я одним махом набросал материал об одноглазых чудовищах: я вкратце изложил прошлое этого существа, которое пугало юных дев в «Деде Коркуте»[4], видоиз-

---

[1] «Час труда».
[2] Одна из первых (1895 г.) гостиниц в центре Стамбула, в районе Бейоглу.
[3] Абдуррахман Шереф (1853—1925) — турецкий историк, писатель.
[4] «Сказки моего деда Коркута» — название тюркского эпоса.

меняясь, являлось под именем Циклопа в поэме Гомера; было самим Даджалом в «Истории пророков» Бухари[1]; входило в гаремы визирей в сказках «Тысячи и одной ночи»; плясало в пурпурном одеянии перед встречей в Дантовом раю с прекрасной Беатриче, которая казалась мне такой знакомой; преграждало путь караванам в «Месневи» Мевляны Джалалиддина; я написал, на что похож этот странный и единственный глаз, сидящий прямо посередине лба, как темный колодец, почему он заставляет нас вздрагивать, почему надо бояться и избегать его; после всего этого я добавил к своему исследованию два рассказика, которые как-то сами оказались на кончике пера, сочинились в пылу душевного подъема: некий человек, живущий в одном из бедных кварталов на берегу Золотого Рога, по ночам входит в грязную, покрытую пятнами мазута воду, идет неизвестно куда и встречается с чудовищем, а некоторые говорят, что он сам и есть одноглазое чудовище, и в полночь он направляется в дорогие публичные дома Пера[2], и девушки пугаются и падают в обморок, хотя ведет себя чудовище вежливо и его даже называют лордом.

Оставив материал художнику, обожавшему подобные темы (я и записочку написал: пусть чудовище будет с усами и в сапогах), я вышел из редакции после полуночи и, поскольку мне не хотелось сразу возвращаться в свою пустую и холодную квартиру, решил побродить по старым улицам Стамбула.

Я шагал по кривым и пересекающимся окраинным улицам, которые постепенно сужались и становились все темнее. Я шел, сопровождаемый звуком собственных шагов, под слепыми окнами темных домов, эркеры которых почти вплотную подходили друг к другу. На эти заброшенные богом, забытые улицы не решались ступать не только стаи собак, сонные сторожа и наркоманы, но даже призраки.

Почувствовав, что за мной откуда-то наблюдает «глаз», я поначалу не придал этому значения, решил, что это ощущение возникло под влиянием только что написанной мною статьи: я считал, что никакого глаза нет ни в боковых окнах нависающих над улицей покосившихся эркеров, ни во тьме заброшенного пустыря. Наблюдающий «глаз» был моей неясной фантазией, и мне не хотелось обращать на него внимание. Вокруг была абсолютная тишина, лишь доносились свистки сторожей да лай собачьих стай из отдаленных кварталов; однако ощущение, что за мной наблюдают, постепенно росло и стало настолько сильным, что я понял: избавиться от этого упорного преследования, делая вид, что его нет, невозможно.

«Глаз», все видящий и находящий меня повсюду, откровенно наблюдал за мной! Здесь не было никакой связи с героями выдуманных мною историй; он не был пугающим, безобразным или смешным; не был чужим и холодным; совсем наоборот, это было что-то знакомое: «глаз» знал меня, а я — его. Мы давно подозревали о существовании друг друга, но для того, чтобы мы могли так явно друг друга заметить, понадобилось ощущение, испытанное мною в ту ночь на той улице, и острота ви́дения обретенного.

Название этой улицы на холме над Золотым Рогом ничего не скажет читателю, не знающему хорошо Стамбул. Сейчас, через тридцать лет после проведенного мной метафизического опыта, большинство подобных мест сохранилось в прежнем виде: представьте себе мощеную улицу с мрачными деревянными домами, тенями эркеров, тусклыми фонарями, выхватывающими из тьмы кривые ветки деревьев. Мостовые грязные и узкие. Стена мечети этого маленького квартала пропадает во тьме. И в черной точке, куда тянутся улица, стена — перспектива, — меня ждал этот нелепый (как еще я могу его назвать?) «глаз». Ясно, что он не хотел мне зла, не собирался меня испугать, задушить, зарезать, убить; потом уже я додумался до того, что он ждал меня, чтобы я побыстрее вошел в этот «метафизический опыт», скорее напоминающий сон, он хотел помочь мне.

Не было слышно ни звука. Я довольно быстро догадался, что весь этот эксперимент каким-то образом связан с тем, куда завела меня журналистская профессия, с моей внутренней пустотой. Самые реальные кошмары человек видит, когда устает! Но это не было

---

[1] Бухари (810—869) — ученый и знаток хадисов (преданий о поступках и изречениях Мухаммеда) из Бухары.

[2] Так называли иностранцы район Стамбула Бейоглу.

кошмаром, это было ощущение вполне определенное, отчетливое и почти математическое. «Я знаю, что опустошен». Так я подумал. А потом прислонился к стене мечети: «Он знает, что я опустошен!» Он знал, о чем я думал, что делал до сих пор, но все это было не важно, потому что «глаз» был знаком чего-то другого, причем совершенно определенного. Я создал его, а он — меня! Я думал, что эта мысль промелькнет в голове и исчезнет, как ненужное слово порой приходит и просится из-под пера, но она прочно поселилась в моем мозгу. Таким образом, через дверь, открытую этой мыслью, я вошел в новый мир — совсем как тот английский кролик, упавший в пустоту через норку под изгородью.

Сначала я создал этот «глаз». Разумеется, чтобы он видел меня и наблюдал за мной. Я не хотел выпадать из его поля зрения. Я сформировал себя под этим взглядом, и он был мне приятен. Я чувствовал, что существую, так как каждый миг нахожусь под наблюдением. Словно, если этот «глаз» не будет меня видеть, я перестану существовать. Это было настолько очевидно, что я, забыв о том, что сам создал его, испытывал благодарность к «глазу» за то, что он констатировал мое существование. Мне хотелось повиноваться его приказам! Словно тогда я начал бы более приятную жизнь; сделать это было трудно, но, с другой стороны, это была не трудность, сопряженная со страданием, а просто форма жизни, нечто обыденное, что надо было естественным образом принять. Так что воображаемый мир, в который я окунулся, прислонившись к стене мечети, не был похож на кошмар, это было своеобразное счастье, сотканное из воспоминаний и почему-то знакомых картин несуществующих художников, о странностях которых я писал в разделе «Хочешь — верь, хочешь — не верь».

В полночь, стоя у стены мечети, я увидел себя в саду этого счастья, я будто наблюдал свои материализовавшиеся мысли.

Я сразу понял, что тот, кого я увидел мысленным взором, не есть мое подобие: это я сам. И тогда я почувствовал, что ощущаемый мною взгляд «глаза» — это мой взгляд. То есть я стал тем, что еще недавно было «глазом», и наблюдал себя со стороны. Это не было ни странно, ни чуждо и уж совсем не страшно. Я вспомнил, что наблюдать за собой со стороны у меня вошло в привычку. Многие годы, глядя на себя со стороны, я думал: «У меня все в порядке», или «Нет, недостаточно похож», или «Похож, но не в той степени, как хотелось бы». А иногда, опять же взглянув на себя со стороны, говорил: «Я похож, но надо еще постараться»; были и счастливые моменты, когда я был доволен: «Наконец я добился сходства, какого хотел! Да, я похож, я стал Им!»

Кто Он?

Мои внимательные читатели, разумеется, поняли, что я заменил слово, но все же поясню: «Он» — это не что иное, как «глаз». Глаз — это человек, которым я хотел бы быть. Сначала я создал не «глаз», а Его, человека, которым хотел быть. А Он, тот, кем я хотел быть, устремил на меня свой безжалостный уничтожающий взгляд. «Глаз» видел все, что я делаю, осуждал меня, ограничивал мою свободу, он повис над моей головой и остался там, как проклятое, постоянно светившее мне солнце. Только не подумайте, что я жалуюсь. Я был вполне доволен блестящей перспективой, которую предлагал мне «глаз».

Наблюдая за собой в геометрическом, абсолютно чистом пространстве (это было приятной стороной дела), я сразу понял, что создал Его сам, но каким образом я это сделал, я мог лишь смутно догадываться. Некоторые моменты указывали на то, что я создал Его из собственного жизненного материала и воспоминаний. В Нем, которому я хотел подражать, присутствовали черты любимых литературных героев моего детства, Его движения порой напоминали позы писателей-философов, фотографии которых я видел в зарубежных иллюстрированных журналах; эти величавые люди позировали перед своими священными жилищами — там, в библиотеках, за рабочими столами они развивали «глубокие и многозначительные» мысли. Конечно, я хотел бы быть похожим на них, но до какой степени? В том, из каких именно подробностей своего прошлого я сотворил Его в этой метафизической географии, были некоторые противоречия: трудолюбивый и богатый сосед — объект восхищения моей матери; паша, проникшийся идеями Запада и посвятивший себя спасению страны; учитель, что в наказание за дурные поступки не

разговаривал с нами; мой школьный товарищ, который говорил родителям «вы» и был настолько богат, что каждый день мог менять носки; умные, удачливые и находчивые герои зарубежных фильмов (тех, что показывали в центре города), их манера держать бокалы, их спокойствие, раскованность и — в случае необходимости — решительность в общении с женщинами, красивыми женщинами; знаменитые писатели, философы, ученые, первооткрыватели и изобретатели, истории жизни которых я читал в энциклопедиях и предисловиях к книгам; некоторые военные; герои, спасшие город от оползня...

Я создал Его из воспоминаний и людей, ставших воспоминаниями. Его взгляд, парящий над моей головой, превратился в мой взгляд, и было во всем этом что-то диковинное, нечто от коллажа, где мне был виден каждый человек отдельно. В этом взгляде я видел сейчас себя и всю свою жизнь. Я доволен, что этот «глаз» наблюдает за мной: благодаря Ему я слежу за собой, живу с верой, что, подражая Ему и тем самым стремясь к Нему приблизиться, я стану таким, как Он, стану Им. Я живу не *вместе* с надеждой, а *ради* надежды стать другим, стать Им. Нет, пусть не думают читатели, что этот «метафизический опыт» был неким пробуждением, поучительным событием, был проделан ради желания увидеть истину. В мире чудес, в который я вошел там, у стены мечети, все отличалось безупречной геометрией. Как-то во сне я видел такую же улицу, такую же перспективу, и сияющая полная луна, подвешенная на небе, окутанном такой же синевой ночи, постепенно превратилась в сияющий циферблат часов. Все вокруг меня было светлым, прозрачным и гармоничным, как в давнем сне. Человеку приятно смотреть на радостные картины.

Обо всем этом я думал, глядя на себя со стороны. Потом Я, наблюдающий себя со стороны, начал двигаться вдоль стены мечети, а когда она кончилась — вдоль однообразных деревянных домов с эркерами, пустырей, фонтанов, лавок с опущенными ставнями, мимо кладбища к своему дому, к своей постели.

Мы бываем удивлены, когда, шагая по людному проспекту и разглядывая лица и фигуры людей, вдруг в витрине лавки или в глубине, в широком зеркале за строем манекенов видим себя; подобное удивление испытывал я, глядя на себя со стороны. Я словно пребывал во сне, я знал, что нет ничего удивительного в том, что человек, которого я наблюдаю со стороны, есть я сам. Я чувствовал, что этот человек мне близок, и питал к нему какую-то невероятную теплоту, искреннюю расположенность и любовь. Я понимал, насколько Он раним, несчастен, грустен и в каком безвыходном положении Он находится; в то же время я знал, что этот человек не такой, каким Он кажется, и мне хотелось, как отцу, даже как Аллаху, защитить Его, взять под свое крыло этого трогательного ребенка, это многострадальное доброе существо. Он долго бродил по окраинам (о чем Он думал, почему был печален, отчего так устал и обессилел?) и вышел на центральный проспект. Он шел, бросая рассеянные взгляды на неосвещенные витрины бакалейных и кондитерских лавок. Руки в карманах, голова чуть наклонена вперед. Он шел из района Шехзадебаши по направлению к Ункапаны[1] и не обращал внимания на проносящиеся мимо редкие машины и свободные такси. Может, у Него и денег не было.

Слава Всевышнему! Без всяких приключений Он добрался до своего дома (дом назывался Шехрикальп) в Нишанташи! Я полагал, что, войдя в свою квартирку под самой крышей, Он ляжет спать, забыв о тех проблемах, что мне так хотелось понять и разрешить. Но нет, усевшись в кресло, Он некоторое время курил, просматривая газету. Потом принялся ходить по комнате: старый стол, выцветшие занавески, бумаги, книги. Сел за стол, поерзал на скрипящем стуле и, наклонившись, взял ручку, чтобы написать что-то на чистом листе бумаги.

Я был совсем рядом с Ним, здесь, подле этого заваленного бумагами стола. Я видел Его с очень близкого расстояния: Он был старателен, как ребенок, и спокоен, как человек, смотрящий любимый фильм, но взгляд Его был обращен внутрь себя. Я следил за Ним с гордостью отца, наблюдающего, как любимый сын пишет Ему первое в своей жизни

---

[1] Районы в европейской части Стамбула.

письмо. К концу предложений кончики Его губ стягивались, а глаза, просматривающие написанное, подрагивая, быстро передвигались по бумаге. Увидев, что Он заканчивает страницу, я прочитал написанное и ужаснулся.

Я надеялся прочитать слова, идущие из Его души, которую мне так важно было понять, а Он всего лишь повторил то, что вы сейчас здесь прочитали. Это были не Его, а мои мысли, и слова были не Его, а мои, те самые, что вы так быстро (помедленнее, пожалуйста) прочитали. Мне хотелось помешать Ему, попросить, чтобы Он написал СВОИ слова, но я, как это бывает во сне, ничего не мог поделать, мог только наблюдать за Ним: фраза следовала за фразой, и каждая причиняла мне боль.

Перед новым абзацем Он на мгновение остановился. Посмотрел в мою сторону, мы будто встретились взглядом. В старых книгах и журналах описывалось, как писатель мило беседует с музой, своей вдохновительницей; художники шутливо изображали на полях, как прелестная маленькая муза и рассеянный писатель улыбаются друг другу. Именно так улыбнулись друг другу мы. После этого, казалось бы, понимающего взгляда я (с надеждой, конечно) ждал, что все изменится. Он поймет наконец истину, откроет мне мир своей души, что так меня интересует, и это будет доказательством того, что я могу стать Им, и я с удовольствием прочту написанное.

Но ничего такого не случилось. Он еще раз улыбнулся мне счастливой улыбкой, будто все, что должно было проясниться, прояснилось, будто трудная шахматная задача решена, на миг замер в волнении и дописал последние слова, мои слова, которые ничего не проясняли в моем мире.

Память мы потеряли в кино

Кино портит не только зрение,
но и притупляет ум ребенка.

Улунай[1]

Галип проснулся и увидел, что опять идет снег. Может быть, он сквозь сон почувствовал, как снег своим безмолвием перекрывает городской шум; когда Галип подошел к окну, у него возникло то же ощущение, которое он только что испытал во сне, хотя что ему снилось, вспомнить не мог. Был уже вечер, давно стемнело. Галип умылся водой, которая так и не нагрелась в колонке, и оделся. Взял лист бумаги, ручку, сел за стол, немного посидел над своим списком. Потом побрился, надел серый твидовый пиджак — Рюйя считала, что он ему идет, и точно такой же был у Джеляля, — грубое толстое пальто и вышел на улицу.

Дойдя до площади Нишанташи, обрадовался, что проезд по центральному проспекту открыт. В газетном киоске у бакалейной лавки увидел свежий номер «Миллиет» и купил его. Зашел в ресторан на противоположной стороне улицы, сел в угол, где его не было видно прохожим, и заказал томатный суп и котлету. В ожидании еды положил на стол газету и внимательно прочитал воскресную — опять старую — статью Джеляля. За кофе сделал в статье некоторые пометки. Выйдя из ресторана, поймал такси и поехал в Бакыркёй.

В Бакыркёе он отпустил такси и отправился пешком искать квартал Гюнтепе, который, по его представлению, находился недалеко от центрального проспекта. Дорога шла среди перестроенных из лачуг двухэтажных домов с задернутыми на окнах занавесками и темных лавок.

Галип нашел нужный дом. На втором этаже, куда вела отдельная лестница, через занавески просачивался свет телеэкрана. Когда он стал подниматься по ступенькам, во дворе смежного дома громко залаяла собака. «Я не буду слишком долго разговаривать с

---

[1] Рефи Джевад Улунай (1890—1968) — турецкий писатель.

Рюйей!» — мысленно говорил Галип то ли себе, то ли ее бывшему мужу. Он попросит ее объяснить причину ухода — из «прощального письма» он ничего не понял — и потребует, чтобы она как можно скорее забрала все свои вещи, все: одежду, книги, сигареты, чулки, очешники, шпильки, пряжки, недоеденные шоколадки, игрушки, оставшиеся с детства, даже пустые коробки из-под лекарств. «Любое напоминание о тебе невыносимо для меня». Конечно, он не сможет всего этого сказать при этом типе, так что главное — сразу уговорить Рюйю пойти куда-нибудь, где можно посидеть и поговорить «как разумные люди». И уж если они сразу заведут разговор о «разумности», Рюйю можно будет убеждать. Только вот где в этом квартале найти подходящее место, если здесь всего одна кофейня и в нее ходят одни мужчины? Он давно уже нажал на звонок.

Сначала он услышал голос ребенка («Мама, звонят!»), а потом голос женщины, не имеющий ничего общего с голосом его жены, которую он любил двадцать пять, а знал тридцать лет; Галип понял, как он сглупил, предположив, что найдет здесь Рюйю. Он подумал было удрать, но дверь открылась. Галип сразу узнал бывшего мужа Рюйи — это был человек средних лет, среднего роста, и выглядел он так, будто осуществил свою мечту и вполне доволен жизнью.

Глаза бывшего мужа привыкли к темноте, и он узнал Галипа. Из комнаты выглянули любопытные глаза сначала жены, затем одного, потом второго ребенка: «Кто там, папа?» Папа, удивленный, не знал, что ответить. Галип решил, не заходя в дом, тут же уйти, и выпалил одним духом цель своего прихода. Он просит извинения за столь поздний визит, но ему крайне необходимо навести срочные справки об одном человеке, узнать хотя бы, под какими именами он скрывается. Он взялся защищать студента университета, обвиняемого в убийстве, которого не совершал. Настоящий же убийца разгуливает по городу под вымышленным именем, и когда-нибудь...

Галипа пригласили войти, выдали домашние тапочки, которые оказались ему малы, и сунули в руки чашку кофе. Галипу вовсе не хотелось вступать в долгие разговоры, поэтому он быстро назвал первое попавшееся имя: оно окажется незнакомым бывшему мужу, и можно будет быстро уйти. Но хозяин дома начал говорить. Слушая его, Галип почувствовал, что рассказ наваливается на него, как сон, и понял, что покинуть этот дом будет нелегко. Потом он вспомнит, что утешал себя тем, что из рассказа выплывет что-нибудь, связанное с Рюйей, но это было утешение больного, успокаивающего себя тем, что его усыпят перед опасной операцией. Ему казалось, что выйти отсюда не удастся никогда, но все же через три часа он сумел подойти к входной двери. За это время бывший муж, речь которого текла, как поток, не встречающий никаких препятствий, успел рассказать следующее.

Мы думали, что знаем многое, но не знали ничего.

Мы, например, знали, что большинство евреев Европы и Америки были выходцами из еврейско-хазарского государства, которое тысячу лет назад простиралось на территории между Кавказом и Волгой. Мы знали, что хазары — это тюрки, принявшие иудаизм. Но мы не знали, что насколько иудеи являются тюрками, настолько и тюрки являются иудеями. Очень интересно проследить историю развития двух братских племен, которые на протяжении двадцати веков кочевали, постоянно соприкасаясь, словно кружились в ритме танца под какую-то неслышимую музыку, как сиамские близнецы, обреченные жить друг с другом, но так и не объединились.

На столе появилась карта, Галип преодолел оцепенение разомлевшего от тепла тела и с изумлением стал рассматривать стрелки, нарисованные на карте зеленой шариковой ручкой. Бывший муж Рюйи развивал свою идею. Он говорил, что история состоит из чередующихся равнозначных периодов и это — аксиома. А потому сейчас мы должны готовиться к полосе бед, и она будет длиться ровно столько, сколько длилась счастливая жизнь.

Будет создано новое государство на Проливах. На сей раз в новой стране не поселится много пришельцев, как это бывало неоднократно на протяжении тысячелетий, но пришельцы превратят нынешних обитателей в «новых людей», в прислугу. Не обязатель-

но даже читать Ибн Хальдуна, чтобы предположить, что ради этого они лишат нас памяти, превратив в безродных тварей вне времени, без прошлого и без истории. Чтобы уничтожить нашу память, они планировали сначала поить турецких детей в миссионерских школах Стамбула светло-лиловой жидкостью (слышите, какой цвет, сказала детям мать, которая внимательно слушала рассказ мужа). Но потом «гуманное» крыло Запада признало этот радикальный метод слишком опасным из-за вредности химических веществ, и тогда был применен более мягкий способ — кино и музыка, — рассчитанный на более долгий срок.

Несомненно, этот способ — демонстрация лиц красивых женщин, словно сошедших с икон, прекрасная музыка, пейзажи, напоминающие о божественном, яркие, броские, сверкающие бутылки с напитками, оружие, самолеты и невиданная одежда — дает гораздо более эффективные результаты, чем методы, которые миссионеры опробовали в Латинской Америке и Африке. (Галипу было бы интересно узнать, кто еще слушал эти заготовленные речи: соседи по кварталу? Единомышленники? Пассажиры маршруток, не имеющие удостоверения личности? Теща?) Когда в Стамбуле, в районах Шехзадебаши и Бейоглу, открылись первые кинотеатры, сотни людей были буквально ослеплены. Зрители испытывали ужас от того, что с ними проделывают в залах кинотеатров, громко кричали в отчаянии, на помощь приходили полицейские и врачи-психиатры. Тем, у кого сегодня бывает такая непосредственная реакция в кинотеатрах, надевают на ослепленные глаза дешевые очки. И все же находятся такие, что не желают успокаиваться. Он понял это, когда увидел в двух кварталах отсюда подростка шестнадцати лет, который ночью в упор расстреливал киноафишу. Другой, когда его схватили у входа в кинотеатр с канистрой бензина, вырывался и требовал, чтобы ему вернули глаза, да, глаза, он хотел видеть жизнь по-старому. Газеты писали, что сына пастуха из Малатьи за неделю так приучили к кино, что он забыл дорогу домой, забыл вообще все, что знал, напрочь потерял память, читал ли Галип об этом? Слишком много времени понадобилось бы, чтобы рассказать обо всех, кто стал нищим, так как не мог вернуться к нормальной работе из-за желания ходить по улицам, увиденным на белом полотне, носить такую же одежду, обладать такими же женщинами. Люди воображали себя на месте живущих на экране, их было так много, что сосчитать было невозможно, поэтому их не называли ни «больными», ни «грешными», наши новые господа даже нанимали их на работу. Мы все ослепли, все, все.

Теперь хозяин дома, бывший муж Рюйи, спрашивал: неужели и в самом деле ни один из государственных деятелей не видел прямой связи между упадком Стамбула и успехами кино? Он спрашивал: случайность ли то, что в нашей стране публичные дома и кинотеатры открывались на одних и тех же улицах? И еще спрашивал: почему кинотеатры темные, такие темные, всегда темные?

Здесь, в этом доме, десять лет назад они с Рюйей-ханым под вымышленными именами, с фальшивыми паспортами с энтузиазмом работали ради идеи, в которую верили. Они получали воззвания из страны, где никогда не бывали, написанные на чужом языке той страны; они делали перевод на «наш» язык, стараясь, чтобы он был максимально точным; они получали политические задания от людей, которых никогда не видели, излагали их на «новом» языке, печатали на машинке и размножали, чтобы распространить среди людей, которых они также никогда не видели. На самом деле они просто хотели стать другими. Как радовались они, когда узнавали, что какой-нибудь новый знакомый принял их вымышленные имена за настоящие! Иногда они, забыв про усталость после целого дня работы на фабрике батареек, про статьи, которые надо было писать, про готовые воззвания, которые надо было связывать в пачки, подолгу рассматривали свои новые паспорта. Им так нравилось говорить с юношеским волнением «Я изменился!», так нравилось говорить «Я стал совсем другим!», что они специально подводили разговоры к тому, чтобы дать возможность друг другу произносить эти слова. Благодаря новым паспортам они увидели в мире смысл, которого не могли видеть раньше; мир становился совершенно новой энциклопедией, и ее можно было читать с начала и до конца; по мере чтения изменялась энциклопедия, изменялись и они; прочитав ее с начала до кон-

ца, они начинали читать мир-энциклопедию снова, с первого тома, и были просто без ума от радости, что у них есть новые паспорта. (В тот момент, когда хозяин дома явно потерялся в потоке своих слов — как в энциклопедии, о которой он говорил, — Галип обратил внимание на выпуски «Хранилища знаний», издаваемые какой-то газетой, лежавшие на одной из буфетных полок.) Теперь он понимает, что они сами создали этот порочный круг в поисках утешения: невозможно стать другим, совсем другим, а потом вернуться к счастью своего первоначального состояния; считать так — беспочвенный оптимизм. На середине своего пути они поняли, что сбились с дороги среди знаков, которым уже не в состоянии были придавать какой-либо смысл, писем, воззваний, фотографий, лиц, пистолетов. Тогда их дом был единственным на этом пустом холме. И как-то вечером Рюйя запихала свои вещи в небольшую сумку и вернулась в семью, в старый свой дом: он казался ей более надежным.

Увлекшийся монологом хозяин дома чем-то напоминал Галипу Ловкого Зайца из старого детского журнала; он вскакивал с кресла, ходил взад-вперед, отчего у Галипа сонно кружилась голова, и продолжал увлеченно: «их» игры надо было прекратить, значит, мы должны были вернуться и начать все сначала. Галип-бей видит, что этот дом — типичный дом «мещанина», или «представителя среднего класса», или «нашего простого человека». Старые кресла под чехлами из цветного ситца, занавески из синтетической ткани, эмалированные тарелки с орнаментом из бабочек, уродливый буфет и хранящийся в нем ликерный сервиз с сахарницей, выставляемый на стол только для гостей по праздникам, выцветший старый ковер. Все это хозяин знает и видит. Знает он и то, что его нынешняя жена — не такая блестящая и образованная женщина, как Рюйя; она, как и его мать, простая, скромная, она — дочь его дяди (женщина улыбнулась сначала Галипу: вот какая у нее тайна, а потом мужу). И дети у них хорошие. И если он будет жив-здоров и ничего не изменится, он проживет такую же жизнь, как его отец. Он сознательно выбрал эту жизнь, намеренно живет именно так, срывая заговор двухтысячелетней давности, категорически отвергает идею «быть другим», желает быть только самим собой.

И все, что Галипу могло показаться случайным в этой комнате, разложено, расставлено, развешано исключительно с этой целью. Стенные часы повешены специально, потому что в таком доме должны быть такие часы с боем. Телевизор в таких домах в это время всегда включен, он стал чем-то вроде уличного фонаря; салфетка ручной работы лежит на нем потому, что в таких семьях телевизор должен быть покрыт именно такой салфеткой. Все продумано до мелочей: и беспорядок на столе, и груда старых газет, и капля варенья на коробке для шитья, приспособленной из коробки шоколадных конфет, чашка с отбитой детьми ручкой, похожей на ухо, белье, что сушится у печки довольно страшного вида. Иногда он наблюдал за детьми и очень радовался, когда видел, что они смотрят фильм, разговаривают с родителями, сидят за столом, движутся и говорят именно так, как положено в подобных семьях. Это было счастье, человек был счастлив, так как сознательно жил именно той жизнью, какой хотел. А когда он понимает, что с помощью этого счастья он еще и срывает заговор, задуманный две тысячи лет назад, он становится еще счастливее.

Несмотря на большое количество чашек выпитого чая и кофе, Галипу казалось, что он сейчас заснет (хоть бы эта фраза была последней!); он встал, сказал, что ему надо торопиться, и, с трудом передвигая затекшие ноги, пошел к двери. Хозяин двинулся за ним и, втиснувшись между Галипом и стеной, на которой висело пальто гостя, продолжал говорить:

Ему жаль Галип-бея, который возвращается в Стамбул, где начался этот упадок. Стамбул — пробный камень: не то что жить там, ступить туда означает — сдаться, потерпеть поражение. Страшный город, он теперь полон отвратительных картин, которые мы раньше видели только в темных кинотеатрах. Жалкая толпа, старые автомобили, медленно погружающиеся в воду мосты, груды жестяных банок, искореженный асфальт, непонятные громадные буквы, неразборчивые афиши, полустертые надписи на стенах, реклама спиртного и сигарет, минареты, с которых не читают азан, груды камней, пыль, грязь и т. д.

и т. д. От этой разрухи нечего ожидать. Если когда-нибудь наступит время воскресения — хозяин дома уверен, что есть множество людей, как и он, всю жизнь сопротивляющихся тому, что происходит, — оно начнется в этих кварталах, о которых с пренебрежением говорят: «бетонные лачуги», потому что именно здесь все еще хранятся истинные сокровища. Он гордится тем, что начинал строить этот квартал, и приглашает Галипа сюда, в эту жизнь, прямо сейчас, Галип мог бы остаться здесь сегодня ночью, они хотя бы поспорили...

Галип надел пальто, попрощался с хозяином дома, его молчаливой женой, тихими детьми, открыл дверь и вышел. Хозяин дома, стоя у открытой двери, внимательно всматривался в темноту, а потом произнес с таким удовольствием, что даже Галипу понравилось: «Как бело!» Много лет назад, не унимался бывший муж Рюйи, он познакомился с шейхом, который ходил только в белых одеждах, и после этого знакомства увидел белый-белый сон. В этом белоснежном сне он сидел вдвоем с Мухаммедом на заднем сиденье белого «кадиллака». Впереди сидели шофер, лица которого не было видно, и два внука Мухаммеда — Хасан и Хюсейн в белых одеждах. Когда «кадиллак» проезжал по Бейоглу мимо афиш, реклам, кинотеатров и публичных домов, внуки, оборачиваясь к деду, морщились.

Галип стоял на верхней ступеньке засыпанной снегом лестницы, ожидая окончания рассказа, хозяин дома не умолкал: нет, он не придавал снам слишком большого значения. Просто научился читать некоторые священные знаки, вот и все. Ему бы хотелось, чтобы Галип и Рюйя пользовались его знаниями. Другие пользуются.

Он слышал, как премьер-министр дословно приводил выдержки из его анализа политической ситуации и излагал некоторые его идеи, сформулированные в статье, опубликованной им под псевдонимом три года назад в момент политического кризиса. Конечно, у них много служащих, которые следят за выходящими в стране даже самыми маленькими журналами и при необходимости докладывают наверх. На днях он обратил внимание на статью Джеляля Салика и понял, что тот тоже какими-то путями добрался до его статей и тщетно пытается по-своему истолковать одну старую проблему.

В обоих случаях любопытно, что мысли человека, про которого говорят, что он исчерпал себя и никому не нужен, повторяют премьер-министр и известный журналист. Он хотел было доказать, что эти два уважаемых человека использовали некоторые предложения и даже фразы из статьи в малотиражном журнале одной из фракций, собирался заявить в прессе о наглом плагиате, но потом решил, что для этого еще не пришло время. Он твердо знал, что надо набраться терпения и ждать, потому что настанет день, когда и эти люди постучат в его дверь. Разве не факт, что в этот отдаленный район ночью, в снег, под неубедительным предлогом разузнать что-то о человеке под вымышленным именем приехал Галип-бей. Галип-бей должен знать, что он хорошо читает подобные знаки. Галип спустился по ступенькам на покрытую снегом мостовую и уже не слышал последних вопросов, которые задавал ему хозяин дома:

Может ли Галип прочитать нашу историю под этим новым углом зрения? Если он заблудится и не сможет выбраться на центральный проспект, не вернется ли он к ним в дом? Может ли он передать большой привет Рюйе?

Все мы ждем его

> Поэма моя называется «Великий инквизитор», вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить.
>
> *Достоевский*

Мы все ждем Его. Все мы веками ждем Его. Но все по-разному: кто, устав от толпы на мосту Галата, смотрит в свинцово-голубые воды Золотого Рога; кто подбрасывает дрова в печку, которая никак не согревает комнату в два окошка у подножья крепостной

стены; кто нескончаемыми лестницами поднимается к дому греческой постройки в глубине квартала Джихангир; кто в далеком анатолийском поселке, ожидая часа встречи с друзьями в мейхане[1], коротает время за разгадыванием кроссвордов в стамбульской газете; а кто-то мечтает сесть в самолет, описание и фотографию которого видел в газетах, или войти в светлый зал и обнять красивое тело; так или иначе, мы все ждем Его. Мы ждем Его, когда грустно бредем по грязным мостовым, держа в руках кулек, свернутый из старой, читаной-перечитаной газеты или пакет из дешевого пластика, после которого яблоки пахнут синтетикой, или сетку, оставляющую на ладони и пальцах синие следы. Мы ждем Его всегда: когда субботним вечером возвращаемся из кинотеатра, где смотрели фильм о невероятных приключениях красивейших женщин с мужчинами, бьющими бутылки и окна, или из квартала публичных домов, где время, проведенное с проститутками, лишь усилило чувство одиночества, или из мейхане, где приятели безжалостно высмеивали какую-нибудь нашу навязчивую идею, или от соседей, где не удалось спокойно послушать театральную постановку по радио, потому что шумные дети никак не могли уснуть. Говорят, Он появится сначала в темных закоулках окраинных кварталов, где мальчишки перебили из рогаток уличные фонари, или перед лавками жуликов, торгующих лотерейными билетами национальной и спортивной лотереи, журналами с обнаженными женщинами, игрушками, табаком и прочей мелочью. Но все считают, что где бы Он ни появился — в котлетной лавке, в которой маленькие дети по двенадцать часов месят фарш, или в кинотеатре, где тысячи глаз превращаются в один, горящий единым желанием, или на зеленых холмах, где безгрешные, как ангелы, пастухи любуются чудом кипарисов на кладбищах, — где бы Он ни появился, счастливец, который увидит Его первым, сразу же узнает Его, и вмиг станет ясно, что ожидание, длившееся долго, как бесконечность, и коротко, как одно мгновенье, закончилось: пришло время спасения.

Удивительно, что никто из ожидающих прихода великого Спасителя, мечтающих об этом приходе, не мог представить себе Его лица: ни мой уважаемый читатель-фантазер Мехмет Йылмаз, живущий в далеком анатолийском городке, ни Ибн Араби, изложивший свои мечты семь сотен лет назад в книге «Симург Запада», ни философ Эль-Кинди[2], который тысячу сто одиннадцать лет назад видел во сне, как Он помог отвоевать Стамбул у христиан, ни девушка-продавщица, мечтающая о Нем среди катушек с нитками, пуговиц и нейлоновых чулок в галантерейной лавке в Бейоглу через много лет после описания этого сна.

А вот Даджала мы представляем себе довольно хорошо: Бухари в «Пророке» сообщает, что Даджал — одноглазый и рыжеволосый, а в «Хадже» добавляет, что по лицу Даджала можно прочитать, кто он есть; от других авторов мы узнаём, что он костлявый и у него могучая шея и красные глаза. В первые годы моей работы журналистом в газете «Карагёз», весьма читаемой в Анатолии, в комиксах о похождениях турецкого воина Даджал изображался с перекошенным ртом. Наш воин крутил любовь с красавицами еще не завоеванного Константинополя и, пуская в ход всевозможные хитрости (некоторые художнику подсказывал я), сражался с Даджалом, большелобым, большеносым и безусым. В отличие от столь красочных описаний Даджала, Его, которого мы ждем, живой яркий образ создал лишь один писатель, доктор Ферит Кемаль[3], но, поскольку свой труд «Le Grand Pacha»[4] он написал по-французски и издать его в Париже сумел лишь в 1870 году, мы не включаем эту книгу в нашу литературу.

Но исключать из турецкой литературы книгу «Le Grand Pacha», единственное произведение, где Он представлен столь реалистично, только потому, что она написана по-французски, неверно и нелепо; такое же чувство нелепости охватывает, когда читаешь в восхваляющих восток журналах типа «Шадырван»[5] или «Бююк Догу»[6], что глава «Вели-

---

[1] Мей — вино (*поэт.*); мейхане — заведение. где подают спиртные напитки.
[2] Эль-Кинди (801—873) — арабский философ.
[3] Доктор Ферит Кемаль — вымышленный автором персонаж.
[4] «Великий Паша» *(франц.)*.
[5] «Фонтан для омовений».
[6] «Великий Восток».

кий инквизитор» в романе «Братья Карамазовы» русского писателя Достоевского списана с маленькой брошюры. Когда я сталкиваюсь с легендами о похищении произведений и перемещении их с Востока на Запад или с Запада на Восток, у меня неизменно возникает одна мысль: если вселенная снов, называемая нами миром, это дом, куда мы входим неосознанно, как лунатики, то литературы можно уподобить стенным часам, развешанным в комнатах этого дома, к которому мы хотим привыкнуть. И в таком случае:

1. Глупо говорить, что какие-то из этих часов, тикающих в комнатах дома снов, показывают время правильно, а какие-то — неправильно.

2. Глупо говорить, что какие-то из часов спешат на пять часов, потому что, по той же логике, они могут опаздывать на семь.

3. Если какие-то часы показывают без двадцати пяти десять, а через некоторое время без двадцати пяти десять покажут другие часы, глупо делать вывод: вторые часы подражают первым.

Написавший более двухсот суфийских книг Ибн Араби за год до участия в похоронах Ибн Рушда[1] в Кордове находился в Марокко и писал там книгу, вдохновленный рассказом (сном) в суре Корана «Аль-Исра» о том, как Мухаммед ночью был перенесен в Иерусалим и там по лестнице взобрался на небо, где наблюдал Рай и Ад; я уже писал об этом выше (наборщик, если мы сейчас в верхней части колонки, то набирай не «выше», а «ниже»). Ибн Араби написал свой труд, когда ему было 33 года (1198); и сегодня, читая в его книге, приравниваемой к путеводителю по семи небесам, как он там путешествовал, что видел, о чем разговаривал с пророками, которых встретил, было бы очень глупо сделать вывод, что являвшаяся в снах девушка по имени Низам «правильная», а Беатриче — «неправильная», или что Ибн Араби «правильный», а Данте «неправильный», равно как и «Книга о ночном путешествии» с «Книгой о месте перенесения» — «правильные», а «Divina Commedia» — нет. Это было бы такой же глупостью, как та, что я обозначил под номером один.

Андалусский философ Ибн Туфейль[2] признал как «божественную истину» небо, море, смерть, лань, вскормившую попавшего на необитаемый остров ребенка, природу, окружающие дитя предметы и еще в одиннадцатом веке написал о том, как этот ребенок долгие годы жил в одиночестве. Сказать, что Ибн Якзан[3] опередил на шесть столетий Робинзона Крузо, или на том основании, что Дэниэл Дефо более подробно описал вещи и орудия Крузо, заключить, что Ибн Туфейль на шесть столетий отстал от Дефо, было бы такой же глупостью, как та, что я обозначил под номером два.

В одну из пятниц марта 1761 года шейхульислам[4] султана Мустафы III Хаджи Велиййудин Эфенди, придя вечером домой, застал у себя в кабинете болтливого друга; увидев роскошный шкаф, гость сказал: «Хаджи Эфенди, у тебя в шкафу, наверно, такой же беспорядок, как и в голове!» В ответ на эти неуважительные и неуместные слова шейхульислам начал сочинять месневи, доказывающие, что у него полный порядок и в ореховом шкафу, и в голове. В сочинении он показал, что в нашем мозгу точно так же, как в том бесподобном — армянской работы — шкафу с двумя дверцами, четырьмя отделениями и выдвижными ящиками, есть двенадцать ячеек, хранящих время, места, числа, документы и всякую всячину, которую мы называем сегодня «причинность», «существование», «необходимость»; через двадцать лет после этого немецкий философ Кант опубликовал свой знаменитый труд, в котором обозначил двенадцать категорий чистого разума; сделать из этого вывод, что Кант — подражатель шейхульислама, было бы глупостью, обозначенной мною под номером три.

Доктор Ферит Кемаль, столь живо описавший Его, которого все мы ждем, не удивился бы, узнав, что через сто лет соотечественники вспомнили о нем. Всю жизнь доктор был окружен стеной забвения и безразличия, которая обрекла его на молчание сна. Се-

---

[1] Ибн Рушд (1126—1198) — андалусский арабский философ.
[2] Ибн Туфейль (1110—1185) — андалусский писатель.
[3] Ибн Якзан — главный герой одноименного произведения Ибн Туфейля.
[4] Глава духовного сословия мусульман.

годня я могу представить себе лицо Ферита Кемаля — не осталось ни одной его фотографии — лишь как мечтательное лицо лунатика: он был наркоманом. К такому умозаключению мы приходим, прочитав написанную в презрительном тоне книгу «Новые Османы и свобода» Абдуррахмана Шерефа, который, как и Ферит Кемаль, многих своих больных сделал наркоманами. В 1866 году — да, да, за год до второго путешествия Достоевского в Европу — он отправился в Париж, охваченный неясным чувством протеста и стремления к свободе; опубликовал несколько статей в газетах «Хюрриет» и «Мухабир», выходящих в Европе; позднее, когда младотурки договорились с дворцом и — потихоньку — вернулись в Стамбул, он остался в Париже. На этом его следы теряются. Судя по тому, что в предисловии к своей книге он говорит об «Исканиях рая» Бодлера[1], он, возможно, был знаком с любимым мной Де Куинси[2] и пробовал наркотики; но на страницах, где речь идет о Нем, не чувствуется следов этого увлечения, напротив, мы видим там ясную логику, которая сейчас нам бы очень пригодилась. Я пишу, чтобы поговорить об этой книге, об этой логике, чтобы познакомить офицеров-патриотов нашей армии с идеями из «Le Grand Pacha», которые трудно оспаривать.

Но чтобы понять эту логику, надо прежде всего представить себе, что это за книга: она напечатана в Париже в 1870 году издателем Poulet-Malassis'ом на плотной рисовой бумаге, у нее голубая обложка. Всего девяносто шесть страниц. Представьте себе иллюстрации, сделанные французским художником (De Tennielle), изображающие скорее не тогдашний Стамбул, а современный, с каменными зданиями, каменными плитами мощеных улиц; окружающие предметы, тени, камера, орудия пыток — все выглядит поразительно современно.

Книга открывается описанием одной из окраинных улиц Стамбула в полночь. Тишина, удары палок сторожей о мостовые и далекий вой дерущихся собачьих стай. Забранные решетками окна деревянных домов темны. Едва заметный дымок печных труб смешивается с прозрачным туманом, опустившимся на крыши и купола. И в этой глубокой тишине слышится звук шагов. Этот странный, новый, неожиданный звук каждый воспринимает как благую весть: и те, кто, натянув на себя все, что можно, готовится лечь в холодную постель, и те, кто под грудой одеял уже видит сны.

Наутро — светлое веселье, от ночной тоски не осталось и следа. Все узнали Его, все поняли, что это — Он, все догадались, что кончилось, как казалось, бесконечное, полное невзгод время; многие в минуты уныния думали, что оно никогда не кончится. В этот день Он был со всеми: с теми, кто катался на карусели, с примирившимися давними врагами, с детьми, поглощающими яблочную помадку и тянучки, с веселящимися и танцующими мужчинами и женщинами. Он скорее был похож на идущего среди братьев старшего брата, чем на Спасителя, окруженного несчастными, которых он поведет к светлым дням. Но на лице Его была тень сомнения, какого-то раздумья, предчувствия. Задумавшись, Он шел по улицам, и люди Grand Pacha схватили Его и бросили в холодную городскую тюрьму, окруженную каменной стеной. Ночью со свечой в руке Grand Pacha навещает Его в камере и всю ночь разговаривает с Ним.

Кем был Grand Pacha? Поскольку я, как и автор книги, хочу, чтобы читатель самостоятельно решил это, я не буду называть имя этого очень неординарного человека. Судя по тому, что он паша, мы можем предположить, что он крупный государственный деятель, или великий воин, или просто военный в высоком чине. Основываясь на глубине его рассуждений, можно также подумать, что он — философ или великий человек, обладающий такого рода знаниями, которыми обладают люди, думающие о государстве и нации больше, чем о себе; мы знаем много таких людей. Всю ночь в камере Grand Pacha будет говорить, а Он слушать. Вот слова, которыми Grand Pacha убедил Его и заставил молчать:

1. Как и все, я сразу понял, что ты — Он (так начал Grand Pacha). Чтобы это понять, мне не пришлось — как это делалось сотни, тысячи лет — обращаться к тайнам букв и

---

[1] «Искания рая» — трактат Бодлера о наркотиках.

[2] Де Куинси (1785—1859) — английский писатель, автор автобиографической книги «Исповедь англичанина, употребляющего опиум».

цифр, к знакам на небе или в Коране, к предсказаниям о тебе. Когда я увидел на лицах людей в толпе радостное волнение, я понял, что ты — Он. Сейчас все ждут, что ты поможешь им забыть боль и печаль, оживишь утраченные надежды, поведешь к счастью, но сумеешь ли ты это сделать? Много веков назад надежду несчастным сумел внушить Мухаммед, потому что вел их от победы к победе с мечом. Но сегодня, какой бы сильной ни была наша вера, оружие врагов ислама сильнее нашего. Военная победа невозможна! Разве не ясно это из того, что Лжемахди, выдававшие себя за тебя, поначалу обосновались в Индии, Африке, у англичан, французов, но потом были уничтожены, исчезли; результатом же была еще большая разруха. (Победа не только ислама, но Востока над Западом — это всего лишь мечта, что совершенно очевидно, стоит лишь сравнить военную и экономическую мощь: Grand Pacha как политик-реалист показал богатство Запада и нищету Востока, а Он — ведь это был не какой-нибудь шарлатан, а Он — молча и грустно соглашался с этой мрачной картиной.)

2. Крайняя нищета вовсе не означает, что невозможно дать несчастным надежду на победу (так продолжал Grand Pacha, а время было уже далеко за полночь). Единственное: мы не можем сейчас начать войну против внешних врагов. А внутренние? Разве причина нашей нищеты и наших бед — не наши собственные грешники, ростовщики, кровопийцы, деспоты, которые внешне выглядят праведниками? Ты ведь и сам понимаешь, что надежду на счастье и победу можешь дать своим несчастным братьям только объявлением войны внутренним врагам! Ты отлично знаешь, что вести эту войну будут не отважные герои, а доносчики, палачи, полицейские. Надо показать отчаявшимся виновного в их нищете, да так, чтобы они поверили, что, когда ему отрубят голову, на земле установится рай. Последние триста лет мы только этим и занимаемся. Чтобы дать надежду нашим братьям, указываем на виновных, живущих среди них. А поскольку надежда нужна, как хлеб, люди верят. Самые умные и порядочные из виновных понимают, что все вершится согласно таким рассуждениям, и поэтому, совершив небольшой проступок, они еще до вынесения приговора умножают свою вину в десять раз, чтобы таким образом дать надежду несчастным братьям. Некоторых мы даже прощаем, и они присоединяются к нашей охоте за виновными. Надежда, как и Коран, питает не только духовную, но и мирскую нашу жизнь, ибо надежду и свободу мы ждем оттуда же, откуда ждем хлеб.

3. Я знаю, ты силен и можешь совершить все нелегкие дела, которых ждут от тебя, ты в состоянии в мгновение ока найти в толпе виновных и даже, пусть и неохотно, подвергнуть их пыткам, все это ты можешь, потому что ты — Он. Но сколько можно тешить людей надеждой? Через некоторое время они увидят, что дело не идет на лад. Хлеба у них не станет больше, и надежда, связанная с тобой, станет улетучиваться. Они опять начнут терять веру в Книгу[1] и в оба мира и снова погрузятся в глубокое уныние, безнравственность, духовную нищету, в которых недавно пребывали. Самое ужасное, что они станут сомневаться в тебе, ненавидеть тебя. Доносчики начнут испытывать угрызения совести перед теми, кого они с радостью сдали твоим палачам и мучителям; полицейские и тюремщики так устанут от бессмысленности своих занятий, что их не утешат ни имеющиеся у них новейшие орудия пыток, ни даруемая тобой надежда; они решат, что несчастные, висящие на виселицах, как гроздья винограда, зря были принесены в жертву. И в день Страшного суда ты увидишь, что они больше не верят ни тебе, ни историям, которые ты им рассказываешь; а когда не будет истории, в которую все верят сообща, у каждого появится своя история, каждый будет верить в нее и захочет ее рассказать. По замусоренным улицам многолюдных городов, по их грязным площадям, где никак не могут навести порядок, миллионы нищих будут бродить со своими рассказами, неся их гордо, как венец мучеников. И тогда в их глазах ты перестанешь быть Им: ты станешь Даджалом, а Даджал — тобой! И они захотят верить не твоим, а его, Даджала, рассказам. Я или кто-то вроде меня, вернувшийся с победой, станет Даджалом. И он скажет этим несчастным, что ты годами обманывал их, нес им не надежду, а ложь, что ты — не Он, а Даджал. Впро-

[1] Имеется в виду Коран.

чем, возможно, в этом и не будет необходимости, потому что или сам Даджал, или какой-нибудь несчастный, убедившись, что ты много лет обманывал его, ночью на темной улице разрядит пистолет в твое бренное тело, которое прежде считалось неуязвимым для свинца. Вот так, из-за того, что ты долгие годы, давая им надежду, обманывал их, однажды ночью на грязной мостовой, к которой ты уже привык и даже начал любить ее, найдут твое мертвое тело.

Любовные истории в снежной ночи

Те, кто бродит с немощными
в поисках историй и легенд.

Мевляна

Когда Галип вышел на проспект, часы показывали второй час ночи, но по улицам, покрытым снегом, все еще бродил народ. «На улице за английским консульством, — припомнил Галип, — есть одно заведение, открытое до утра, куда ходят не только провинциалы, приезжающие из Анатолии транжирить деньги, но и приличная публика!» Подобные сведения с иронией сообщали иллюстрированные журналы, которые любила рассматривать Рюйя.

Перед старинным зданием отеля «Токатлаян» Галип столкнулся с Искендером. Заметно было, что тот изрядно выпил. Оказывается, он показывал телевизионной группе Би-би-си Стамбул «Тысячи и одной ночи» (собаки у мусорных ящиков, торговцы наркотиками и коврами, пузатые танцовщицы, исполняющие танец живота, сводники и т. п.). В кафе на окраине, куда он повел англичан, какой-то человек с портфелем затеял из-за чего-то ссору (не с ними), и полицейские уволокли его, а второй участник спора выпрыгнул в окно и удрал. После скандала сидеть в кафе больше не хочется, и они идут дальше искать приключений, Галип, если хочет, может к ним присоединиться. Они прошлись по Бейоглу, купили сигареты без фильтра для Искендера и отправились к дому, на котором была вывеска «Ночной клуб».

Галипа встретили шумно, но без особого интереса. Красивая англичанка с Би-би-си рассказывала историю. Оркестр умолк, выступал фокусник: он доставал из коробок коробки, а из них еще коробки. У ассистентки были кривые ноги, а внизу живота виднелся след кесарева сечения. Галип подумал, что такая женщина могла родить не ребенка, а только сонного кролика, вроде того, что она держала в руках.

Сидящие за столом по очереди рассказывали любовные истории. Искендер переводил рассказ англичанки. Галип внимательно вслушивался, пытаясь по выразительному лицу женщины угадать начало рассказа, которое он пропустил. Из того, что он услышал, было ясно, что какая-то женщина (Галип подумал, что это сама рассказчица) пыталась растолковать мужчине, с которым была знакома с девяти лет, смысл изображения на византийской монете, найденной водолазом на дне моря; мужчина, ослепленный любовью к женщине, никак не мог увидеть то, что видела она, но зато он сочинил любовные стихи. «Таким образом, — перевел Искендер, — двоюродные брат и сестра поженились благодаря византийской монете, поднятой со дна моря водолазом. Женщина изменилась под воздействием волшебного лица, отчеканенного на монете. Но мужчина не заметил этого. И до конца жизни женщина жила в одиночестве в башне. (Галип подумал, что женщина бросила мужчину.) Галипу показалось наигранным сочувствие к «человеческим» чувствам, которое изображали сидящие за столом. Он не ожидал, что все будут, как он, радоваться, что красивая женщина покинула никчемного мужчину. Но такой трагический конец истории «красивой» женщины был совершенно нелепым, и после завершающей, произнесенной с пафосом эффектной фразы наступило тягостное молчание.

Следующим рассказчиком был пожилой фотограф.

Лет тридцать назад в его маленькое ателье зашел слуга и пригласил мастера в один

из домов, расположенных вдоль трамвайной линии в Шишли[1]. Отправляясь по указанному адресу, он терялся в догадках: почему для съемок развлечений богатых позвали именно его, работающего в ресторанах, а не кого-нибудь из его коллег, гораздо больше подходящих для подобного случая. Его встретила молодая красивая вдова и предложила хорошие деньги за то, что фотограф каждое утро будет приносить ей копии всех фотографий, которые отснимет в ночных ресторанах Бейоглу за ночь.

Фотограф принял предложение, ему было любопытно: он подумал, что за этим может стоять любовная история, и решил, насколько будет можно, последить за заказчицей-шатенкой с серо-голубыми глазами. Через два года работы на женщину он понял, что она не ищет конкретного мужчину, знакомого или увиденного на фотографии, — из сотен фотографий, которые он приносил ей по утрам, она отбирала понравившиеся, просила увеличить, каких-то мужчин просила сфотографировать в других позах, но это были совершенно не похожие друг на друга мужчины — ни по возрасту, ни по типу лица. Они «сотрудничали» несколько лет, это их сблизило, поскольку у них было что-то вроде общей тайны. Иногда женщина говорила фотографу: «Что ты мне приносишь фотографии этих людей с пустыми, бессмысленными глазами, какие они невыразительные!»

Но однажды на фотографии, где множество людей сидели за столом, она увидела среди бессмысленных лиц необычное, сияющее лицо и поняла, что ее поиски в течение одиннадцати лет не прошли даром. В ту же ночь фотограф снова сфотографировал крупным планом это удивительное молодое лицо, на котором читалось чистое, простое и откровенное — любовь. Они узнали, что человек, у которого было такое лицо, работал в Карагюмрюке[2] часовым мастером в маленькой мастерской, ему было тридцать три года; на лице его, по словам женщины, явно читались буквы любви, но фотограф их не видел, и женщина гневно назвала его слепым. Следующие несколько дней женщина провела в волнении, как невеста, которой предстояли смотрины; она страдала, как влюбленная, знающая наперед, что обречена на неудачу; потом наступал момент, когда ей казалось, что брезжит свет надежды, и тогда она предавалась мечтам о возможном счастье. За неделю женщина украсила все стены дома сотнями фотографий часовщика, сделанных под разными предлогами.

Фотографу удалось сфотографировать часовщика с очень близкого расстояния. Но после этого часовой мастер вдруг пропал. Женщина буквально сходила с ума. Она отправила фотографа в Карагюмрюк, но мастера не было ни в мастерской, ни дома. Через неделю фотограф снова поехал в Карагюмрюк, и оказалось, что мастерская продается, а дома — никого. С того дня женщина не желала смотреть ни на какие фотографии, кроме фотографий часовщика. В тот год осень наступила рано, задули холодные ветры. Как-то фотограф приготовил очередную серию фотографий и утром пришел к женщине. Дверь открыл всегда не в меру любопытный привратник и сообщил, что госпожа куда-то уехала. Фотографу оставалось только, зная начало, домыслить конец этой истории.

Но настоящий конец он узнал через несколько лет из газетного заголовка: «Плеснула в лицо азотной кислотой!» Ревнивую женщину звали иначе, чем женщину из Шишли, она не подходила по возрасту и не была на нее похожа; муж, в лицо которого она плеснула азотную кислоту, был не часовым мастером, а прокурором небольшого городка в Центральной Анатолии. Ни одна из подробностей, приведенных в газете, не вязалась с мечтательной женщиной и красивым часовым мастером, но, прочитав слово «кислота», фотограф тотчас догадался, что речь идет именно о них; он понял, что много лет они были вместе, что они использовали его и устроили все эти игры для того, чтобы сбежать вдвоем. Увидев в тот же день в другой бульварной газете обожженное лицо часовщика, лишенное всякого выражения, он убедился, что прав в своих предположениях.

Фотограф понял, что его рассказ вызвал интерес зарубежных журналистов, оценен по достоинству, и, чтобы закрепить свой успех, добавил последнюю деталь с таким видом, будто открывал военную тайну: та же фотография обожженного кислотой лица (спус-

---

[1] Фешенебельный район в центре Стамбула.
[2] Район в европейской части Стамбула.

тя несколько лет) была опубликована в той же бульварной газете как фотография последней жертвы войны, длившейся много лет на Среднем Востоке. Под фотографией была подпись: «Как говорится, все — во имя любви».

Сидящие за столом охотно позировали фотографу. Галип заметил двух знакомых журналистов и лысого человека, который показался ему похожим на агента по рекламе; было еще несколько незнакомых ему людей. За столом установилась атмосфера легкой симпатии, какая бывает между людьми, делящими крышу на одну ночь или попавшими вместе в несерьезную аварию. Всем было интересно. Огни сцены давно погасли, в зале было тихо и безлюдно.

Слово взял лысый старик, которого Галип принял за агента по рекламе. Искендер рассказал Галипу, кто этот старик: он встретился с ним в холле отеля «Пера палас» в те хлопотные дни, когда составлял программу для английских журналистов, стараясь ее максимально уплотнить, и разыскивал Джеляля — да, кажется, это было как раз в тот день, когда он звонил Галипу. Человек стал помогать в поисках Джеляля, сказав, что знаком с ним и у него тоже есть дело к журналисту. Старик появлялся время от времени и оказывал англичанам кое-какую помощь: он был отставным военным и имел весьма широкие связи. Очевидно, что он не работает, любит делать добрые дела, ищет друзей и хорошо знает Стамбул.

Рассказ лысого оказался рассказом-загадкой: старый чабан, изнуренный солнцем, днем возвращается домой, загоняет овец, входит в дом и видит в своей постели горячо любимую жену с любовником: на мгновение растерявшись, он хватает нож и убивает обоих. Сдавшись властям, он защищает себя перед кадием[1], утверждая, что убил не жену, а незнакомую женщину, которая оказалась с любовником в его постели. Чабан рассуждает просто: долгие годы они жили в любви, женщина, которую он хорошо знал, верил ей, не могла так обойтись с ним; это значит, что и женщина в постели была другая, и он был не он. Чабан искренне верил в превращение, считал, что само солнце подало ему знак. Он, конечно, готов отвечать за преступление, совершенное тем, другим человеком, в которого он преобразился в момент преступления, но настаивал на том, чтобы убитых им мужчину и женщину считали ворами, бесстыдно воспользовавшимися его постелью. Каким бы ни было наказание, он его отбудет, а потом отправится искать жену: ведь он не видел ее с того дня, когда его чуть не хватил солнечный удар, а когда найдет, то с помощью жены будет искать свою собственную потерянную личность. К какому наказанию приговорил кадий чабана?

Слушая ответы сидящих за столом на вопрос отставного полковника, Галип думал о том, что он то ли слышал, то ли где-то читал этот рассказ раньше, но где — никак не мог припомнить. Он решил, что вспомнит, откуда знает и рассказ, и лысого человека, когда посмотрит фотографии, которые фотограф уже проявил и раздавал присутствующим; тогда он скажет лысому, кто он на самом деле, и таким образом раскроет тайну его не очень простого лица. Когда подошла его очередь, Галип сказал, что кадий должен был простить чабана, и понял, что угадал, что выражало лицо отставного полковника: казалось, тот был одним человеком, когда рассказывал свою историю, и стал совсем другим, когда закончил ее. Что же с ним происходило, когда он рассказывал, что изменило его во время рассказа?

Теперь все смотрели на Галипа и ждали его историю; он стал рассказывать о любви пожилого одинокого журналиста, оговорившись, что эту историю когда-то поведал ему коллега героя повествования. Этот человек всю жизнь делал переводы для журналов и газет и, кроме того, писал статьи о новых фильмах и театральных постановках. Он никогда не был женат, больше интересовался женскими нарядами и украшениями, чем женщинами. Жил он в маленькой квартирке на окраине Бейоглу в полном одиночестве, с полосатой кошкой, которая выглядела еще более старой и одинокой, чем он сам. Единственным потрясением его плавно текущих дней стало то, что под конец жизни он начал читать поразительную книгу Марселя Пруста о поисках утраченного времени.

---

[1] Кадий — судья шариатского суда.

Пожилому журналисту так понравилась книга, что он говорил о ней каждому встречному, однако никто не потрудился прочесть эту книгу по-французски, более того, журналист не встретил ни одного человека, который хотя бы проявил к ней интерес. Тогда он замкнулся и начал мысленно повторять сцены, которые читал и перечитывал по многу раз. Днем ему приходилось сталкиваться с неприятностями, иметь дело с раздраженными, бесчувственными, неделикатными, грубыми и бескультурными людьми; если ему было тяжело, он говорил себе: «Нет, я не здесь! Я дома, у себя в спальне, я думаю о том, что делает моя Альбертина: спит или уже проснулась и ходит по комнатам мягкими шагами, а я любуюсь ею!» Печально бродя по улицам, он точь-в-точь как рассказчик в романе Пруста, воображал, что его ждет молодая и красивая женщина по имени Альбертина, простое знакомство с которой уже было бы для него счастьем, а она у него дома и ждет его, и он думал о том, что она делает в ожидании. Он возвращался в свою двухкомнатную квартирку, печка никак не желала гореть, и старый журналист с грустью вспоминал другие страницы Пруста, где Альбертина покинула его; ощущая тоску пустого дома, он вспоминал, о чем они, улыбаясь, разговаривали с Альбертиной, как она приходила, позвонив в дверь, как они завтракали; он вспоминал свои частые вспышки ревности, мечты о путешествии вдвоем в Венецию; все это проходило перед его глазами как яркие картины, он был как будто одновременно и Прустом, и его возлюбленной Альбертиной; он предавался воспоминаниям, пока из глаз не начинали течь слезы, слезы печали и счастья.

Старый журналист сокрушался, что никто не знал о Прусте и Альбертине, что у нас такая убогая и жалкая страна. Вот когда появятся здесь люди, понимающие Пруста и Альбертину, тогда, может быть, эти несчастные, которых он встречает на улицах, заживут другой, лучшей жизнью и не будут пырять друг друга ножами в припадках жестокой ревности, а, как Пруст, погрузятся в воспоминания, стараясь оживить перед глазами образы любимых. Все журналисты и переводчики, которые работали в газете и считались образованными людьми, на самом деле были противными невеждами, потому что они не читали Пруста, не были знакомы с Альбертиной и не знали, что их старый коллега, прочитав Пруста, стал одновременно и Прустом, и Альбертиной.

Нет ничего странного в том, что пожилой одинокий журналист вообразил себя персонажем или автором романа; любой турок, прочитавший с удовольствием западную книгу, которую никто другой не читал, через какое-то время начинает искренне верить, что он не только с удовольствием прочитал, но и написал ее. И начинает презрительно относиться к окружающим не только потому, что они не читали этой книги, но и потому, что они не в состоянии написать так, как написал он. Неудивительно, что старый журналист годами воображал себя Прустом или Альбертиной, удивительно, что эту тайну, тщательно скрываемую от всех много лет, он открыл молодому коллеге. Выслушав историю тайной любви старого журналиста, тот сначала расхохотался, а потом сказал, что опишет этот любопытный факт в своей рубрике.

Старый журналист понял, что мир его рухнул: теперь в пустой квартире он не мог думать ни о ревности Пруста, ни о прекрасных днях, проведенных с Альбертиной, ни о том, куда отправилась Альбертина. Необыкновенная любовь, которую он пережил и о которой в Стамбуле знал он и только он, великая любовь, единственный чистейший источник его гордости, скоро станет достоянием сотен тысяч безмозглых читателей, а это все равно что Альбертина, та, что долгие годы была объектом его поклонения, будет изнасилована. На обрывках газеты с именем Альбертины будут чистить рыбу, их будут бросать в мусорные ведра. Когда он думал об этом, ему хотелось одного — умереть.

Отчаяние придало ему смелости, и он позвонил молодому коллеге, умоляя его не писать об Альбертине и Прусте. «Ведь вы даже не читали это произведение Марселя Пруста!» Молодой журналист, который и думать забыл об исповеди старика, никак не мог понять, о чем идет речь: «Какой писатель? Какое произведение? О чем вообще речь-то?» Старик снова все рассказал, и опять молодой хохотал и говорил радостно, что об этой истории просто необходимо написать, и как можно скорее, пока старик не написал о ней сам.

Статья действительно появилась. Старый журналист был потрясен, прочитав, как высмеивают его в этой статье. А когда он увидел в ней имена Пруста и Альбертины,

единственное, что ему осталось, — уйти из этой жизни. Он умер через три дня после появления жестокой статьи. Когда взломали дверь его двухкомнатной квартиры, выяснилось, что старый журналист тихо скончался во сне. Упрямая печка дымила вовсю, а рядом с покойником сидела полосатая кошка, которая два дня ничего не ела, но не покинула хозяина.

Несмотря на то что рассказ Галипа кончился печально, как и все другие, слушатели почему-то развеселились. Несколько человек, в том числе и иностранные журналисты, встали из-за стола и до самого закрытия развлекались, смеялись и танцевали с девушками.

Я должен быть самим собой

Если ты хочешь быть печальным, рассеянным, задумчивым или вежливым, надо просто старательно играть соответствующую роль.

Патриция Хайсмит

Лет одиннадцать или двенадцать назад, точно не помню (к сожалению, моего «тайного архива», к которому я обращаюсь в подобных случаях, когда память моя, как сейчас, слабеет, нет под рукой), я написал длинную статью о ночной прогулке по городу под неотступным наблюдением «глаза» и получил множество писем от читателей. Как всегда, большинство из них возмущались, что я не написал привычной статьи (о проблемах страны, о грустных стамбульских улицах под дождем), и, как всегда, в почте оказалось письмо читателя, который «чувствовал», что он разделяет мои взгляды «по очень важному вопросу».

Я почти забыл о письме читателя, сообщавшего, что скоро посетит меня, чтобы задать вопросы, «глубокие» и «особенные», по которым, как он считал, мы сходимся во мнениях; о себе он сообщил лишь, что профессия его — парикмахер (мне показалось это странным). Но однажды, после обеда, в день, когда верстался номер, когда надо было дописать несколько материалов и я был страшно занят, он предстал передо мной. Я думал, что парикмахер будет долго делиться своими горестями, а потом настаивать, требовать, чтобы я все это описал в газете. Я попытался избавиться от него, попросил, чтобы он пришел в другое время. Он напомнил, что письменно предупредил о своем приходе, и сказал, что в другой раз не сможет прийти. Он хочет задать мне всего два вопроса, сделать это можно на ходу. Мне понравилось, что парикмахер сразу перешел к делу, и я попросил его задать вопросы.

— Трудно ли вам быть самим собой?

К столу подошли несколько человек, почуявшие, что происходит нечто необычное; они надеялись развлечься, думали, что я отвечу шуткой и мы вместе посмеемся; здесь были молодые журналисты, которым я покровительствовал, толстый и шумный футбольный обозреватель, вечно смешивший всех своими остротами. Я ответил «умной» шуткой, как от меня и ждали. Парикмахер внимательно выслушал шутку как ответ на первый вопрос и тут же задал второй.

— Как сделать, чтобы человек всегда мог быть самим собой?

Вид у него был такой, словно он задавал вопрос не для удовлетворения своего любопытства, а чтобы выполнить некую важную миссию. Ясно было, что он заранее заготовил вопросы. Смех, вызванный моим шуточным ответом, еще не смолк, он привлек других людей, и в таком положении я, естественно, не стал произносить философскую речь на тему, как человеку быть самим собой, а отпустил вторую шутку, как забил шар в лузу. Вторая шутка дополняла первую, и буквально из пустяка можно было сделать замечательный рассказ. Я до сих пор помню, как после второй шутки парикмахер сказал:

— В сущности, я понял! — и ушел.

Если слово двусмысленно, то наш народ воспринимает исключительно его второй смысл, в котором содержится презрение или унижение, поэтому меня совершенно не волновало, что парикмахер мог обидеться. Более того, скажу, что я его унизил, как уни-

зил бы любого читателя, который стал бы задавать вопросы о смысле жизни или интересоваться, верующий ли я, застав меня в уборной застегивающим брюки.

Но через некоторое время... Если читатели думают, что я напишу сейчас, будто раскаялся в своем нахальстве, постоянно думал о том, был ли уместен вопрос парикмахера, видел его во сне, испытывал чувство вины и просыпался весь в поту, то они сильно ошибаются. О парикмахере я вспомнил всего один раз. Дело в том, что задолго до знакомства с ним меня посетила мысль. Поначалу это даже и мыслью-то назвать было нельзя; у меня в ушах, нет, не в ушах, где-то в глубине души вдруг снова зазвучали слова, которые время от времени посещали меня в детстве: «Я должен быть самим собой, самим собой, самим собой...»

Как-то после дня, проведенного среди людей — родственников, «товарищей» по работе, — ночью, перед тем как лечь в постель, я сел в старое кресло, вытянул ноги на подставке, закурил и стал смотреть в потолок. Голоса людей, с которыми я весь день общался, шум, просьбы слились в единый звук и доносились откуда-то из глубины неприятно и утомительно, как головная боль, нет, хуже — как ноющая зубная боль. Слова из детства, которые я стесняюсь назвать мыслью, сначала возникли как «антизвук», чтобы заглушить неумолкающий гул, напомнить о возможном пути выхода: надо просто услышать собственный внутренний голос, погрузиться в собственное спокойствие, счастье, даже в собственный запах. «Ты должен быть самим собой, самим собой, самим собой!»

Уже поздно ночью я вдруг понял, как доволен тем, что сижу дома, вдали от всей этой толпы, от убийственной суеты, которую они (имам с его пятничной проповедью, учителя, тетя, отец, дядя, политики — все!) называли «жизнью», да еще хотели, чтобы и я, и все мы окунулись в нее! Я был так доволен, что прогуливался в саду собственных фантазий, а не их скучных, банальных сказок, что с любовью смотрел даже на свои вытянутые на подставке худые, совсем не стройные ноги и с симпатией наблюдал за некрасивой беспомощной рукой, подносящей ко рту сигарету, из которой я пускал дым в потолок. В кои-то веки я сумел стать самим собой! Я мог любить себя за это! В этот счастливый миг навязчивые слова вдруг зазвучали по-иному. Я повторял эти слова, как квартальный дурачок, идущий вдоль стены мечети, выкрикивает один и тот же бессмысленный повтор, как старик пассажир, который считает проплывающие мимо поезда столбы: один, один, один; надоевшие было мне слова вдруг превратились в истину, которая наполнила меня какой-то новой силой, преобразила не только меня, но и мою старую бедную комнату. И я повторял, но уже не занудно, а с каким-то радостным протестом:

Я должен быть самим собой, я должен быть самим собой и не обращать внимания на их голоса, запахи, желания, любовь и ненависть, я должен быть самим собой, повторял я, глядя на свои ноги, покоящиеся на подставке, и на сигаретный дым, который пускал в потолок; ведь если я не являюсь самим собой, я становлюсь таким, как они хотят, а я не хочу быть тем человеком, каким они хотят меня видеть, и я ничего не буду делать, чтобы стать тем невыносимым человеком, каким они хотят, чтобы я был, лучше пусть меня совсем не будет, думал я, потому что в молодости, когда я приходил в дом дяди и тети, в их взглядах я читал: «Как жаль, что он занялся журналистикой, но он много работает и, если и дальше будет так работать, бог даст, добьется успеха»; я становился тем человеком, каким они меня видели, и, чтобы стать другим, я работал много лет, и когда, будучи взрослым мужчиной, я приходил в дом, где отец жил уже с новой женой, я становился человеком, про которого они говорили: «Он много работал и добился-таки успеха»; самое скверное, что я не мог видеть себя другим, я не хотел быть таким, каким они хотели, чтобы я был, но этот образ прилипал ко мне, как кожа к мясу, и, находясь среди них, я ловил себя на том, что говорю слова не свои, а этого человека, которым мне так не хочется быть; вечером, вернувшись домой, я вспоминал фразы, что произносил там: «Я коснулся этой темы в большой статье», «Эту проблему я рассматриваю в своей последней воскресной статье», «В статье, которая появится завтра, я написал так». Потом я пытался говорить простые слова: «Я разбередил муравейник», потому что начинал задыхаться от штампов и хотел хоть немного стать самим собой.

Вся моя жизнь — цепь подобных неприятных воспоминаний. Сидя в кресле, наслаждаясь тем, что я являюсь самим собой, я вспоминал времена, когда не был самим собой.

Я вспомнил, что во время всего срока службы в армии меня считали человеком, умевшим шутить в тяжелую минуту; я изо всех сил старался соответствовать этой характеристике: ведь «товарищи по оружию» решили, что я именно такой. Вспомнил, как в то время, когда мы разрабатывали планы подготовки военного переворота и мечтали о временах, когда власть перейдет в наши руки, я вел себя как горячий патриот, лишившийся сна от страха, что переворот совершится слишком поздно и народ будет продолжать страдать. Рядом с симпатичными женщинами я старался вести себя так, как, по-моему, им должно было нравиться: то я был человеком, думающим только о женитьбе и пытающимся устроиться в жизни, то решительным мужчиной, поглощенным заботами о спасении страны, то чувствительной натурой, уставшей от черствости и всеобщего непонимания, царивших вокруг, а то просто «романтичным поэтом». Вспомнил, наконец (да, напоследок!), как у парикмахера, к которому я ходил раз в два месяца, я не мог быть самим собой, я был личностью, соединившей в себе всех, кому подражал.

Я отдавал себя в руки парикмахера (другого, не того, о котором шла речь в начале моей статьи). Мы вместе смотрели в зеркало на подстригаемые волосы, на голову, плечи, тело, и я всегда сразу понимал, что сидящий в кресле человек — не я, а кто-то другой. Голова в руках парикмахера, спрашивающего: «Сколько снимем спереди?», шея, на которой держится эта голова, плечи, тело — не мои, они принадлежат журналисту Джеляль. А у меня нет ничего общего с этим человеком. Это было настолько очевидно: я думал, что и парикмахер видит это, но он, кажется, не замечал. И все же, словно стремясь показать мне, что я — не я, он задавал вопросы, какие обычно задают журналистам: «Победим ли мы греков, если начнется война?», «Правда, что жена премьер-министра — проститутка?», «Лавочники сами поднимают цены?» Почему-то я был не в состоянии отвечать на эти вопросы; журналист, за которым я с непонятным изумлением следил в зеркале, бормотал вместо меня с умным видом: «Мир — дело хорошее!», «Надо понимать, что, вешая людей, цен не снизишь!»

Я ненавидел этого журналиста: он считал, что все знает, а когда чего-то не знал, то, зная, что не знает, умел снисходительно иронизировать над своим незнанием и недостатками! Ненавидел я и парикмахера за то, что уже первым вопросом он превращал меня в журналиста Джеляль-бея! Размышляя над всем этим, я и вспомнил парикмахера, пришедшего в газету задать мне странные вопросы.

Той ночью, сидя в кресле, я говорил себе: «Да, господин парикмахер! Они никогда не позволят человеку быть самим собой, никогда, никогда не позволят!» Я говорил решительно и убежденно, но это не приносило мне желаемого покоя. Тогда я решил, что в моих воспоминаниях, освеженных визитом парикмахера, есть некий смысл, некий порядок, как бы «тайная симметрия»; мои самые внимательные читатели, я думаю, помнят, что я писал об этом и в других статьях. Словно бы это был знак, обращенный в мое будущее: возможность быть самим собой, сидя в одиночестве в кресле после долгого дня или даже вечера; это было что-то вроде возвращения домой после долгих, длившихся годами приключений.

Вы меня узнали?

> И сейчас, когда я обращаю взор в те времена, я словно бреду наугад в беспорядочной толпе.
>
> *Ахмет Расим*[1]

Рассказчики вышли из клуба, но не разошлись, а, стоя под легким снежком, смотрели друг на друга в ожидании новых развлечений: будто они только что стали свидетелями убийства или пожара и были не в состоянии сдвинуться с места: вдруг еще рванет! Лы-

[1] Ахмет Расим (1864—1932) — турецкий писатель.

сый, уже давно водрузивший на голову большую фетровую шляпу, повернулся к Искендеру: «Туда всех не пускают. Да и столько народу там не поместится. Я хочу повести только англичан. Пусть увидят и эту сторону нашей жизни». Взглянул на Галипа: «Вы, конечно, можете пойти с нами...»

Когда они проходили мимо американского консульства, человек в фетровой шляпе спросил: «Вы бывали у Джеляль-бея в Нишанташи и Шишли?» — «Что?» — удивился Галип, глядя в лицо, которое не казалось ему выразительным. «Искендер-бей сказал, что вы племянник Джеляля Салика. Разве вы не разыскиваете его? Было бы хорошо, если бы он рассказал англичанам о проблемах нашей страны. Видите, мир уже проявляет к нам интерес». Галип: «Да, конечно». Человек в фетровой шляпе: «У вас есть его адреса?» Галип: «Нет, он никому их не дает». — «А правда, что он прячется там с женщинами?» — «Нет». — «Не сердитесь. Сплетни. Чего только не наговорят! На каждый роток не накинешь платок. Особенно если речь о такой знаменитости, как Джеляль-бей! Знаете, я ведь с ним знаком». — «Неужели?» — «Да, как-то он пригласил меня в одну из своих квартир в Нишанташи». — «Куда именно?» — «Тот дом давно снесли. Это был двухэтажный кирпичный дом. Он жаловался на одиночество. Сказал, что я могу видеться с ним, когда захочу». — «Но он сам стремится к одиночеству». — «Может быть, вы не так уж хорошо его знаете. Сейчас интуиция мне подсказывает, что он ждет от меня помощи. Вы не знаете ни одного из его адресов?» — «Ни одного». — «Неудивительно, что каждый находит в нем частицу самого себя. Замечательная личность!» — заключил человек в фетровой шляпе, и они стали обсуждать последнюю статью Джеляля.

Дверь, на которой было написано «Мастерская манекенов», открыл небритый человек лет тридцати. На нем были черные брюки и полосатая пижамная куртка. Пожав руку каждому из гостей с таким видом, будто они принадлежат к одному тайному братству, он пригласил всех в ярко освещенную комнату, пахнущую краской, заваленную коробками, болванками, жестянками, муляжами различных частей человеческого тела. Вытащив из угла и раздав пришедшим брошюры, он монотонным голосом начал рассказывать:

— Вы находитесь в лучшей из мастерских манекенов на Балканах и Среднем Востоке. Уровень, на который мы поднялись за сто лет существования, показывает, каких высот достигла Турция в этом виде производства и его модернизации. Мы не только полностью обеспечиваем страну руками, ногами и бедрами...

— Джеббар-бей, — тоскливо перебил его лысый, — наши друзья пришли не в мастерскую, а для того, чтобы с вашей помощью посмотреть нижние этажи, подземелье, увидеть фигуры страдальцев, нашу историю, то, что делает нас нами.

Гид с недовольным видом повернул выключатель, и сотни рук, ног, голов, торсов вмиг погрузились в беззвучную тьму; теперь горела только голая лампочка, освещающая маленькую лестничную площадку. Когда они спускались по железной лестнице, снизу повеяло влажностью, и Галип остановился. Джеббар-бей тут же подошел к нему.

— Не бойся, — сказал он с видом всезнающего человека, — ты найдешь здесь то, что ищешь! Меня послал Он, Он не хочет, чтобы ты шел по ложному пути, чтобы ты потерялся!

Говорил ли он другим эти непонятные слова? Оказавшись в первом помещении, они увидели освещенные тусклыми лампочками фигуры турецких моряков, пиратов, писцов, крестьян, сидящих по-турецки на полу за трапезой; гид что-то невнятно бормотал. В следующем помещении была фигура женщины-прачки, обезглавленного безбожника и палача с орудиями казни в руках. Гид говорил, и на сей раз Галип отчетливо слышал его слова:

— Сто лет назад, когда мой дед создавал первые фигуры, те, мимо которых вы прошли, у него в голове была единственная мысль: манекены, выставленные в витринах лавок, должны быть сделаны с наших людей. Но международный исторический заговор препятствовал воплощению этой идеи.

Они спускались все ниже, переходили по ступенькам из помещения в помещение и

видели сотни фигур, на которые с потолков падали капли воды; под потолком были натянуты провода, и на них, как на бельевой веревке, висели лампочки.

Вот фигура маршала Февзи Чакмака: тридцать лет он был начальником Генерального штаба; ему все казалось, что его народ сотрудничает с врагами, а потому он собирался взорвать все мосты в стране и порушить минареты, чтобы они не стали ориентирами для русских; ему хотелось опустошить Стамбул, объявить его городом-призраком, чтобы, в случае если он попадет в руки противника, он предстал лабиринтом, из которого нет выхода. Рядом фигуры крестьян из Коньи: мать, отец, дочь, дед, дядя, и все похожи друг на друга как две капли воды — результат множественных внутрисемейных браков. А вот старьевщики переходят от двери к двери и не подозревают, что собирают старые вещи, которые делают нас нами. Наши знаменитые артисты, которые, не будучи ни собой, ни другими, наилучшим образом играли в фильмах и себя, и героев, которыми они не могли быть; бедолаги, всю жизнь приспосабливающие к Востоку науку и искусство Запада: отставные паши, долгие годы вечерами с лупой в руках прокладывающие на картах вместо кривых стамбульских улиц липовые аллеи, как в Берлине, или расходящиеся звездными лучами прямые улицы и бульвары с мостами, как в Париже; фантазеры, которые мечтали прогуливать собак по их собачьим делам на поводке — как на Западе — по современным улицам, но умирали, так и не осуществив своей мечты; сотрудники безопасности, до времени отправленные в отставку за то, что были приверженцами традиционных методов пыток и не использовали новых международных достижений в этой области; бродячие торговцы с палками-коромыслами на плечах, которые ходили из квартала в квартал и торговали шербетом[1], рыбой пеламидой и йогуртом.

— Незадолго до смерти, — пояснял гид, — мой дед понял, сколь силен стоящий перед ним международный противник. Определенные силы, не желающие, чтобы наша нация оставалась самой собой, в стремлении лишить нас самого ценного нашего достояния — наших будничных движений, наших жестов — прогнали моего деда из Бейоглу, выбросили его работы из лавок и витрин на проспекте Истикляль. Отец, когда дед был при смерти, понял, что ему в наследство остается подземелье, только подземелье, но тогда он еще не знал, что Стамбул на протяжении многих столетий всегда был подземным городом. Этому его научила жизнь: когда он расчищал подвал, чтобы разместить манекены, он наткнулся на подземные коридоры.

Они спускались по лестницам в эти подземные коридоры, шли по ним, попадали в глиняные пещеры, которые и помещениями-то назвать было нельзя, и видели все новые фигуры несчастных. При свете голых лампочек эти фигуры напоминали Галипу терпеливых людей с покрытыми пылью и грязью лицами, ожидающих на остановке автобуса, который никогда не придет; иногда его охватывало ощущение, которое он испытывал, когда бродил по улицам Стамбула: ощущение того, что все несчастные — братья. Он увидел игроков в лото с торбами в руках, насмешливых и нервных студентов университета, подмастерьев из лавок, торгующих фисташками, любителей птиц и искателей кладов. В одной пещере стояли люди с буквами на лицах, а рядом ученые, разгадавшие тайны этих букв, и знаменитости наших дней — ученики тех ученых.

В углу пещеры, среди фигур знаменитых писателей и деятелей культуры нашего века, была и фигура Джеляля в плаще, который он носил двадцать лет назад. Показав на Джеляля, гид сказал, что на этого журналиста его отец одно время возлагал большие надежды, но тот использовал в недостойных целях тайну букв, открытую ему отцом, и продался ради дешевой популярности. Статья, написанная Джелялем об отце и деде гида, вставленная в рамку, была повешена на шею фигуры, как смертный приговор. Со стен в этих глиняных пещерах, выкопанных без разрешения муниципалитета и не оборудованных должным образом, — в Стамбуле было много подобных подпольных лавок, — сочилась вода, а щекочущий ноздри запах плесени проникал прямо в легкие. Гид рассказывал, как его отец, после того как неоднократно сталкивался с предательством, связал все надежды

---

[1] Шербет — фруктовый напиток.

с волшебством букв, которое познал в путешествиях по Анатолии; он высекал волшебные буквы на лицах и открывал для себя один за другим подземные коридоры, делающие Стамбул Стамбулом. Галип некоторое время стоял неподвижно перед фигурой Джеляля: большое тело, мягкий взгляд и маленькие руки. Ему хотелось сказать: «Из-за тебя я не сумел стать самим собой! Я верил во все басни, которые делали меня тобой!» Он внимательно и долго рассматривал фигуру Джеляля: так сын изучает фотографию отца, сделанную много лет назад. Галип любил его и боялся, хотел быть на месте Джеляля и бежал от него, искал его и в то же время пытался забыть. Галип не выдержал и схватил его за ворот плаща, словно хотел узнать у него смысл жизни, которого не мог понять, тайну, что знал, но скрывал в себе Джеляль, тайну другого мира в этом мире, способ выхода из игры, что, начавшись шуткой, превратилась в кошмар. Неподалеку слышался ставший привычным голос гида:

— Мой отец с необыкновенной быстротой создавал фигуры и с помощью букв придавал их лицам выражение, какое сегодня вы не сможете увидеть на лицах людей на улицах, вообще нигде. В помещениях, которые мы открыли под землей, не хватало места. Конечно, не случайно, что именно в этот момент мы нашли коридоры, соединяющие нас с подземельем. Отец прекрасно видел, что отныне наша история будет вершиться под землей, что подземная жизнь — это свидетельство краха жизни на земле, а у коридоров, каждый из которых выходит к нашему дому, и подземных путей, усеянных скелетами, есть исторический шанс обрести смысл и жизнь только благодаря лицам настоящих турок, созданных нами.

Галип отошел, фигура Джеляля медленно качнулась вправо-влево, как оловянный солдатик на тонких ногах. Зрелище было странное, смешное и одновременно жуткое. Галип отступил на несколько шагов, закурил. Ему совсем не хотелось спускаться со всеми к началу подземного города, где «в один прекрасный день вместо скелетов все увидят манекены».

Гид показывал гостям начало коридора на другом берегу Золотого Рога; этот коридор, соединяющий берега залива, византийцы вырыли тысячу триста шесть лет назад из страха перед нападением Аттилы; дальше пошли рассказы о скелетах, которые можно увидеть, если войти в подземелье с фонарем, о сокровищах, спрятанных от завоевателей шестьсот семьдесят пять лет назад и охраняемых скелетами, о столах и стульях, покрытых густым слоем пыли. Отец гида считал уход под землю вынужденным, признаком упадка и гневно говорил, что каждый подземный коридор времен и Византии, и Нового Рима, и Царьграда, и Константинополя стал впоследствии причиной ужасных беспорядков на поверхности: всякий раз подземная цивилизация мстила наземной, вытеснившей ее вглубь. Слушая все это, Галип вспомнил, что Джеляль в одной из статей писал об этажах домов как о продолжении подземной цивилизации. Гид рассказал, как его отцу захотелось заполнить фигурами все подземные дороги, все коридоры, забитые гниющими скелетами и затянутыми паутиной сокровищами: так он хотел стать участником неотвратимого светопреставления, страшного разрушения, предвестником которого было само существование подземной цивилизации; эта мысль наполнила жизнь отца новым смыслом, и он стал продвигаться по намеченному пути, изображая на лицах фигур тайные буквы. Галипу представилось, как этот гид каждое утро торопится купить газету «Миллиет», чтобы прочитать очередную статью Джеляля. Гид сказал, что те, кто способен вынести зрелище обнимающихся скелетов, которые некогда были византийцами, укрывшимися под землей из страха перед нашествием аббасидов, и евреями, бежавшими от крестоносцев, могут пройти в коридор, где с потолка свешиваются золотые ожерелья и браслеты. Галип понял, что гид внимательно прочел последнюю статью Джеляля. Гид живописал, как скелеты жителей Венеции, Амальфиля, Пизы, бежавших, когда византийцы семьсот лет назад вырезали в городе более шести тысяч итальянцев, и скелеты людей, спасшихся шестьсот лет назад от чумы и прибывших в город на корабле «Азак», склонившись друг к другу, сидят под землей за столами и терпеливо ждут Страшного суда. Слушая все это, Галип думал о себе и Джеляле и решил, что терпения у него, пожалуй, не меньше, чем у

Джеляля. Гид повествовал о том, как в подземные коридоры, тянущиеся от Айя-Софии[1] до Айя-Ирины[2] и оттуда — к Пантократору[3], устремились люди, спасаясь от османов, грабящих Византию, и не смогли поместиться там, и коридор был продлен до противоположного берега; а еще через двести лет туда устремились бежавшие после запрета на кофе, табак и опиум, наложенного Муратом IV; все они теперь, с кофейными мельницами, джезве, наргиле, курительными трубками, кисетами с табаком и опием, с чашечками, под густым слоем шелковистой пыли, опустившейся на них, как снег, ждут, чтобы фигуры наконец показали им дорогу к свободе. Галип подумал, что таким же слоем шелковистой пыли будет когда-нибудь покрыт и манекен Джеляля.

Показав гостям коридоры и манекены, гид сказал, что у них с отцом есть мечта: в жаркий летний день, когда Стамбул с его мухами, грязью и облаками пыли будет дремать в полуденный зной, устроить в холодных, влажных и темных коридорах под землей праздник для скелетов и фигур; это будет бурное веселье, прославляющее жизнь и смерть, вне времени и истории, вне законов и запретов. Гости представили себе жуткую картину счастливых фигур, танцующих со скелетами, разбивающих чашки и чаши с вином, вообразили себе музыку и тишину, ужас и экстаз, скрип, сопровождающий совокупление пар. Они двинулись в обратную сторону; на лицах фигур, мимо которых они проходили не останавливаясь, Галип видел горечь, которую гид уже не считал необходимым пояснять. Все увиденное и услышанное в подземелье обрушилось непомерной тяжестью. Слабость в ногах была не от высокого подъема или напряжения долгого дня. Усталость на лицах фигур, мимо которых они проходили не останавливаясь, отзывалась усталостью в его теле. Эти фигуры исстрадавшихся людей со склоненными головами, согнутыми спинами, кривыми ногами были как бы продолжением его собственного тела. Эти лица были его лицом, их несчастья — его несчастьем, и ему не хотелось смотреть на эти фигуры, обступающие его, не хотелось встречаться с ними взглядом, и в то же время он не мог оторваться от них. Галипу хотелось думать (как в юности, когда он читал статьи Джеляля), что за видимым миром кроется простая тайна, разгадка которой делает человека свободным, но он тут же, совсем как при чтении статей Джеляля, ощутил, что его окружает непонятный мир, и вспомнил: такое случалось всякий раз, когда он пытался разгадать тайну; он не понимал, зачем мир воплощен в этих фигурах, зачем он здесь с этими иностранцами, не понимал смысла букв и лиц, не понимал, наконец, тайны своей жизни. В одной из верхних комнат, проходя мимо фигур простых людей, он вдруг понял, что думает, как они, и у него с ними общая судьба; когда-то они жили осмысленной жизнью, но почему-то она лишилась смысла, а они — памяти. Когда они пытались найти этот смысл, их память плутала в коридорах, затянутых паутиной, а разум не находил дороги в кромешной тьме; они так и не сумели найти ключ к новой жизни, упавшей в бездонный колодец их памяти, и на лицах их светилась неизбывная печаль тех, кто потерял свой дом, свою родину, свое прошлое и свою историю. Горечь от того, что ты далеко от дома, сбился с пути, была так сильна и невыносима, что оставалось только терпеть и не стараться постичь утраченный смысл, разгадать загадку; следовало покорно ждать, когда пройдет медлительное время. Галип поднимался по лестнице, и ему казалось, что он не выдержит ожидания и не сможет обрести покой, когда найдет то, что ищет. Чем быть человеком, утратившим прошлое, память и мечты, не лучше ли стать, пусть и плохим, подобием кого-то другого? По мере продвижения к железной лестнице Галип размышлял о том, что все эти фигуры не что иное, как идефикс, скверная карикатура, неостроумная шутка, пустой вздор! А гид, который был карикатурой на самого себя, словно в подтверждение его мысли говорил:

— Отец не верил, что ислам запрещает изображение лиц, для него мысль была не чем иным, как лицом, и все эти лица вы видели здесь.

Они вернулись в комнату, с которой начинали экскурсию; гид попросил внести посильный вклад в их великое дело: опустить в зеленый ящик добровольные пожертвования.

---

[1] Айя-София — главный византийский храм (VI в.); после завоевания Константинополя турками был переделан в мечеть. В настоящее время — музей.

[2] Айя-Ирина — древний византийский храм; в настоящее время — концертный зал.

[3] Древний византийский храм.

Бросая в ящик тысячу лир, Галип встретился взглядом с женщиной.

— Вы меня узнали? — спросила женщина. У нее было лицо только что проснувшегося ребенка, а глаза в полутьме светились, как у кошки.

— Вы что-то сказали? — смутился Галип.

— Ты не узнал меня. Мы учились в одном классе. Я — Белькыс.

— Белькыс, — повторил Галип, понимая, что не может вспомнить ни одной одноклассницы, кроме Рюйи.

— Я на машине, — сказала Белькыс, — и живу тоже в Нишанташи. Могу подбросить тебя.

Они сели в старенький «мурат» и направились в сторону площади Таксим; Белькыс спросила про Рюйю. Галип ответил, что Рюйя нигде не работает, читает детективные романы и иногда для своего удовольствия переводит их.

— Ты замужем? — поинтересовался Галип.

— Мой муж умер, я вдова.

— Совсем не помню тебя по школе, — признался Галип.

На улице, по которой Галип редко ходил, они вошли в угловой дом, недалеко от дома тети Хале, удивительно похожий на дом Шехрикальп, и подъезд был такой же.

До утра они вспоминали школьные годы, а когда в комнату через открытые занавески ударил солнечный свет, сели завтракать.

— Я знаю, как трудно человеку быть самим собой, — продолжала Белькыс начатую тему, и было видно, что она долго думала над этим вопросом, — но поняла я это после того, как мне исполнилось тридцать. До этого у меня была другая проблема — быть такой, как Рюйя. Ночью, лежа на спине, не в силах уснуть, разглядывая тени на потолке, я хотела стать другой, желание было таким сильным, что мне казалось, я могу снять собственную кожу, как перчатку с руки, влезть в шкуру Рюйи и начать новую жизнь. Иногда, думая о Рюйе, о том, что я не могу жить, как она, я так страдала, что у меня из глаз лились слезы.

Белькыс рассеянно водила ножом по тонкому поджаренному ломтику хлеба, словно мазала его маслом, хотя масла не было.

— Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь жизнью, — продолжала она, — этого я не понимаю и сейчас, по прошествии стольких лет. Я даже не могу точно сказать, почему хотела быть именно на месте Рюйи, а не какого-нибудь другого человека. Единственное, что я могу сказать уверенно: это болезнь, которую мне пришлось скрывать долгие годы. Она продолжалась до смерти моего мужа. Возможно, я и сейчас не вылечилась окончательно, но я уже не воспринимаю это состояние как болезнь.

Белькыс рассказывала о себе, а Галип чувствовал, как тепло комнаты обволакивает его тело и оно медленно погружается в непреодолимый сон, в невесомость, какая бывает только во сне. Когда Белькыс начала рассказывать историю Наследника, которую считала «связанной со всем этим», он попросил разрешения немного вздремнуть.

Да, был такой Наследник, который открыл, что самая важная проблема жизни каждого человека — возможность или невозможность быть самим собой. Галип погрузился мысленно в то время и сам стал превращаться в другого человека, потом в дремлющего человека и — заснул.

Знаки города

> Скажите мне сначала, кто я? Если мне это понравится, я подпишусь, а если нет — останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого!
>
> *Льюис Кэрролл*

Утром Галип отправился прогуляться по Галатскому мосту; он шел в медлительной воскресной толпе, охваченный предчувствием, что вот сейчас он разгадает тайну, которую пытался постичь годами, ведь только сейчас он осознал, что именно ищет. Хотя он

догадывался, что это обманчивое ощущение возникло как бы во сне, как плод долгого ожидания, но эти противоречивые чувства не мешали друг другу. Мужчины, вышедшие за покупками, рыбаки, семьи с детьми, спешащие на паром, — никто не замечал, что жизнь их окружена тайной, и разгадать ее предстояло Галипу. Когда он разгадает эту тайну, они — и этот отец с младенцем на руках и идущим рядом сыном в галошах, направляющиеся в гости, и эти мать с дочерью в платках на автобусной остановке — обретут истину, которая много лет подспудно определяла их жизнь.

Галип двигался по тротуару моста, со стороны, обращенной к Мраморному морю; ему почему-то захотелось пойти против движения: на лицах идущих навстречу людей иногда мелькало выражение недоумения, растерянности. Люди удивлялись тому, что Галип идет наперерез, а он смотрел в их глаза и на их лица, стараясь прочесть тайну.

Большинство из них были одеты в старые потертые пальто и пиджаки. Они ступали по мостовой, и мир для них был столь же обыден, как эта мостовая; однако они не обрели своего места в этом мире. У них был отсутствующий вид, они даже не подозревали, что истинный смысл их жизни таится где-то в далеком прошлом.

Шагающие по мосту люди держали в руках пластиковые пакеты. Он впервые обратил внимание на эти прозрачные пакеты, сквозь которые можно было различить бумажные кульки, какие-то металлические и пластмассовые детали, картонки; Галип внимательно читал надписи на пакетах: ему вдруг показалось, что слова и буквы на них являются знаками, которые укажут на «ту, настоящую» правду; появилась надежда. Но знамение слов и слогов на пакетах, высветившись на мгновенье, пропадало, так же как и мелькнувший смысл на проплывающих мимо лицах. Галип старательно читал: «Молочный кисель»... «Атакёй»... «Тюрксан»... «Фрукты»... «Часы»... «Дворцы»...

Увидев на пакете у старого рыбака, удящего рыбу, не буквы, а изображение журавля, Галип подумал, что рисунки на пакетах можно читать так же, как и слова. На одном пакете он увидел довольных родителей, уверенно глядящих в мир, а рядом с ними двух детей: девочку и мальчика; на другом было две рыбы; потом он увидел на пакетах обувь, карту Турции, силуэты зданий, пачки сигарет, черных кошек, петухов, подковы, минареты, сладости, деревья. Очевидно, что все они были знаками какой-то тайны, но какой? Перед Ени Джами[1] он увидел женщину, продающую корм для голубей; на пакете, стоящем рядом с ней, была изображена сова. Галип сразу понял, что это та самая сова — эмблема полицейских романов, которые читала Рюйя, — и почувствовал некую направляющую силу. Стало быть, то, что он пытается обнаружить и расшифровать, составляло часть игры этой силы; это был тайный смысл, на который, кроме него, никто не обращал внимания. Никто, хотя все были окутаны этой забытой тайной!

Чтобы поближе рассмотреть сову, Галип купил у женщины, похожей на ведьму, тарелочку проса. В один миг над зернами образовался черный и некрасивый голубиный круг, словно с шумом раскрылся зонтик. Сова на пакете была та самая, что и на обложках романов, которые читала Рюйя! Неподалеку стояли родители, счастливо и гордо наблюдавшие, как их маленькая дочка кормит птиц. Им дела не было до совы, воплощающей истину, или других знаков, им вообще ни до чего не было дела, и Галип рассердился на них. Они ни в чем не сомневались, ни о чем не догадывались. Они забыли все. Галип вообразил себя детективом из романов, которые читала Рюйя, когда ждала его дома. Ясно, что узел была способна развязать лишь скрытая сила, умеющая мастерски выстроить цепочки знаков тайного смысла, и притом оставаться в тени.

Он определил, что клещи означают «внимание», маслины в банке — «терпение», счастливый шофер с рекламы шин — «приближение к цели», одним словом, он медленно и верно приближался к желаемому. Вокруг было еще множество сложных знаков, которые необходимо было разгадать: телефонные кабели, объявление об исполнении обряда обрезания, знаки дорожного движения, упаковки хозяйственного мыла, лопаты без ручек, неразборчиво написанные политические лозунги, номера с подсветкой, стрел-

[1] Название мечети.

ки-указатели, чистые листы бумаги... Наверное, спустя какое-то время это все обретет смысл, но пока был только шум, хаос и усталость. Героям романов, которые читала Рюйя, было легче: они жили в спокойном мире, ограниченном набором улик, которые предоставляли им авторы.

Подходя к рынку, Галип подумал: «Получается, что, когда я читал в первый раз статьи Джеляля, я видел один смысл, а когда читал во второй, возник совершенно иной». Галип не сомневался, что при каждом новом их прочтении будет появляться все новый и новый смысл: и пусть это было похоже на ребусы в детских журналах, но, проходя в открывающиеся одна за другой двери, он приближается к цели. Рассеянно шагая вдоль овощных и фруктовых рядов, Галип подумал, что хорошо бы оказаться там, где он мог бы прочитать все, написанное Джелялем.

...Как же войти в загадочный мир вторых смыслов? Как разгадать их? Ему чудилось, что он уже стоит на пороге открытия нового мира, но никак не может сделать первый шаг, чтобы войти внутрь. В конце романов, которые читала Рюйя, наступала развязка, открывался второй, скрытый до этого момента мир, и тогда первый, ставший неинтересным, отступал в тень. «Убийца — отставной полковник, мстящий за нанесенное ему оскорбление!» — говорила ночью Рюйя, кидая в рот каленый горох, купленный в лавке Алааддина, и Галип понимал, что жена забыла про английских слуг, зажигалки, обеденные столы, фарфоровые чашки и пистолеты, подробным описанием которых изобиловала книга, и вошла в мир нового и тайного смысла, на который указывали предметы и персонажи. Галип же лишь надеялся в него попасть.

Размышляя об этом, Галип внимательно посмотрел в лицо пожилого старьевщика, расставившего на подстилке очаровательные предметы, словно мог прочесть на его лице тайный смысл.

— Сколько стоит телефон?

— А ты действительно покупатель? — спросил старик, оживляясь.

Неожиданный вопрос по выяснению его статуса поразил Галипа. Он подумал: «Ну вот, меня считают знаком чего-то другого!» Нет, это был не тот мир, куда он хотел войти, ему нужен был мир, созданный Джелялем. Джеляль возводил его годами, подробно перечисляя предметы и рассказывая истории в своей рубрике; Галип чувствовал, что сейчас Джеляль укрылся за стенами этого мира, а ключ спрятал. Лицо старьевщика, вспыхнувшее на миг волнением предстоящей возможности поторговаться, обрело прежнее спокойствие.

Выйдя на мост Ататюрка, Галип решил: «Буду смотреть только на лица». Каждое встреченное лицо порождало новый вопрос, как в переводных комиксах, но с исчезновением его исчезал и вопрос, оставляя лишь маленький след. Он попытался было связать выражение лиц с окружающей панорамой города, но из этого ничего не вышло. Пожалуй, на лицах прохожих можно было прочесть историю города, его потрясения, былое великолепие, грусть и горечь, но это не указывало на сознательно хранимую тайну, а скорее свидетельствовало о соучастии в истории, поражении, преступлении. В пенистых валах, тянущихся за буксирами, холодная свинцовая голубизна Золотого Рога приобретала пугающий коричневый цвет.

До того как Галип зашел в кофейню в переулке за туннелем[1], ему встретилось семьдесят три лица. Довольный увиденным, он сел за столик, заказал мальчишке чай, привычным движением вытащил газету из кармана, снова стал перечитывать статью Джеляля. В статье уже не было ни одного незнакомого слова, фразы или буквы, но, читая, Галип находил подтверждение мыслям, которые прежде никогда не приходили ему в голову. Эти его новые мысли удивительным образом совпадали с мыслями Джеляля. Галип ощутил внутреннее спокойствие, совсем как в детстве, когда он думал, что у него хорошо получается подражать человеку, на месте которого он хотел бы быть.

На столе лежал бумажный кулек. По горке подсолнечной шелухи нетрудно было

---

[1] Туннель — фуникулер, соединяющий район Каракёй с проспектом Истикляль.

догадаться, что лоточник продал семечки тем, кто сидел за этим столом до Галипа. Кулек был свернут из листка школьной тетради. Он прочитал написанное старательным детским почерком: «6 ноября 1972. Задание: наш дом, наш двор. Во дворе нашего дома растет четыре дерева. Два тополя и две ивы: большая и маленькая. Папа сделал ограду из камней и проволоки. Дом — это убежище, которое зимой защищает людей от холода, а летом — от жары. Дом защищает нас от плохого. У нас в доме одна дверь, шесть окон и две трубы». Под сочинением Галип увидел рисунок дома и деревьев во дворе, раскрашенных цветными карандашами. Черепица была нетерпеливо закрашена красным. Галип увидел, что дверь, количество окон и деревьев соответствуют написанному в сочинении, и ему стало еще спокойнее.

Перевернув листок, он стал быстро писать на обороте. Он не сомневался, что слова, которые он писал на линейках, обозначают нечто реальное, как и слова, написанные ребенком. У него было ощущение, что благодаря этой страничке школьного сочинения он снова обретает слова, утраченные с детства. Мелкими буквами столбиком он набросал кое-какие соображения и, заполнив почти всю страницу, подумал: «Как, оказывается, все просто!» И еще: «Чтобы убедиться, что мы с Джелялем мыслим одинаково, мне надо видеть как можно больше лиц!»

Зайдя в еще одну кофейню, Галип вытащил из кармана домашнее сочинение и стал читать, как статью Джеляля. Теперь он отлично сознавал: если читать подряд написанное Джелялем, можно узнать, где тот находится. Надо только найти место, где хранится весь архив Джеляля. Читая и перечитывая домашнее сочинение, он уверился, что это может быть только дом: «место, которое защищает нас от плохого». Непосредственность ребенка, смело называющего окружающие предметы, обнадеживала, что он вот-вот определит место, в котором ждут его Рюйя и Джеляль. В каждой очередной кофейне он вписывал новые строчки на обратной стороне школьного домашнего сочинения.

К тому моменту, как он снова оказался на улице, некоторые предположения он отмел, другие выплыли на первый план: за городом они быть не могли, потому что Джеляль не любил жить нигде, кроме Стамбула. Вряд ли они были на азиатской стороне: она, по словам Джеляля, была недостаточно «исторической». Не могли прятаться Джеляль и Рюйя у кого-нибудь из друзей: общих друзей у них не было. Вряд ли Рюйя решилась бы пойти с Джелялем к кому-нибудь из своих приятелей. Бесполезно искать их в гостиничных номерах, где их не мучили бы воспоминания: мужчина и женщина, даже брат с сестрой, вызвали бы подозрение.

Посидев в очередной раз в кафе, он стал более оптимистично оценивать свое положение. Ключевые слова выглядели простыми и понятными, как домашнее сочинение, на обороте которого он их написал. В дальнем углу кафе по черно-белому телевизору показывали футбольный матч. Футбольное поле было покрыто снегом, пробегающие футболисты оставляли на нем черные дорожки, как линии, прочерченные углем, мяч, катающийся по грязи, был черным. Присутствующие, кроме нескольких человек, играющих в карты за пустым столом, наблюдали за этим черным мячом.

Выходя из кафе, Галип подумал, что тайна, которую он пытается разгадать, так же ясна, как этот черно-белый футбольный матч. Ему надо только идти туда, куда несут его ноги, а по дороге смотреть на изображения и лица. В Стамбуле полно кофеен; заходя через каждые двести метров в кофейню, человек может обойти весь город.

Недалеко от площади Таксим он вдруг оказался в толпе, вышедшей из кино. Лица людей, которые шли, засунув руки в карманы, глядя в землю, или спускались по лестнице, держась под руку, были настолько полны смысла, что собственный кошмар, в котором он жил эти несколько дней, показался ему не таким уж страшным. На лицах у вышедших из кино было написано спокойствие: они забыли о собственных несчастьях, погрузившись с головой в чужую жизнь. Они были одновременно и здесь, на этой убогой улице, и там, в той жизни, где им хотелось быть. Их память, набитая неудачами и горечью, сейчас наполнилась чувствами, заглушающими каждодневную тоску. Галип печально подумал: «Эти люди могут верить, что они — другие!»

Чтобы стать другим, человек должен приложить все имеющиеся у него силы. Галип был полон решимости собрать всю свою волю для этой цели. «Я — другой!» — сказал он себе и с радостью почувствовал, что изменилась не только обледеневшая мостовая под ногами, не только площадь, увешанная рекламой кока-колы и консервов, но и сам он до кончиков ногтей. И внутри него зазвучала, как новая жизнь, музыка, наполненная воспоминаниями и печалью того, другого человека, которого он не хотел называть по имени.

Он больше не чувствовал необходимости заходить в кофейни, чтобы читать людские лица, и потому направился через Харбие прямо в Нишанташи.

Он решил, что Рюйя с Джелялем в воскресенье пойдут в «Конак» на вечерний сеанс в семь пятнадцать, и помчался к кинотеатру, но ни на улице, ни у входа в кинотеатр их не было.

Побродив еще немного по улицам, он пошел к дому Шехрикальп. Из всех окон домов на улице, кроме окон дома Шехрикальп, лился голубоватый свет телеэкранов: так было каждый вечер в восемь часов. Глядя внимательно на верхние этажи дома Шехрикальп, Галип увидел привязанный к решетке балкона верхнего этажа кусок темно-синей материи. Такого же синего цвета ткань висела на этом балконе и тридцать лет назад, когда в доме жила вся семья: тогда это был знак для водоноса. Человек, развозивший воду в цинковых бидонах на конной повозке, по этим синим тряпицам понимал, на каких этажах кончилась питьевая вода, и соответственно поднимал воду наверх.

Галип стоял, раздумывая о том, что это могло означать: это мог быть знак, что Рюйя и Джеляль здесь, а могло быть приметой того, что Джеляль возвращается к некоторым мелким деталям своего прошлого. Около половины девятого он наконец сдвинулся с места и пошел к себе домой.

Еще совсем недавно вечерами они сидели в этой гостиной с Рюйей, читали газеты и книги, курили; и сама комната и лампы в ней были полны невыносимых воспоминаний и невыносимой грусти, как фотографии потерянного рая, попавшие на страницы газет. Ничто не говорило о том, что Рюйя вернулась или приходила: знакомые запахи и тени приветствовали вернувшегося домой усталого мужа. Оставив сиротливые вещи под печальным светом ламп, Галип темным коридором прошел в темную спальню. Снял пальто и улегся в темноте на кровать. Он лежал на спине; отсвет ламп из гостиной и пробивающийся через коридор свет уличных фонарей превращался на потолке спальни в изображение тонколицего дьявола.

Когда Галип поднялся с постели, он точно знал, что будет делать. Он просмотрел в газетах телепрограмму и программу ближайших кинотеатров; последний раз пробежал глазами статью Джеляля; открыл холодильник, достал давно лежавшие там маслины и брынзу, съел их с черствым хлебом. В большой конверт, найденный в шкафу у Рюйи, сунул несколько газет, надписал на конверте имя Джеляля. В четверть одиннадцатого он вышел на улицу, добрался до дома Шехрикальп и стал ждать.

Зажегся свет на лестнице, и неизменный привратник дома Исмаил с сигаретой во рту вытащил бачки и стал высыпать мусор в большой контейнер, стоявший недалеко от каштана. Галип пересек улицу.

— Здравствуйте, Исмаил-эфенди, я принес пакет для Джеляля.

— А-а, Галип, — отозвался привратник с радостью и удивлением директора лицея, через многие годы узнавшего старого ученика, — но Джеляля здесь нет.

— Я знаю, знаю, что он здесь, но я никому не говорил. — Галип решительно направился к парадному. — Он сказал мне: смотри никому не говори, что я здесь, а пакет оставь внизу, у Исмаила!

Спустившись по лестнице, пахнущей, как и раньше, газом и пригорелым маслом, Галип вошел в квартиру привратника. Жена Исмаила, Камер, сидя в том же, что и всегда, кресле, смотрела телевизор, стоявший на подставке, на которой раньше стоял приемник.

— Камер, смотри, кто пришел, — окликнул ее Галип.

— Ах! — воскликнула женщина и встала. Они обнялись. — Совсем вы нас забыли!

— Как можно вас забыть?!

— Все мимо ходят, но никто не заглядывает.

— Я принес это Джелялю! — Галип показал пакет.

— Исмаил сказал?

— Нет, Джеляль сам сказал, — ответил Галип. — Я знаю, что он здесь, но вы никому не говорите об этом.

— Что нам остается, уж так он просил.

— Знаю. Он сейчас наверху?

— Понятия не имею. Приходит поздно, когда мы спим. Уходит рано, когда мы спим. Мы его не видим, только слышим голос. Забираем мусор, оставляем газеты. Иногда газеты за много дней скапливаются под дверью.

— Я наверх не пойду, — сказал Галип. Он оглядел квартиру, словно ища место, где бы оставить конверт: обеденный стол под той же голубой клеенкой в клеточку, те же выцветшие занавески, скрывающие ноги прохожих на улице и грязные колеса машин, коробка с шитьем, утюг, сахарница, газовая плитка, батарея с облупившейся краской. На гвозде, вбитом в край полки над батареей, на обычном месте Галип увидел ключ.

— Я заварю тебе чай, садись вот сюда, на кровать. — Одним глазом она посматривала на экран. — Что делает Рюйя-ханым? Почему у вас до сих пор нет детей?

На экране, который теперь поглощал все внимание Камер, появилась девушка, отдаленно напоминающая Рюйю: волосы непонятного цвета растрепаны, кожа белая, взгляд наигранно ребяческий. Со счастливым выражением она красила губы.

— Красивая женщина, — тихо сказал Галип.

— Рюйя-ханым красивее, — так же тихо возразила Камер.

Они вместе смотрели на женщину с восхищением и некоторой робостью. Галип ловким движением сдернул ключ с гвоздя и опустил в карман, где лежал листок с домашним сочинением школьника и его пометками. Привратница ничего не заметила.

— Куда положить конверт?

— Давай мне.

Через маленькое окошко, выходившее на дверь в парадное, Галип увидел, что Исмаил вошел в дом и направился к лифту, чтобы поставить на место пустые мусорные бачки. Свет в лифте дрогнул, на миг ухудшилось изображение в телевизоре; Галип встал и попрощался с Камер. Топая, он поднялся по лестнице к входной двери. Открыл дверь и, не выходя, с шумом закрыл. Потом тихонечко вернулся к лестнице и на цыпочках, с волнением, с которым никак не мог совладать, поднялся на два этажа вверх. Сев на ступеньки между вторым и третьим этажом, он стал ждать, когда на лифте спустится Исмаил, расставлявший баки по верхним этажам. Одновременно на всех этажах погасли лампы. «Автоматика!» — пробормотал Галип, вспомнив это волшебное и зовущее в далекие страны слово из своего детства. Лампочки зажглись снова. Когда лифт — слышно было, как привратник вошел в него, — двинулся вниз, Галип стал медленно подниматься наверх. На двери этажа, где одно время он жил с родителями, поблескивала медная табличка адвоката. На двери этажа, где жили Дедушка с Бабушкой, он увидел табличку гинеколога, а перед дверью — пустой бак.

На двери Джеляля не было никакой таблички. Привычной рукой старательного инспектора, принесшего квитанцию за газ, Галип нажал кнопку звонка. Когда он позвонил второй раз, лампочки на лестницах опять погасли. Из-под двери не было видно никакого света. Нажимая на звонок третий и четвертый раз, он пытался нащупать ключ в кармане; когда он нашел ключ, звонок еще продолжал звонить: «Прячутся в одной из комнат, — подумал Галип, — или сидят в гостиной друг против друга и молча ждут». Ключ никак не влезал в замок, Галип даже подумал, что это не тот ключ, но вдруг он с какой-то поразительной легкостью встал на место: так бывает с памятью, в которой все перепутано, а потом неожиданно наступает момент просветления. Галип понял, что дверь в темную квартиру открылась, а потом услышал, как в темной квартире зазвонил телефон.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дом-призрак

И тут у него в душе стало пусто, как в доме,
откуда вынесли все вещи.

Флобер

Телефон зазвонил через несколько секунд после того, как открылась дверь, но Галип вдруг забеспокоился, подумав, что между дверью и телефоном есть автоматическая связь, как в фильмах о гангстерах, и телефонный звонок показался ему сигналом тревоги. На третьем звонке Галипу почудилось, что сейчас на него наткнется Джеляль, спешащий к телефону; на четвертом он решил, что в квартире никого нет; на пятом — что кто-то здесь все же есть, потому что так долго могут звонить, только если знают, что хозяева дома. На шестом звонке Галип бросился к телефону: он стал нащупывать выключатели, пытаясь вспомнить расположение мебели в этом полузабытом жилище, где был последний раз пятнадцать лет назад, в спешке спотыкался обо что-то, ударяясь о какие-то вещи. Наконец он добрался до телефонного аппарата и снял трубку. Тело само нашло кресло и опустилось в него.

— Алло!

— Вы все-таки подошли, — сказал незнакомый голос.

— Да.

— Джеляль-бей, я давно вас ищу. Извините, что беспокою в столь поздний час. Мне надо увидеть вас как можно скорее.

— Простите, кто говорит?

— Много лет назад мы познакомились на балу в честь Дня Республики. Я сам представился вам, но скорее всего вы теперь не помните этого. Потом я написал вам два письма под вымышленными именами, которых сейчас не помню: одно касалось возможности раскрытия тайны смерти султана Абдулхамида, другое относилось к делу студентов, известному как «сундучное убийство»[1]. Я дал вам понять, что в этом деле присутствовал некий агент, который потом исчез, и вы, с вашим глубоким умом, поняли суть проблемы и посвятили ей статью.

— Чего вы хотите?

— Передо мной сейчас другое досье.

— Оставьте в редакции.

— Я знаю, что вы давно не ходите в редакцию. К тому же не уверен, что могу доверить работающим в газете материалы на такую острую тему.

— В таком случае оставьте привратнику.

— Я не знаю вашего адреса. Справочная дает номера телефонов, но не дает адресов. Этот телефон вы зарегистрировали на другое имя. В справочнике вообще нет телефона на имя Джеляля Салика. Есть телефон Джалалиддина Руми, наверняка псевдоним.

— А тот, кто дал вам телефон, не дал адреса?

— Нет.

— Кто вам дал телефон?

— Наш общий друг. Об этом я тоже хотел бы рассказать вам при встрече. Я давно вас ищу. Использовал самые невероятные возможности. Звонил вашим родственникам. Встретился с тетей, которая вас так любит. Я ходил в те места, которые — я знал это из ваших статей — вы любите, в надежде встретить вас: на улицу Куртулуш, в квартал Джихангир, в кинотеатр «Конак». Пока я искал вас, я узнал, что группа английских телевизионщиков, остановившаяся в отеле «Пера палас», тоже ищет вас, как и я. Вы знаете об этом?

— Что у вас за досье?

---

[1] Громкое убийство, совершенное в Стамбуле в 1970-х гг., которое было раскрыто после обнаружения трупа в сундуке.

— Не хочу говорить по телефону. Дайте адрес, и я тотчас приеду. Вы ведь в Нишанташи, да?

— Да, — сказал холодно Галип, — но меня эти темы больше не интересуют.

— Как?

— Если бы ты внимательно читал мои статьи, ты бы понял, что подобными сюжетами я больше не занимаюсь.

— Нет-нет, эта тема как раз для вас. И с английскими телевизионщиками вы можете обсудить ее. Адрес.

— Извини, — сказал Галип с удивившей его самого веселостью, — я больше не встречаюсь с любителями литературы.

Он спокойно положил трубку. Протянул руку и включил лампу. Удивление и ужас, которые он испытал, когда комната осветилась бледным оранжевым светом, он потом определит как мираж.

Комната была абсолютно такой же, как двадцать пять лет назад, когда Джеляль жил здесь холостым журналистом. Ничего не изменилось: вещи, занавески, цвета, тени, запахи, даже лампа на том же месте. Некоторые новые вещи будто играли с Галипом в игру, имитируя старые, стараясь убедить его, что этих двадцати пяти лет как бы и не было. Но, приглядевшись повнимательнее, он поверил, что вещи не играют, а время, прошедшее с его детства до сегодняшнего дня, вдруг — словно по мановению волшебной палочки — куда-то исчезло. Вещи, на которые он натыкался в тревожной темноте, не были новыми. Они предстали перед ним такими, какими он видел их в последний раз, они постарели вместе с его воспоминаниями, некоторые из них должны бы были развалиться, и вдруг — вот они, у него перед глазами. Старые столы, выцветшие занавески, грязные пепельницы, усталые кресла не покорились времени и судьбе, которую предопределил для них Галип после того дня (дня, когда дядя Мелих с семьей приехал из Измира и поселился в доме); они словно восстали против уготованной им доли и пытались жить собственной жизнью. Галип ужаснулся, убедившись в том, что все вещи стоят именно так, как стояли, когда Джеляль был начинающим журналистом и жил здесь с матерью.

В одной из последних статей Джеляль написал: «Некоторые вещи мы просто не помним, а про некоторые вещи мы даже не помним, что не помним их. Их надо найти!» Галип все еще сидел в пальто в старом кресле и, когда снова раздался звонок, машинально протянул руку к знакомому телефонному аппарату: он был уверен, что сможет говорить голосом Джеляля.

Голос в трубке был тот же. На этот раз по просьбе Галипа он представился: Махир Икинджи. Имя ни о чем не говорило Галипу.

— Они готовят военный переворот. Маленькая религиозная организация внутри армии. Новая секта. Они верят в Махди. Верят, что время пришло. К тому же руководствуются твоими статьями.

— Я никогда не занимался такими вздорными делами.

— Занимался, Джеляль-бей, занимался. Сейчас ты пишешь, что ничего не помнишь: то ли потерял память, то ли хочешь все забыть. Просмотри свои старые статьи, почитай их — вспомнишь.

— Не вспомню.

— Вспомнишь. Насколько я тебя знаю, ты не из тех, кто может спокойно сидеть в кресле, получив известие о готовящемся военном перевороте.

— Был не из тех. Сейчас я совсем другой.

— Я приеду к тебе сейчас, напомню прошлое, воскрешу забытые тобой воспоминания. Ты поймешь в конце концов, что я прав, и возьмешься за это дело.

— Я бы хотел, но не могу с тобой увидеться.

— Я с тобой увижусь.

— Если сможешь найти мой адрес. Я никуда не выхожу.

— Послушай, в стамбульском телефонном справочнике триста десять тысяч абонентов. Поскольку я знаю три первые цифры, я могу быстро — пять тысяч номеров в час

— просмотреть справочник. Это значит, что самое большее через пять дней я найду и твой адрес, и твое вымышленное имя, которое меня так интересует.

— Зря стараешься! — сказал Галип, пытаясь придать уверенность голосу. — Этого номера в справочнике нет. — И отключил телефон.

Галип долго сидел в кресле. Потом стал обследовать другие комнаты квартиры-призрака, в которой Джеляль воссоздал обстановку своего детства и юности: вдруг что-то укажет ему на место, где скрываются Джеляль с Рюйей. В течение двух часов он был скорее увлеченным почитателем, осматривающим с любовью и восхищением музейные экспонаты, чем детективом поневоле, ищущим следы пропавшей жены; осмотрев комнаты и коридоры дома-призрака, исследовав шкафы, он получил следующие результаты предварительного расследования.

Судя по двум чашкам, стоящим на подставке, которую он опрокинул, когда пробирался в темноте по коридору, Джеляль приводил кого-то в дом. Хрупкие чашки разбились, и нельзя было попробовать тонкий слой осадка и сделать из этого какой-либо вывод (Рюйя всегда пила очень сладкий кофе). Судя по последнему номеру из скопившихся под дверью газет «Миллиет», Джеляль заходил в эту квартиру в день, когда исчезла Рюйя. Около старой пишущей машинки «ремингтон» лежала газета за тот день со статьей «Когда отступили воды Босфора», где его решительным почерком зеленой ручкой были исправлены опечатки. В шкафах у входной двери и в спальне не было ничего указывающего на то, что Джеляль отправился в путешествие или надолго ушел из дома. Армейская пижама в голубую полоску, обувь со свежими следами грязи, темно-синее пальто, которое он часто надевал в такую погоду, зимний жилет, несчетное количество белья (в одной из статей Джеляль писал, что разбогатевшие после проведенных в нищете детства и юности мужчины в зрелом возрасте покупают трусы и майки в таких количествах, что большинство из купленного они не успевают надеть), грязные носки в пакете для стирки — обычный дом человека, который в любую минуту может вернуться с работы.

Галипа ошеломило навалившееся на него прошлое, он почувствовал горечь, когда вспомнил о вещах, которые не помещались в доме, были проданы старьевщику и, качаясь в его конной повозке, отправились в забвение, аллах знает в какие дальние края; немного придя в себя, он пошел в коридор, туда, где увидел единственное «новое» в доме — длинный застекленный шкаф, занимающий стену между кухней и уборной. После не слишком долгих изысканий он нашел на полках, где царил исключительный порядок, следующее: вырезки газетных новостей и репортажей Джеляля — начинающего корреспондента; вырезки всех статей, написанных «за» и «против» Джеляля, все статьи и фельетоны, написанные Джелялем под псевдонимами; все статьи рубрики, которую Джеляль вел под своим именем; вырезки подготовленных Джелялем для публикации материалов в разделах: «Хочешь — верь, хочешь — не верь», «Разгадываем ваши сны», «Сегодня в истории», «Невероятные происшествия», «Читаем ваш почерк», «Ваше лицо, ваша личность», «Кроссворды и ребусы»; вырезки интервью с Джелялем; материалы, не пошедшие в печать; какие-то наброски; десятки тысяч газетных вырезок и фотографий, которые он собирал годами и хранил; тетради с записями снов и всяких фантазий; тысячи читательских писем, уложенных в коробки из-под орешков, засахаренных каштанов и обуви; романы с продолжением, полностью или частично написанные Джелялем под псевдонимами; копии сотен писем, написанных Джелялем; сотни журналов, брошюр, книг, школьных и военных ежегодников; коробки, набитые фотографиями людей, вырезанными из газет и журналов; порнографические фотографии; рисунки странных животных и насекомых; две большие коробки со статьями и публикациями о хуруфизме и науке о буквах; корешки старых автобусных билетов, билетов в кино и на футбольные матчи, испещренные знаками, буквами, какими-то символами; альбомы с фотографиями и пачки фотокарточек, не вклеенных в альбом; грамоты, полученные от журналистских обществ; вышедшие из употребления деньги, турецкие и царской России; телефонные и адресные книжки.

Взяв три адресные книжки, Галип вернулся в гостиную, снова сел в кресло и стал внимательно просматривать их, страницу за страницей. Минут через сорок он понял,

что с людьми, адреса и телефоны которых здесь указаны, Джеляль общался в пятидесятые — шестидесятые годы, и через них Рюйю и Джеляля он найти не сможет: номера телефонов давно изменились вместе с адресами хозяев, старые дома которых, скорее всего, пошли на снос. Он снова отправился к застекленным полкам шкафа, нашел письмо Махира Икинджи по поводу «сундучного убийства», о котором когда-то говорил Джеляль, и другие письма, полученные Джелялем в семидесятые годы, прихватил и статьи на эту тему и начал все это читать.

Галип с лицейских лет знал некоторых людей, причастных к событиям, к политическому убийству, которое прошло в газетах как «сундучное убийство». У Джеляля были другие мотивы интересоваться этим сюжетом: он говорил, что все на свете является подражанием чему-то, что уже было, и в нашей стране одаренные молодые люди, сами того не сознавая, повторили с точностью до мелочей действия такой же группы заговорщиков из романа Достоевского «Бесы». Перелистывая письма того времени, полученные Джелялем, Галип вспомнил, как несколько вечеров Джеляль рассуждал на эту тему. Те неприятные, холодные, без солнца дни хотелось забыть, и он забыл их: Рюйя тогда была замужем за тем «очень хорошим» парнем, к которому Галип испытывал нечто среднее между уважением и презрением; Галип тогда не сумел подавить любопытства, о чем впоследствии весьма сожалел; он слушал сплетни, пытался понять, что к чему, но получал сведения не столько о счастливой жизни молодоженов, сколько о последних политических событиях. Зимним вечером, когда Васыф привычно кормил японских рыбок (красные wakin и watonai с облезлыми по причине брачного периода хвостами), а тетя Хале разгадывала кроссворд, изредка поглядывая в телевизор и устремив взор в холодный потолок холодной комнаты, умерла Бабушка. Рюйя тогда пришла на похороны в выцветшем пальто и блеклом платке, одна (дядя Мелих, открыто ненавидящий зятя-провинциала, сказал, что так оно и лучше, выразив тем самым мысли Галипа), и быстро ушла. После похорон Галип как-то встретился с Джелялем, и тот стал интересоваться, не знает ли Галип чего-нибудь о «сундучном убийстве»; однако он не узнал того, что хотел: читал ли кто-нибудь из знакомых Галипу политизированных молодых людей книгу русского писателя? «Все убийства, — сказал в тот вечер Джеляль, — как и все книги, повторяют друг друга».

Далеко за полночь, когда Галип просматривал вынутые из шкафа статьи Джеляля, свет ламп начал тускнеть, как в театре перед открытием занавеса, мотор холодильника простонал печально и устало, как старый, набитый до отказа грузовик, переключающий скорость на крутом подъеме, и стало темно. «Сейчас включат», — понадеялся Галип, привыкший, как все стамбульцы, к отключению электричества, и довольно долго неподвижно сидел в кресле, держа папки, набитые газетными вырезками. Он слушал давно забытые звуки дома: бульканье в батарее, поскрипывание паркета, стон в кранах и трубах, глухое тиканье часов, пугающий гул, доносящийся с улицы. Прошло много времени, пока он в темноте на ощупь добрался до комнаты Джеляля, улегся, но заснуть сразу не смог.

Кто убил Шемса Тебризи?

> Сколько буду я искать тебя от дома к дому, от двери к двери? Сколько буду искать от угла к углу, от улицы к улице?
>
> *Мевляна*

Галип проснулся поздно утром; свет старой лампы, свисающей с потолка, напоминал цвет пожелтевшей бумаги. Не снимая пижаму Джеляля, в которой он спал, Галип обошел квартиру, погасил все включенные лампы, взял просунутый под дверь номер «Миллиет», сел за рабочий стол Джеляля и стал читать: увидев в статье опечатку, которую он заметил еще в субботу, когда был в редакции (вместо «вы были самими собой»,

было написано «мы были самими собой»), он потянулся к ящику стола, нашел зеленую ручку и исправил опечатку. Откладывая статью, он подумал, что Джеляль каждое утро в этой пижаме в голубую полоску садился за этот стол и закуривал, внося правку в статью этой самой ручкой.

Он был убежден, что все идет как надо. С аппетитом завтракая, как человек, который хорошо выспался и уверенно начинает новый день, он был самим собой и не ощущал потребности быть кем-то другим.

Приготовил кофе, достал из шкафа несколько коробок со статьями, газетными вырезками, письмами и водрузил их на стол. У него не было сомнения, что, внимательно прочитав лежащие перед ним бумаги, он найдет то, что ищет.

С одинаковым интересом он читал воспоминания помощника механика, водившего первый появившийся в Стамбуле «форд» модели «Т», и рассуждения о необходимости поставить в каждом районе Стамбула башню с музыкальными часами; в одной статье объяснялось, почему в Египте были запрещены те места сказок из «Тысячи и одной ночи», где изображались свидания гаремных женщин с черными рабами; далее шли разглагольствования о том, как удобно спрыгивать на ходу из старого трамвая на конной тяге, рассказ о том, почему из Стамбула улетели попугаи, а вместо них прилетели вороны, отчего в городе начались снегопады.

Он вспоминал, как читал эти статьи в первый раз, а сейчас делал заметки на клочке бумаги, иногда перечитывал какие-то абзацы, предложения; прочитанные складывал в коробки и с волнением доставал новые.

Солнце двигалось в сторону дома напротив; постепенно оптимизм Галипа стал улетучиваться. Вещи, слова, понятия как будто оставались на своих местах, но чем больше он читал, тем больше чувствовал, как ускользает прочная нить, связывающая их с Джелялем. Читая письма, вынутые из другой коробки, он, почти как в детстве, восхищался и радовался, что такие разные люди проявляют интерес к Джелялю: в письмах просили денег, обвиняли друг друга, сообщали, что жены других журналистов, с которыми авторы писем полемизировали, — проститутки, доносили о заговорах тайных сект, о взятках, получаемых монополистами, выражали свою любовь и ненависть; чтение писем не принесло Галипу успокоения, напротив, усилило нарастающую в нем неуверенность.

Наверно, это было связано с тем, что по мере чтения менялся образ Джеляля, существовавший в его представлении. Утром все вещи и предметы были продолжением понятного мира, Джеляль же в своих статьях неизменно подчеркивал «неизвестные» стороны жизни. После обеда Галип понял, что Джеляль в его представлении перестал быть такой совершенной личностью, как прежде. Стол, за которым он сидел, мебель вокруг и вся комната изменились. Вещи стали опасными, совсем не дружественными знаками мира, который не откроет так просто своих тайн.

Эта перемена была как-то связана с тем, что Джеляль написал о Мевляне, и Галип решил заняться этой темой. Он вытащил все статьи Джеляля о Мевляне и стал читать их.

К самому значительному в истории поэту-мистику Джеляля привлекали не стихи, написанные в Конье[1] в тринадцатом веке по-персидски, и не знаменитые строки, отобранные как примеры для преподавания на уроках в средней школе. Мевлевийские радения[2], на которых зарабатывали туристические фирмы и изготовители рекламных открыток, интересовали его не больше, чем отделанные перламутром старые книги посредственных писателей. В течение семисот лет после смерти Мевляны о его ордене и творчестве, получивших широкое распространение, были написаны десятки тысяч томов толкований; Джеляль-журналист испытывал неизменный интерес к его личности. Больше всего в Мевляне Джеляля интересовала мистическая и сексуальная связь с некоторыми мужчинами в разные периоды жизни и то, какое отражение нашло это в его поэтических произведениях.

---

[1] Конья — город в Турции, где долгие годы жил и умер Д. Руми и где сейчас находится его музей.
[2] Исполнение традиционного обряда дервишей ордена мевлеви — танца «вертящихся дервишей».

В Конье, где Мевляна получил по наследству от отца звание шейха, его любили не только его мюриды, но обожал весь город; уже немолодой Мевляна попал под влияние бродячего дервиша[1] Шемса Тебризи, чьи взгляды на жизнь были совершенно не похожи на его собственные. Джеляль считал, что это обстоятельство невозможно понять без нового подхода. И свидетельством тому были усилия толкователей, на протяжении семисот лет пытавшихся объяснить эти отношения. После того как Шемс пропал или был убит, Мевляна, вопреки недовольству других мюридов, приблизил к себе обыкновенного, ничем не примечательного ювелира. Джеляль полагал, что такой выбор — знак, указывающий на нравственное состояние самого Мевляны, а не показатель чрезвычайно сильного влияния Шемса из Тебриза, как это пытались доказать все толкователи. После того как умер второй «близкий друг», его место занял третий, такой же заурядный.

Джеляль считал, что выдумывать невесть что, пытаясь сделать непонятное понятным, наделять каждого из приближенных Мевляной к себе трех халифов[2] несуществующими добродетелями, а тем более выстраивать фальшивое генеалогическое древо, приобщая халифов к роду Мухаммеда и Али — а это продолжалось на протяжении веков, — значило упускать что-то очень важное в Мевляне, нашедшее отражение в произведениях поэта. Джеляль посвятил Мевляне воскресную статью в день ежегодных памятных церемоний, устраиваемых в Конье. Когда Галип читал статью в детстве, она показалась ему скучной, как и все статьи на религиозные темы, он запомнил ее лишь потому, что в том же номере газеты были изображены только что выпущенные марки с портретом Мевляны (розовая — за пятнадцать курушей[3], голубая — за тридцать и самая редкая, зеленая — за шестьдесят); сейчас, спустя двадцать два года, когда он перечитал статью, он почувствовал, что все окружающее предстало в новом свете.

Джеляль верил, что Мевляна, как об этом тысячи раз писали толкователи, поддался влиянию бродячего дервиша Шемса Тебризи сразу, как только увидел его в Конье. Но не потому, что из диалога, начавшегося вопросом, заданным Шемсом Тебризи, Мевляна понял, что дервиш — ученый человек. Даже в наиболее ортодоксальных книгах разговор между ними представляется как самый рядовой, один из тысяч образцов «смирения и скромности». Если Мевляна действительно такой ученый человек, как утверждают, на него не могла оказать воздействие такая обычная беседа, однако он мог сделать вид, что оказала.

Именно так он и поступил. Он сделал вид, будто открыл в Шемсе глубокую, сильную духом личность. По мнению Джеляля, в тот дождливый день Мевляна, которому было сорок пять лет, испытывал потребность встречи с кем-то, в ком увидел бы отражение самого себя. Поэтому, встретившись с Шемсом, Мевляна вообразил, что это именно тот человек, которого он ищет, а уж убедить Шемса, что он высокодуховная личность, было совсем не трудно. Сразу после встречи 23 октября 1244 года они закрылись в келье медресе и ни разу не вышли оттуда в течение шести месяцев. Чтобы не сильно гневить верующих читателей, Джеляль осторожно касается «светского» вопроса, которого редко касаются толкователи и исследователи: что делали они в этой келье шесть месяцев, о чем разговаривали, — а потом переходит к основной теме.

Мевляна всю жизнь искал «другого», кто вдохновит его, заставит действовать, искал зеркало, которое отразит его лицо и душу. Поэтому то, что они говорили и делали в келье, было словами, делами, голосами или одного человека, который воплотился в образы сразу нескольких людей, или нескольких людей, которые слились в образ одного человека. Чтобы противостоять восхищению окружающих его глупых (и вездесущих) мюридов и удушающей атмосфере анатолийского города тринадцатого века, поэту нужны были люди, за которыми он мог бы при необходимости укрыться, спрятаться, как в хранившихся в шкафу одеяниях. В другой статье Джеляль повторил это соображение, написав, что

---

[1] Дервиш — нищенствующий аскет, член братства суфиев; букв. бедняк, нищий *(перс.)*.
[2] Халиф — в суфизме: заместитель главы суфийского братства.
[3] Куруш — мелкая монета, 1/100 часть лиры; давно вышла из употребления.

Мевляна вел себя как падишах, не выдерживавший груза власти в дикой стране среди подхалимов и хранивший крестьянскую одежду в шкафу, чтобы, надев ее, найти успокоение в ночных прогулках.

Через месяц после публикации этой статьи, на которую, как и ожидал Галип, фанатичные читатели откликнулись письмами, где угрожали автору смертью, а светские читатели поздравлениями, Джеляль снова затронул эту тему, хотя владелец газеты просил к ней не возвращаться.

Новую статью Джеляль начал с обстоятельств, которые знали все мевлевиты: других мюридов мучила зависть из-за того, что Мевляна так приблизил к себе этого дервиша, какую-то темную личность, и они пригрозили Шемсу смертью. После этого утром 15 февраля 1246 года (Галип очень любил пристрастие Джеляля к точным датам, как в лицейских учебниках по истории) Шемс исчез из Коньи. Мевляна не мог перенести отсутствия своего любимого второго «я». Получив письмо от Шемса из Дамаска, он предпринял все возможное, чтобы вернуть свою «любовь» (Джеляль сознательно писал это слово всегда в кавычках, чтобы еще больше заинтриговать читателей) и тут же женил «любимого» на одной из своих приемных дочерей. Но это не убавило зависти мюридов, и вскоре, в последний четверг декабря месяца 1247 года, группа заговорщиков — среди них был и сын Мевляны Алааддин — устроила Шемсу засаду и заколола его ножами; труп в ту же холодную и дождливую ночь был брошен в колодец неподалеку от дома Мевляны.

Джеляль рассказывал о Мевляне так, будто рассказывал о себе; пользуясь незаметной читателю волшебной игрой слов, он превращался в Мевляну. Галип убедился в этом, видя, как повторяются в неизменном виде предложения и даже целые абзацы в «исторических» статьях о Мевляне и тех, где Джеляль писал о себе. Подтверждение этой пугающей игры Галип нашел в личных его тетрадях, неопубликованных черновиках, беседах на исторические темы, эссе о Шейхе Галипе, толкованиях снов, воспоминаниях о Стамбуле и многих других статьях. В рубрике «Хочешь — верь, хочешь — не верь» Джеляль написал сотни историй о королях, которые представляли себя кем-то другим, о китайских императорах, которые, чтобы стать другими, сжигали свои дворцы, о падишахах[1], для которых переодевание и хождение в народ стало чем-то вроде болезненной страсти, и они проводили много времени вне дворцов, забросив государственные дела. В одной тетради Галип прочитал недописанные рассказики, похожие на воспоминания, где Джеляль в обычный летний день видел себя поочередно Лейбницем, знаменитым богачом Джевдет-беем, Мухаммедом, владельцем газеты, Анатолем Франсом, хорошим поваром, знаменитым имамом-проповедником, Робинзоном Крузо, Бальзаком и еще шестью людьми, о чем писал с некоторым смущением. Галип увидел карикатуры на Мевляну, изображаемого на марках и плакатах; попался ему также не очень удачно выполненный рисунок гробницы, на которой было написано: Мевляна Джеляль. А одна из ненапечатанных статей начиналась словами: «Месневи», книга, которую называют самым великим произведением Мевляны, от начала и до конца — плагиат!»

Перелистывая «Месневи», Галип увидел, что Джеляль отчеркнул непристойные места, некоторые страницы были испещрены вопросительными знаками, междометиями, исправлениями, а отдельные абзацы даже гневно вычеркнуты зеленой ручкой. Прочитав эти страницы с густыми пометками Джеляля, Галип понял, что многие статьи, которые он в детстве и юности читал как оригинальные сочинения Джеляля, на самом деле взяты из «Месневи» и приспособлены к Стамбулу двадцатого века.

Галип вспомнил, что Джеляль мог часами говорить о подражании в искусстве, утверждая, что только в этом — настоящее мастерство; пока Рюйя поглощала купленные по дороге пирожные, Джеляль рассказывал, что многие, а может быть, и все публицистические статьи он пишет с помощью других, и добавлял, что важно не создать нечто совсем новое, а вытащить из забвения то гениальное, что создавали тысячи умов на протяжении тысячелетий и на основании этого сказать что-то свое.

Галип вернулся к колодцу с пауками, куда был брошен труп Шемса. Мевляна, потеряв «друга и любимого», обезумел от горя. Он не верил, что Шемс убит и брошен в ко-

лодец, мало того, он гневно обрушивался на тех, кто хотел показать ему этот колодец, находящийся у него под носом, он придумывал всякие предлоги, чтобы искать «любимого» в других местах: разве не мог Шемс отправиться в Дамаск, как это было, когда он исчез в первый раз?

Мевляна отправился в Дамаск и начал искать «любимого» на улицах города. Он обошел все улицы, проверил каждый дом, каждое питейное заведение, каждый угол, заглянул под каждый камень, навестил старых друзей «любимого», общих знакомых, мечети, обители, места, которые тот любил, в общем, проверил все, что было можно; через какое-то время искать стало чем-то вроде самоцели, более важным, чем найти. В этом месте статьи читатель попадал в пронизанный мистикой и пантеизмом мир, где были летучие мыши, розовая вода и наркотики, где главным был не исчезнувший любимый, а любовь как повод, где тот, кого ищут, и ищущий менялись местами и главным было не найти любимого, а поиск, движение к цели. Далее проводилась параллель между приключениями поэта на улицах города и ступенями, которые следовало преодолеть вступающему в орден на пути к совершенству: изумление, когда он узнал, что любимый сбежал, и начало поисков соответствуют ступени отрицания утверждения; хождение по местам, где бывал Шемс и жгли душу горькие воспоминания, где можно было встретить его друзей и врагов, соответствует ступени испытаний. И если сцена в публичном доме — это растворение в любви, то исчезновение в долине тайн, о чем писал Аттар[1], означало — потеряться в раю и аду строк, содержащих игру слов, литературные ловушки и псевдонимы, вроде зашифрованных в письмах, которые были обнаружены в доме Халладж-и-Мансура[2] после его смерти. «Любовные истории», которые рассказывают посетители питейного заведения, взяты у Аттара из поэмы «Беседа птиц»; из той же книги и образ поэта, бродящего среди лавок и домов по улицам города, полным тайн; поэта вдруг осеняет: то, что он ищет на горе Каф, — это он сам, это пример абсолютного отождествления (абсолютного растворения).

В длинной статье Джеляля приводились эффектные строки аруза[3], написанные другими суфиями по поводу единства того, кого ищут, и того, кто ищет. Джеляль ненавидел стихотворные переводы, поэтому вставил прозаический перевод знаменитой строки Мевляны, уставшего от многомесячных поисков в Дамаске. «Оказывается, я — это он! — сказал поэт в один из дней, когда заблудился в лабиринтах города. — Зачем тогда я ищу?» В этом месте статьи Джеляль изложил известный всем мевлевитам факт: после явившегося ему откровения Мевляна собрал все свои стихи, написанные в тот период, в книгу, которую озаглавил «Диван Шемса Тебризи».

В этой истории Галипа, как в детстве, больше всего заинтересовала детективная часть сюжета. Джеляль приходил к выводу, вызвавшему гнев религиозных читателей и радость светских читателей-республиканцев: «Мевляна сам повелел убить Шемса и бросить его в колодец!» Свое мнение Джеляль обосновал с помощью доводов, к которым часто прибегали прокурор и полицейские в те времена, когда он в пятидесятые годы работал корреспондентом в Бейоглу и министерстве юстиции. С уверенностью прокурора Джеляль заявлял, что из убийства любимого самую большую пользу извлекал Мевляна: из рядовых хаджи[4] он попал в ряд крупнейших мистических поэтов, а потому больше всех этого убийства желал именно он. Шаткий юридический мостик между «хотеть» и «осуществить» Джеляль преодолевает, показывая, что нежелание Мевляны верить в смерть, потеря им рассудка, отказ взглянуть на труп в колодце, являются выражением чувства вины, которое, как известно, часто испытывают убийцы, совершившие преступление впервые; далее Джеляль переходит к новой теме: что же означают поиски, которые после убийства месяцами ведет преступник в Дамаске, подолгу бродя по одним и тем же улицам из конца в конец города?

---

[1] Фарид ад-дин Аттар (ок. 1142—1220) — знаменитый персидский поэт-мистик.
[2] Халладж-и-Мансур (857—922) — персидский мистик.
[3] Аруз — система стихосложения в арабской, персоязычной и тюркоязычной поэзии.
[4] Мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

По карте Дамаска, которую Галип нашел в коробке, где хранились билеты на давние футбольные матчи (Турция — Венгрия, 3 : 1) и в кино («Женщина в окне», «Возвращение домой»), и по некоторым заметкам в тетрадях Галип понял, что этой темой Джеляль занимался гораздо больше, чем могло показаться при чтении статьи. Маршруты Мевляны в Дамаске были отмечены зеленой авторучкой. Поскольку Мевляна не мог искать Шемса, зная, что тот убит, он должен был заниматься в городе чем-то другим; чем же? Был отмечен каждый уголок города, куда заглядывал поэт; названия кварталов, домов, караван-сараев, мейхане, куда он заходил, были написаны на обороте карты. В буквах и словах, составляющих эти названия, выписанные одно под другим, Джеляль пытался выискать какой-то смысл, искал в них тайную симметрию.

Уже вечером Галип нашел карту Каира и выпущенный в 1934 году стамбульским муниципалитетом «Гид по Стамбулу»; они лежали в коробке, где хранились всякие мелочи, попавшие в руки Джеляля в те дни, когда он опубликовал статью о детективных историях в сказках «Тысячи и одной ночи» («Али Зайбак», «Ловкий вор»). Места действия сказок были отмечены на карте Каира зеленой авторучкой. На картах городского путеводителя он тоже увидел зеленые стрелки, правда нанесенные другой ручкой. Следя за продвижением зеленых стрелок по разложенным перед ним картам, Галип обнаружил, что видит географию своих прогулок по городу. Он пытался убедить себя, что заблуждается, что зеленые стрелки указывают на дома, в которых он не был, мечети, куда не заходил, подъемы, по которым не поднимался, но понимал, что он был в соседних домах, заглядывал в мечети, находящиеся рядом с указанными на карте, взбирался на отмеченные холмы, хотя и по другим улицам: словом, карта ясно показывала, что немало людей бродили по Стамбулу одними и теми же маршрутами.

Он решил сравнить карты Дамаска, Каира и Стамбула, как об этом писал когда-то Джеляль, вдохновленный Эдгаром По. Для этого пришлось из книги-путеводителя вырезать карты; на лезвии, взятом из ванной, сохранилось несколько волосков — доказательство того, что оно скользило по подбородку Джеляля. Когда карты легли рядом, он сначала не мог сообразить, как сопоставить нанесенные на них черточки и значки. Потом он поступил так, как они поступали с Рюйей в детстве, когда перерисовывали картинки из журналов: он наложил карты одну на другую на стекло двери гостиной, направил с противоположной стороны свет от лампы и стал рассматривать. Потом разложил карты на столе, том самом, где мать Джеляля когда-то раскладывала выкройки, и стал смотреть, пытаясь вычислить недостающие части ребуса. Единственное, что ему удалось разглядеть в наложенных одна на другую картах, было едва различимое лицо очень старого человека, морщинистое и незнакомое.

За завтраком он осознал, почему испарился оптимизм, с которым он садился за письменный стол: после восьми часов чтения его представление о Джеляле в корне переменилось; таким образом, он и сам словно бы стал другим. Еще совсем недавно он верил в мир, простодушно думал, что, усердно работая, он разгадает главную тайну, которую этот мир прячет от него, и ему совершенно не хотелось быть кем-то другим. Но внезапно статьи и все предметы в этой комнате, которую он, казалось, так хорошо знал, превратились в непонятные объекты неведомого непостижимого мира, и Галипу захотелось лишь одного: избавиться от человека внутри себя, так безнадежно смотрящего на мир, он жаждал стать другим. Когда он начал читать некоторые воспоминания Джеляля, чтобы ухватить нити, которые помогут ему лучше раскрыть отношение Джеляля к Мевляне и ордену мевлеви[1], в городе наступило время ужина, из окон домов с телевизионных экранов на улицу Тешвикие полился голубой свет.

Джеляль интересовался орденом мевлеви не только потому, что эту тему страстно любили читатели, но и потому, что к этому ордену принадлежал его отчим. Мать Джеляля была вынуждена развестись с дядей Мелихом, долго не возвращавшимся из Европы и Северной Африки, и, не в состоянии прокормить себя и сына шитьем, вышла замуж за

[1] Основан в XIII в. известным поэтом Султаном Веледом, сыном Д. Руми.

человека, посещавшего мевлевийскую обитель на окраине района Явуз Султан, недалеко от оставшегося с византийских времен водохранилища; Галип узнал об этом из статьи Джеляля, в которой тот с возмущением светского человека и вольтерьянской насмешкой описывал «гнусавого сутулого адвоката», посещающего тайные сборища.

Читая статью Джеляля, в которой тот вспоминал о днях, что он провел в пахнущей клеем и бумагой мастерской переплетчика, где работал после ухода из кинотеатра «Шехзадебаши», Галип наткнулся на слова, казалось относящиеся к нему. Это была расхожая фраза, которую произносили все журналисты, вспоминая о своем горьком или счастливом детстве: «Я читал все, что попадало мне в руки». Это относилось не к Джелялю тех лет, когда он работал у переплетчика, а к Галипу, который читал все написанное Джелялем и о Джеляле, что попадало ему в руки.

До самой полуночи, до выхода из квартиры, Галип все время думал об этой фразе, он воспринял ее как подтверждение того, что Джеляль знал, чем он тогда занимался. И с этой точки зрения неделя его поисков показалась ему уже не попыткой найти Рюйю, а частью игры, которую затеял с ним Джеляль (а возможно, и Рюйя).

В полночь ему захотелось поскорее выбраться отсюда не только потому, что от напряженного чтения невыносимо болели глаза, но и потому, что на кухне он не нашел никакой еды. Он вынул из шкафа у двери и надел темно-синее пальто Джеляля: если привратник Исмаил и его жена Камер еще не спят, увидев сонными глазами ноги и это пальто, они решат, что вышел Джеляль. Не зажигая света, он спустился по лестнице: в низком окошке привратника, выходящем на входную дверь, света не было. Так как у него был ключ только от квартиры, парадное он не закрыл, а только прикрыл дверь. Ступив на тротуар, он вдруг почувствовал страх: сейчас из темноты выйдет человек, звонивший по телефону, о котором он старался не думать все это время. Он представил, что в руках этого человека, который, как он догадывался, не будет незнакомым, окажется не папка с документами, подтверждающими подготовку нового военного переворота, а что-то гораздо более ужасное, например орудие убийства; но на улице никого не было. Он не мог избавиться от чувства, что человек, звонивший по телефону, будет следить за его передвижениями по улицам. Нет, он не ставил себя ни на чье место. «Я все вижу так, как есть», — подумал он, проходя мимо полицейского участка.

Он долго шел по улицам; по мостовым текли, смешиваясь с тающим снегом и издавая печальные звуки, потоки воды, вырывавшиеся из водосточных труб; он шел под каштанами, тополями и чинарами, прислушиваясь к своим шагам и шуму, доносящемуся из кофеен; добравшись до Каракёя, он насытился, съев курицу, суп и кадаиф[1], купил фрукты, хлеб и сыр и вернулся в дом Шехрикальп.

Загадки на лицах

Обычно людей различают по лицам.

Льюис Кэрролл

Когда Галип садился за стол, заваленный газетными вырезками, настроение у него не было столь оптимистичным, как вчера утром. Он включил телефон, вспомнил телефонный разговор с человеком, который называл себя Махиром Икинджи. Слова человека о «сундучном убийстве» и военном перевороте заставили Галипа вспомнить о некоторых статьях Джеляля. Он вытащил их из коробки, прочитал внимательно и вспомнил некоторые статьи и отдельные места в статьях Джеляля, где говорилось о разных Махди. Отыскивать эти места, разбросанные по разным статьям, пришлось долго. Галип устал, будто провел за столом целый рабочий день.

[1] Кондитерское изделие из теста в сахарном сиропе.

Когда в начале шестидесятых годов Джеляль в своих статьях приветствовал военный переворот, он, видимо, помнил слова Мевляны: писатель, желающий внушить читательской массе какую-то идею, должен поднять ее из глубин читательской памяти, как обломки потерпевшего крушение галеона, веками лежащие на дне Черного моря! Читая то, что написал Джеляль на основе исторических источников, Галип, как хороший читатель, ждал, что придут в движение глубинные пласты его памяти, но оживилось только воображение.

Он читал о том, как двенадцатый имам запугал на Капалычарши ювелиров, пользующихся неверными весами; о том, как сын шейха, вошедший в «Историю» Силяхтара[1], объявленный своим отцом Махди, с помощью курдских пастухов и кузнецов захватывал крепости; о том, как помощник посудомойки увидел во сне Мухаммеда, сидящего на заднем сиденье белого открытого «кадиллака», едущего по грязным мостовым Бейоглу, и после этого объявил себя Махди, чтобы поднять проституток, цыган, карманников, несчастных, бездомных, детей, торгующих сигаретами, и чистильщиков обуви против бандитов и негодяев; Галип отчетливо видел цвет прочитанного: это был цвет красной черепицы и померанцевого рассвета его собственной жизни и мечтаний. Некоторые тексты оживляли в его памяти картинки прошлого: читая, например, о Лжемехмете Авджи, который объявил себя наследником, потом падишахом, а потом и пророком, он вспомнил, как однажды вечером Рюйя сонно улыбалась, а Джеляль рассуждал о том, что нужно, чтобы написать статью «под Джеляля» (это может сделать тот, кто сумеет пользоваться моей памятью, сказал он тогда). Вспомнив это, Галип вдруг испугался, почувствовал, что его вовлекают в игру, грозящую смертью.

Тут зазвонил телефон, и, конечно, звонил тот же человек.

— Я рад, что вы включили телефон, Джеляль-бей! — сказал знакомый голос человека средних лет. — Я даже думать не хочу, что ты можешь быть не в городе, не в стране в такие дни, когда в любой миг может произойти непоправимое.

— До какой страницы справочника ты дошел?

— Я усиленно занимаюсь этим, но дело идет медленнее, чем я предполагал. Часами глядя на цифры, человек начинает задумываться о вещах, о которых раньше не думал. Я начал замечать в цифрах волшебные формулы, определенный порядок, повторение комбинаций. И моя работа идет не так быстро.

— А лица видишь?

— Да, но лица появляются в результате сочетаний некоторых цифр. Цифры не всегда разговаривают, иногда они молчат. Иногда я слышу, как мне что-то шепчут четверки, шагая одна за другой. Выстраиваются по две, удваиваются, распределяются симметрично по клеткам, и смотришь — вышло шестнадцать. А на освобожденные ими места вступают семерки, и они тоже нашептывают что-то свое. Наверно, это случайные глупые совпадения, но разве Тимур, сын Йылдырыма, имеющий телефонный номер 140-22-40, не заставит тебя вспомнить анкарскую битву 1402 года[2], а заодно и то, что Йылдырым, победив варвара Тимура, взял к себе в гарем его жену? Справочник сросся со всей нашей историей, со Стамбулом! Мне это интересно, я медленно переворачиваю страницы, но в конце концов доберусь до тебя, так как знаю, что только ты можешь остановить самый опасный заговор. Только ты, Джеляль-бей, можешь остановить этот военный переворот, потому что ты натянул тетиву лука, стрела которого привела его в движение!

— Почему?

— Когда мы разговаривали в прошлый раз, я не сказал, что они напрасно верили в Махди, ждали Его. Их всего горстка, этих военных, но они прочитали некоторые старые рукописи. Причем прочитали с верой, как я. Вспомни свои статьи начала 1961 года, просмотри статью-подражание «Великому инквизитору», посмотри конец статьи, где ты насмехаешься, глядя на идиллическое изображение семейного счастья на лотерейных билетах (мать вяжет, отец читает газету — возможно, твою статью, сын делает уроки,

---

[1] Силяхтар Мехмет Ага (1658—1724) — турецкий историк и писатель.

[2] Битва турецкого султана Баязида I с монгольским правителем Тимуром (Тамерланом), состоявшаяся 28 июля 1402 г.

бабушка и кошка дремлют у печки. Если все счастливы, если все семьи такие же, как моя, почему тогда продается так много лотерейных билетов?). Перечитай свои тогдашние статьи о кино. Почему ты так издевался над отечественными фильмами? Почему, когда ты смотрел эти фильмы, рассказывающие нам о нас, на которые ходило так много людей, ты видел только флаконы одеколона, стоящие на комоде рядом с кроватью, фотографии, выставленные на подернутом паутиной пианино, на котором никто не играет, открытки, воткнутые по краям зеркала, фигурки спящих собак на радиоприемнике?

— Не знаю.

— Прекрасно знаешь! Ты показывал все это как знаки нашей нищеты и падения. Ты одинаково писал о старых вещах, выбрасываемых в пространство между домами, о семьях, которые жили в одном доме, о поженившихся двоюродных брате и сестре, о креслах, покрытых чехлами, чтобы не изнашивались: все это ты представлял как постыдные знаки падения, пошлость, в которой мы погрязли. Но потом в так называемых «исторических» статьях ты давал понять, что всегда есть надежда на спасение; даже в самый тяжелый день может появиться некто, кто сумеет вытащить нас из нищеты. Спаситель, который жил много веков назад, воскреснет и вернется в Стамбул в образе Мевляны Джалиддина, Шейха Галипа или журналиста!

— Сейчас-то ты чего от меня хочешь?

— Я хочу просто увидеть тебя.

— Зачем? Ведь на самом деле у тебя нет никаких документов?

— Я хочу увидеть тебя, я все объясню.

— Я кладу трубку...

— Умоляю, — сказал голос озабоченно и уныло, — если я встречусь с тобой, я все расскажу.

Галип выключил телефон. Он достал из шкафа в коридоре ежегодник, на который обратил внимание еще вчера, и сел в кресло, куда садился вечерами, вернувшись с работы, усталый Джеляль. Он держал в руках добротно переплетенный ежегодник военного училища за 1947 год: помимо фотографий и высказываний Ататюрка, Президента, начальника Генерального штаба, командующих армиями и начальника училища, здесь были фотографии слушателей. Переворачивая переложенные папиросной бумагой страницы, он не знал точно, почему после телефонного разговора ему захотелось посмотреть этот ежегодник, но, разглядывая его, он думал о том, что все эти люди и их глаза были поразительно похожи друг на друга, совсем как фуражки на головах и знаки различия в петлицах.

Большинство из тех, кто готовил в шестидесятых годах окончившийся неудачей военный переворот — кроме пашей, которые, не подвергая свою жизнь опасности, издалека поощряли бунтарей, — должны были быть среди молодых офицеров, чьи фотографии были напечатаны в этом ежегоднике.

Когда стемнело, Галип принес в кабинет все ежегодники, альбомы и фотографии из газет и журналов, что сумел найти в шкафу; поставив перед собой коробки, забитые фотографиями, он рассматривал их и словно пьянел от представшей перед ним картины. «Что может быть значительнее, красноречивее и интереснее, чем фотография, документ, запечатлевший выражение человеческого лица?» — подумал Галип. Он думал с непонятной грустью, что даже в самых «пустых» лицах, глубина выражения и смысл которых были вытравлены искусной ретушью, все равно остаются следы чего-то, что невозможно объяснить словами: старательно спрятанной тайны, истории, полной воспоминаний и страха, потому что это отразилось в глазах, бровях, во взгляде. Галип готов был расплакаться, глядя на изумленное и счастливое лицо обойщика, выигравшего главный приз Национальной лотереи, страхового агента, ударившего жену ножом, или турецкой королевы красоты, получившей третье место в Европе.

Галип встал из-за стола и пересел в кресло, чтобы было легче рассматривать лица на фотографиях, собранных Джелялем за тридцать лет, которые стали для него отражением того нового мира, где он хотел жить. Он стал без разбора доставать из коробки фотогра-

фии и рассматривать лица, стараясь не видеть в них тайн и знаков. И каждое лицо стало казаться просто лицом: с носом, глазами, ртом, как на фотографиях для документов. Иногда он засматривался, например, на печальное красивое лицо женщины со страховым свидетельством в руке, и его охватывала тоска, но он тут же переводил взгляд на другую фотографию, которая не выражала никакой горечи и за которой не проглядывала история, а была просто фотографией. Чтобы не оказаться под влиянием историй, отраженных на лицах, он не читал подписи под фотографиями и пометки Джеляля, сделанные на них и рядом. Он заставлял себя видеть на фотографиях только карты человеческих лиц, и это длилось довольно долго; на Нишанташи начался час пик, а он все смотрел и смотрел, и из глаз его лились слезы; когда он оторвался от своего занятия, оказалось, что он просмотрел лишь незначительную часть фотоархива Джеляля.

Палач и плачущее лицо

Не плачь, не плачь, ну пожалуйста, не плачь.
Халит Зия[1]

Почему мы не выносим вида плачущего мужчины? Мы видим плачущую женщину, это нам понятно, мы знаем, что женщина — создание чувствительное, она имеет право на слезы. Плачущий же мужчина ужасает нас, наводит на мысль о безысходности. Как будто человек исчерпал себя, все свои возможности, рушится его мир — как это бывает, например, со смертью любимой женщины, — или он живет в каком-то особенном мире, никак не совпадающем с нашим; есть в мужском плаче что-то тревожное, даже пугающее. Всем известно, какой ужас и удивление мы испытываем, когда хорошо знакомая нам карта, которую мы называем лицом, вдруг оказывается совершенно неведомой страной. Подобный сюжет мне попался в шестом томе истории Наимы[2].

Не так давно, лет триста назад, весенней ночью к крепости Эрзурум приближался на коне Кара Омер, самый знаменитый палач того времени. Двенадцать дней назад ему сообщили решение падишаха и вручили фирман: на него возлагали обязанность осуществить смертную казнь Абди Паши, управляющего крепостью Эрзурум.

Он был доволен: расстояние Стамбул — Эрзурум, на которое в эту пору мог уйти и месяц, он преодолел за двенадцать дней. Весенняя ночная прохлада приятно освежала, однако его охватило внутреннее оцепенение, не свойственное ему перед исполнением службы; он чувствовал, что непривычная робость, нерешительность, смутное предчувствие проклятия могут помешать ему достойно сделать свое дело.

Работа его была не из легких: надо войти в помещение, полное людей незнакомого ему паши, передать фирман, причем сделать это уверенно, так чтобы паша и его окружение поняли тщетность сопротивления решению падишаха; если паша почувствует хоть на миг неуверенность палача, его тут же убьют. Палач был человек исключительно опытный: за тридцать лет работы он казнил около двадцати наследников престола, двух садразамов[3], шестерых визирей, двадцать три паши и прочего люда — виновного и невиновного, честных и воров, женщин, мужчин, детей, стариков, христиан, мусульман — более шестисот человек; тысячи людей он подверг пыткам.

Утром перед въездом в город он сошел с коня на берегу реки и под веселый птичий гомон совершил омовение и намаз. Он редко молился и просил у Аллаха помощи в делах. Всемогущий, как всегда, принял молитву своего усердного раба.

Все шло своим чередом. Паша сразу узнал палача по петле у пояса и красному вой-

---

[1] Халит Зия Ушаклыгиль (1866—1945) — турецкий романист и новеллист.
[2] Наима (1655—1716) — османский историк.
[3] Садразам — премьер-министр в Османской империи.

лочному колпаку, понял, что его ждет, и покорился судьбе. Возможно, он знал свою вину и давно был готов к такому повороту событий.

Паша прочитал приговор не менее десяти раз и всякий раз со все большим вниманием (так поступали все, кто действовал по правилам). Прикоснулся губами к фирману и приложил его ко лбу (это был жест, рассчитанный на окружающих, палач счел его неуместным). Сказал, что хочет почитать Коран и совершить намаз (так обычно поступали искренне верующие или те, кто хотел потянуть время). После намаза, со словами «Помните обо мне», паша снял с себя драгоценные кольца, камни, булавки и раздал окружающим — чтобы все это не досталось палачу (поступок тех, кто очень цеплялся за жизнь и был настолько глуп, что с ненавистью относился к палачу). Как и большинство приговоренных, он пытался сопротивляться, когда ему на шею набросили петлю, но получил удар в челюсть, осел и уже покорно ждал смерти. Он плакал.

В этом не было ничего необычного, плакали почти все жертвы, но в плачущем лице паши было нечто такое, что палач смутился — впервые за тридцать лет. И впервые за тридцать лет он сделал то, чего не делал никогда: перед тем как удавить жертву, накинул ей на лицо кусок ткани. Так поступали другие палачи, но он всегда осуждал их: он считал, что палач должен до конца смотреть в глаза жертвы, только тогда работа будет сделана быстро и качественно.

Удостоверившись в смерти, палач, не теряя времени, отделил специальной бритвой, называемой «шифре», голову покойника от тела и положил ее в привезенную с собой волосяную торбу с медом: он должен будет предъявить голову в целости и сохранности в качестве доказательства выполненного поручения. Аккуратно погружая голову в торбу, он еще раз увидел плачущие глаза паши; выражение этого лица внушало ему необъяснимый ужас: оно стояло перед глазами палача до самого конца жизни, который, кстати сказать, был не так уж далек.

Вскочив на коня, палач выехал из города: у него всегда было желание поскорее удалиться от места казни на расстояние хотя бы двух дней пути, чтобы не слышать горестных воплей, сопровождающих церемонию предания земле тела жертвы. Через полтора дня непрерывного пути он добрался до крепости Кемах[1]. Поел в караван-сарае, заперся в комнате со своей торбой и лег спать.

Палач проспал глубоким сном полдня; во сне он видел себя в городе своего детства Эдирне: он подошел к огромной банке сваренного матерью варенья из инжира, аромат которого во время варки заполнял не только дом и двор, но и весь квартал, и тут увидел, что зеленые кружочки — не плоды инжира, а глаза плачущего лица; он чувствовал себя виноватым оттого, что видит выражение ужаса на плачущем лице, словно свершилось что-то неправедное; он открыл крышку банки и застыл в страхе, услышав мужские рыдания.

На следующий день, когда он ночевал в другом караван-сарае, ему приснился один из вечеров в юности: он шел по улице Эдирне перед закатом солнца. Друг, имени которого он никак не мог вспомнить, привел его сюда посмотреть, как на одном конце неба садилось солнце, а на другом поднималась бледная полная луна. Когда солнце зашло, круг луны стал делаться ярче, ярче, а потом на нем проступило отчетливо видное лицо плачущего человека. Улицы Эдирне сразу превратились в беспокойные улицы другого города, и все непонятней становилось, как луна могла превратиться в плачущее лицо.

Утром ему показалось, что увиденное во сне связано каким-то образом с его жизнью. За то время, что он работал палачом, он видел лица тысяч плачущих мужчин, но ни одно из них не пробудило в нем жестокости, страха или чувства вины. В противоположность тому, что о нем думали, вид жертв огорчал и печалил его, но он тут же подавлял эти чувства доводами разума: он совершает вынужденный и справедливый акт, и иначе нельзя. Он был уверен, что жертвы, которым он отрезал головы, ломал шеи, душил, лучше палачей знали цепочку причин, приведших их к смерти. Нет ничего более невыносимого, чем вид мужчин, с рыданиями и мольбами, в слезах идущих к смерти. Он не уподоблялся

[1] Крепость в Восточной Анатолии.

глупцам, которые презирали плачущих мужчин, считая, что приговоренные к смерти должны вести себя гордо и говорить смелые слова, которые войдут в историю и легенды, но и не поддавался парализующей жалости, как другие, не способные понять случайной и неотвратимой жестокости жизни.

Что же мучило его во сне? Солнечным сияющим утром, проезжая по скалам над пропастями с привязанной к седлу волосяной торбой, палач вспомнил нерешительность, охватившую его перед въездом в Эрзурум, и смутное предчувствие проклятья; вспомнил, как на лице, которое надлежало забыть, он увидел тайну, заставившую его перед удушением прикрыть лицо жертвы куском грубой ткани. Потом, на протяжении долгого дня, пока он гнал коня среди скал поразительных очертаний (парус, кастрюля, лев с деревом инжира вместо головы), среди незнакомых сосен и берез, по странного вида гальке по краям холодных, как лед, рек в ущельях, он ни разу больше не подумал о выражении лица в торбе, притороченной к седлу. Мир вокруг был какой-то удивительный, совсем новый, неведомый прежде.

Деревья были похожи на темные тени, бессонными ночами шевелящиеся в его воспоминаниях; он впервые обратил внимание на то, что невинные пастухи, пасущие стада овец на зеленых холмах, держат головы на плечах так, будто это вещь, принадлежащая другому. Вдруг увидел, что маленькие, в десять домов, деревеньки, раскинувшиеся у подножья гор, напоминают обувь, выстроившуюся у дверей мечети. Облака, словно сошедшие с миниатюр, поднимались прямо над вершинами фиолетовых гор на западе, куда он доберется только через полдня, как бы показывая ему, что мир — это пустыня. Теперь он понимал, что все вокруг — растения, предметы, испуганные зверьки — это знаки мира, старого, как воспоминания, пустынного, как безнадежность, и пугающего, как кошмар. Когда по мере его продвижения на запад длинные тени приобрели другой смысл, он почувствовал, что в воздух просачиваются знаки, признаки непонятной тайны.

В следующем караван-сарае, куда он добрался, когда стемнело, он поел, но почувствовал, что не сможет лечь спать, закрывшись в комнате, наедине с торбой. Он знал, что ему не дает покоя это полное отчаяния лицо, которое снова будет плакать, напоминая ему о происшедшем, как это случалось каждую ночь; он боялся, что пугающий сон будет опять наступать на него медленно, постепенно, как зреет нарыв, а потом растекаться, как гной из раны. Он немного отдохнул среди людей в караван-сарае, с удивлением разглядывая их лица, и продолжил путь.

Ночь была холодная, безмолвная и безветренная; деревья и кусты стояли не шелохнувшись; усталый конь не торопясь шел по знакомой дороге. Долгое время он ехал бездумно, как в старые счастливые времена, ничто не тревожило его: возможно, это было из-за кромешной тьмы (так он подумает потом). Но когда из-за облаков выглянула луна, деревья, скалы, тени снова стали превращаться в знаки неразрешимой загадки. Палача не пугали печальные камни на кладбищах, одинокие сиротливые тополя, волчий вой в ночной глуши. Пугало другое: мир будто хотел что-то поведать ему, открыть какой-то смысл, но все терялось, как в туманном сне. Под утро палач услышал звуки, похожие на рыдания.

Когда по-настоящему рассвело, он подумал, что шумит поднявшийся вдруг ветер, играя в ветвях деревьев, но потом решил, что это ему чудится из-за усталости и бессонницы. К полудню стало очевидно, что рыдания доносятся из притороченной к седлу торбы; тогда он слез с коня, как поднимаются с теплой постели, чтобы прикрыть скрипящие в ночи, действующие на нервы окна, и покрепче затянул веревки, которыми была привязана к седлу торба. Не помогло. А потом, когда полил страшный ливень, он не только слышал рыдания, но и словно ощутил на своих щеках слезы, капающие с плачущего лица.

Снова выглянуло солнце, и он понял, что тайна мира связана с тайной плачущего лица. Казалось, прежний мир, понятный и знакомый, держался на понятном и простом выражении лиц, а после появления того странного выражения на плачущем лице смысл мира исчез, оставив палача в пугающем одиночестве: такое недоумение испытывает человек, когда на его глазах неожиданно с треском разбивается заветная чаша или хрустальный кувшин. Пока одежды его обсыхали на солнце, палач решил, что для того, чтобы

все вернулось к старому порядку, необходимо изменить выражение лица паши. Хотя он знал, что закон его профессии предписывал привезти отрубленную и сразу помещенную в торбу с медом голову в Стамбул без промедления и изменений, как она есть.

После еще одной проведенной в седле без сна безумной ночи, наполненной звуками непрекращающихся рыданий, доносившихся из торбы, палач обнаружил, что все вокруг сильно изменилось, чинары и сосны, размытые дороги, деревенские колодцы будто в ужасе шарахались от него, они были из другого, совершенно незнакомого ему мира. В полдень, очутившись в заброшенной деревне, он на ходу машинально проглотил предложенную ему еду, а когда отъехал от деревни и прилег под деревом, чтобы дать отдохнуть коню, то понял: то, что он всегда считал небом, на самом деле странный голубой купол, которого он раньше никогда не видел. После захода солнца он отправился дальше, ему предстояло еще шесть дней пути. Однако палач чувствовал, что, если ему не удастся прекратить рыдания в торбе, изменить выражение плачущего лица, совершить некое волшебное действо, которое вернет миру старые, знакомые очертания, он никогда не доберется до Стамбула.

Увидев в темноте колодец на краю деревни, из которой доносился лай собак, он спрыгнул с коня, отвязал торбу и, осторожно держа за волосы, вытащил из меда голову. Старательно, как обмывают новорожденного младенца, обмыл ее колодезной водой, куском материи аккуратно вытер волосы, лицо и взглянул на него при свете полной луны: на нем было все то же выражение безысходной тоски; плач продолжался.

Он положил голову на край колодца, пошел к коню, достал из дорожной сумы свои профессиональные орудия: два ножа и палки для пыток с железными крючьями. Вернулся. Орудуя ножами, постарался исправить уголки рта. После долгих стараний ему удалось изобразить чуть заметную улыбку. Тогда он взялся за более тонкую работу: принялся раскрывать горестно прикрытые глаза. Мучительными усилиями он добился того, что улыбка расползлась по всему лицу. Он мог наконец отдохнуть. Почему-то он обрадовался, увидев синяк на челюсти паши в том месте, куда он ткнул его кулаком перед тем, как удушить. С торжеством ребенка, сумевшего добиться своего, он побежал к коню и положил в суму инструменты.

Когда он вернулся к колодцу, головы на месте не было. Сначала он принял это за шутку улыбающегося лица. Потом, сообразив, что голова упала в колодец, не раздумывая, побежал к ближайшему дому и стуком в дверь разбудил хозяев. Старик отец с молодым сыном, увидев перед собой человека в одеянии палача, в страхе повиновались его приказам. До утра они возились втроем, пытаясь достать голову из не слишком глубокого колодца. На рассвете сын, спущенный в колодец на обвязанной вокруг пояса «душегубной» веревке, с ужасом поднял наконец голову, держа ее за волосы. Голова была мокрая, но не плачущая. Палач спокойно обтер ее, опустил в торбу с медом и, довольный, уехал на запад, сунув отцу с сыном несколько курушей.

Взошло солнце, в распускающихся по весне деревьях щебетали птицы, мир стал прежним знакомым миром, и палач испытал огромную, как небо, радость жизни; он преисполнился ликования. Рыданий из торбы не слышалось. Перед полуднем палач спешился на берегу озера среди поросших соснами холмов, лег и впервые за много дней погрузился в настоящий глубокий сон. Перед тем как уснуть, он подошел к озеру, посмотрел на свое лицо в зеркале воды и еще раз убедился, что мир вернул себе прежние очертания.

Через пять дней в Стамбуле, когда свидетели, лично знакомые с казненным, скажут, что вынутая из волосяной торбы голова не принадлежит Абди Паше и улыбчивое выражение совершенно ему не присуще, палач вспомнит отражение своего счастливого лица в зеркале озера. Его обвинят в том, что он получил от Абди Паши взятку и умертвил вместо него кого-то другого, возможно невинного пастуха, а чтобы подделка не открылась, пытался перекроить лицо; он не отрицал ни одного из обвинений, понимая, что это совершенно бесполезно: он увидел, как вошел палач, который сейчас отделит от туловища его голову.

Весть о том, что вместо Абди Паши казнили невинного пастуха, разнеслась быстро, настолько быстро, что второго палача, посланного в Эрзурум, встретил лично Абди Паша и тут же приказал убить его. Так началось восстание Абди Паши, про которого иногда, читая буквы на его лице, говорили, что он лжепаша. Восстание длилось двадцать лет, и за это время лишились головы шесть с половиной тысяч человек.

Тайна букв и забытая тайна

Тысячи, тысячи тайн будут открыты,
Когда тайное лицо покажет себя.

Аттар

К тому времени, как наступил вечер и перестал звучать сердитый свисток полицейского, регулирующего движение на площади Нишанташи, Галип уже так долго рассматривал фотографии, что чувство тоски и горечи, вызываемое в нем лицами соотечественников, притупилось; слезы больше не лились из его глаз. Не возникало и волненья, радости и веселости, пробуждаемых некоторыми лицами; будто он ничего больше не ждал от жизни. Он глядел на фотографии с безразличием человека, утратившего память и надежды, не имеющего будущего. В доме царила абсолютная тишина: казалось, она зародилась где-то в глубине сознания, а потом, постепенно разрастаясь, охватила тело и все вокруг. Он принес с кухни хлеб с сыром и холодный чай и стал есть, продолжая рассматривать фотографии, роняя на них крошки. На смену дневным шумам города пришли голоса ночи: теперь он мог слышать мотор холодильника, звук опускаемого на другом конце улицы ставня, смех, долетавший из лавки Алааддина. Он прислушивался к торопливому стуку каблучков по мостовой, продолжал смотреть на фотографии, уже ничего не переживая, безразличный и к звукам, и к тишине.

«Чтобы быть похожим на героев детективных романов, постоянно находящих следы убийцы среди вещей, — устало рассуждал Галип, — достаточно верить, что предметы вокруг человека хранят его тайны». Из шкафа в коридоре он достал коробку, где Джеляль собрал книги, брошюры, вырезки из газет и журналов и фотографии, относящиеся к секте хуруфитов, и сел изучать их.

Он увидел лица, нарисованные арабскими буквами: глаза из «ба», и «айн», брови из «з» и «р», носы из «алиф»; Джеляль выписывал буквы тщательно, как ученик, недавно освоивший старую графику. На страницах книги, отпечатанной литографским способом, плачущие глаза были выполнены буквами «ба» и «джим», точка буквы «джим» стала слезой, падающей на край страницы. Те же буквы легко прочитывались на бровях, глазах, носу и губах лица, изображенного на старой черно-белой неотретушированной фотографии, под которой Джеляль разборчиво написал имя одного из шейхов Бекташи. Галип разглядывал выведенные буквами таблички «О, вечная любовь!» и нарисованные — так же, буквами — галеры, качающиеся в бурном море, молнии, устремленные с неба вниз, как взгляд, пронзительные пугающие лица, вплетенные в ветви деревьев бороды. Он не спеша перебирал фотографии: бледные лица с выколотыми глазами, невинные младенцы, на краешках губ которых буквами отмечены следы греха, грешники с начертанным на лбу страшным будущим. Он увидел задумчивое выражение на лицах повешенных бандитов и премьер-министров в белых рубашках смертников с табличками на шее, глядящих вниз на землю, до которой не доставали их ноги; выцветшие фотографии читателей, усмотревших разврат в подведенных глазах известной кинозвезды; читатели, считающие себя похожими на падишахов, пашей, Рудольфо Валентино и Муссолини, присылали свои фотографии, отметив на них соответствующие буквы. В одной из статей Джеляль зашифровал читателям послание, раскрывающее особый смысл и особое место буквы «х» в слове «Аллах»; читатели, разгадавшие это послание, прислали длинные письма, где пытались доказать, что заниматься недели, месяцы и годы словами «утро»,

«лицо», «солнце», чтобы разъяснить симметричное их начертание, — все равно что поклоняться идолам. В коробке он обнаружил фотографии основателя секты хуруфи Фазлаллаха Астарабади, снятые с миниатюр и дополненные буквами, арабскими и латинскими; расписанные также словами и буквами фотографии футболистов и киноактеров хранились в пакетах из-под вафель и разноцветной, жесткой, как резиновая подметка, жвачки, продававшихся в лавке Алааддина; тут же были присланные Джелялю читателями фотографии убийц, грешников и шейхов.

По надписям на обратной стороне фотографий легко было определить, что они присланы для рубрики «Ваше лицо — ваша личность», которую Джеляль вел в начале шестидесятых годов одновременно с рубрикой «Хочешь — верь, хочешь — не верь»; часть фотографий была прислана в ответ на призыв Джеляля: мы хотим видеть фотографии наших читателей и напечатать некоторые из них в нашей рубрике! Люди на фотографиях смотрели в камеру так, будто вспоминали далекое прошлое или увидели на миг сверкание зеленоватой молнии на далеком черном фоне едва видимого горизонта; так, будто привычно наблюдали свое будущее, медленно тонущее в черном болоте; так, будто знали, что утраченная память никогда больше к ним не вернется. Галип догадывался, почему Джеляль обозначал буквы на всех этих фотографиях, но когда он хотел эту догадку использовать как ключ, чтобы понять, что связывает его с Джелялем и Рюйей, с этой нереальной квартирой, определить собственное будущее, его сознание тут же застывало, как лица, запечатленные на фотографиях, а факты, которые необходимо было связать между собой, терялись в тумане смысла, отмеченного на лицах.

Из литографированных книг и брошюр с большим количеством опечаток он узнал о жизни Фазлаллаха, основателя секты хуруфи и пророка хуруфитов: родился в 1339 году в Хорасане, в Астарабаде, недалеко от Каспийского моря. В восемнадцать лет был суфием, совершил хадж, стал мюридом некоего шейха по имени Хасан. Галип читал, как Фазлаллах набирался опыта, путешествуя по городам Азербайджана и Ирана, вникал в содержание его разговоров с шейхами Тебриза, Ширвана и Баку и чувствовал, что у него в душе растет неодолимое желание «начать сначала» собственную жизнь по примеру, описанному в этих книгах. Сбывшиеся впоследствии предвидения Фазлаллаха относительно собственной жизни и смерти и новая жизнь, которую хотел начать он сам, казались Галипу чем-то вполне обычным. Фазлаллах сначала прославился толкованием снов. Однажды во сне он увидел, как два удода смотрят с дерева на него и пророка Сулеймана; сны Фазлаллаха и Сулеймана перемешались, а две птицы на дереве соединились в одну. В другой раз он увидел во сне, что в пещеру, где он укрылся, к нему придет дервиш, и в самом деле к нему пришел дервиш и сказал, что видел его во сне: они вдвоем читали книгу и, когда переворачивали страницы, видели в буквах свои лица, а когда смотрели друг на друга, то на лицах видели буквы из книги.

Согласно Фазлаллаху, звук — это разделительная черта между бытием и небытием, потому что все, до чего можно дотронуться рукой, перейдя из мира невидимого в мир материальный, имеет свой звук: чтобы понять это, достаточно ударить друг о друга самые «беззвучные» предметы. Наиболее развитая форма звука есть слово; высокое понятие, волшебство, называемое «словом», состоит из букв. Буквы, означающие как смысл и суть бытия, так и образ Аллаха на земле, можно отчетливо рассмотреть на человеческом лице. От рождения на нашем лице есть две брови, два века, обрамленных ресницами; вместе с линией в верхней части лба, откуда начинают расти волосы, получается семь линий. По мере взросления к этим знакам добавляются новые линии, и их становится четырнадцать; если удвоить это число, станет ясно, что отнюдь не случайны двадцать восемь букв, которыми передано в Коране то, что говорил Мухаммед. А чтобы получить тридцать две буквы языка фарси, на котором Фазлаллах говорил и написал свою известную «Книгу о Вечном», оказывается, следует более внимательно изучить линию волос и линию под подбородком и, разделив их надвое, воспринимать как две отдельные буквы; прочитав об этом, Галип понял, почему на некоторых фотографиях лица и волосы разделены посередине надвое, как пробор набриллиантиненных волос у актеров из американ-

ских фильмов тридцатых годов. Все выглядело очень простым, и Галипу понравилась эта детская игра в наивность, он подумал. что понимает, почему Джеляля влекло к играм в буквы.

Совсем как «Он» из статьи Джеляля, Фазлаллах объявил себя спасителем, пророком, Мессией, которого ожидали иудеи и к сошествию с неба которого готовились христиане, и одновременно Махди, появление которого возвестил Мухаммед; он собрал в Исфагане семь человек, поверивших в него, и начал проповедовать свое учение. Галип ощущал внутреннее успокоение, когда читал, как Фазлаллах ходил от города к городу и разъяснял, что нет на земле места, где можно сразу понять смысл наполненного тайнами мира, и, чтобы добраться до них, необходимо разгадать тайну букв. Галипу показалось, что он нашел наконец подтверждение — которого он так хотел и так ждал — тому, что и его собственный мир полон тайн. Галип понимал, что его внутреннее спокойствие связано с простотой этого доказательства: если правда, что мир — место, полное тайн, то правда и существование тайного мира, на который указывают и частью которого являются кофейная чашка, стоящая на столе, пепельница, нож для разрезания книг и даже его собственная рука, что лежит рядом с ножом, как застывший краб. Рюйя — внутри этого мира. А Галип — на его пороге. Через некоторое время он войдет туда, разгадав тайну букв.

Надо только еще немножко внимательно почитать. Он перечитал страницы, посвященные смерти Фазлаллаха. Понял, что тот видел свою смерть во сне и ушел в смерть, как в сон. Его обвинили в ереси на том основании, что он поклонялся не Аллаху, а буквам, людям и идолам, что он объявил себя Махди и верил не в истинный и видимый смысл Корана, а в свои мечтания, которые называл тайным невидимым смыслом; Фазлаллах был схвачен, осужден и повешен.

После убийства Фазлаллаха и его близких хуруфиты, преследуемые в Иране, переселились в Анатолию; произошло это благодаря поэту Несими[1], халифу Фазлаллаха. Нагрузив ставший впоследствии легендарным у хуруфитов зеленый сундук книгами Фазлаллаха и рукописями об учении хуруфи, поэт пошел по Анатолии, от города к городу, заходил в отдаленные медресе, где стены были затянуты паутиной, в жалкие обители, где сновали проворные ящерицы; он приобрел новых сторонников, и для того, чтобы показать халифам, которых он воспитывал, что не только Коран, но весь мир полон тайн, он обратился к играм из слов и букв, которые изобрел, опираясь на свою любимую игру — шахматы. Несими уподоблял линию и родинку на лице любимой букве и точке, букву и точку — губке и жемчужине на дне моря, себя — ныряльщику, погибшему в поисках жемчужины, а ныряльщика, охотно погрузившегося в смерть, — влюбленному, стремящемуся к Всевышнему; завершая этот круг, Несими сравнил Всевышнего со своей возлюбленной, за что был схвачен в Алеппо, осужден и казнен — с него живьем содрали кожу, труп вывесили в городе на всеобщее обозрение, а потом расчленили на семь частей и — в назидание — захоронили в семи разных городах, где он нашел сторонников и где знали наизусть его стихи.

Учение хуруфи, под влиянием Несими сильно распространившееся в стране османов среди дервишей Бекташи, через пятнадцать лет после завоевания Стамбула привлекло и султана Мехмеда Фатиха: он читал книги Фазлаллаха, говорил о тайнах мира, о вопросах, скрытых в буквах, о тайнах Византии, которые он наблюдал из дворца, где поселился; султан пытался понять, каким образом любая труба, любой купол, любое дерево, на которые он смотрит, могут стать ключом к разгадке тайны другого, подземного мира; когда об этом узнали окружающие султана улемы, они подстерегли хуруфитов, направляющихся к нему, схватили и заживо сожгли их.

В маленькой книжечке, напечатанной в начале второй мировой войны в Хорасане, неподалеку от Эрзурума, Галип увидел на последней странице приписку, из которой следовало (или приписавший хотел, чтобы так думали), что после неудачного покушения

---

[1] Сейид Имадеддин Несими (ок.1369 — 1417) — тюркский поэт, приверженец хуруфизма.

на Баязида II, сына Фатиха, многие хуруфиты были убиты и сожжены; тут же был наивный рисунок, изображающий мучения хуруфитов. На другой странице в такой же примитивной манере были нарисованы горящие на костре с тем же выражением ужаса на лице хуруфиты, которые не подчинились приказу Сулеймана Кануни[1] отправиться в ссылку. В языках пламени, охватившего качавшиеся тела, проглядывало слово «Аллах» с привычными буквами «алиф» и «лим», но странным было то, что из глаз людей, горевших на огне из арабских букв, струились слезы в виде латинских букв «O», «U» и «C». На этом рисунке Галип впервые встретил комментарий хуруфитов по поводу «Алфавитной революции» 1928 года[2], но он не придал этому значения, потому что мысли его были заняты поиском ключа для разгадки тайны, и продолжил изучение материалов из этой коробки.

Галип прочел длинную статью о том, что главное качество Аллаха — это тайна, связанная с «сокрытым сокровищем». Проблема состоит в том, чтобы найти путь и добраться до этой тайны; ведь эта тайна растворена в мире; важно понять, что она содержится везде: в каждой вещи, в каждом предмете, в каждом человеке. Мир — это море взаимосвязей; вкус каждой капли его соли ведет к тайне. Читая статью усталыми покрасневшими глазами, Галип знал, что он проникнет в тайну этого моря.

Поскольку признаки ее есть везде и во всем, тайна — это нечто, присущее любому месту, любому предмету. Читая, Галип очень хорошо видел, как окружающие его предметы становились знаками и его самого, и тайны, к которой он потихоньку приближался; это было как стихи о лике возлюбленной, жемчугах, розах, бокалах с вином, соловьях, русых волосах, огнях в ночи. Занавески, освещенные тусклым светом лампы, старые кресла, полные воспоминаний о Рюйе, тени на стенах, старый телефонный аппарат таили в себе столько историй и значения, что Галип почувствовал, что незаметно для себя, как в детстве, вступил в какую-то игру: он продолжил свои изыскания, испытывая некоторую нерешительность, поскольку совсем как в детстве верил, что сможет выйти из этой пугающей игры, где каждый человек и каждый предмет является копией другого человека и другого предмета, только в том случае, если сможет стать другим.

В начале XVII века некоторые хуруфиты поселились в отдаленных деревнях, покинутых крестьянами, бежавшими от пашей, кадиев, бандитов и имамов во время восстания Джеляля[3], который перевернул вверх дном всю Анатолию. Пытаясь разобрать строки длинной поэмы, рассказывающей о счастливой, наполненной смыслом жизни в этих хуруфитских деревнях, Галип снова вспомнил детство, чудесные дни, проведенные с Рюйей.

В те старые, далекие и счастливые времена помыслы и действия были единым понятием. Неразделимыми были вещи, заполнявшие дома в те райские времена, и мечты об этих вещах. В те годы счастья мечи и перья были продолжением не только наших рук, но и душ. В те времена, когда поэт говорил: «дерево», любой мог оживить настоящее дерево в своем воображении, и не надо было долго трудиться и описывать ветки и листья, чтобы указать на дерево в саду. В те времена каждый хорошо знал, что вещи и слова, обозначающие их, очень близки друг к другу, и когда по утрам на эту призрачную деревню спускался туман, вещи и слова, их определяющие, сливались воедино. Проснувшиеся в те туманные утра не могли отделить сон от яви, поэзию от жизни, людей от их имен. В те времена жизнь и истории были настолько подлинными, что никому не приходило в голову спрашивать, что есть жизнь, а что истории. Сны переживались, жизнь толковалась. В те времена лица людей, как и всё вокруг, были настолько наполнены смыслом, что даже те, кто не знал грамоты и уподоблял начертание букв знакомым предметам, незаметно для себя начинали читать написанное на лицах.

Поэт рассказывал о стоящем под вечер на горизонте солнце апельсинового цвета и

---

[1] Сулейман I Кануни (Великолепный) (1495—1566) — османский падишах.
[2] Осуществленный в Турции переход с арабской на латинскую графику.
[3] Шейх Джеляль — туркменский шейх-бунтарь, предводитель восстания против османского владычества (1519). Участников последующих восстаний стали называть джелялй.

галеонах посреди недвижного пепельно-серого моря; у галеонов, несмотря на отсутствие ветра, надувались паруса, и они двигались, оставаясь на том же месте (поэт хотел показать, что в те далекие счастливые времена люди еще не знали времени); далее следовало описание возвышающихся белых мечетей, каждая из которых была как мираж, что никогда не исчезнет с морского берега, и белоснежных минаретов: Галип догадался, что набрел на Стамбул мечты и жизни хуруфитов, который с XVII века и по сей день остается тайной. Он понял, что истинные хуруфиты прожили свой золотой век в Стамбуле. И еще он понял, что годы его счастья с Рюйей остались позади. Золотой и счастливый век хуруфитов, видимо, был недолог. Потому что, как прочитал Галип, сразу после золотого века, когда тайну было легко разгадать, наступили времена всеобщей смуты, тайна стала исчезать, и все люди, так же как хуруфиты из пустых деревень, чтобы поглубже запрятать смысл некоторых понятий, стали готовить эликсиры из крови, яиц, экскрементов и волосков, с которыми связывали надежды, а кое-кто, чтобы упрятать тайны, стал из своих домов в укромных уголках Стамбула рыть подземные коридоры. Эти оказались самыми удачливыми и уцелели; другие участвовали в янычарских бунтах и потому были схвачены и повешены на деревьях, и когда намыленные петли сжимались на их шеях, буквы на их искаженных лицах тоже искажались; ашуги[1] с сазами ходили по ночам в обители на окраинах города, чтобы шепотом поведать тайны хуруфитов, но наталкивались на стену непонимания. Все это подтверждало, что золотой век тайных уголков Стамбула и далеких заброшенных деревень, к несчастью, закончился.

Дойдя до последней страницы старинной книги стихов, края которой были изгрызены мышами, а в некоторых углах приятной на ощупь бумаги разрастался влажный зеленоватый грибок плесени, Галип увидел приписку, указывающую, что более подробные сведения на эту тему можно найти в другом издании. На последней странице между аккуратными строками стихов и датами набора и сдачи в печать, а также адресами типографии и издательства наборщик мелкими буквами вписал длинное корявое предложение, из которого следовало, что выпущенная в Хорасане, недалеко от Эрзурума, «Тайна хуруфитов и ее забвение» — седьмая книга серии и написана она Ф. М. Учунджу, о котором с похвалой отозвался стамбульский журналист Селим Качмаз.

Галип лихорадочно стал рыться в ворохах бумаг, журналов и газет в поисках указанной книги. В конце концов он нашел ее среди газетных вырезок начала шестидесятых годов, неопубликованных полемических статей и странных фотографий. Была глубокая ночь, и стояла пугающая безнадежная тишина, какая бывает, когда объявляется чрезвычайное положение и на улицах города вводится комендантский час.

Внешне книга напоминала часто издаваемые в те годы патриотами-военными книжки типа «Почему мы два века не можем догнать Запад?» или «Как нам выбраться из нищеты?». И посвящение в ней было типичное для книг, издаваемых в провинциальных городах Анатолии на деньги авторов: «Слушатель военного училища! Только ты можешь спасти Родину!» Однако, начав листать ее, Галип понял, что перед ним совершенно иное сочинение. Он поднялся с кресла, перешел к столу Джеляля и, поставив локти с двух сторон книги, начал внимательно читать.

«Тайна хуруфитов и ее забвение» состояла из трех глав. Первая называлась «Тайна хуруфитов» и открывалась описанием жизни Фазлаллаха, основателя учения хуруфи. М. Ф. Учунджу внес в рассказ светскость, описал личность Фазлаллаха не только как суфия и мистика, но и как мыслителя, философа, математика, лингвиста. Насколько он был пророком, спасителем, праведником, мучеником, настолько же, а может, и больше, он был гением, тонко думающим философом; и весьма своеобразным человеком. Поэтому толкование идей Фазлаллаха, как это делают западные ориенталисты, с помощью пантеизма, пифагоризма или кабалистики, означает не что иное, как убийство Фазлаллаха западной философией, против которой он выступал на протяжении всей своей жизни. Фазлаллах был абсолютно восточным человеком. По мнению М. Ф. Учунджу, Восток и

[1] Ашуг — народный поэт-музыкант на Востоке.

Запад разделили мир пополам, и половины эти кардинально расходились в оценке таких понятий, как добро и зло, белое и черное, ангел и дьявол, отрицали взгляды друг друга, находились в неизменном противостоянии. Вопреки желаниям фантазеров, не было никакой возможности сблизить эти два мира, сделать так, чтобы они жили в согласии. Один из двух миров всегда господствовал; один всегда был господином, а это значит, что другой вынужден был быть рабом. В подтверждение этой нескончаемой войны близнецов был приведен ряд исторических событий, полных особого смысла: от гордиева узла (автор писал: «то есть шифра»), разрубленного ударом меча Александра Македонского, до крестовых походов, от двусмысленных букв и цифр на волшебных часах, посланных Гаруном ар-Рашидом Карлу Великому, до перехода Ганнибала через Альпы, от победы ислама в Андалусии (целая страница была посвящена количеству колонн в мечети Кордовы) до завоевания султаном Мехмедом Фатихом Византии и Стамбула, от падения Хазарского каганата до поражения османов сначала у Доппио (Белая Церковь), а потом в Венеции.

Ф. М. Учунджу считал, что все эти исторические события указывали на важный момент, о котором в завуалированном виде давно писал в своих произведениях Фазлаллах: периоды столкновения Запада и Востока не случайны, они закономерны. В этих столкновениях побеждал тот из двух миров, который в данный исторический момент видел мир полным тайн и двусмысленных загадок. А те, кто видел мир простым, однозначным, не имеющим тайн, были обречены на поражение и, как неизбежный результат поражения, — рабство. Вторую главу под названием «Забвение тайны» Ф. М. Учунджу посвятил подробному описанию того, как была забыта тайна. Тайна воплощала сущность самого бытия: это могла быть «идея» античной философии, «бог» христиан и неоплатоников, индийская «нирвана», «птица Симург» Аттара, «любовь» Мевляны, «скрытое сокровище» хуруфитов, «ноумен» Канта или то, что раскрывало преступника в детективном романе. А значит, считал Ф. М. Учунджу, забвение цивилизацией тайны следует понимать как лишение основы мышления.

Далее Ф. М. Учунджу приступал к самой главной для хуруфитов теме: буквы и лица. Он, как и Фазлаллах в своем «Джавидан-наме»[1], считал, что скрывающийся Всевышний проявляется на человеческом лице, долго исследовал линии на человеческом лице и связал эти линии с арабскими буквами. После несколько наивных рассуждений о длинных стихах поэтов-хуруфитов Несими, Рафии, Мисали, Рухи Багдатлы и Гуль Баба автор приходил к логичному выводу: в дни счастья и побед лица у всех нас осмысленны, как мир, в котором мы живем. Этот смысл нам раскрыли хуруфиты, видящие тайну в мире и буквы на наших лицах. Забвение учения хуруфи означает, что пропадают буквы на наших лицах и тайна в мире. Теперь наши лица пусты, нет возможности читать их, как раньше, наши брови, носы, глаза, взгляды, выражения лиц бессмысленны. Галипу хотелось встать и рассмотреть в зеркале свое лицо, но он продолжал внимательно читать.

Когда искусство фотографии попыталось запечатлеть лица артистов, то результат получился пугающий: лица арабских, турецких, индийских кинозвезд выглядели странной топографической картой, заставляющей думать о невидимой поверхности луны; на них была пустота. Именно она делает несчастных, одиноких людей, заполняющих улицы Стамбула, Дамаска или Каира, похожими друг на друга, как призраки; мужчины с одинаково сдвинутыми бровями отпускают одинаковые усы, а женщины, одинаково покрывающие головы, одинаково смотрят перед собой, шагая по грязным мостовым. Видимо, надо создать новую систему, чтобы придать смысл нашим лицам, изобрести новый метод, который позволит читать на лицах латинские буквы. Вторая глава кончалась сообщением, что попытка создания такой системы будет сделана в третьей главе под названием «Разгадка тайны».

Галипу понравился этот Ф. М. Учунджу, который употреблял двусмысленные слова и играл ими с детской непосредственностью. Было в нем что-то напоминающее Джеляля.

---

[1] «Книга о бесконечности». Джавидан — бесконечный *(перс.)*.

Долгая партия в шахматы

Гарун ар-Рашид время от времени, переодевшись, бродил по Багдаду: он хотел знать, что думает народ о нем и его правлении. И вот сегодня вечером...

Из «Сказок тысячи и одной ночи»

Недавно в руки моего читателя, который не пожелал назвать своего имени, неведомыми путями, благодаря случайному стечению обстоятельств, попало письмо, проливающее свет на темные моменты одного из периодов нашей истории, называемого переходом к демократии. Из письма видно, что оно было написано диктатором того времени одному из своих отпрысков, находящемуся за рубежом; привожу это письмо полностью, не меняя стиля паши.

Шесть недель назад в ту августовскую ночь была такая жара и духота даже в комнате, где умер основатель нашей Республики, что остановились не только золотые часы на подставке, показывая время смерти Ататюрка — четверть десятого (забавно, как это обстоятельство поражало мою покойную маму), но казалось, от ужасающей жары остановились все часы в Долмабахче[1], все часы в Стамбуле, прервался ход времени, ход мысли. Обычно колышущиеся занавески на окнах, выходящих на Босфор, висели совершенно неподвижно; часовые на набережной в полутьме стояли как манекены, и не потому, что я приказал, а потому, что жизнь остановилась. Почувствовав, что пришло время сделать наконец то, что мне так давно хотелось, я достал из шкафа крестьянские одежды. Выскальзывая из дворца через дверь гарема, которой давно никто не пользовался, я, чтобы приободриться, напомнил себе, что в течение пяти веков многие падишахи выбирались через эту дверь и через задние двери других стамбульских дворцов — Топкапы, Бейлербейи, Йылдыз, растворялись во тьме жизни, по которой они тосковали, а потом возвращались обратно живыми и невредимыми.

До чего же красив Стамбул! Оказывается, окна моего бронированного «шевроле» не пропускали не только пули, но и настоящую жизнь города, нашего замечательного города. Выйдя за стену дворца, по дороге в Каракёй я купил халву, которая оказалась чересчур сладкой. В кофейнях мужчины играли в нарды, карты, слушали радио, и я разговаривал с ними. Я видел проституток, поджидающих клиентов у кондитерских лавок, и детишек-попрошаек, показывающих на еду в витринах закусочных. Во дворе мечети я смешался с толпой, вышедшей после вечернего намаза, грыз семечки и пил чай со всеми, усевшись в саду семейной чайханы. В переулке, мощенном крупным булыжником, я встретил молодых родителей, возвращающихся из гостей; надо было видеть, как крепко прижалась женщина с покрытой головой к мужу, несущему на руках спящего ребенка. У меня даже слезы навернулись на глаза.

Нет, я не думал о том, насколько счастливы или несчастны эти люди; в ту ночь свободы и мечты я стал свидетелем бедной, но настоящей жизни моих подданных, и во мне росло ощущение, будто я долго жил вне реальности, а теперь вдруг очнулся ото сна. Глядя на Стамбул, я старался избавиться от печали и страха, которые переполняли меня. Глаза мои увлажнялись, когда я смотрел на витрины кондитерских лавок или наблюдал за толпой людей, вернувшихся последними рейсами красивых пароходов.

Приближался установленный мною комендантский час. На обратном пути мне захотелось почувствовать прохладу воды, и в Эминёню я подошел к лодочнику, дал ему пятьдесят курушей и попросил довезти меня не торопясь до Каракёя или Кабаташа[2]. «Ты что, совсем одурел? — воскликнул лодочник. — Ты разве не знаешь, что каждую ночь в этот час наш Великий Паша совершает прогулку на моторке и всех, кого застанет на воде, бросает в тюрьму?» Я протянул ему пачку розовых банкнот, про которые, как я хорошо

---

[1] Дворцовый комплекс на берегу Босфора, построенный в XIX в., последняя резиденция турецких султанов.

[2] Район на берегу Босфора.

знал, мои недруги распускали всякие сплетни из-за того, что на них был мой портрет: «Если поплывем, покажешь мне моторку Великого Паши?» Он схватил деньги и указал место в носовой части лодки: «Прикройся этими тряпками и не шевелись! Да спасет нас Аллах!» Он начал грести.

Не знаю, куда мы направились в темноте: к Золотому Рогу или к Мраморному морю? Море, как и темный город, было спокойно и безмолвно. На том месте, где я лежал, я чувствовал едва различимый, слабый запах тумана. Услышав вдалеке шум мотора, лодочник сказал тихо: «Ну вот, плывет! Каждую ночь плавает!» Мы причалили к мосткам, заросшим мидиями, и в нашу сторону устремился яркий луч света, совершенно ослепивший меня; луч гулял по городу, берегу моря, мечетям, прыгал в разные стороны. Потом я увидел медленно приближающееся белое судно; на палубе выстроились часовые в спасательных жилетах и с оружием; наверху, на капитанском мостике толпа, и среди нее на возвышении — одинокий «Великий Паша». Он был в тени, и я едва различал его фигуру на движущемся судне, но все же сумел рассмотреть, что одет он так, как одевался я. Я попросил лодочника следовать за судном, но тщетно: он сказал, что вот-вот начнется комендантский час, что он не враг себе, и высадил меня в Кабаташе. По опустевшим улицам я дошел до дворца и тихонько пробрался в свои покои.

Ночью я думал о нем, о похожем на меня лжепаше, но меня не интересовало, кто он или что делает на море, просто это был повод подумать о самом себе. Утром я приказал сократить на 60 минут комендантский час: мне казалось, так я смогу лучше проследить за ним. Я выступил по радио и сообщил народу о сокращении комендантского часа. Кроме того, чтобы создать видимость смягчения обстановки, я приказал выпустить из тюрем часть заключенных.

Было ли в Стамбуле больше веселья на следующий день? Нет! Это доказывает, что глубокая печаль моего народа не следствие политического давления, как это утверждают мои оппоненты, а имеет иные, более глубокие корни. На следующий вечер народ, как и накануне, курил сигареты, грыз семечки, ел мороженое, а в кофейнях рассеянно слушал мое выступление по радио; но как они, эти люди, были естественны! Находясь среди них, я страдал, как лунатик, который не может вернуться в реальность, оттого что не в состоянии проснуться. В Эминёню я увидел лодочника, который, казалось, ждал меня. Мы сразу вышли в море.

На этот раз ночь была ветреная, море волновалось. «Великий Паша» заставил себя ждать, он опаздывал, словно получил какое-то предупреждение. Мы причалили опять возле Кабаташа, и я стал наблюдать: сначала за судном, потом за самим «Великим Пашой». Я подумал, что он красив: можно ли поставить рядом два слова — красивый и настоящий? Он снова возвышался над всеми на капитанском мостике, и глаза его были устремлены на Стамбул, на людей, словно он вглядывался в историю. Что он видел?

Я сунул лодочнику пачку розовых купюр, он налег на весла. Качаясь на волнах, мы догнали их в районе Касымпаша, неподалеку от судоверфи, где они высадились на берег: рассевшись по черным и синим автомобилям, среди которых был и мой «шевроле», они вмиг растаяли во тьме Галаты[1]. Лодочник стал волноваться, что мы опоздаем, нарушим комендантский час.

Ступив на землю после довольно долгой качки, я решил, что чувство нереальности возникло у меня из-за того, что я нетвердо стою на ногах, но оказалось: нет. В этот поздний час, когда я шел по пустынным — в соответствии с моим приказом — улицам, все вокруг выглядело настолько нереально, что мне почудилось то, что, я считал, можно увидеть лишь во сне. На дороге от Фындыклы[2] до Долмабахче бегали только своры собак. Но вдруг откуда-то появился продавец кукурузы; он со страхом посматривал в мою сторону и торопливо толкал тележку шагах в двадцати от меня. Я понимал, что он боится и убегает, мне хотелось сказать: меня не надо бояться, опасность — за аллеей каштанов, на большой дороге; но я был словно во сне и не мог ничего сказать, а оттого, что не мог

[1] Галата — район в центре Стамбула.
[2] Район в европейской части Стамбула.

ничего сказать, мне самому было страшно, и оттого, что мне было страшно, я не мог ничего сказать. Я знал, что страшное — за деревьями, которые медленно проплывали мимо нас; я ускорил шаг, продавец кукурузы, глядя на меня, тоже заторопился; это было какое-то наваждение, что именно это было, я не знаю, знаю только, что это не было сном.

Утром я потребовал, чтобы комендантский час отодвинули на более позднее время: мне не хотелось еще раз пережить ночные страхи. И снова выпустили часть заключенных. На сей раз я даже ничего не объяснял; по радио передали одно из моих старых обращений.

Я уже знал, что в городе от моих новых распоряжений ничего не изменится, и оказался прав: некоторые кинотеатры ввели более поздние сеансы, вот и все. Остальное было как прежде: розоватые от краски руки продавцов сахарной ваты, белые лица западных туристов, которые, правда с сопровождающими, осмелились выйти на улицы города в вечерний час.

Своего лодочника я нашел на том же месте. Вскоре после выхода в море мы увидели лжепашу. Погода была спокойная, как в первый вечер, только тумана не было совсем. В темном зеркале воды я видел минареты, огни города; было довольно светло, и я отчетливо различал пашу на мостике; он был настоящий. И, как всякий реально существующий человек, в эту светлую ночь паша увидел нас.

Наша лодка приткнулась к пристани Касымпаша следом за его судном. Я тихонько выбрался на берег, но меня тут же схватили люди, больше похожие на бандитов, чем на военных: «Ты что здесь делаешь в такое время?» Я отвечал им, что комендантский час еще не наступил; я бедный крестьянин, остановился в гостинице в Сиркеджи и, прежде чем вернуться в деревню, решил покататься на лодке. Я не знал о запрете паши. Но трусливый лодочник все рассказал людям «Великого Паши», а те передали ему. Он был в «гражданской» одежде, но все равно очень походил на меня, а я в своей одежде — на крестьянина. Паша лично выслушал нас, лодочника отпустил, а мне приказал ехать с ним.

Мы сели на заднее сиденье «шевроле» и выехали из порта, мы были с «Великим Пашой» один на один. Шофер был отделен от нас звуконепроницаемым стеклом — в моем «шевроле» этого не было, — так что мы были совсем одни.

— Мы оба долго ждали сегодняшнего дня, — сказал «паша» голосом, который показался мне совершенно не похожим на мой, — только я ждал, зная, что жду, а ты — не зная. Но оба мы не думали, что встретимся вот так.

Он говорил немного взволнованно, немного устало, радуясь не столько тому, что может наконец поведать свою историю, сколько тому, что ее можно завершить. Оказывается, мы учились на одном курсе в военном училище. Ходили на одни и те же занятия к одним и тем же преподавателям. Зимними холодными ночами поднимались вместе по тревоге, в жаркие летние дни вместе караулили, когда из кранов в нашей каменной казарме потечет вода. В дни увольнений гуляли по Стамбулу, который очень любили. Он еще тогда понял, что все будет происходить так, как происходит сегодня.

Оказывается, в те времена мы с ним вели тайную борьбу за лучшую отметку по математике, за меткое попадание на учебных стрельбах, за любовь наших товарищей, за первенство в классе, за лучший аттестат; еще тогда он понял, что я буду удачливее его и что его мать, теперь уже покойная, глядя на остановившиеся часы, будет поражена тем, что я буду править во дворце. Я сказал ему, что наша борьба и в самом деле была тайной, поскольку в годы учебы в училище я не соревновался ни с кем из однокашников и всех призывал не соревноваться, а его я вообще не помню как своего товарища. Он не удивился. Сказал, что я был слишком уверен в себе и не замечал этой борьбы, страдал от нее он, поскольку понимал, что я очень, очень сильно опередил одноклассников, учащихся более старших курсов, лейтенантов и даже майоров; он же не хотел быть моим подражателем, не хотел быть бледной тенью: он хотел быть «настоящим». Пока он все это рассказывал, я смотрел из окна «шевроле» — его машина не была точно такой же, как моя,— на пустынные улицы Стамбула. Иногда я переводил взгляд на наши колени и вытянутые в одинаковой позе неподвижные ноги.

Он сказал, что в его расчетах не было места случайности. Не нужно было быть ясновидцем, чтобы в те времена предположить, что бедный наш народ через сорок лет склонит голову перед диктатором, сдаст ему Стамбул и что этим диктатором станет военный нашего возраста, и, скорее всего, это буду я. Он четко представил свое будущее: или в призрачном Стамбуле будущего, где я буду Великим Пашой, он, как все, станет призрачной тенью, мечущейся в неумолимом настоящем между мечтами прошлого и будущего, между действительностью и неопределенностью, или он посвятит свою жизнь поиску нового пути, чтоб хотя бы попытаться стать кем-то. Он стал рассказывать, что в поисках этого пути совершил проступок достаточно серьезный, чтобы его уволили из армии, и в то же время не такой тяжкий, чтобы быть отданным под суд: он подстроил так, что его застали, когда он, переодетый в форму начальника училища, проверял ночные караулы; только теперь я вспомнил этого неприметного слушателя. Когда его выгнали из училища, он занялся торговлей. «В нашей стране каждый знает, что это самый легкий путь стать богатым!» — сказал он с гордостью. По его словам, люди у нас бедны оттого, что всю жизнь их учат быть бедными, а не богатыми. Немного помолчав, он добавил: «Я показал людям, как надо жить! А ты?! — Он сделал ударение на последнем слове. — После стольких лет ожидания я с удивлением вижу, что ты такой же ненастоящий, как и я! Бедный крестьянин!»

Наступила долгая пауза. В подлинном костюме крестьян Кайсери[1], который отыскал мой адъютант, я чувствовал себя не столько смешным, сколько ненастоящим, словно я жил во сне, чего мне совершенно не хотелось. Но в то же время я понял, что сон этот рожден видом Стамбула, проплывавшего за окнами, как в замедленной съемке: пустые мостовые и тротуары, безлюдные площади — город будто вымер с началом назначенного мной комендантского часа.

Я уже знал, что мой заносчивый однокурсник показал мне всего-навсего созданный мною город-сон. Среди маленьких деревянных домов, теряющихся под громадными кипарисами, мы проехали через окраинный квартал с кладбищем. Мы ехали по улицам с сухими фонтанами, разрушенными стенами, разбитыми трубами — я думал, что такое могу увидеть только во сне; с непонятным страхом я смотрел на мечети, дремлющие во тьме, как сказочные великаны, площади с бассейнами без воды, заброшенными памятниками и остановившимися часами, и это убеждало меня, что время остановилось не только в моем дворце, но и во всем Стамбуле. Я не слушал рассказа о том, как он подражал мне, каких успехов в торговле добился, вспомнил он и подходящие к нашей ситуации истории (рассказ о старом пастухе, заставшем жену с любовником, и рассказ о Гаруне ар-Рашиде, потерявшемся в одну из ночей «Тысячи и одной ночи»). Еще он рассказал сон Мевляны под названием «конкурс рисунка».

Утром передали по радио написанное мной сообщение об аресте и освобождении этого тщеславного человека; именно об этом сообщении у тебя, как ты пишешь, спрашивали наши западные друзья: что за этим кроется? Лежа в постели и стараясь уснуть после бессонной ночи, я мечтал, что пустые площади вновь наполнятся народом, остановившиеся часы снова пойдут, а в кофейнях, где грызут семечки, на мостах, в кинотеатрах начнется жизнь, не мечта, не сон, а реальная жизнь. Не знаю, насколько мне удается осуществлять мои мечты, но хорошо понимаю, что свобода, как это всегда бывает, дала толчок не столько претворению в жизнь моих идей, сколько вдохновению моих врагов. И снова в чайханах, в гостиничных номерах, под мостами собираются люди и что-то замышляют против нас; на стенах дворца по ночам появляются надписи, смысл которых трудно понять; но это все не важно: времена, когда падишахи, переодевшись, ходили «в народ», давно прошли.

На днях я прочитал, что Явуз Султан Селим, когда был наследником, переоделся, отправляясь в Иран, в одежды дервиша. Он прославился в Иране игрой в шахматы, и Шах Исмаил, интересовавшийся шахматами, пригласил молодого дервиша во дворец. После

---

[1] Город в центральной части Анатолийского полуострова.

продолжительной партии Явуз победил Шаха. Я подумал: когда годы спустя Шах Исмаил понял, что победивший его человек был не дервиш, а османский император, отобравший у него Тебриз во время похода на Чалдыран, вспомнил ли он ходы той партии? Я помню все ходы моего надменного подражателя. Кстати, мне больше не присылают шахматный журнал «King and Pawn», видимо, кончилась подписка; посылаю деньги на твой счет в посольстве, возобнови подписку.

Разгадка тайны

Глава, в которой читается и толкуется содержание лица.

Ниязи Мысри[1]

Перед тем как приступить к чтению третьей главы книги «Тайна хуруфитов и ее забвение», Галип заварил крепкий кофе. Чтобы прогнать сон, он пошел в ванную, вымыл лицо холодной водой, однако удержался и не взглянул в зеркало. Садясь с чашкой кофе за рабочий стол Джеляля, он был исполнен энтузиазма, как лицеист, намеренный справиться с задачей, долго ждавшей решения.

По мнению Ф. М. Учунджу, в те дни, когда в Анатолии, в турецких землях, ожидалось пришествие Махди, который спасет весь Восток, главным было соотнести линии на человеческих лицах с двадцатью девятью буквами латинского алфавита, введенного в Турции в 1928 году: только так можно было открыть забытую тайну. На основании преданных забвению книг хуруфитов, песнопений бекташи, рисунков жителей Анатолии, легенд о призрачных хуруфитских деревнях, тысяч фигурок и линий, начертанных на стенах обителей и дворцов пашей, он привел примеры того, как изменились некоторые звуки при переходе от арабского и персидского к турецкому языку, а потом совершенно определенно показал новые буквы на фотографиях некоторых людей. Глядя на фотографии, о которых автор написал, что для понимания ясного смысла на этих лицах нет даже надобности видеть на них латинские буквы, Галип испытал некоторый ужас, как при разглядывании фотографий, собранных Джелялем. На фотографии самого Джеляля, когда ему было тридцать пять лет, Ф. М. Учунджу увидел на носу букву «U», в уголках глаз буквы «Z», а на всем лице лежащую на боку букву «H». Быстро перелистав несколько страниц, Галип увидел портреты и фотографии хуруфитских шейхов, знаменитых имамов, людей, посетивших другой мир и вернувшихся в этот, американских кинозвезд, чьи лица были полны глубокого смысла, таких, как Грета Гарбо, Хамфри Богарт, Эдуард Робинсон[2] и Бетт Дейвис, знаменитых палачей и бандитов Бейоглу, о похождениях которых в молодости писал Джеляль. Далее автор объяснял, что каждая указанная буква имеет два смысла: собственный смысл буквы и скрытый смысл буквы на лице.

Так как мы соглашаемся, что у каждой буквы есть скрытый смысл, указывающий на какое-то понятие, рассуждал далее Ф. М. Учунджу, то у каждого слова, созданного из этих букв, должен быть второй, скрытый смысл. Точно так же второй, скрытый смысл есть у каждого предложения, абзаца, короче, у всего написанного. В результате получается бесконечная цепочка скрытых смыслов, и путем толкования можно во втором смысле открыть третий, а потом каждый последующий — в предыдущем. Это можно уподобить сети городских улиц, когда одна выходит на другую, а та — на следующую. Таким образом, читатель, который в меру своих знаний решался разгадать тайну, путешествуя с карандашом в руке по улицам на карте, ничем не отличался от того, кто совершал реальное путешествие по городу. Так вот, ожидаемый Спаситель, «Он», Махди, появится в том месте, где потеряются в глубинах тайны читатели, любители историй. Путник, полу-

---

[1] Ниязи Мысри (1617 —1693) — турецкий поэт-мистик.
[2] Эдуард Робинсон (1893—1973) — американский киноактер.

чивший знак от Махди — в тексте или в реальной жизни, — с помощью ключа и шифра начнет искать свой путь в точке, где пересекаются и сливаются карты и лица. Это как искать нужный адрес по табличкам и указателям на улицах и проспектах, добавлял Ф. М. Учунджу с наивной радостью. Стало быть, проблема состояла в том, чтобы увидеть в жизни и написанных текстах знаки, которые подаст Махди.

Читателя, готового вместе с ним строить предположения о грядущем, автор просил представить себе человека, который в любой момент может обратиться к широким читательским массам. «Например, журналист», — писал он. Журналист, ведущий постоянную рубрику в крупной газете, статьи которого каждый день читают сотни тысяч людей во всех уголках страны, на пароходах, в автобусах, маршрутных такси, кофейнях и парикмахерских, имеет возможность оповестить о тайных знаках Махди, указывающих путь. Для тех, кто не знает тайны, в его статье будет только один, ясный смысл, лежащий на поверхности. Но те, кто ждет Махди, кто знает шифры и знаки, увидят второй смысл букв, сумеют прочитать тайное послание и отправятся в путь. Кстати сказать, если в статье появятся слова Махди: «Я думаю об этом, когда смотрю на себя со стороны...», то обыкновенный читатель задумается лишь о странности этой фразы, но те, кто знает о тайне букв, сразу поймут, что эти слова — известие, которого они ждали, и, расшифровав его, отправятся в путь к новой, совершенно новой жизни.

Название третьей главы «Разгадка тайны» подсказывало не только, что найдена разгадка тайны того, что толкало Восток в рабство к Западу, но и указывало на то, что она содержится в посланиях Махди.

Далее Ф. М. Учунджу критиковал толкование шифров, предложенное Эдгаром По в его сочинении о тайных письменах, и сообщал, что метод измененного порядка алфавита ближе всего к методу, которым пользовались Халладж-и-Мансур в шифрованных письмах и Махди в своих посланиях; в заключение автор подводил неожиданный итог: отправная точка всех шифров, всех разгадок есть буквы, которые путник прочтет на своем лице. Тот, кто хочет отправиться строить новый мир, должен сначала увидеть буквы на своем лице. Скромная книжица, которую Галип держал в руках, была руководством для читателя, помогающим найти буквы на лице каждого человека. Это был первый шаг к постижению знаков и шифров, позволяющих добраться до тайны. Махди сумеет разместить их в текстах, доступных понимающим, и он, конечно же, явится скоро. Это будет подобно восходу солнца.

Галип вспомнил, что «солнцем» Мевляна называл своего убитого возлюбленного Шемса, отложил прочитанную книгу и пошел в ванную, чтобы посмотреться в зеркало. Неясное смятение, бродившее в нем, теперь превратилось в откровенный страх: «Джеляль давным-давно прочитал смысл моего лица! Я стал совсем другим!» — подумал Галип; в этот миг, с одной стороны, он был играющим ребенком, а с другой — путником, отправившимся в путешествие, из которого нет возврата.

Было двенадцать минут четвертого, в городе царило сказочное безмолвие, которое могло быть только в этот час. Скорее это было ощущение безмолвия, потому что полной тишины не было: в ушах стоял неясный звук, издаваемый то ли близкой котельной, то ли машинами плывущего вдали парохода.

Уже три дня ему не давала покоя одна мысль: если Джеляль не послал в газету новую статью, то с завтрашнего дня его рубрики не станет. Ему даже думать не хотелось, что существовавшая много лет рубрика вдруг исчезнет: ему казалось, что, если новая статья не появится, это будет означать, что Рюйя и Джеляль, которые разговаривают и смеются сейчас неизвестно где, перестанут ждать Галипа. Он достал наугад из шкафа одну из старых статей и, читая ее, подумал: «Я тоже могу так написать!» У него ведь теперь был рецепт, нет, не тот, что дал ему три дня назад в редакции пожилой журналист, совсем другой. «Я знаю все, все его статьи, я их прочитал». Последнее слово он произнес вслух, принимаясь читать еще одну статью. Впрочем, это даже нельзя было назвать чтением; он пробегал по написанному глазами, произносил про себя слова, пытаясь проникнуть во второй смысл слов и букв, и по мере чтения чувствовал, как все больше и больше

приближается к Джелялю. Что есть чтение, если не постепенное постижение сознания другого человека?

Он снова отправился в ванную и стал читать в зеркале буквы на своем лице.

Спустя месяцы, каждый раз, когда Галип усаживался за стол в этом доме, чтобы писать очередную статью среди вещей, упорно хранивших прошлое, он вспоминал тот миг, и в голову приходило единственное слово: ужас. В первый момент, когда он, взволнованный игрой, посмотрел в зеркало, у него не возникло страха перед ассоциациями, которые могло вызвать это слово. Он ощутил только внутреннюю пустоту: никаких воспоминаний, никаких эмоций. Глядя на себя, как на фотографии премьер-министров и кинозвезд в газетах, он не думал, что разгадывает тайну, распутывает тайную игру, заняться которой хотел много дней; он просто смотрел на свое лицо, как на старое пальто, к которому привык, надевая его каждый день, как на привычное зимнее утро или старый зонтик, на который смотрят, не замечая его. Спустя какое-то время Галип подумает: «Я тогда настолько привык жить с самим собой, что не замечал своего лица». Однако спокойствие его было недолгим: едва он сумел посмотреть на свое отражение в зеркале с тем же вниманием, с каким много дней смотрел на сотни фотографий, на лице тут же обозначились тени букв.

Странным было прежде всего то, что можно смотреть на собственное лицо словно на лист исписанной бумаги или таблицу со значками, на которой можно было различить буквы, проступившие между глазами и бровями. Через некоторое время буквы приобрели настолько определенные очертания, что Галип задумался: почему он не видел их прежде? Может, это видение от усталости, от многочасового разглядывания букв на фотографиях; он отходил от зеркала, а когда возвращался к нему, видел буквы на прежних местах: эти буквы, проступив, не исчезали, как фигурки в рисунках-загадках на страницах детских журналов, когда при одном взгляде ты видел ветви дерева, а при другом притаившегося в ветвях вора; эти буквы оставались на своих местах, там, внутри топографии лица, которое Галип рассеянно брил каждое утро, в области носа, где хуруфиты настойчиво размещали «алиф», внутри глаз и бровей, внутри скругленной поверхности, называемой «овал лица». Теперь прочитать их было несложно, сложно было не прочитать. Галип попытался избавиться от нервировавшего его видения на своем лице и пустил в ход придерживаемую на всякий случай в уголке сознания мысль (она пришла к нему, пока он внимательно читал и просматривал фотографии и книги хуруфитов) о том, что все это смешно, это лишь детские игры, все эти буквы и лица и их взаимосвязи надуманны, но изгибы и линии на его лице так четко указывали на некоторые буквы, что он не в силах был оторваться от зеркала.

Все случилось так быстро, он так быстро увидел буквы и слово, на которое они указывали, что впоследствии не мог вспомнить, родилось ощущение ужаса оттого, что лицо его обратилось в маску с обозначенными знаками, или оттого, что он понял смысл, начертанный буквами.

Всякий раз, думая о своем лице, он понимал, что Джеляль не только видел буквы под его глазами, но и знал, что настанет день, когда Галип и сам их увидит; Галип осознавал, что они вместе начали эту игру, но не мог с уверенностью вспомнить, подумал ли он об этом, когда в первый раз разглядывал себя в ванной. У него было странное состояние: он хотел плакать, но не мог, ему было трудно дышать, из горла вырвался стон, который он не в силах был сдержать; рука потянулась к окну.

Открыв окно, он уперся локтями в раму и наклонился вниз, в бездонный колодец простенка: оттуда шел отвратительный запах, запах скопившегося за полвека голубиного помета, выброшенных вещей, домашнего мусора, городского дыма, грязи — запах безнадежности. Сюда бросали то, о чем хотели забыть. Взять да и броситься в невозвратную темень пустоты, нырнуть в воспоминания, от которых у нынешних жителей не осталось и следа, в паутину тьмы, которую терпеливо, годами плел Джеляль, украшая ее мотивами колодца, тайны, загадок старой поэзии; но Галип лишь стоял и смотрел вниз, как пьяный, силящийся что-то вспомнить.

Все было ясно, понятно и определенно. Оценивая свои последующие действия, он нашел их логичными, разумными и необходимыми. Он пошел в гостиную и немного посидел в кресле. Отдыхая, навел порядок на столе Джеляля, аккуратно сложил бумаги, газетные вырезки и фотографии в коробки и убрал их в шкаф. Привел в порядок не только то, что разбросал за два дня пребывания в квартире, но прибрал и за Джелялем: вытряхнул пепельницы, вымыл чашки и стаканы, приоткрыл окна и проветрил квартиру. Умыл лицо, снова заварил крепкий кофе, на чистый стол поставил старую и тяжелую пишущую машинку Джеляля «ремингтон» и сел. Бумага, которой всегда пользовался Джеляль, лежала в ящике стола; он вынул лист, вставил в машинку и тут же начал печатать.

Первую статью он начал словами: «Я подошел к зеркалу и прочитал свое лицо». Вторую: «Наконец во сне я стал человеком, быть которым мечтал столько лет». В третьей он повел речь о старых историях, связанных с Бейоглу. Вторую и третью статьи он написал легче, чем первую, но с большей горечью и надеждой. Он был уверен, что статьи получились именно такие, какие нужны для рубрики Джеляля, и не сомневался, что их напечатают. Под каждой статьей он поставил подпись Джеляля, которую тысячи раз изображал на последних страницах своих школьных и лицейских тетрадей.

Когда рассвело и проехал мусорный грузовик, в котором гремели, ударяясь друг о друга, контейнеры, Галип изучил фотографию Джеляля в книге Ф. М. Учунджу. На одной из страниц увидел также выцветшую фотографию без подписи и решил, что это и есть автор. Он внимательно прочитал биографию Ф. М. Учунджу в начале книги; подсчитал, сколько лет ему было, когда он впутался в неудавшийся военный переворот 1962 года. Если, направившись в чине лейтенанта к первому месту службы в Анатолии, он мог видеть выступления молодого тогда борца Халита Каплана, значит, он был примерно в возрасте Джеляля. Галип просмотрел фотографии выпускников в ежегодниках военного училища за 1944—1946 годы. Он встретил несколько лиц, которые могли бы быть изображением в молодости того человека, чья неподписанная фотография была помещена в книге. Но приметной там была лысая голова, а в военном ежегоднике все были в офицерских фуражках.

В половине девятого, засунув во внутренний карман пиджака три сложенных статьи, он надел пальто и стремительно, как торопящийся на работу отец семейства, вышел из дома Шехрикальп.

Редактор газеты был на совещании с руководителями отделов. Галип постучал в дверь и, немного подождав, вошел в кабинет Джеляля. Со дня его первого прихода здесь ничего не изменилось, все вещи были на своих местах. Он сел за стол Джеляля и начал быстро перебирать ящики: старые приглашения на коктейли, вырезки из газет, которые он видел в прошлый раз, пуговицы, галстук, наручные часы, пустые пузырьки из-под чернил, лекарства и темные очки, на которые в прошлый раз он не обратил внимания. Надев темные очки, он вышел в коридор. Войдя в просторный кабинет редакторов, он увидел что-то писавшего за столом Нешати. Стоящий около него стул, на котором в прошлый раз сидел журналист из иллюстрированного журнала, был пуст. Галип подошел к столу, сел и спросил:

— Вы меня помните?

— Помню! Вы цветок в саду моей памяти, — ответил Нешати, не поднимая головы.

— Память — это сад, чьи слова?

— Джеляля Салика.

— Нет, это слова Ботфолио[1], — сказал старый журналист и посмотрел на Галипа, — из классического перевода Ибн Зерхани. Джеляль Салик, как всегда, своровал. Как вы его темные очки.

— Очки мои, — сказал Галип.

— Стало быть, очки тоже создаются парами, как люди. Дайте-ка посмотреть.

Галип снял и отдал очки. Старик осмотрел очки, надел их и стал похож на одного из

[1] Вымышленное автором лицо.

знаменитых бандитов 1950-х, о которых писал Джеляль, на хозяина казино, публичного дома или владельца заведения, того, что пропал вместе с «кадиллаком». Старик взглянул на Галипа, загадочно улыбаясь:

— Напрасно говорили, что надо уметь иногда смотреть на мир глазами другого человека. Якобы именно тогда человек начинает постигать тайну мира и людей. Вам понятно? Чьи это слова?

— Ф. М. Учунджу, — ответил Галип.

— Ничего подобного. Он просто глупец из числа обездоленных. От кого ты слышал его имя?

— Джеляль сказал, что это один из псевдонимов, которым он много лет пользовался.

— Стало быть, человек, выживая из ума, не только отрицает свое прошлое, но и вспоминает о других, как о себе. Не думаю, что наш ловкач Джеляль настолько впал в маразм. Нет, у него точно здесь какой-то расчет, он сознательно солгал. Ф. М. Учунджу — это реально существовавший человек. Это был офицер, который двадцать пять лет назад буквально завалил нас своими письмами. Одно-два письма мы для приличия опубликовали среди читательских откликов, после чего он стал каждый день приходить в редакцию, как на работу. И вдруг пропал. Двадцать лет его не видели. А неделю назад пришел, сверкая своей лысиной, явился, чтобы увидеться со мной, оказывается, он восхищен моими статьями. Он был грустен и сообщил, что проявились «знаки».

— Какие знаки?

— Ладно, ладно, уж ты-то знаешь. Или Джеляль ничего не говорил? Время настало, знаки появились, начинаются уличные волнения, грядет светопреставление, революция, спасение Востока, а?

— Позавчера мы с Джелялем вспоминали вас в связи со всем этим.

— Где он прячется?

— Я не помню.

— Сейчас идет заседание редколлегии, — сказал Нешати, — твоему дяде Джелялю дадут от ворот поворот, потому что он не приносит новых статей. Скажи ему, что они собираются предложить мне его рубрику на второй странице, но я откажусь.

— Позавчера, когда Джеляль рассказывал о военном перевороте начала 60-х годов, к которому вы оба имели отношение, он говорил о вас с большой теплотой.

— Ложь, — не поверил журналист, — он ненавидит и меня, и всех нас. Джеляль продал переворот. Разумеется, тебе он этого не рассказывал, небось говорил, что это он все организовал, но твой дядя Джеляль принял участие в событиях, как всегда, только после того, как в успехе уже никто не сомневался. А до этого, когда газету только начали рассылать по всей Анатолии, когда, передавая ее из рук в руки, читатели рассматривали рисунки пирамид, минаретов, масонских символов, ящериц, сельджукских куполов, царских русских банкнот и многого другого, Джеляль просто собирал фотографии своих читателей, как дети собирают фотографии артистов. Однажды он написал историю о мастерской манекенов, в другой раз стал говорить о «глазе», который следит за ним на улицах по ночам. Мы поняли, что он хочет присоединиться к нам, и согласились. Мы думали, он будет писать на наши темы в своей рубрике и вовлечет некоторых военных. Где там вовлекать! Вокруг было полно энергичных спекулянтов, любителей наживы, типа твоего Ф. М. Учунджу. Первым делом Джеляль ухватился за них, потом связался с другой сомнительной компанией, которая играла в шифры, знаки и буквы. После каждой встречи, которую он считал новой победой, он приходил к нам и торговался за кресло, которое займет после революции. Чтобы набить себе цену, он говорил, что встречался с представителями некоторых тайных религиозных сект, с ожидающими Махди или с теми, кто получал известия от османских наследников, прозябающих во Франции и Португалии, говорил, что у него есть письма от удивительных людей, но покажет он их нам потом, что посетившие его дома внуки паши или шейха оставили ему рукописи и завещания, полные тайн, что по ночам в газету повидаться с ним приходят странные люди. Все это, всех этих людей он выдумал. В те же дни Джеляль, не знавший толком даже французского язы-

ка, вздумал распространить слух, что после революции он станет министром иностранных дел. Он писал тогда в своей рубрике всякие истории, которые называл завещанием мистического черного человека, он публиковал всякий вздор, где в большом количестве были пророки, Махди, светопреставления, жонглировал словами, сообщая о заговоре, который откроет некую истину, связанную с нашей историей. Я решил, что пора его немного прижать, сел и в своей рубрике написал статью, где раскрыл правду с помощью Ибн Зерхани и Ботфолио. Джеляль оказался трусом! Он тут же ушел от нас и примкнул к другим группам. Говорят, для того, чтобы доказать новым друзьям, более тесно связанным с молодыми офицерами, что люди, которых я назвал выдуманными, существуют на самом деле, он по ночам надевал их одежду. В один из вечеров он появился в кинотеатре в районе Бейоглу в образе то ли Махди, то ли султана Мехмеда Фатиха; он убеждал изумленную толпу в необходимости всему народу сменить одежду и войти в новую жизнь: американские фильмы бездарны так же, как и наши, подражать им не имеет смысла. Он натравливал толпу зрителей на создателей фильмов; он хотел быть лидером. А «Спасителя» ждала тогда, как и сейчас, вся турецкая нация, а не только «бедные мещане», живущие в окраинных кварталах, в домах-развалюхах на грязных улицах, о которых он так часто писал. Все верили, что если произойдет военный переворот, то подешевеет хлеб, а если грешники пройдут через пытки, то откроются двери в рай, верили со всей искренностью и надеждой. Но Джеляль был ненасытен, его одолевала одна забота — привязать всех к себе; из-за этого группы, готовящие переворот, перессорились друг с другом, и вышедшие на улицу танки не отправились ночью к Дому радио, а вернулись к себе в казармы. Результат: мы все еще пожинаем плоды этого, но поскольку нам стыдно перед Западом, мы время от времени устраиваем выборы и ходим голосовать, чтобы иметь право сказать иностранным журналистам, что мы похожи на европейцев. Это вовсе не означает, что у нас нет надежд и никакого пути спасения. Путь спасения есть. Если бы английские телевизионщики захотели поговорить не с Джелялем, а со мной, я бы раскрыл им тайну, как мог бы Восток еще десять тысяч лет оставаться счастливым. Галип, сынок, твой дядя Джеляль — неполноценный человек. Для того чтобы нам быть самими собой, совершенно не обязательно хранить парики, съемные бороды, исторические костюмы. Махмуд I переодевался каждый вечер, но знаешь, что он надевал? Феску вместо падишахского тюрбана и брал в руки трость; вот и все! Нет никакой необходимости, как Джеляль, каждый вечер часами накладывать грим, надевать роскошное или рваное нищенское одеяние. Наш мир — единый мир, он не разорван на части. Внутри этой вселенной есть еще другая вселенная, но это не мир, скрытый за декорациями, как на Западе: приподними занавес, и увидишь истину. Наш скромный мир — повсюду, центра у него нет, на картах он не обозначен. Вот это и есть наша тайна; потому что понять это трудно, очень трудно. Это требует усилий. Много ли найдется у нас умных, которые знают, что вся вселенная ищет их тайну, а они ищут тайну всей вселенной? Только те, кто понимает это, заслуживают права занимать место другого человека и переодеваться в чужие одежды. Единственное, что объединяет нас с твоим дядей Джелялем: я так же, как и он, жалею наших бедных кинозвезд, которые не в состоянии быть ни самими собой, ни кем-то другим. А еще больше я жалею наш народ, который видит себя в этих кинозвездах.

Наш народ мог спастись, даже весь Восток мог спастись, но твой дядя Джеляль продал его из-за своего честолюбия. И вот теперь, испугавшись собственных сочинений, он бежит от этого народа, прихватив с собой странные одеяния. Почему он скрывается?

— Разве вы не знаете, что каждый день на улицах по политическим мотивам убивают чуть ли не пятнадцать человек?

— Это не политические убийства. К тому же если дерутся лжесектанты с лжемарксистами и лжефашистами, что до этого Джелялю? Про него давно все забыли. Скрываясь, он призывает смерть на свою голову, он хочет заставить нас поверить, что он очень важная птица и его могут убить. Во времена правления Демократической партии был у нас один журналист, ныне покойный, он был хорошим, законопослушным и трусливым человеком; чтобы привлечь к себе внимание, он каждый день писал прокурору доносы

на себя; он думал, что против него возбудят дело и он прославится. Но ему было мало, что он сам на себя пишет доносы, так он еще нас обвинял, что их пишем мы. Понимаешь? Джеляль вместе с памятью потерял и прошлое, единственное, что связывало его со страной. Не случайно он не пишет новых статей.

— Он послал меня к вам, — Галип вынул листы из кармана пиджака, — он попросил, чтобы я передал новые статьи для его рубрики.

— Давай.

Пока старый журналист, не снимая темных очков, читал три статьи, Галип увидел в раскрытом томе, лежащем на столе, старый перевод «Замогильных записок» Шатобриана. В дверях показался высокий человек, журналист подозвал его:

— Новые статьи Джеляля-эфенди, — сказал он, — опять то же самое, опять искусство словесности.

— Отправим вниз, пусть немедленно набирают, — отозвался высокий, — а мы уж собирались дать что-то из старых материалов.

— Некоторое время я буду приносить статьи, — сказал Галип.

— А где он? — поинтересовался высокий. — Все его ищут.

— Они оба по ночам занимаются переодеванием, — съязвил старый журналист, кивая в сторону Галипа. Высокий удалился с улыбкой, а старик повернулся к Галипу: — В странных одеждах, масках, в этих очках вы идете на призрачные окраинные улицы по следам привидений и тайн, забытых сто двадцать лет назад, в мечети с рухнувшими минаретами, пустые дома, покинутые обители, в гущу фальшивомонетчиков и наркоманов, не так ли? Ты сильно изменился с тех пор, как мы не виделись, Галип-бей, сынок. Лицо твое побледнело, глаза ввалились, ты стал другим. Стамбульские ночи не кончаются. Призрак, который не может спать, потому что его терзают муки совести за содеянные им грехи. Вы что-то сказали?

— Пойду я, эфенди, дайте очки.

Брат мой

Из всех монархов, о которых я слышала, Гарун ар-Рашид, калиф Багдадский, по-моему, больше всего приближается к Господу в своем понимании истины. Уж он-то, как вам известно, знал толк в маскараде.

Исак Динесен[1]

Не снимая темных очков, Галип вышел из здания газеты «Миллиет» и направился не к своей конторе, а к Капалычарши[2]. Проходя мимо лавок, торгующих товарами для туристов, и дальше, через двор мечети Нуруосмание, он вдруг ощутил груз бессонных ночей, и Стамбул показался ему совсем другим городом. Кожаные сумки, пенковые трубки и кофейные мельницы, которые он увидел на Капалычарши, показались ему не обыденными предметами привычного города, которыми люди пользовались тысячелетиями, а пугающими знаками непонятной страны, куда временно сосланы миллионы людей. «Странное дело, — подумал Галип, продвигаясь по беспорядочным улицам Капалычарши, — после того как я прочитал буквы на своем лице, я не могу верить, что стану самим собой».

На душе у Галипа было покойно, он шел по улицам словно во сне. Всякая чепуха, которую он видел в витринах, лица, попадавшиеся на улицах, впервые показались ему и удивительными, как в его снах, и знакомыми и успокаивающими, как на шумном семейном обеде. Но как только он вступил на узкие улочки Бедестана, крытого рынка, где вит-

---

[1] Исак Динесен — псевдоним датской писательницы Карен Бликсен.

[2] Самый старый и самый большой крытый рынок в Стамбуле.

рины зеленого стекла отражали друг друга, чувство покоя пропало. «Кто-то преследует меня», — встревожился он.

Он не увидел вокруг никого подозрительного, но его охватило чувство медленно и неумолимо приближающейся катастрофы. Он ускорил шаг. Дойдя до улицы, где торговали шапками, он повернул направо, хотел было пройти не останавливаясь мимо букинистических рядов, но вдруг название лавки издательства «Алиф», которое он хорошо знал, показалось ему знаковым. Удивительным было не то, что первая буква имени Всевышнего и арабского алфавита, из которой, согласно хуруфитам, вышли все буквы, а стало быть, и весь мир, была названием лавки, а то, что слово «алиф», как предвидел Ф. М. Учунджу, было написано латинскими буквами.

Ощущение слежки не покидало Галипа, шаги его невольно убыстрялись, а город из спокойного места, со знакомыми знаками и предметами, превращался в пугающий мир, полный опасностей и тайн. Галип понял, что только если он пойдет быстрее, еще быстрее, он сможет оторваться от тени позади себя и избавиться от охватившего его чувства беспокойства.

Стремительно перейдя площадь Беязыт, он пошел по проспекту Чадырджилар, затем свернул на улицу Семавер, только потому, что ему нравилось это название, а потом по параллельной улице Наргиледжи спустился вниз, к Золотому Рогу, и по улице Хаванджи снова взобрался наверх.

Пройдя мимо многолюдного рынка, где продавали ставриду, скумбрию, камбалу, он вышел во двор мечети Фатиха, у которой сходились все улицы. В просторном дворе никого не было, кроме одного человека в черном пальто с черной бородой — как ворона на снегу. На маленьком кладбище тоже было пусто. Дверь мавзолея Фатиха была заперта; Галип через запыленное окно смотрел внутрь, слушая гул города: крики продавцов с рынка, сигналы машин, далекие детские голоса из двора начальной школы, удары молота, звуки моторов, щебет воробьев и карканье ворон на деревьях во дворе, звук проносящихся микроавтобусов, стрекот мотоциклов, стук открывающихся и закрывающихся где-то поблизости окон. Ему вдруг захотелось быть на месте Фатиха Мехмеда, который, благодаря попавшей ему в руки книге хуруфитов, понял, что в этом городе есть тайна, и начал понемногу разгадывать мир, где каждая дверь, каждая труба, каждая улица, каждая арка, каждая чинара означала нечто иное, чем она есть.

«Интересно, если бы хуруфитские книги и хуруфиты не были сожжены в результате заговора, — размышлял Галип, идя по улице Хаттат Иззет в сторону улицы Зейрек, — и падишах постиг тайну города, что он понял бы, бродя по улицам среди византийских построек и глядя, как я сейчас, на разрушенные стены, древние чинары, пыльные улицы, пустыри?» Дойдя до старых жутких зданий табачных складов Джибали, Галип нашел ответ на свой вопрос, собственно, он знал его с того момента, как прочел буквы на своем лице: «Подумал ли бы падишах, впервые увидевший город, что он когда-то уже был здесь?» Сейчас Галип воспринимал Стамбул как только что завоеванный город. Словно он никогда прежде не видел этих грязных улиц, разбитых мостовых, разрушенных стен, серых печальных деревьев, устаревших автомобилей, совсем разбитых автобусов, одинаковых тоскливых морд похожих друг на друга, тощих — кожа да кости — уличных собак.

В автобусе, идущем на Таксим, в который он сел в Ункапаны[1], Галип почувствовал взгляд своего преследователя совсем близко, на затылке, и был поражен, что тот человек успел так быстро сориентироваться и поспеть за ним. Пересев на Таксиме в другой автобус, Галип подумал, что, если ему удастся разговориться со стариком, сидящим рядом, он станет другим человеком и, возможно, избавится от преследующей его тени.

— Интересно, пойдет ли снова снег? — начал Галип, глядя в окно.

— Кто ж знает? — отозвался старик и вдруг вскрикнул: — Смотри!

Галип посмотрел из-под темных очков на то место, куда указывал старик, и ничего не сказал. На мостовой перед самым Домом радио лежал человек, кричали люди, вокруг собиралась толпа любопытных. Образовалась пробка, и пассажиры автобуса, стоящие и

[1] Район в европейской части Стамбула.

сидящие, вытянувшись к окнам, со страхом и ужасом смотрели на лежащее в луже крови тело.

Пробка рассосалась, автобус двинулся дальше, но в нем царило молчание. Галип вышел напротив кинотеатра «Конак». На Анкарском базаре, раскинутом на углу Нишанташи, купил соленого тунца, закуску из баклажанов, язык, бананы, яблоки и быстрыми шагами направился к дому Шехрикальп. Сначала он спустился в квартиру привратника: Камер и Исмаил сидели с маленьким внуком за обеденным столом, покрытым голубой клеенкой, и ели картошку с котлетами; в доме царило такое семейное счастье, какое, по представлению Галипа, бывало лишь в старые времена.

— Приятного аппетита, — пожелал Галип и после некоторого молчания спросил, передали ли они пакет Джелялю.

— Мы звонили, звонили, его дома не было, — объяснила жена привратника.

— Сейчас он наверху. Где пакет?

— Джеляль наверху? Если ты к нему идешь, прихвати квитанции за электричество. — Исмаил встал из-за стола, взял квитанции и стал перебирать их, поднося по одной к близоруким глазам.

Галип вынул из кармана ключ, с которого успел сделать копию, и быстро повесил на пустой гвоздь над батареей. Они не заметили. Взяв пакет и квитанцию, он вышел.

— Пусть Джеляль не беспокоится, я никому про него не говорю, — весело сказала вслед Камер.

Галип впервые с удовольствием вошел в старый лифт дома Шехрикальп: в нем по-прежнему пахло машинным маслом и политурой, и он так же стонал, начиная движение, словно старик с больной поясницей. Зеркало, глядя в которое они с Рюйей мерились ростом, было на месте; Галип не стал смотреть в него, боясь снова испытать ужас, вселяемый в него буквами.

Войдя в квартиру, он едва успел снять и повесить пальто и пиджак, как зазвонил телефон. Перед тем как поднять трубку, он, чтобы быть готовым ко всему, помчался в ванную и несколько секунд смотрел в зеркало, смотрел смело, решительно: все было на своем месте — все, весь мир с его тайнами. «Знаю, — сказал себе Галип, — знаю». Он знал, что услышит голос, предупреждающий о военном перевороте.

— Алло, — сказал он в трубку, — как сегодня тебя зовут? Столько людей скрывается под чужими именами, что я уже боюсь.

— Умное начало, — услышал он в ответ. В голосе была неожиданная для Галипа уверенность. — Дай ты мне имя, Джеляль-бей.

— Мехмед.

— Фатих Мехмед?

— Да.

— Хорошо, я — Мехмед. Я не нашел твоего имени в справочнике. Дай адрес, я приеду.

— Почему я должен дать тебе адрес, который скрываю от всех?

— Потому что я — простой добронамеренный гражданин и хочу успеть предоставить знаменитому журналисту доказательства приближающегося кровавого военного переворота.

— Для простого гражданина ты знаешь обо мне слишком много.

— Я много лет внимательно читал то, что писал ты и что писали о тебе. Так что я знаю даже, что после одной статьи владелец газеты отругал тебя и посоветовал более внимательно относиться к стилю.

— К стилю? Что ты можешь сказать о моем стиле?

— Стиль был для тебя жизнью. Стиль был твоим голосом. Он был твоими мыслями. Свою истинную сущность ты выражал с помощью стиля, причем сущностей было три.

— Какие же?

— Первая — та, что ты называл «моя простая человеческая личность»; ее ты показывал всем, когда садился за семейные обеды и вместе со всеми после них сплетничал,

пуская кольца сигаретного дыма. Этот человек жил твоей повседневной жизнью. Вторая личность — это тот, кем ты хотел быть: эту маску ты увидел на людях, не нашедших себя в этом мире и пытавшихся жить в другом или восторгавшихся теми, кто сумел прикоснуться к волшебству другого мира. Ты писал о своей привычке выдумывать «героя», которым сам хотел бы быть, а потом шепотом разговаривать с ним, ты писал о том, как повторял нашептываемые тебе этим «героем» загадки, словесные игры, насмешки; а иначе ты не выдержал бы тяжести жизни и, как большинство неудачников, забился бы в угол и ждал смерти; ты написал, а я со слезами прочитал это. А твое третье «я» — «объективный стиль, субъективный стиль» — уводило тебя и, конечно же, меня в миры, которые были недоступны двум первым! Я хорошо знаю, что ты писал бессонными ночами, когда не желал никому подражать, но что ты переживал этими ночами, знаешь только ты, брат мой. Мы поймем друг друга, мы должны найти друг друга, мы вместе сменим одежды, дай мне для этого адрес. Дай, умоляю: я тебе сразу принесу мою коллекцию потрясающих лиц, которую я собирал двадцать лет: там есть фотографии ревнивых влюбленных, снятые в момент, когда они уличали друг друга во лжи; бородатых и безбородых сектантов, которых запечатлели в момент, когда они, нарисовав на лицах арабские буквы, совершали тайное богослужение; фотографии курдских повстанцев, на лицах которых не осталось букв после ожога напалмом, и фотографии повешенных в провинции насильников; я добыл их из судебных дел за огромные взятки. Это совсем не похоже на карикатуры: мыльная веревка на шее и вывалившийся язык. Просто буквы на лицах видны более отчетливо. Я знаю теперь, что двигало тобой, когда ты написал в одной из старых статей, что предпочитаешь старых исполнителей казни и палачей. Я знаю, как тебя интересуют шифры, словесные игры и тайнопись; знаю, в какие одежды ты рядился по ночам, смешиваясь с толпой, чтобы отыскать забытую тайну. Знаю, какие игры вы устраивали с твоей сестрой для ее мужа-адвоката, чтобы потом до утра издеваться над всем и всеми и рассказывать правдивые бесхитростные истории, которые сделают нас нами.

Галип положил трубку и отключил телефон. Словно лунатик, бродящий в поисках своих воспоминаний, он снова листал тетради Джеляля, перебирал одеяния; потом надел пижаму Джеляля и, уже когда лежал в его постели, погружаясь в долгий и глубокий сон под вечерний шум, доносившийся с площади Нишанташи, понял еще яснее, чем хорош сон для человека — это возможность забыть, как далек он от идеала, к которому стремится; и еще: во сне легко переплетается то, что мы слышали и чего не слышали,что видели и чего не видели, что знали и чего не знали.

Я просто — преданный читатель

В себе я отразил тебя.

Сулейман Челеби[1]

Заснув в квартире Джеляля днем в среду после двух бессонных ночей, Галип проснулся на рассвете в четверг, хотя это нельзя было назвать полным пробуждением. В промежутке между четырьмя часами утра, когда он встал под звуки утреннего азана, и семью, когда он снова лег, он пребывал в состоянии «между сном и явью», о котором часто писал в статьях Джеляль. Галип попытался вспомнить, что произошло в последнее время.

Как большинство людей, крепко заснувших после долгой бессонницы и чрезмерной усталости и внезапно проснувшихся, он с трудом вспомнил, на чьей постели спит, в чьей комнате, в чьем доме находится и как он сюда попал. Впрочем, нельзя сказать, что ему понадобились слишком большие усилия, чтобы выбраться из приятного забытья.

---

[1] Сулейман Челеби (1351—1422) — турецкий поэт, автор первой поэмы на тюркском языке о рождении Мухаммеда.

Когда совсем рассвело, Галип машинально включил в розетку телефон, умылся, позавтракал тем, что оставил в холодильнике, и потом снова лег на кровать Джеляля. Перед тем как снова отправиться в страну, больше похожую на сон, чем на явь, они с Рюйей, дети, оказались в лодке на Босфоре. В лодке не было ни мам, ни теть, ни лодочника; оставшись наедине с Рюйей, Галип чувствовал себя неуверенно.

Его разбудил телефонный звонок. Подходя к телефону, Галип думал, что это, конечно, не Рюйя, а опять тот же мужской голос. Услышав в трубке женский голос, он удивился.

— Джеляль, Джеляль, это ты?

Голос был немолодой и совершенно незнакомый.

— Да, я.

— Дорогой, где ты? Как ты? Я столько времени тебя ищу!

Последние слова она произнесла всхлипывая.

— Простите, я не узнал вашего голоса.

— Вашего голоса, — передразнила женщина Галипа, — вашего голоса, он мне говорит «вашего голоса», подумать только: я для него стала «вашим голосом». — Она помолчала немного, а потом с уверенностью игрока, полагающегося на свои карты, полузаговорщицки-полувысокомерно произнесла: — Я — Эмине.

Никаких ассоциаций с этим именем у Галипа не возникло.

— Да, и что?

— Что «да»? Больше тебе нечего сказать?

— Через столько лет... — пробормотал Галип.

— Дорогой, знаешь, что со мной стало, когда через столько лет я увидела наконец в газете, что ты обращаешься ко мне? Двадцать лет я ждала этого дня. И вот наконец прочитала эти слова. Мне хотелось кричать, кричать на весь мир. Я словно обезумела, из глаз моих полились слезы. Ты знаешь, Мехмеда отправили в отставку за то, что он участвовал в перевороте. Но каждое утро он уходит из дома, у него все время дела. Как только он вышел, я побежала в наш переулок в Куртулуше[1], но там ничего не осталось, ничего. Все изменилось, все разрушено. И нашего дома на месте нет. Я плакала, стоя на улице. Люди стали мне сочувствовать, дали воды. Я тут же вернулась домой, уложила чемодан и сбежала, пока Мехмед не вернулся. Джеляль, дорогой, скажи, где найти тебя? Семь дней я брожу по городу, ночую в гостиницах или у дальних родственников и пытаюсь найти тебя. Сколько раз я звонила в редакцию, там отвечают: «Не знаем». Звонила твоим родственникам — то же самое. По этому телефону звонила — никто не отвечал. Из вещей я взяла только кое-какие мелочи, да и не хотела ничего брать. Мехмед упорно разыскивает меня. Я оставила ему коротенькое письмо без всяких объяснений. Он не знает, почему я ушла; ни единому человеку не рассказала я о нашей любви, дорогой мой, о моей любви, о моей тайне, единственном, чем я горжусь в жизни. Как мне тебя увидеть?

— Ханымэфенди, — сказал Галип очень вежливо, — ханымэфенди, я все забыл. Это какая-то ошибка, я уже давно не пишу для газеты, они печатают мои статьи тридцатилетней давности. Понимаете?

— Нет.

— Я не хотел в своей статье ни вам, ни кому другому посылать какой-либо знак. Я больше не пишу. Но газета публикует мои старые статьи. Значит, те слова были в моей статье, написанной тридцать лет назад.

— Ложь! — воскликнула женщина. — Ложь! Ты меня любишь. Ты меня очень любил. И писал все время обо мне. Рассказывая о прекрасных уголках Стамбула, ты писал о той улице, где стоял дом, в котором мы встречались с тобой, описывал наш маленький уголок в Куртулуше, липы, которые ты видел из окна. Пожалуйста, не отрицай, я знаю, что ты любишь меня.

— Ханымэфенди, как вы сами говорите, все это было очень давно. Я уже ничего не помню, я все давно забыл.

---

[1] Район в европейской части Стамбула.

— Дорогой мой Джеляль, Джеляльчик, это не ты. Не могу поверить. Тебя там что, насильно держат? Заставляют так говорить? Ты один? Скажи правду, скажи, что много лет любил меня. Я ждала восемнадцать лет и буду ждать еще столько же. Только скажи мне, скажи, что любишь меня. Ну хорошо, скажи хотя бы, что тогда любил меня, и я больше не буду звонить, никогда.

— Я любил.

— Скажи мне: дорогая.

— Дорогая.

— Нет, не так, от души скажи.

— Ханымэфенди, пожалуйста, пусть прошлое останется прошлым. Я постарел, да и вы, наверно, уже не молоды. Я совершенно не тот человек, каким вы меня представляете. Прошу вас, давайте поскорее забудем об этих неверно понятых вами словах.

— О Аллах! Что же мне делать?

— Возвращайтесь домой, к мужу. Если он любит вас, то простит. Придумайте что-нибудь; если он любит вас, то сразу поверит. Постарайтесь больше не огорчать вашего мужа, вашего любящего мужа, возвращайтесь поскорее домой.

— Я хочу увидеть тебя, хоть один раз, через восемнадцать лет.

— Ханымэфенди, я совсем не тот человек, каким был восемнадцать лет назад.

— Нет, тот. Я читаю твои статьи. Я все про тебя знаю. Я много, так много о тебе думала. Скажи мне, ведь день избавления недалек, правда? Кто этот Спаситель? Я тоже жду его. «Он» — это ты. Я знаю. И многие знают. Ты — носитель тайны. Ты появишься не на белом коне, а в белом «кадиллаке». Все видят этот сон. Джеляльчик, как я тебя люблю! Ну хоть разок, хоть издалека я хочу тебя увидеть. Дай мне посмотреть на тебя издалека. В каком-нибудь парке. Ну например, в Мачке. Приходи в пять часов в парк Мачка.

— Ханымэфенди, извините, я кладу трубку. И как пожилой человек, удалившийся от мира, ради вашей любви, которой я никогда не был достоин, прошу ответить мне на вопрос: пожалуйста, скажите, как вы узнали мой телефон? Есть ли у вас какие-нибудь мои адреса? Для меня это крайне важно.

— Если я скажу, ты позволишь мне разок увидеть тебя?

Воцарилось молчание.

— Сначала дай свой адрес, — лукаво сказала женщина. — Через столько лет... Я тебе не доверяю.

Галип задумался. На том конце провода он слышал нервное, шумное дыхание женщины, а может, и двух людей, подумал Галип.

— Мой адрес... — начал он, но женщина закричала:

— Нет, нет, не говори! Он тоже слушает. Он тоже здесь. Он заставляет меня говорить. Джеляль, дорогой, не давай своего адреса, он убьет тебя! Ах, ох, ах!

Галип плотнее прижал трубку к уху и услышал странный металлический стук, скрежет; похоже, там шла борьба. Раздался громкий хлопок: то ли выстрелил пистолет, то ли грохнулся телефонный аппарат. После этого наступила тишина, но она не была полной; издалека до Галипа доносился все еще звучащий по радио голос Бехие Аксой: «Ах ты негодник, негодник» — и, тоже издалека, всхлипы плачущей женщины. Теперь трубка была у кого-то другого, и Галип слышал дыхание этого человека, но человек ничего не говорил. Так продолжалось довольно долго. По радио началась новая песня, в трубке по-прежнему слышалось неровное дыхание и плач женщины.

— Алло, — сказал Галип, сильно нервничая, — алло! Алло!

— Это я, — ответил наконец мужской голос; это был он, тот самый голос, к которому Галип успел привыкнуть. Он говорил спокойно, хладнокровно, как будто хотел успокоить Галипа и покончить с неприятной темой. — Эмине вчера во всем призналась мне. Я нашел ее и привез домой. Джеляль-эфенди, я ненавижу, презираю тебя, я тебе отомщу! — И как судья, объявляющий результат долго, очень долго длившейся игры, которая никому не доставляла удовольствия, беспристрастным тоном добавил: — Я тебя убью.

Наступило молчание.

— Послушай, — сказал Галип с профессиональным спокойствием, — статья была опубликована по ошибке. Это старая статья.

— Брось, — сказал Мехмед. (Как же его фамилия?) — Я много слышал подобных историй. Я убью тебя не поэтому, хотя за это ты тоже заслуживаешь смерти. Знаешь, за что я убью тебя? — Он задавал вопрос вовсе не для того, чтобы услышать ответ Джеляля (или Галипа): ответ у него был давно готов. Галип молча слушал: — Не за то, что ты предал военный переворот, который должен был превратить в людей этот проклятый народ, и не за то, что ты потом высмеивал храбрых офицеров, принявших участие в патриотическом деле, и других смельчаков, отправленных в ссылку; люди, рискуя жизнью, ввязались в авантюру, на которую ты подбивал их своими статьями; они с уважением и восхищением открывали тебе двери своего дома и доверяли планы переворота, а ты, сидя в кресле, уходил в свои дурацкие фантазии, более того, ты даже умудрился увлечь ими доверившихся тебе скромных патриотов; я убью тебя не за то, что ты обманул мою несчастную жену, которая пребывала в депрессии в те дни, когда мы все были охвачены революционными настроениями; я убью тебя за то, что ты обманул всех нас, всю страну, за то, что ты сумел свои вздорные фантазии, пустые мечтания превратить в милые шутки, трогательные чувства и убедительные слова и заставил поверить им всех нас, весь народ, и прежде всего меня. Это длилось долго, но теперь у меня открылись глаза. Пусть они откроются и у других. За те дни, когда я колесил по городу, обходил его метр за метром, надеясь напасть на твой след, я понял, что единственное, чего ты заслуживаешь, — это смерти. Потому что надо забыть все, что узнал от тебя наш народ, и все, что узнал я. Ты написал как-то, что первой же весной после похорон писателей мы бросаем их в бесконечный сон бездонного колодца забвения.

— Абсолютно с тобой согласен. Я сказал тебе, что после нескольких последних статей, которые я написал, чтобы избавиться от того, что еще хранила моя изрядно потускневшая память, я бросил заниматься журналистикой. Что ты скажешь о сегодняшней статье?

— Бессовестный ты тип, знаешь ли ты, что такое ответственность, что такое преданность, что такое честность и самоотверженность? Говорят ли тебе что-нибудь эти слова? Или ты умеешь только издеваться над читателями и подавать игривые знаки несчастной обманутой? Знаешь ли ты, что такое братство?

Галип хотел сказать: «Знаю», не для того, чтобы защитить Джеляля, а потому что последний вопрос ему понравился, но Мехмед (или Мухаммед?) на том конце провода энергично оборвал его и обрушил на него поток брани, вкладывая в него всю горечь своей обиды.

— Молчи, довольно! — сказал он, когда ругательства у него иссякли. По наступившей после этого тишине Галип понял, что эти слова он сказал жене, которая все еще плакала в углу комнаты. Он услышал голос что-то объясняющей женщины и щелчок — выключили радио.

— Ты обманул, ты унизил нас всех, — продолжал Мехмед, снова обращаясь к Джелялю. — Я так верил тебе, что согласился с тобой, прочитав напыщенную статью, в которой мне неопровержимо доказывалось, что вся моя жизнь — пример нищеты, серости, глупости, мелочности и примитивности, цепь обманов, кошмарный ад, состоящий из несчастий. Вместо того чтобы понять, как я унижен, я гордился тем, что знаком, встречался с человеком, у которого такие высокие мысли, такое острое перо, я был счастлив, что находился с ним на одном тонущем корабле революции в тот момент, когда он был спущен на воду военным переворотом, в котором мы вместе участвовали. Негодяй, я был так восхищен тобой, что, когда ты показывал мою трусость — причину всей нищеты моей жизни, и не только мою, трусость всего народа, я с горечью пытался понять, почему я привык к трусости, отчего, где я совершил ошибку, тебя же — теперь-то я знаю, что ты гораздо трусливее меня, — я считал образцом смелости. Я поклонялся тебе, по сто раз читал твои ничем не примечательные юношеские воспоминания, статьи, в которых ты распространялся о темных, пропахших пригорелым луком лестницах в старом доме, где ты провел часть детства, перечитывал рассказы о твоих снах, в которых тебе являлись

ведьмы, вздор о метафизических опытах, пытаясь понять, есть ли в них чудо, потом мы подолгу обсуждали твои статьи с женой, и я верил, что там есть скрытый смысл, и даже убеждал себя, что нашел его — там, где его не было вовсе.

— Я никогда не стремился иметь таких почитателей, — вставил наконец свою фразу Галип.

— Ложь! Всю жизнь ты охотился за такими, как я. Ты писал им ответы, просил присылать фотографии, изучал их почерки, делал вид, что сообщаешь секреты, подаешь волшебные знаки.

— Все это было для дела революции. Чтобы приблизить день Страшного суда, прихода Махди, час избавления.

— А потом? Когда все лопнуло?

— Но благодаря этому читатели могли хоть во что-то верить.

— Они верили тебе, и ты был в восторге. Слушай, я так преклонялся перед тобой, что, когда читал твою блестящую статью, буквально сходил с ума, у меня капали слезы, я не мог усидеть на месте, ходил по комнате, по улицам и думал о тебе. Я так мечтал о тебе, что ты становился близким мне человеком, я все лучше и лучше понимал тебя. Казалось, будто мы с тобой — одно целое. Нет, я никогда не считал, что это я пишу статьи. Не забывай, я не душевнобольной, я просто твой преданный читатель. Но иногда мне казалось, что в твоих статьях, в изящных фразах, в находках, мыслях каким-то образом есть что-то и от меня. Будто, если бы меня не было, ты не мог бы творить эти чудеса. Пойми меня правильно, я не говорю о мыслях из моей книги, которую я написал, вдохновившись учением хуруфи; ими ты долгие годы беспардонно пользовался, ни разу не спросив разрешения. Я вовсе не говорю об открытиях в последней ее части. Я с таким трудом опубликовал свой труд. Он — твой. Я говорю совсем о другом. Я хочу тебе рассказать об ощущении причастности, понимаешь, я чувствую, что есть и моя доля в твоем успехе. Тебе это понятно?

— Понятно, я даже писал что-то об этом. Дорогой мой читатель и друг, скажи мне, почему за столько лет ты ни разу не связался со мной?

— Ты полагаешь, я не думал об этом? Я боялся. Я боялся, что, встретившись с тобой, после того как я со всей искренностью скажу восторженные и лестные слова вроде тех, что говорю тебе сейчас, ни ты, ни я не сумеем больше ни о чем говорить, не найдем темы для разговора.

— Но ты же видишь, так не случилось. Как славно мы болтаем.

— Я убью тебя! Я тебя убью! Из-за тебя я никогда не был самим собой.

— Человек никогда не может быть самим собой.

— Ты часто писал об этом, но не можешь чувствовать это, как я, тебе не дано понять эту истину в той мере, в какой понимаю я. Ты понял, не понимая, то, что назвал «тайной», и, сам не понимая, написал правду. Человек не может открыть эту правду, не будучи самим собой. А если откроет, то он — уже не он. И то и другое не может быть правдой одновременно. Понимаешь весь парадокс ситуации?

— Я одновременно и я сам, и кто-то другой.

— Нет, ты говоришь это без полной уверенности. Поэтому ты и умрешь. Ты сейчас, как в своих статьях, убеждаешь, но сам не веришь; не веришь, но убеждать тебе удается. А когда ты понимаешь, что сумел убедить в том, во что сам не веришь, тебе становится страшно.

— Страшно?

— Я боюсь того, что ты называешь тайной, понимаешь, боюсь неясности, боюсь фальши, называемой «слово», боюсь видеть на лицах мрачные буквы. На протяжении многих лет всякий раз, когда я читал твои статьи, я чувствовал, что нахожусь там, где читаю, — в моем кресле или за столом, и одновременно где-то совершенно в другом месте, где-то рядом с тем, кто рассказывает историю. Знаешь ли ты, что значит догадаться, что ты убеждаешь, не будучи убежденным? Когда моя жена, с которой мы прожили тридцать лет, ушла, оставив на обеденном столе ничего не объясняющее письмо, и пропала,

я будто бы знал, куда она ушла, но будто бы и не знал, что знаю. А поскольку я не знал, то стал искать повсюду, я искал не тебя, а ее. Но, разыскивая ее, сам того не понимая, искал и тебя, потому что, когда я бродил по улицам, пытаясь разгадать тайну Стамбула, у меня в голове возник ужасный вопрос: «Интересно, что сказал бы Джеляль Салик, если бы узнал, что меня ни с того ни с сего покинула жена?» Я пошел в редакцию газеты «Миллиет», но и там тебя тоже не было. Тебя искал не только я. В редакцию заходил сын твоего дяди, который хотел, чтобы ты встретился с английскими телевизионщиками, муж твоей сестры, Галип. Я невольно пошел за ним. Я подумал: этот мечтательный молодой человек, этот лунатик, знает, где скрывается Джеляль. Я говорил себе: уж он-то знает. Я как тень брел за ним по Стамбулу. Мы шли вроде по знакомому Стамбулу и не узнавали ни одного места. Я потерял его, нашел, снова потерял, опять нашел, в конце концов он сам пришел ко мне в клуб. Там мы все, сидящие за столом, рассказали по одной истории. Я люблю рассказывать, но мне редко удается найти слушателей. На этот раз мне повезло. Посередине рассказа, когда люди с интересом вглядывались в меня, чтобы попытаться понять конец истории, я, как это бывает в подобных случаях, вдруг испугался, что мое лицо им о чем-нибудь скажет; между этой мыслью и концом рассказа я понял, что моя жена сбежала к тебе. Я подумал: «Я знаю, что она сбежала к Джелялю». Вроде бы я это знал и как будто не знал, что знаю. Во мне словно жили два человека. У меня впервые получилось то, о чем я мечтал много лет: быть одновременно и другим, и самим собой. Я решил, что истина, за которой ты годами заставлял нас гоняться, назвав ее «тайной», состоит в следующем: это то, что ты знал, не зная, и написал, не понимая: в этой стране никто не может быть самим собой! Жить в стране побежденных и униженных — значит быть другим. Я — другой, и тогда я существую! Хорошо, а если тот другой, на чьем месте ты хочешь быть, сам — другой? Вот что я имел в виду, когда говорил, что всю жизнь обманывался, обольщался. Потому что тот человек, которому я верил и которого почитал, не увел бы жену у своего горячего поклонника. В ту ночь в клубе мне хотелось закричать проституткам, официантам, фотографам, обманутым мужьям, рассказывающим истории: «Эй, побежденные! Эй, униженные! Эй, проклятые! Эй, забытые! Эй, никчемные! Не бойтесь, никто не может быть самим собой, никто! В том числе короли, счастливые падишахи, знаменитости, кинозвезды, богачи, на месте которых вы хотели бы быть. Избавьтесь от них! С их исчезновением вы найдете то, что они преподносили вам как «тайну». Убейте их! Сами создавайте свои тайны, сами разгадывайте свои загадки! Понимаешь? Я убью тебя не из животной злости и чувства мести, как большинство обманутых мужей, а потому, что я не хочу входить в новый мир, в который ты меня тащишь. Я убью тебя, и тогда у всего Стамбула, у всех букв, знаков и лиц, о которых ты писал в своих статьях, действительно будет тайна. Газеты напишут: «Убит Джеляль Салик! Загадочное преступление!» Убийство никогда не будет раскрыто. Возможно, после этого смысл в нашем мире потеряется вообще, а незадолго до дня Страшного суда, о котором ты говорил, и прихода Махди в Стамбуле будут беспорядки, но для меня и многих других это будет открытием забытой тайны. Никто не сможет разгадать стоящего за этим происшествием секрета.

— Напрасно ты так думаешь. Ты можешь совершить свое тайное преступление, а они, счастливые и униженные, глупые и забытые, немедленно объединятся и сочинят историю, доказывающую, что в этом деле нет никакой тайны. И рассказ, сочиненный ими, в который тут же поверят, представит мою смерть всего лишь как часть обыкновенного заговора. И еще до похорон каждый решит, что эта смерть — или результат заговора, представляющего угрозу нашей национальной безопасности, или завершение продолжающейся долгие годы истории любви и ревности. К тому же не факт, что ты сумеешь так легко убить меня. Скорее всего, ты попадешь не туда и просто ранишь меня. Потом тебя здорово изобьют в полицейском участке — я уж не говорю о пытках, — а я вопреки твоему желанию стану героем и вынужден буду выслушивать глупости премьер-министра, который придет пожелать мне выздоровления. Уверяю тебя, нет смысла! Никто уже не хочет верить, что в мире существует тайна, которую нельзя разгадать.

— Кто мне докажет, что вся моя жизнь не была обманом, злой шуткой?

— Я, — сказал Галип, — слушай...

— Бишрев?[1] Нет, не хочу...

— Поверь мне, я ведь верю, как и ты.

— Я готов, — взревел Мехмед, — готов поверить, чтобы спасти свою жизнь, но что делать простым людям, которые усердствуют над полученными от тебя шифрами и словами утраченного смысла жизни? Что будет с девушками, ожидающими женихов, навсегда оставшихся в Германии и забывших о невестах? А ведь они, исключительно благодаря твоим статьям, поверили в мебель, которая будет у них в райской жизни, обещанной тобой, в соковыжималки, красивые лампы и покрывала с кружевами. Что будет с пенсионерами — автобусными кондукторами, с твоей помощью прочитавшими на своих лицах планировку квартир в собственных домах, где они будут жить в счастливые времена, или с чиновниками кадастрового управления, сборщиками денег за газ, с продавцами бубликов, старьевщиками, нищими — видишь, я никак не могу избавиться от твоих слов; ты научил их, и они, используя опыт предков, сумеют вычислить день, когда на улицах с булыжными мостовыми появится Махди, чтобы спасти эту нищую страну, всех нас; что будет со всеми твоими несчастными читателями, когда благодаря тебе они поймут, что они сами и есть та мифическая сказочная птица, которую они искали?

— Забудь, забудь о них, обо всех. Думай о последних, бродивших переодетыми, падишахах. Думай о бандитах Бейоглу, которые пытали свои жертвы, прежде чем их убить, думай, что они, по обычаю, все еще хранят деньги, золото или какую-нибудь тайну, думай о том, почему наши газетные ретушеры, раскрашивая кисточкой черно-белые фотографии, всегда красят небо в прусскую голубизну, а нашу черную землю — в зелень английского газона.

— На этот раз тебе не удастся меня уговорить.

— Подумай о всей тайне нашей жизни, о сотнях тысяч котлованов, вырытых в садах нашего города за две с половиной тысячи лет; когда их завалили камнями и бетоном, сооружая фундаменты домов, там остались скорпионы, лягушки, кузнечики, сверкающее золото, рубины, алмазы Ликии[2], Фригии[3], Рима, Византии, Османской империи; картины, кресты, запрещенные иконы, книги и брошюры, планы кладов и черепа несчастных жертв...

— Ты снова о трупе Шемса Тебризи, брошенном в колодец? — перебил Мехмед.

— ...неведомых нам преступлений; подумай о квартирах в этих домах, о дверях, о пожилых привратниках, о потемневших паркетинах, в стыках которых чернота, как под ногтями, подумай об озабоченных матерях, разгневанных отцах, шкафах с незакрывающимися дверцами, о родных и сводных сестрах...

— Ты становишься Шемсом Тебризи? Кто ты: Даджал? Махди?

— Подумай о женившихся на двоюродных сестрах, о лифте, о зеркале в нем...

— Обо всем этом ты уже писал.

— Подумай, почему старые палачи, когда отделяли головы жертв от тел, чтобы выставить их на обозрение в назидание другим, называли свои орудия — острые бритвы — «шифрами». Подумай о том, чем руководствовался полковник в отставке, когда, придумав новые обозначения шахматных фигур, взял за образец большую турецкую семью и назвал короля — «мать», ферзя — «отец», слона — «дядя», коня — «тетя», а пешки — не «дети», а «шакалы».

— Послушай, друг мой, — сказал голос на другом конце провода на удивление мирным тоном, — давай забудем все, встретимся и просто поговорим. Ты будешь нам рассказывать, как сейчас рассказываешь. Пожалуйста, скажи: да! Поверь нам, я сделаю все, что ты хочешь, принесу все, что ты хочешь!

---

[1] Слушай! (*перс.*) — так начинает стихи Мевляна.

[2] Ликия — государство на побережье Средиземного моря, существовавшее с XV в. до н. э.; в I в. н. э. была подчинена Римской империи.

[3] Фригия — древняя страна в северо-западной части Малой Азии.

Галип долго думал. Потом сказал:

— Дай мне все мои телефоны и адреса, которые у тебя есть!

— Сейчас дам, но знай, что я их уже запомнил.

...Галип, переспрашивая, записал все телефоны и адреса Джеляля на последнюю страницу книги, которая стояла ближе всех на полке («Характеры» де Лабрюйера). Он собирался сказать, что у него нет лишнего времени, чтобы встречаться с настойчивыми читателями. Но в последний момент передумал: у него появилась другая идея. Позднее, когда он будет оценивать события той ночи, он подумает: «Мне было любопытно. Мне захотелось увидеть мужа с женой, хотя бы издалека. Может быть, я хотел — когда найду Рюйю и Джеляля по этим телефонам и адресам — рассказать им не только эту невероятную историю, не только о телефонных разговорах, но и о том, как выглядели эти супруги, во что были одеты».

— Домой я тебя не позову, — сказал Галип, — но мы можем встретиться где-нибудь. Вечером, в девять, в Нишанташи, например, перед лавкой Алааддина.

Даже эта малость, видимо, настолько осчастливила жену и мужа, что Галипу стало не по себе от их благодарной реакции. Они принесут миндальный кекс и птифуры из кондитерской Омюра; а может, Джеляль-бей считает, что лучше фундук, фисташки и большая бутылка коньяка? Ведь они будут долго разговаривать...

— Я принесу пачку фотографий лицеисток! — с нарочитой, несколько пугающей веселостью прокричал муж, и Галип понял, что большая бутылка коньяка давно была открыта и стояла перед супругами.

Загадочные картины

Тайну этого я нашел в «Месневи».

Шейх Галип

В начале лета 1952 года, если говорить точнее, в первую субботу июня, в Бейоглу, в узком переулке, начинающемся от улицы публичных домов и выходящем к английскому консульству, был открыт притон, самый большой не только в Стамбуле и Турции, но и на Балканах, и на всем Среднем Востоке. К этой торжественной дате был завершен любопытный конкурс живописи, продолжавшийся шесть месяцев. Конкурс объявил хозяин притона, известный бандит Бейоглу, тот, что впоследствии исчез со своим «кадиллаком» в водах Босфора, после чего стал легендарной личностью; бандит решил украсить просторный холл своего заведения видами Стамбула и заказал картины не для того, чтобы поддержать приходящее в упадок в нашей стране из-за запретов ислама древнейшее искусство (я имею в виду живопись, а не проституцию), а чтобы приезжающая в его «дворец удовольствий» со всех концов Стамбула и Анатолии избранная публика наряду с музыкой, наркотиками, напитками и девушками могла насладиться и красотами столицы. Профессиональные художники участвовать в конкурсе отказались. Тогда бандит обратился с призывом к ремесленникам, расписывающим потолки провинциальных гостевых домов, стены летних кинотеатров, шатры для глотателей змей на ярмарках, телеги и грузовики. На призыв откликнулись двое, и наш бандит, приготовив кругленькую сумму, объявил между ними конкурс на лучшее изображение Стамбула. Мастерам были выделены две противоположные стены холла.

Конкурсанты с подозрением относились друг к другу и в первый же день натянули между стенами плотный занавес. Через сто восемьдесят дней все было готово к открытию заведения: в холле расставлены новые кресла красного бархата с бахромой, расстелены гёрдесские[1] ковры, на инкрустированных жемчугом тумбочках и столиках — серебряные подсвечники, хрустальные вазы, фотографии Ататюрка. Оставалось только снять за-

[1] Гёрдес — город в юго-западной части Турции, славящийся производством ковров ручной работы.

навес. Официально притон назывался Клубом поддержки классических турецких искусств, поэтому среди гостей на церемонии открытия был сам губернатор; когда хозяин отдернул занавес, разделяющий зал, гости увидели на одной стене огромную панораму Стамбула, а всю противоположную стену занимало зеркало, которое отражало картину, делая ее в отсветах серебра и хрусталя еще прекрасней.

Премия досталась художнику, повесившему зеркало. Посещающие много лет притон клиенты были настолько очарованы изображениями на стенах, получая удовольствие от обоих произведений, что часами ходили между стенами, пытаясь разгадать тайну волшебства, которое они видели.

Несчастная — на первой стене — собака превращалась на второй в хитрую; оборачиваясь снова к изображению на первой стене, люди замечали, что животное изображено в тревожном движении; при следующем повороте к зеркалу обнаруживались новые подробности, которые придавали иной смысл движению, и зритель уже переставал что-либо понимать и с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать обратно к первой стене.

Если картина на стене техникой рисунка напоминала роспись телеги или ярмарочного театра, то отражение ее вызывало, с одной стороны, ассоциации с мрачными гравюрами, а с другой — напоминало яркие роскошные фрески. Большой орел в зеркальном отражении медленно махал крыльями и превращался в легендарную птицу Симург; трещины некрашеных фронтонов старых домов складывались в зеркале в изображения человеческих лиц; отраженные праздничные площади и карусели приходили в движение, меняли краски; нарисованные на картине старые трамваи, конные повозки, минареты, парки, кофейни на набережной становились на противоположной стене знаками совершенно другого мира. Черная книга, которую художник шутливо дал в руки слепому, в зеркале раздваивалась, превращалась в книгу двух смыслов, двух разных сущностей; при возвращении к первой стене она снова становилась единой, но ясно было, что в ней кроется тайна.

Самое большое и пугающее впечатление на посетителей производила игра лиц: на полотне художника было изображено очень много людей, и в зеркале лица этих людей среди толпы, заполняющей город, обретали совершенно другой смысл, на них проявлялись знаки неизвестных миров.

Много лет спустя после того, как хозяин притона исчез в водах Босфора, в этот клуб, потерявший уже свою популярность, пришел комиссар Бейоглу, пытавшийся раскрыть преступление, убийство на улице Шишли; постаревшие женщины заведения поняли по его печальному лицу, что расследование идет трудно. Он сказал, что хотел бы заглянуть в зеркало: когда-то он видел в нем лицо, похожее на лицо одного из подозреваемых. Но оказалось, что неделю тому назад огромное зеркало разбилось вдребезги, со звоном упав на дерущихся посетителей; неизвестно, из-за чего возникла драка: то ли из-за женщин, то ли из-за денег. Зеркала не стало; пропала и загадка картины.

Не рассказчик, а рассказ

> Но мой способ письма — это скорее размышление вслух, приправленное причудами автора, и нимало не забочусь я о тех, кто внимает моей истории.
>
> *Де Куинси*

Галип был уверен, что по одному из продиктованных ему телефонов он найдет Джеляля и Рюйю, перед его глазами уже оживали улицы, дома, квартиры, где он снова увидит их. Он знал, что, едва увидев, они начнут объяснять, что заставило их прятаться, а он с первого слова поверит в правдивость и убедительность их доводов. Он был уверен, что они скажут: «Галип, мы тоже искали тебя, но не нашли ни дома, ни в конторе. Где ты был?»

Галип поднялся с кресла, в котором сидел уже много часов, снял пижаму Джеляля, умылся, побрился, оделся. Буквы, которые он увидел на своем лице в зеркале, не показались ему ни продолжением таинственного заговора или безумной игры, ни явным обманом зрения, способным пробудить сомнения относительно его собственной личности. И розовое мыло «люкс», и старое бритвенное лезвие на полочке перед зеркалом, и буквы были частицами реального мира.

В просунутой под дверь газете «Миллиет» он прочитал опубликованную в рубрике Джеляля свою статью так, будто она была написана кем-то другим. Поскольку она была напечатана под фотографией Джеляля, она и должна принадлежать Джелялю. Но, с другой стороны, Галип ведь знал, что сам написал ее. Он представил себе, как Джеляль сидит в какой-то квартире и читает в своей рубрике статью, написанную другим, и решил, что Джеляль не воспримет это как выпад против него или фальсификацию. Скорее всего он подумает, что это одна из его старых статей. Поев хлеба, баклажанов, языка и бананов, Галип решил вернуться в реальный мир и завершить кое-какие дела, оставшиеся недоделанными. Он позвонил приятелю, адвокату, с которым вместе вел некоторые политические дела, сообщил, что ему пришлось спешно уехать на несколько дней из Стамбула; он узнал, что одно дело продвигается с большим трудом, а по второму состоялось решение суда, и подзащитным дали по шесть лет тюрьмы за предоставление убежища основателям подпольной коммунистической организации. Галип рассердился, вспомнив, что только что просмотрел сообщение об этом процессе в газете и там его имя не упоминалось, будто он не имел к этому никакого отношения. Он не понял толком, на кого рассердился. Набрал номер своего домашнего телефона. «Если Рюйя подойдет, я разыграю ее», — подумал он. Он собирался, изменив голос, попросить к телефону Галипа, но телефон не отвечал.

Галип позвонил Искендеру: сказал, что вот-вот найдет Джеляля, и поинтересовался, сколько еще времени английские телевизионщики пробудут в Стамбуле. «Сегодня последний вечер, — сказал Искендер, — завтра рано утром они улетают в Лондон». Галип сказал, что Джеляль готов встретиться с англичанами, чтобы сделать заявление по некоторым важным вопросам; он придает этой встрече очень большое значение. «Тогда я договорюсь с ними на сегодняшний вечер, — сказал Искендер, — потому что они тоже очень хотят поговорить с Джелялем». Галип продиктовал Искендеру номер, написанный на телефонном аппарате Джеляля.

К шуму с площади Нишанташи добавились звуки телевизоров, доносившиеся из соседних зданий. Услышав с двух сторон музыкальную заставку восьмичасовых новостей, Галип понял, что весь Стамбул собрался за вечерним столом и шесть миллионов человек смотрят телевизор. Его вдруг охватило острое желание переломать все вещи в комнате: это они повергли его в состояние постоянного беспокойства. Он решил выбросить телефон за окошко, но в это время раздался звонок.

Это был Искендер, он поговорил с английскими телевизионщиками, они очень обрадовались и ждут Джеляля для съемок в номере гостиницы «Пера палас». Удалось ли найти Джеляля?

— Да, да, да, — ответил Галип, удивляясь своему раздражению, — Джеляль готов, он сделает важные заявления. Мы будем в «Пера паласе» в десять.

...В две минуты десятого он вошел в темное парадное дома напротив лавки Алааддина. И почти сразу перед лавкой появилась пожилая пара, при виде которой сердце у Галипа екнуло. Но когда через несколько минут пара вышла, Галип понял, что это не те, кого он ждет: они были слишком поглощены собой. Он нетерпеливо смотрел на дверь лавки Алааддина, но больше никто не появился. Дул ветер, Галип замерз. Было двадцать минут десятого, когда он пошел на площадь Тешвикие и сел в такси.

В холле «Пера паласа» было тепло и светло. В просторном зале справа от двери Искендер и несколько туристов сидели на старом диване и смотрели, как местные киношники, используя декор отеля XIX века, снимают исторический фильм. В ярко освещенном зале царил дух дружелюбия и веселости.

— Джеляля нет, он не смог прийти, — сразу сказал Галип Искендеру, — у него очень серьезные обстоятельства. Он вынужден скрываться и попросил, чтобы я встретился с англичанами. Я знаю все подробности и буду говорить вместо него.

— Не знаю, согласятся ли они!

— Ты представишь им меня как Джеляля Салика, — сказал Галип с вызовом, удивившим его самого.

— Но почему?

— Потому что важно не кто говорит, а что говорится. У нас есть что сказать.

— Но они знают тебя. В ту ночь в клубе ты ведь даже историю рассказал.

— Знают? — сказал Галип, усаживаясь. — Ты неверно употребляешь это слово. Они меня всего лишь видели. Сегодня я — совсем другой. Они не знают ни того человека, которого видели тогда, ни меня сегодняшнего. К тому же они наверняка считают, что все турки на одно лицо.

— Даже если я скажу, что в тот день они видели не тебя, а другого человека, все равно они считают, что Джеляль Салик старше.

— Да что они знают о Джеляле? Им кто-то сказал: поговорите еще и с этим журналистом, это украсит вашу программу. И они записали имя. Наверняка они не интересовались его возрастом, не видели его фотографии.

В этот момент в конце зала, где шла съемка исторического фильма, раздался хохот. Они посмотрели в сторону смеющихся.

— Чему они смеются? — спросил Галип.

— Не пойму, — ответил Искендер, однако улыбался, будто знал, в чем дело.

— Никто из нас не является самим собой, — сказал Галип шепотом, словно открывая тайну, — никто не может быть самим собой. Ты никогда не думал о том, что каждый видит тебя другим? Ты абсолютно уверен, что ты — это ты? А уверен ли ты в том человеке, который уверен, что ты — это ты? Чего хотят эти люди? Разве человек, которого они ищут, не есть всего-навсего иностранец? Он поделится своими горестями с английскими телезрителями, сидящими перед телевизорами после ужина, и его рассказ, быть может, произведет на них впечатление. Так вот, у меня как раз есть подходящая история! Нет надобности, чтобы кто-то видел мое лицо. Пусть они не показывают лицо крупным планом. Знаменитый и загадочный турецкий журналист, опасающийся гонений правительства, политического убийства, мести участников военного переворота, — и самое главное, не забывай, что я мусульманин, — пожелал, не раскрывая себя, ответить на вопросы Би-би-си. Это же еще лучше, разве нет?

— Да, — согласился Искендер. — Я позвоню наверх, они ждут.

Галип наблюдал за съемкой в другом конце зала. Османский паша, в феске, с бородой, в новенькой, увешанной орденами форме, разговаривал со своей покорной дочерью, которая слушала любимого отца, но лицо ее было повернуто не к нему, а в сторону работающей камеры, позади которой почтительно и молча стояли официанты и горничные.

— Помощи нам ждать неоткуда, надеяться не на кого, весь мир настроен враждебно к туркам! — говорил паша. — Видит Аллах, мы вынуждены пожертвовать и этой крепостью...

— Но, дорогой отец, посмотрите, у нас же еще есть... — начала девушка и показала не столько отцу, сколько зрителям книгу, которую держала в руках. Галип не понял, что это за книга. Он понял только, что это не Коран, и ему стало интересно, что это за книга, но и при съемке дубля названия он не разобрал.

Некоторое время спустя, поднявшись на старинном лифте, он вошел в 212-й номер.

В комнате находились три английских журналиста, которых он видел в клубе. Мужчины со стаканчиками ракы в руках налаживали камеру и освещение. Женщина оторвалась от журнала, который читала.

— Перед вами наш известный журналист Джеляль Салик, — представил Искендер Галипа по-английски.

— Очень приятно! — отозвались одновременно женщина и мужчины.

— А мы раньше не встречались? — поинтересовалась женщина.

— Она спрашивает, не встречались ли вы прежде, — перевел Искендер.

— Где? — спросил Галип.

— В клубе, — ответила женщина.

— Я не хожу в клубы. Никогда в жизни я не посещал подобные заведения. Я не люблю многолюдные места, по-моему, это просто повредило бы моему духовному здоровью и нарушило мое одиночество, необходимое для творческой работы. Должен сказать, что моя напряженная журналистская работа, усилившиеся в последнее время политические гонения и участившиеся убийства не позволяют мне вести ночную жизнь. Однако я знаю, что не только в Стамбуле, но по всей Турции есть много людей, которые считают себя Джелялем Саликом, представляются Джелялем Саликом. Более того, когда я по ночам ходил, переодевшись, по кварталам бедняков, я познакомился и даже подружился с некоторыми из них; я встречал людей, которые так перевоплощались в меня, что мне становилось страшно. Стамбул — это очень большая, необъяснимая страна.

Пока Искендер переводил, Галип смотрел через раскрытое окно на Золотой Рог и тусклые огни Стамбула: в мечети Явуза Султана Селима сделали подсветку специально для туристов, но поскольку, как это обычно бывает, часть ламп украли, мечеть выглядела странной, мрачной грудой камней, напоминавшей черный рот однозубого старика. Когда Искендер кончил переводить, женщина весело и немного шутливо извинилась, сказав, что, видимо, с кем-то перепутала господина Салика. Кажется, она решила принять эту непонятную ситуацию и самого Галипа как странную особенность турок; так обычно ведут себя терпимые и образованные люди, сталкиваясь с другой культурой: я не понимаю, но отношусь с уважением. Галипу понравилась эта сообразительная женщина-актриса, которая видела, что документы подделаны, но не стала портить игру. Разве она не похожа немного на Рюйю?

Когда установили лампы, камеру, микрофоны и Галип уселся в кресло, которое черные электрические шнуры делали похожим на электрический стул, все заметили, что Галип нервничает. Один из мужчин с улыбкой протянул Галипу стакан, налил ракы и добавил в него воду. Женщина, тоже с улыбкой, продолжая игру, поставила видеокассету и с озорным видом, словно собиралась показывать порнографический фильм, нажала на клавишу; на маленьком экране замелькали кадры, отснятые в Турции за восемь дней. Англичане смотрели их молча, но нельзя сказать, чтобы совсем без интереса: веселый акробат-нищий, демонстрирующий переломанные руки и вывернутые суставы ног; бурный политический митинг и пламенный лидер, делающий заявление после митинга; два пожилых человека играют в нарды; мейхане и клубы; продавец ковров, гордо стоящий перед витриной своей лавки; кочевники, поднимающиеся на холм с верблюдами; мчащийся поезд, окутанный паровозным дымом; дети перед лачугами, машущие руками; женщины в чаршафах[1] смотрят на апельсины в овощной лавке; прикрытый газетой труп — жертва политического убийства; старый носильщик, перевозящий рояль на конной повозке.

— Я знаю этого носильщика, — сказал вдруг Галип, — это тот самый носильщик, который больше двадцати лет назад перевозил нас из дома Шехрикальп.

Присутствующие серьезно смотрели, как старый носильщик умело заводил в сад старого дома запряженную лошадью телегу, на которой возвышался рояль, и улыбался в камеру.

— Рояль Наследника вернулся обратно, — сказал Галип и услышал чей-то голос, чей — он не понял, но вдруг четко осознал, что все идет как надо. — Когда-то во дворце, на том месте, где вы сейчас видели старый дом, жил Наследник. Я расскажу его историю!

Искендер повторил, что знаменитый журналист пришел сюда для того, чтобы сделать важное заявление. Съемка началась. Женщина взволнованно сообщила телезрителям, что их ждет передача, рассказывающая о Турции: о последних падишахах, подполь-

---

[1] Чаршаф — покрывало мусульманской женщины.

ной коммунистической партии, неизвестном прежде наследстве Ататюрка, исламском движении, политических убийствах; кроме того, они услышат мнение известного турецкого журналиста о возможности военного переворота.

Галип начал рассказ так: «Когда-то в нашем городе жил Наследник, открывший, что главное в жизни любого человека — это возможность или невозможность для него быть самим собой». Галип так ясно чувствовал состояние души Наследника, что видел себя другим человеком. Каким? История детства Наследника превратила Галипа в ребенка, жившего в давние времена. Когда речь пошла о борьбе Наследника с книгами, он увидел себя автором этих книг. Далее он воплотился в Наследника, проводящего дни во дворце в полном одиночестве. Ему словно самому приходили в голову те мысли, которые Наследник диктовал Писцу. Галип пересказывал историю Наследника, как истории Джеляля, и чувствовал себя героем этих историй. Рассказывая о последних месяцах жизни Наследника, он думал: «И Джеляль так рассказывал», — и оттого, что присутствовавшие не могли этого понять, он раздражался. Речь его была настолько взволнованной, что англичане слушали так, будто понимали по-турецки. Закончив рассказ о последних днях Наследника, он тут же принялся рассказывать снова: «Когда-то в нашем городе жил Наследник, открывший, что главное в жизни, — говорил он уверенно, — это возможность или невозможность для человека быть самим собой...» Через четыре часа в доме Шехрикальп он вспомнит, что по-разному произносил первую фразу в первый раз и в последний, и догадается, что, рассказывая историю в первый раз, он еще не знал, что Джеляль мертв, а когда повторял ее, ему уже было известно, что Джеляль лежит на асфальте неподалеку от лавки Алааддина, прямо напротив полицейского участка Тешвикие, и труп его прикрыт газетами. Повторяя историю Наследника, он акцентировал места, на которые не обратил достаточного внимания в первый, а повторяя в третий раз, ясно понял, что при каждом новом повествовании он может превращаться все в новых и новых людей. Ему хотелось сказать: «Я, как Наследник, рассказывал, чтобы обрести самого себя». У него вызывали гнев те, кто мешает ему почувствовать себя собой, он верил, что тайну, скрываемую городом и жизнью, можно разгадать только так, рассказывая истории, а в душе у него тем временем появилось предчувствие смерти и белизны. Когда он закончил третий вариант рассказа, наступила тишина. Английские журналисты и Искендер аплодировали Галипу с искренностью зрителей, хлопающих талантливому актеру по окончании представления.

История наследника трона

Как хороши были прежние трамваи!

Ахмет Расим

Когда-то в нашем городе жил Наследник, открывший, что главное в жизни человека — это возможность или невозможность быть самим собой. Вся его жизнь была открытием себя, и открытие себя было делом всей его жизни. Наследник сам продиктовал такое определение своей короткой жизни, когда нанял Писца, чтобы тот записал историю его открытия. Наследник говорил, а Писец записывал.

В те времена — сто лет назад — в нашем городе еще не бродили по улицам, как потерявшиеся куры, миллионы безработных, холмы не были засыпаны мусором, а под мостами не текли нечистоты, из труб не валил дегтярно-черный дым, а пассажиры, садясь в автобус, не расталкивали друг друга локтями. В те времена конные трамваи двигались так медленно, что некоторые пассажиры выходили на одной пристани, не торопясь, с разговорами, шли под липами, каштанами и чинарами до следующей, выпивали чашку чая и спокойно успевали на пароход, к которому подвозил трамвай. Каштаны и деревья грецкого ореха еще не были спилены и превращены в электрические столбы, на которые наклеивали написанные от руки объявления портных или исполнителей обряда обреза-

ния. А в том месте, где кончался город, начинались не свалки и голые холмы с лесом электрических и телеграфных столбов, а леса и рощи, в которых охотились печальные и жестокие падишахи. Двадцать два года и три месяца Наследник жил в Охотничьем дворце на одном из холмов, который позже был срыт при прокладке перерезавших город канализационных труб, мощеных дорог и строительстве многоквартирных домов.

Для Наследника диктовать означало жить. Наследник был уверен, что становится самим собой только в те моменты, когда диктует Писцу, сидящему за столом красного дерева. Только диктуя Писцу, он избавлялся от голосов других, звучавших у него в ушах целый день, от их историй, которые откладывались в его памяти, когда он ходил вниз-вверх по комнатам дворца; он не мог избавиться от влияния чужих мыслей, даже прогуливаясь по саду, окруженному высоким забором. Наследник говорил: «Чтобы быть самим собой, человек должен слышать только свой голос, иметь свои истории и свои собственные мысли!» Наследник говорил, а Писец записывал.

Это не означало, что Наследник, диктуя, слышал только собственный голос. Начиная диктовать, он думал о чьей-то, не своей, истории; начиная развивать собственную мысль, он наталкивался на мысль, высказанную другим; в своем гневе он чувствовал отголоски гнева другого. Наследник знал, что свой голос человек может обрести, лишь не слушая голоса, звучащие внутри себя, придумывая свои истории, отличные от тех, что он узнал от других. Наследник называл это: «сражаться с чужими мыслями». Он полагал, что во время диктовки находится на поле битвы, в которой должен одержать победу.

Сражаясь на этом поле битвы с мыслями, словами и историями других, Наследник ходил по комнатам, произносил предложение, поднимаясь по одной лестнице, менял его, когда спускался по другой, начинавшейся там, где кончалась первая, затем, снова поднимаясь по первой или сидя, а то и лежа на диване напротив стола Писца, повторял продиктованное и говорил: «Ну-ка, прочти»; Писец ровным голосом зачитывал господину последние записанные фразы.

«Наследник Осман Джалалиддин Эфенди знал, что на этой земле, на этой проклятой земле, самая важная проблема для человека — это возможность быть самим собой, и если эта проблема не будет решена как должно, все мы обречены на катастрофу, поражение, рабство; все народы, не сумевшие стать самими собой, обречены на рабство, знатные — на презрение, нации — на исчезновение и вымирание, вымирание» — так говорил Осман Джалалиддин Эфенди.

«Вымирание надо написать не два, а три раза!» — говорил Наследник, поднимаясь или спускаясь по лестнице или шагая вокруг стола Писца. Он говорил это таким голосом, в такой манере, что, не успев докончить, слышал сердитые шаги и наставительный голос француза Франсуа Эфенди, который учил его французскому языку в детские и юношеские годы; воспоминание тотчас парализовывало умственную деятельность Наследника. Он нервничал. Многоопытный Писец оставлял в такие моменты перо, надевал на лицо, как маску, застывшее, бессмысленное и пустое выражение и ждал, когда пройдет гнев, ждал окончания приступа под названием «Я не могу быть самим собой».

Одно время Писец часто записывал сцены, где говорилось о счастье, развлечениях, веселых и живых картинах детства и юности, прошедших во дворцах династии Османов в Стамбуле.

Писец записал, как маленький Наследник открывал и закрывал двери в гареме дворца Долмабахче, как прыгал по лестницам через две ступеньки, убегая от ловившего его старшего брата Решада, и захлопнул дверь прямо перед лицом черного евнуха, и тот упал в обморок. Писец записал, как на приеме в честь англичан и французов, прибывших в Стамбул в связи с Крымской войной, Наследник с разрешения матери танцевал с одиннадцатилетней английской девочкой и еще долго рассматривал с ней книгу, где были нарисованы железные дороги, пингвины и пираты. Писец записал, как на торжестве по случаю присвоения пароходу имени бабушки Наследник на спор съел ровно два окка[1]

[1] Окка — мера веса, равная 1,25 кг.

локума с фисташками и получил выигрыш — влепил старшему брату подзатыльник.

Диктуя Писцу воспоминания, Наследник скажет про эти блаженные годы: «Годы счастья, глупого счастья моего детства длились очень долго. Империя, которая могла позволить наследнику, готовящемуся занять трон, до двадцати девяти лет вести жизнь глупого и счастливого ребенка, естественно, была обречена на развал, распад, исчезновение». До двадцати девяти лет Осман Джалалиддин Эфенди, как и всякий пятый в ряду наследников, развлекался, любил женщин, читал книги, приобретал имущество, немного занимался музыкой и живописью, еще меньше военным делом, женился, стал отцом троих детей — из них двое были мальчиками — и, как всякий наследник, заимел врагов и друзей. Позднее Наследник продиктует: «Мне надо было дожить до двадцати девяти лет, чтобы избавиться от всего этого груза, от этих вещей и женщин, друзей и глупых мыслей». Когда ему исполнилось двадцать девять, в результате совершенно неожиданных исторических событий он в один миг передвинулся с пятого на третье место в очереди на престолонаследие. Но, по мнению Наследника, только дураки могли говорить, что все произошло «совершенно неожиданно», потому что не могло быть ничего более естественного, чем болезнь и смерть его дяди Абдулазиза, который был слаб и духом, и телом, и волей, и свержение с трона занявшего освободившееся место старшего брата Наследника, который в скором времени сошел с ума. Наследник поднимался по одним лестницам дворца и говорил, что севший на трон его старший брат Абдулхамид был таким же сумасшедшим, как и самый старший из братьев; спускаясь по другим лестницам, он сообщал, что другие наследники, которые должны занять трон раньше его и так же, как он, ждут своей очереди, еще более безумные, чем старшие братья.

Любой человек, живущий всю жизнь ожиданием имперского трона, обречен на безумие; перед любым, кто видит, как сходят с ума ожидающие того же трона старшие братья, стоит дилемма «сойти или не сойти с ума»; человек сходит с ума не потому, что хочет этого, а потому, что не хочет, и это невольно превращается в навязчивую идею; каждый наследник в годы ожидания хоть раз да задумывается над тем, что его предки, едва усевшись на трон, убивали остальных братьев, а потому мучились, не могли жить спокойно и сходили с ума; каждый наследник, обязанный знать историю государства, на трон которого сядет, в любой книге по истории прочтет, как один из его дедов, Мехмед III, став падишахом, предал смерти девятнадцать своих братьев, среди которых были и грудные младенцы; вынужденные читать рассказы об убивающих своих братьев падишахах, наследники обречены на сумасшествие; потому что невыносимо жить, ожидая каждый миг удушения, отравления или другого вида убийства, которое потом будет объявлено самоубийством; в этом положении сойти с ума, что означало: «я выхожу из игры», было самым легким путем бегства для наследников, которые ждали, конечно, трона, но это было равнозначно ожиданию смерти; «сойти с ума» означало избавиться от контроля доносчиков падишаха, от заговоров и ловушек интриганов-политиков, которые проникали к наследникам сквозь цепи доносчиков; «сойти с ума» означало избавиться от невыносимых мечтаний о троне; любой наследник, бросив взгляд на карту империи, трон которой он мечтал занять, понимал, как огромны, беспредельны земли, которыми он будет управлять, взяв на себя всю полноту ответственности; наследник, не испытывающий робости при осознании масштаба будущей ответственности, просто не мог не считаться сумасшедшим. Всякий раз, перечисляя причины сумасшествия наследников, Осман Джалалиддин Эфенди говорил: «Я понимаю, сколь безгранична и величественна Османская империя, а потому я разумнее всех, кто ею сегодня управляет».

Став третьим в очереди на престол, он весь отдался чтению: каждый наследник, который воспринимал свое восхождение на трон не как чудо, а как нормальный жизненный процесс, думал о том, что должен подготовить себя к предстоящему событию, и верил, что может сделать это с помощью книг. Он читал страстно, увлеченно, словно глотал страницы, и из каждой книги извлекал «полезные идеи», обращенные в будущее; чтобы не сойти с ума и сохранить веру в то, что он в ближайшее время осуществит свои блестящие идеи в будущем счастливом Османском государстве, он решил избавиться от все-

го, что напоминало ему о беспечной детской жизни в течение двадцати девяти лет: он оставил жену, детей, старые вещи и привычки во дворце на берегу Босфора и перебрался в Охотничий дворец, где ему предстояло провести двадцать два года и три месяца. Наследник неоднократно говорил, что первые шесть лет в Охотничьем дворце были самым счастливым периодом его жизни.

«Потому что, — объяснял он, — в то время я только читал и думал только о прочитанном. Потому что те шесть лет я прожил исключительно с мыслями и голосами писателей, книги которых читал». И добавлял: «Но за эти шесть лет я ни разу не сумел стать самим собой. Я не был собой и, может быть, поэтому был счастлив, но обязанность падишаха — не быть счастливым, а быть самим собой!» Дальше непременно следовала фраза, записанная Писцом в тетрадях тысячи раз: «Не только падишах, каждый человек должен быть самим собой».

Свое открытие Наследник называл «самое крупное открытие» и «цель моей жизни»; сделал он его и продиктовал запись о нем на исходе шестого года жизни в Охотничьем дворце: «В мечтах я уже сел на трон Османов и гневно упрекал воображаемого падишаха (себя), решая какой-нибудь государственный вопрос. Я обличал, как Вольтер, этого правителя, созданного собственной фантазией, и вдруг замер, осознав, в какое положение я попал. Человек, являющийся в моем воображении тридцать пятым османским падишахом, был словно бы не я, а Вольтер или кто-то, подражающий Вольтеру. Тогда-то я впервые ощутил весь ужас того, что падишах, направляющий жизнь миллионов и миллионов рабов своих, правящий странами, которые на картах выглядят такими огромными, является не самим собой, а кем-то другим».

«Приняв решение быть истинным падишахом, а не тенью кого бы то ни было, я понял, что должен избавиться от книг, прочитанных не только за последние шесть лет, но и за всю мою жизнь, — диктовал Наследник, начиная рассказ о следующих десяти годах своей жизни. — Чтобы быть не кем-то, а самим собой, я был обязан избавиться от книг, писателей, историй, голосов. Это заняло у меня десять лет».

Наследник стал рассказывать Писцу, каким образом он избавлялся от книг, оказавших на него влияние. Писец записал рассказ Наследника о том, как он сжег все имеющиеся во дворце тома Вольтера, потому что, читая этого писателя, вспоминая его произведения, он чувствовал себя умнее, остроумнее и холоднее, этаким французским шутником, но не самим собой. Из дворца, как записал Писец, были вывезены книги Шопенгауэра, потому что, глядя на них, Наследник помимо своей воли отождествлял себя с автором, и в результате на османский престол мог сесть не настоящий наследник, а пессимистически настроенный немецкий философ. Тома Руссо, на приобретение которых было израсходовано столько средств, превращали Наследника в дикого человека, пытающегося самого себя поймать на месте преступления, а потому были разорваны и выброшены из дворца. «Я сжег всех французских философов, Дельтура и Де Пассе, Морелли, который считал, что мир можно постичь разумом, и Бришо, утверждающего противоположное: читая их, я видел себя не падишахом, как мне надлежало быть, а ироничным профессором-полемистом, пытающимся опровергнуть неверные взгляды мыслителей, живших до него». Так говорил Наследник. Он сжег «Сказки тысячи и одной ночи», потому что переодетые падишахи, описанные в этой книге, не были такими, каким должен был стать Наследник. Он сжег «Макбета», ибо каждый раз, когда читал эту книгу, видел себя трусом и безвольным человеком, готовым ради трона обагрить руки в крови, и — что хуже — вместо того чтобы стыдиться, что он таков, испытывал некую гордость. Он велел увезти из дворца «Месневи», потому что всякий раз при выборе рассказа из этой беспорядочной книги он отождествлял себя с дервишем, верящим, что изложенные Мевляной истории и есть сама жизнь. «Шейха Галипа я сжег, — пояснял Наследник, — потому что, читая его, я становился «грустным влюбленным». С Ботфолио расправился, потому что из-за него представлял себя западным человеком, мечтающим стать восточным, а с Зерхани — потому что, читая его произведения, я превращался в человека Востока, мечтающего стать человеком Запада; я не хотел видеть себя ни восточным, ни за-

падным человеком, ни увлеченным, ни сумасшедшим, ни авантюристом, никем другим из героев этих книг». После этого обычно звучал мотив, который Писец за шесть лет запечатлел в несчетном количестве тетрадей несчетное количество раз: «Я хотел быть самим собой, только самим собой, я хотел быть только самим собой».

Наследник знал, что это непросто. После того как он избавился почти от всех книг и много лет диктовал Писцу свои воспоминания, он перестал слышать чужие рассказы внутри себя, однако в уме Наследника воцарилась такая непереносимая тишина, что он против воли отправил одного из своих слуг в город купить новые книги. Проглотив залпом эти книги, он сначала высмеивал их авторов, а потом торжественно и гневно сжигал, но поскольку продолжал слышать их голоса и невольно подражал этим авторам, то решил, что избавиться от них может, только читая другие книги; с грустью понимая, что клин можно выбить только клином, он посылал человека в магазины Бейоглу, где торговали зарубежной литературой и всегда с нетерпением ждали посланца от Наследника. В одном месте Писец записал: «Приняв решение «быть самим собой», Наследник Осман Джалалиддин Эфенди ровно десять лет воевал с книгами»; Наследник поправил его: «Напиши: сражался не на жизнь, а на смерть!» Через десять лет после непрекращающейся борьбы с книгами Наследник Осман Джалалиддин Эфенди понял, что сумеет стать самим собой, только если противопоставит голосам, мыслям и историям из этих книг свой голос, свои мысли и свои истории. Тогда он нанял Писца.

Наследник кричал сверху, с лестницы: «В течение десяти лет Наследник Осман Джелалиддин Эфенди яростно боролся не только с книгами, но и со всем, что мешало ему стать самим собой». Писец аккуратно записывал это предложение, повторенное уже тысячу раз и произносимое в тысячу первый с той же убежденностью и волнением, что и в первый; дальше шли такие же решительные слова. Писец записал, что в течение десяти лет Наследник боролся не только с книгами, но и с окружающими вещами, которые воздействовали на него не меньше, чем книги.

Наследник освобождался от вещей — одни разбивал, другие сжигал, третьи выбрасывал. Но кроме того, он все эти десять лет жестоко воевал со своими воспоминаниями, делавшими его кем-то другим. Наследник говорил: «Я сходил с ума, когда среди моих размышлений и мечтаний вдруг вспоминал какую-то мелкую, неважную, простую вещь из прошлого, она являлась передо мной, как безжалостный убийца, как безумец, желающий мне за что-то отомстить». Человек, которому после вступления на престол османов предстоит думать о жизни миллионов и миллионов подданных, вдруг посреди своих раздумий спотыкается о чашку клубники, съеденной в детстве, или о пустое слово презренного евнуха — это поистине страшно. Чтобы быть самим собой, падишах, как и каждый человек, должен быть преисполнен только своих мыслей, руководствоваться только своей волей и решениями и должен научиться отметать случайные воспоминания и не поддаваться переменам настроения. Писец записал: «Чтобы бороться с воспоминаниями, которые разрушали твердость его воли, он опустошил все сосуды для благовоний, уничтожил все знакомые вещи и одежды, забросил усыпляющее искусство, называемое музыкой, а заодно и белый рояль, на котором никогда здесь не играл; все комнаты дворца он выкрасил в белый цвет».

Диван, стоящий около стола Писца, не был выброшен; лежа на нем, Наследник читал записанное Писцом и добавлял: «Но хуже всего, хуже воспоминаний, вещей и книг, непереносимей всего были люди». Они появлялись неожиданно, в неподходящее время, в самый неудачный момент и приносили с собой мерзкие сплетни и дурацкие слухи. Вроде бы желая сделать добро, они лишали вас покоя. Вместо любви и успокоения они приносили тоску.

На шестнадцатом году «нечеловеческой борьбы между бытием и небытием», борьбы с привычными вещами, любимыми запахами и книгами, Наследник как-то ночью посмотрел в окно через «европейские» жалюзи на снег, покрывающий просторный сад, и на луну; это был миг, когда он понял, что борьба, которую он ведет, — не его личная, а борьба миллионов людей, связанных судьбой с Османским государством. Потому что,

как десятки тысяч раз за последние шесть лет жизни Наследника записывал Писец, «народы, которые не в состоянии быть самими собой, цивилизации, подражающие другим, нации, довольствующиеся историей других, обречены на крах, вымирание, забвение». На шестнадцатом году ожидания трона Наследник отчетливо увидел, что борьба, которую он вел все это время как свою личную, на деле является «исторической борьбой между жизнью и смертью», что настал решающий момент битвы за «султанский тюрбан», какой выпадает раз в тысячелетие, что это «очень важный момент исторического развития, который историки будущего назовут поворотным моментом». Тогда-то Наследник и принял твердое решение бороться с чужими историями, звучащими в нем, пересказом своих.

Через некоторое время после той ночи, когда луна, сияя над заснеженным садом, напоминала о пугающей бесконечности времени, Наследник нанял пожилого, верного и терпеливого Писца и каждое утро, усадив его за стол, диктовал ему истории, рассказывая о своих поисках и догадках. Наследник вспомнит, что много лет назад он сделал чрезвычайно важное открытие, касающееся «в высшей степени важных исторических перемен»: до своего добровольного заточения во дворце он видел «собственными глазами», как с каждым днем менялись улицы Стамбула в стремлении подражать воображаемому западному городу. Несчастные, заполняющие стамбульские улицы, глядя на костюмы западных туристов и изучая фотографии в зарубежных журналах, попавших им в руки, меняли свою одежду. Он слышал собственными ушами, как вечерами в кофейнях на окраинах города собравшиеся вокруг печки грустные люди вместо того, чтобы рассказывать друг другу услышанные от отцов сказки, читали всякую дрянь в газетах, написанную бездарными журналистами; в газетах печатали «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», изменив имена героев на мусульманские. А разве он сам не покупал у армянских книготорговцев под видом книг всякое бесстыдство, за чтением которого так быстро летело время? До того как он проявил волю и решимость и закрылся во дворце, когда он еще, как все, влачил жалкое привычное существование, разве не замечал он при каждом взгляде в зеркало, что таинственный смысл на его лице постепенно пропадает, точно так же, как у всех окружающих? «Да, покупал! Да, замечал!» — писал Писец, изучивший стиль Наследника. Осман Джалалиддин Эфенди ощущал, как после каждого дня диктовки меняется его лицо, меняется он сам.

Иногда Наследник не находил темы для диктовки. Воцарялось безмолвие. Потом Наследник говорил: «Если не о чем рассказывать, значит, человек очень близко подошел к тому, чтобы быть самим собой. Безмолвие означает, что молчат воспоминания, книги, истории, память; только услышав это безмолвие, человек может стать свидетелем того, как вырастает его истинный голос из глубин его собственного духа, из бесконечных и темных лабиринтов его собственной сущности, и этот голос способен сделать человека самим собой».

Однажды Наследник затронул тему женщин и любви, которой до этого касался очень мало, говоря, что это «самая опасная тема». Около шести месяцев он рассказывал о старых увлечениях, об отношениях с гаремными женщинами (воспоминания о них, за исключением нескольких случаев, вызывали сожаление и грусть), которые нельзя было назвать любовью, и о своей жене.

Самым ужасным в этих отношениях, по мнению Наследника, было то, что незаметно для тебя женщина, даже самая неприметная, начинала занимать почти все твои мысли. Он подумал, что надо сближаться с как можно большим количеством женщин: тогда он обретет иммунитет к яду, называемому любовью; но поскольку он старался выработать у себя равнодушие к любовному опьянению, женщины, с которыми он имел дело, не вызывали у него никакого влечения. Так получилось, что он стал чаще всего встречаться с Лейлой-ханым: она была «самой невыразительной, самой бесцветной, самой спокойной и самой безвредной» из всех знакомых ему женщин, и он верил, что не сможет влюбиться в такую женщину. «Наследник Осман Джалалиддин Эфенди без страха открыл сердце Лейле-ханым, поскольку верил, что не сможет влюбиться в нее», — написал Писец как-то

ночью, потому что теперь они работали и по ночам. А Наследник тут же добавил: «Но поскольку она была единственной женщиной, которой я с легкостью открыл сердце, я тут же влюбился в нее. Это был один из самых тяжелых периодов моей жизни».

Писец записал, что Наследник и Лейла-ханым ссорились, когда встречались во дворце. «Конкретных причин для наших ссор не было, — пояснил как-то Наследник, — я злился, что из-за нее не мог быть самим собой, что из-за нее мои помыслы теряли чистоту, что из-за нее я переставал слышать голос, идущий из глубины моей души. Это длилось до самой ее смерти, произошедшей в результате несчастного случая, и я так и не понял, была ли в том моя вина».

Наследник рассказал, что смерть Лейлы-ханым его огорчила, но зато он обрел свободу. Писец, всегда молчаливый, всегда почтительный и внимательный, сделал то, чего никогда не позволял себе за шесть лет работы с Наследником: несколько раз сам написал об этой смерти и этой любви; Наследник же возвращался к этой теме, когда считал нужным.

Последние перед болезнью Наследника месяцы прошли, как записал Писец, «в напряженной работе». Это были дни, когда Наследник диктовал, рассказывал свои истории и все сильнее слышал собственный голос, помогающий ему быть самим собой. Они работали до поздней ночи, но как бы ни было поздно, Писец в повозке, ожидающей его наготове в саду, отправлялся домой; рано утром он возвращался и усаживался за стол красного дерева.

Наследник рассказывал о государствах, которые рухнули из-за того, что не могли быть самими собой, о народах, исчезнувших потому, что они подражали другим племенам, о забытых в далеких и неизвестных странах народах, которые не смогли жить своей жизнью. Иллирийцы[1] ушли с исторической сцены, потому что за два века не сумели найти правителя, который силой своей личности научил бы их быть самими собой. Вавилонская башня рухнула не оттого, что царь Нимрод[2] бросил вызов Всевышнему, а оттого, что отдавал все силы строительству башни и забыл об истоках, которые могли сделать его самим собой. Кочевые племена, перейдя на оседлый образ жизни, в стремлении создать настоящее государство подражали оседлым, с которыми вели торговлю, и в результате, подпав полностью под их влияние, исчезли с лица земли.

Падение сасанидов произошло потому, что последние три правителя — Кавад, Ардашир и Яздегерд — преклонялись перед величием византийцев, арабов и иудеев и, как написано в истории Табари[3], за всю свою жизнь ни одного дня не сумели быть самими собой. Великая Лидия[4] ушла с исторической сцены всего через пятьдесят лет после того, как в ее столице Сардес под влиянием Суз[5] был сооружен первый алтарь. О племени сабиров[6] ничего не знают сегодня даже историки, и это оттого, что, когда они собрались создать великую азиатскую империю, они вдруг — словно эпидемия началась — стали одеваться в одежды сарматов[7], носить их украшения, читать их стихи и, таким образом, утратили свои воспоминания; они забыли таинство, делавшее их самими собой. «Мидийцы[8], пафлагонийцы[9], кельты[10]», — диктовал Наследник, а Писец, прежде чем господин открывал рот, добавлял: «Исчезли, потому что не сумели стать самими собой». «Ски-

---

[1] Древние индоевропейские племена на северо-западе Балканского полуострова; в III—I вв. до н. э. были покорены римлянами.

[2] Царь Нимрод — мифологический царь-безбожник.

[3] Табари (838 или 839 — 923) — арабский историк, автор многотомной «Истории посланников и царей».

[4] Лидия — страна в древности на западе Малой Азии, в VI—IV вв. до н. э. находилась под властью персов, позднее входила в державу Александра Македонского и другие государства.

[5] Сузы — древний величественный город в Персии.

[6] Сабиры — племена в Северном Причерноморье (VII в. до н. э. — III в. н. э.)

[7] Сарматы — объединение кочевых скотоводческих племен; в VI—IV вв. до н. э. жили на территории от реки Тобол до Волги. В III в. до н. э. вытеснили сабиров с Северного Причерноморья.

[8] Мидийское царство просуществовало с 70-х гг. VII до середины VI в. до н. э.

[9] Пафлагония — область в Малой Азии на побережье Черного моря; начиная с VI в. до н. э. переходила под власть различных завоевателей; в I в. до н. э. вошла в состав одной из римских провинций.

[10] Кельты — древние индоевропейские племена, обитавшие в Европе во второй половине I тысячелетия до н. э.

фы, калмыки, мидийцы», — продолжал перечислять Наследник, а Писец завершал предложение: «Исчезли потому, что не смогли стать самими собой». Усталые до изнеможения, они поздно ночью заканчивали работу над историями о смертях и падениях; в безмолвии летней ночи слышался только стрекот сверчков.

В ветреный осенний день, когда в садовый бассейн с кувшинками и лягушками падали красные каштановые листья, Наследник простыл и слег в постель; оба они не придали этому большого значения. Наследник как раз говорил о том, что если он не станет наконец самим собой, то пойдет в толпу, на замусоренные улицы Стамбула. Тогда он не сядет на Османский престол, а «империя глазами других будет смотреть на свою жизнь, вместо собственных историй слушать чужие и вместо собственных лиц будет видеть очаровавшие их лица других». Они заварили чай из цветков липы, собранных в саду, выпили его и работали допоздна.

На следующий день Писец поднялся наверх за одеялом, чтобы укрыть господина, который лежал на диване в жару; он увидел, что дворец совершенно пуст: на протяжении многих лет из него выбрасывалось все, что там было, даже двери были сняты. Пустые комнаты дворца, лестницы, стены — все было выкрашено в белый цвет. Писец бродил по пустым комнатам и набрел на белоснежное чудо, выделявшееся белизной даже на фоне всеобщей белой краски. Это был несравненный белый рояль «стейнвей», единственный в Стамбуле. Он остался с детства Наследника, долгие годы к нему никто не прикасался, и он стоял в пустой комнате совершенно забытый. Писец увидел инструмент в белоснежном лунном свете, который проникал через окна во дворец; такая белизна напоминала человеку о том, что воспоминания блекнут, память угасает и все, что есть вокруг, останавливается: голоса, запахи, вещи, само время. Когда он спустился по лестнице с белым, без запаха одеялом под мышкой, он почувствовал, что диван, на котором прилег Наследник, стол красного дерева, за которым он проработал столько лет, белые листы бумаги, окна — все вокруг хрупкое и нереальное, как в детских игрушечных домиках. Укрывая Наследника, он увидел, что его не бритая два дня борода поседела. Около больного лежали белые таблетки и стоял стакан, наполовину наполненный водой.

Наследник продиктовал с дивана: «Вчера ночью во сне я видел свою мать, она ждала меня в густом темном лесу далекой страны. Она лила воду из огромного красного кувшина, и вода была густая, как боза... Я понял, что существую до сих пор только потому, что всю жизнь упорно стремлюсь быть самим собой». Писец записал: «Наследник Осман Джалалиддин Эфенди прожил всю жизнь в ожидании тишины внутри себя, необходимой, чтобы услышать собственный голос и собственные истории». Наследник с перерывами диктовал: «Чтобы ждать безмолвия...», «Пусть в Стамбуле часы не останавливаются...», «Глядя во сне на часы...» Писец закончил это предложение: «Он думал, что рассказывает истории других». Наступило молчание. Наследник нарушил его: «Я завидую только камням безлюдных пустынь и скалам в горах, на которые не ступала нога человека, потому что только они могут быть самими собой...», «Когда я во сне бродил в саду моей памяти...», «Ничего». «Ничего», — аккуратно записал Писец. Наступило долгое, очень долгое молчание. Писец встал из-за стола, подошел к дивану, на котором лежал Наследник, внимательно посмотрел на господина и вернулся к столу. Он записал: «Наследник Осман Джалалиддин Эфенди, продиктовав это предложение, скончался; это произошло 7 числа месяца шабана[1] 1321 года[2] в четверг, в Охотничьем дворце на вершине холма Тешвикие». А через двадцать лет тем же почерком Писец приписал: «Через семь лет на трон, которого не дождался Наследник Осман Джалалиддин Эфенди, сел его брат Мехмет Решад Эфенди, тот самый, которому он в детстве дал подзатыльник, и Османская империя, вступившая во время его правления в большую войну, рухнула».

Тетрадь Джелялю Салику принес родственник Писца, а эту статью мы нашли в бумагах нашего сотрудника после его смерти.

---

[1] Шабан — восьмой месяц лунного календаря.

[2] 1321 год хиджры (мусульманского летосчисления) соответствует 1929 году христианского летосчисления.

Но это же я написал

Вы, читающие, вы, все еще живущие,
Это написал я,
Давно идущий
По стране теней.

Э. А. По

«Да, я — это я! — подумал Галип, закончив рассказ о Наследнике. Да, я — это я!» Он рассказал англичанам историю и не сомневался, что был самим собой; довольный, что в конце концов желаемое все-таки свершилось, он заторопился в дом Шехрикальп: сесть за стол Джеляля и писать новые статьи.

Шофер такси, в которое он сел, когда вышел из отеля, начал рассказывать историю. Галип, понимая, что человек может стать самим собой, только рассказывая истории, благосклонно слушал.

...Сто лет назад, в жаркий летний день, когда строящие вокзал Хайдарпаша[1] немецкие и турецкие инженеры сидели вместе за столом, делая какие-то расчеты, один из работавших неподалеку ныряльщиков показал им монету, поднятую со дна моря. На монете было отчеканено лицо византийской императрицы. Молодой инженер-турок был потрясен его загадочным выражением; юноша испытал чувство такого восторга и одновременно испуга, что ныряльщик даже удивился. На лице императрицы читались арабские и латинские буквы, которые инженер переписал на листок бумаги; инженера поразило, что это лицо чем-то напоминало лицо дочери его дяди, на которой он давно хотел жениться. А девушку собирались выдать замуж за другого...

Такси уткнулось в знак «Проезд запрещен» и резко затормозило. «Со стороны полицейского участка на Тешвикие дорога закрыта, — сказал шофер, — наверно, опять кого-то убили».

Выйдя из машины, Галип пошел по короткой узкой улочке, соединяющей проспект Эмляк с проспектом Тешвикие. Мигающие голубые огни полицейского микроавтобуса, припаркованного в том месте, где улица пересекалась с проспектом, освещали асфальт тусклым светом неона. На площадке перед лавкой Алааддина, в которой горел свет, царила пугающая напряженная тишина.

Движение было перекрыто. Маленькая площадка напоминала театральную сцену при искусственном освещении. Манекены в витрине лавки швейных машин «зингер», казалось, были готовы присоединиться к полицейским и столпившимся зевакам. У Галипа в голове пронеслось: «Да, я — это я!» Вдруг в толпе сверкнула серебряно-голубая вспышка фотоаппарата, выхватив на миг из темноты знакомое лицо; Галипу показалось, будто он вспомнил давно забытый сон, нашел ключ, потерянный много лет назад; на мостовой, в двух шагах от витрины с зингеровскими машинками, лежало прикрытое газетами тело убитого: Джеляль. Где Рюйя? Галип подошел поближе.

Из-под газет, прикрывавших тело, как одеяло, была видна только голова, подушкой для которой стал грязный тротуар. Следов крови не было. Глаза закрыты. Лицо задумчивое — будто он видит сон; сосредоточенное — будто углубился в собственные мысли; спокойное — будто смотрит на звезды и говорит: «Я и слушаю, и вспоминаю». Где же Рюйя? «Это игра, шутка», — промелькнуло в голове Галипа. Ему стало не по себе: почему он еще до того, как увидел, понял, что это труп Джеляля? Ему захотелось сказать: послушайте, я знал, что все знаю. Был колодец: у него в мыслях, у меня в мыслях, у нас в мыслях; была пуговица, фиолетовая пуговица. Мы смотрели на звезды через ветви деревьев... А тело словно взывало: натяните одеяло, холодно. Натяните одеяло, пусть Джеляль не мерзнет. Галипу стало зябко. «Я — это я!» Радужные пятна мазута. Труп прикрыт

---

[1] Железнодорожный вокзал, открытый в 1908 г. на азиатской части Босфора в одноименном районе Стамбула.

развернутыми страницами газет «Терджюман» и «Миллиет». Газета, в которой Галип всю жизнь читал статьи Джеляля. Очень холодно.

Через открытую дверь микроавтобуса был слышен равнодушный голос, разыскивающий по рации комиссара. Но где же Рюйя, где, где? На углу впустую работал светофор: зеленый свет, красный. Снова зеленый. Опять красный. В витрине кондитерской напротив тоже: зеленый, красный. Помню, помню, помню, говорил Джеляль. Ставни лавки Алааддина были закрыты, но внутри горел свет. Возможно, это что-то означает. Галипу хотелось сказать: господин комиссар, я пишу первый турецкий детективный роман, посмотрите, вот и первая ниточка: свет в лавке забыли выключить. На земле окурки, обрывки бумаги, мусор. Галип подошел к молодому полицейскому и стал расспрашивать его.

Оказывается, это случилось между половиной десятого и десятью. Кто убийца — неизвестно. Бедняга скончался мгновенно. Да, он известный журналист. Нет, рядом с ним никого не было. Почему покойного не увозят, он не знает. Нет, он не курит. Да, тяжела полицейская служба. Нет, рядом с убитым никого не было, он уверен в этом; почему бейэфенди[1] спрашивает об этом? Чем занимается бейэфенди? Что бейэфенди понадобилось здесь в такой час? Может ли бейэфенди показать удостоверение личности?

Пока полицейский изучал удостоверение, Галип смотрел на газетное одеяло, прикрывавшее труп Джеляля. С этого места было видно, что неоновые лампы бросают на газеты розоватый свет. Галип подумал: «Эх, господин полицейский, покойный обязательно обратил бы внимание на этот свет. Фотография на удостоверении — моя, и лицо на мне — мое. Ясно? Так-то лучше. Я пойду. Меня жена дома ждет. Кажется, я наконец решил все проблемы».

В квартире никого не было. Ничто не указывало на то, что Рюйя заглядывала хотя бы на минутку. Дверные ручки, ножницы, ложки, пепельницы, когда-то полные окурков выкуренных Рюйей сигарет, стол, за которым они прежде вместе ужинали, скучающие пустые кресла, одно против другого, — у всех вещей был угнетающе печальный вид. Он стремительно бросился из дома.

Входя в дом Шехрикальп, он почувствовал непривычную усталость. Квартира Джеляля, так старательно хранящая прошлое, показалась Галипу трогательной до слез, как дом — солдату, вернувшемуся с войны после долгих скитаний. Как далеко он был от этого прошлого! А ведь он ушел отсюда меньше шести часов назад. Прошлое манит, как сон. Галип по-детски подумал, что во сне сумеет увидеть статьи, фотографии, тайну, Рюйю, все, что ищет, и еще подумал, что во сне он не совершит ничего предосудительного. С этой мыслью он лег в постель Джеляля и уснул.

Проснулся он в середине дня. Суббота. День, когда не надо идти ни в контору, ни в суд. Не надевая тапочек, он пошел в коридор и взял из-под двери «Миллиет»; «Убит Джеляль Салик». Сообщение было помещено на первой странице. Под заголовком фотография, сделанная до того, как труп прикрыли газетами. Вся страница посвящена этому событию. Опубликованы заявления премьер-министра и других известных людей. Статью Галипа «Вернись домой» поместили в траурной рамке как «последнюю статью» Джеляля. Напечатали симпатичную фотографию Джеляля, сделанную недавно. По мнению известных людей, пуля была выпущена в демократию, в свободу мысли, в мир и прочие хорошие вещи, которые вспоминаются в подобных случаях. Приняты меры к тому, чтобы убийца был пойман.

Галип сел за стол, заваленный бумагами и газетными вырезками, закурил. Долго сидел в пижаме и курил. Когда зазвонил дверной звонок, ему показалось, что он целый час курил одну сигарету. Это была Камер. Сжимая ключ в руке, она посмотрела на Галипа, стоявшего в дверях, как на привидение, потом вошла, тяжело опустилась в кресло у телефона и заплакала. Утром, прочитав известие, она тут же отправилась к тете Хале. Проходя мимо лавки Алааддина, она увидела, что внутри много народу. В лавке нашли мертвую Рюйю-ханым. Алааддин, открыв лавку, наткнулся среди кукол на труп Рюйи.

---

[1] Господин, вежливая форма обращения.

Читатель, эй, читатель, я с самого начала очень старался в этой книге отделить рассказчиков от героев, статьи от событий, но сейчас, до того как книга уйдет в набор, я хочу вмешаться в события. В некоторых книгах бывают страницы, которые будто написаны не автором, а родились сами собой, и действие развивается само по себе; такие страницы обычно запоминаются лучше других, они остаются в нашей памяти на долгие годы, как трогательное воспоминание, не как образец мастерства писателя, а как истинная жизнь — для кого-то райская, для кого-то адская, для кого-то ни та, ни другая или и та, и другая одновременно. Если бы я был истинным профессионалом, талантливым писателем, а не жалким журналистом, я был бы уверен, что мы дошли до тех страниц моего произведения «Рюйя и Галип», которые на много лет останутся жить в душе умного и чуткого читателя. Но поскольку я трезво оцениваю свои книги и способности, такой уверенности у меня нет. А потому здесь мне хочется оставить читателя наедине с его воспоминаниями. Лучшим способом сделать это было бы попросить наборщика закрасить страницы черной краской. Чтобы то, что я не смог выразить, вы дополнили силой своего воображения. Я вмешался сейчас в повествование, чтобы напомнить вам о черном цвете снов и пустоте, которая царит в моей душе, когда я, как лунатик, брожу среди событий. Следующие страницы, черные страницы, читайте, как воспоминания лунатика.

Из лавки Алааддина Камер побежала к тете Хале. Там все плакали, считали, что Галип тоже погиб. Камер открыла им тайну Джеляля: сказала, что Джеляль много лет, а Галип с Рюйей последнюю неделю прятались в доме Шехрикальп в квартире на последнем этаже. Все снова подумали, что вместе с Рюйей погиб и Галип. Когда Камер вернулась в дом Шехрикальп, Исмаил сказал ей: «Иди наверх, посмотри!» Поднявшись наверх, Камер в страхе протянула руку с ключом, чтобы открыть дверь, но вдруг почувствовала уверенность, что Галип жив. На Камер была фисташкового цвета юбка, которую часто видел на ней Галип, и грязный фартук.

Потом, когда Галип пришел к своим родственникам, он увидел, что такого же фисташкового цвета платье с фиолетовыми цветами было и на тете Хале. Матери, отцу, дяде Мелиху, тете Сузан, всем, кто слушал его со слезами на глазах, Галип рассказал, что они с Рюйей пять дней назад вернулись из Измира и эти пять дней, иногда оставаясь и на ночь, провели с Джелялем в доме Шехрикальп: Джеляль много лет назад купил верхний этаж, но скрывал это. Он прятался там от тех, кто угрожал ему.

После обеда, ближе к вечеру, сообщая то же самое сотрудникам службы безопасности, которые записывали его показания, и прокурору, он долго рассказывал про голос по телефону. Но следователей не заинтересовала эта информация. Он почувствовал безвыходность человека, который не может проснуться и не может никого впустить в свои сны. В голове у него была полнейшая пустота.

На следующий день, во время панихиды в мечети Тешвикие, оказавшись наедине с главным редактором «Миллиет», Галип сказал, что остались целые коробки неопубликованных статей Джеляля, что последние недели, несмотря на то, что он посылал мало материалов в газету, он очень напряженно работал, осуществил старые проекты, дописал некоторые незаконченные статьи и даже написал кое-что совсем новое, в новом ключе, на темы, которых раньше не касался. Главный редактор, естественно, сказал, что они хотят опубликовать эти статьи в рубрике Джеляля. Так началась работа Галипа в рубрике Джеляля, которая продлится много лет. Когда похоронная процессия, выйдя из мечети Тешвикие, двигалась в сторону площади Нишанташи, Галип увидел Алааддина, рассеянно глядевшего в окно лавки. В руке он держал маленькую куклу, которую собирался завернуть в газету.

Накануне того дня, когда Галип принес в редакцию новые статьи Джеляля, он первый раз увидел во сне Рюйю с этой куклой в руках. Передав статьи Джеляля и выслушав соболезнования и мнения о случившемся друзей и врагов Джеляля, в том числе и Нешати, он пошел в кабинет Джеляля и стал читать лежащие на его столе газеты за последние пять дней. Внимание его привлекла статья молодого журналиста, где рассказывалось, как было совершено преступление; она была помещена среди статей, в которых авторы — в

зависимости от убеждений — возлагали ответственность за убийство на армян, турецкую мафию (Галипу захотелось исправить эти слова зеленой ручкой на «бандитов Бейоглу»), коммунистов, контрабандистов, поставляющих сигареты, русских, накшибендистов; здесь же публиковались отрывки из воспоминаний о Джеляле и описания похожих преступлений, имевших место в нашей истории. Заинтересовавшая его статья в газете «Джумхуриет», опубликованная в день похорон, была написана кратко, сдержанно, и Джеляль с Рюйей были обозначены там лишь инициалами:

«Известный журналист Дж. С., ведущий рубрику в газете «Миллиет», в пятницу вечером, в семь часов, с сестрой Р. вышел из своего дома в Нишанташи и отправился в кинотеатр «Конак». Фильм «Возвращение домой» закончился в двадцать минут десятого. Журналист и его сестра, состоящая в браке с молодым адвокатом (здесь Галип впервые в жизни, пусть в скобках, увидел свое имя в газете), вышли со всеми зрителями из кинотеатра. Снег, десять дней засыпавший Стамбул, прекратился, но было холодно. Пройдя по проспекту Валиконагы, они вышли на проспект Эмляк, а оттуда на проспект Тешвикие. Смерть настигла их в девять тридцать пять, когда они находились как раз перед полицейским участком. Убийца, использовавший старый пистолет «кырыккале» — он еще хранится у отставных военных, — по всей вероятности, целился в журналиста, но попал в обоих. Видимо, пистолет заело, потому что было выпущено только пять пуль, из которых три попали в журналиста, одна — в его сестру и одна — в стену мечети Тешвикие. Поскольку одна из пуль попала журналисту в сердце, он скончался на месте. Другая пуля попала в ручку в левом кармане пиджака журналиста (все газеты взволнованно писали об этом символическом совпадении), поэтому белая рубашка писателя больше была залита зелеными чернилами, чем кровью. Что касается сестры, то, тяжело раненная в левое легкое, она вошла в лавку, которая находилась к месту происшествия так же близко, как и полицейский участок». Автор репортажа, как детектив, снова и снова просматривающий пленку важного события, красочно описывал, как сестра, с трудом передвигаясь, подошла к известной в округе лавке Алааддина, но Алааддин, находившийся на улице, ее не заметил. Сестра с трудом входит в лавку и падает среди кукол. Потом пленка стала перематываться быстрее, и все становилось непонятным и нелогичным: лавочник, снимавший журналы с ветвей каштана перед лавкой, испугался услышанных выстрелов и, поскольку не видел, что кто-то вошел внутрь, опустил ставни и побежал домой.

Несмотря на то что в лавке до утра горел свет, ни полицейские, обследовавшие окрестности, ни кто-то другой не обнаружили умирающую внутри нее молодую женщину. Странно, что дежурный полицейский, стоявший на посту на противоположном тротуаре, не заметил второго раненого человека.

Убийца скрылся в неизвестном направлении. Утром один гражданин сообщил, что он незадолго до происшествия купил в лавке Алааддина лотерейный билет, а после этого недалеко от места происшествия видел устрашающего вида тень в странной одежде и пелерине, как в исторических фильмах (он сказал: «будто султан Фатих Мехмед»), и еще до того, как прочитал о случившемся, рассказал об этом жене и ее сестре. Завершал молодой журналист статью пожеланием, чтобы молодые женщины не становились жертвами всеобщего равнодушия.

Солнечным утром в начале февраля отец сообщил Галипу, что пришел ответ из Кадастрового управления на запрос дяди Мелиха по поводу наследства, и выяснилось, что у Джеляля была еще одна квартира на окраине Нишанташи.

Квартира, куда дядя Мелих с Галипом отправились, прихватив с собой слесаря, находилась на верхнем этаже трехэтажного дома с почерневшими от копоти и дыма стенами, с облупившейся местами краской, напоминавшими кожу неизлечимо больного человека; попадая на такие узкие разбитые улицы, Галип всегда думал: почему богатые селились когда-то в столь бедных местах или почему людей, живущих в таких бедных местах, некогда называли богатыми? Слесарь легко открыл нехитрый замок двери, на которой не было никакой таблички, и удалился.

В квартире было две маленькие спальни, в каждой стояло по кровати. Их разделяла

небольшая гостиная, освещенная солнцем через окно, выходившее на улицу. По обеим сторонам большого стола, находившегося посередине гостиной, стояли кресла. На столе лежали кучи газетных вырезок, рассказывающих о совершенных в последнее время убийствах, фотографии, кино- и спортивные журналы, новые издания знакомых Галипу с детства романов-комиксов, вроде «Техас» и «Томмикс», детективные романы, груды всяких бумаг и газет. Скорлупки от фисташек, доверху наполнявшие большую медную пепельницу, не оставляли у Галипа ни малейших сомнений, что за этим столом сидела Рюйя.

Там, где, должно быть, была спальня Джеляля, Галип увидел пакетики с «мнемоником», другие антисклеротические лекарства, сосудорасширяющие препараты, аспирин и коробку спичек. То, что он увидел на стуле в комнате Рюйи, напомнило Галипу, что, уходя из дома, жена не взяла почти никаких вещей: немножко косметики, тапочки, брелок, который, она считала, принесет ей счастье, и щетку для волос с зеркалом на обратной стороне. Галип внимательно посмотрел на все эти вещи, лежащие на стуле фирмы «Тхонет» в пустой, с голыми стенами комнате, и они вдруг открыли ему какой-то скрытый смысл, ему показалось, что он постиг тайну мира. Вернувшись к дяде Мелиху, которого мучила одышка, он подумал: «Они пришли сюда рассказывать друг другу истории». Бумаги в папке на краю стола свидетельствовали о том, что Рюйя начала записывать истории, которые рассказывал Джеляль, и что Джеляль сидел в кресле слева, где сейчас сидел дядя Мелих, а слушавшая его Рюйя сидела на втором, свободном сейчас, кресле. Галип сунул в карман пиджака рассказы Джеляля, чтобы потом использовать их в статьях для газеты «Миллиет», и дал объяснения дяде Мелиху, которых тот терпеливо ждал.

Джеляль заболел тяжелой болезнью, приводящей к потере памяти; эту болезнь давно открыл известный английский врач, но пока она считается неизлечимой. Чтобы скрыть от всех свою болезнь, он прятался в этих квартирах и постоянно просил помощи у Рюйи и Галипа. Поэтому иногда Рюйя, иногда Галип оставались здесь на ночь и для того, чтобы Джеляль вспомнил что-то и восстановил прошлое, слушали рассказы Джеляля и даже записывали их. Когда на улице шел снег, Джеляль часами рассказывал им нескончаемые истории.

Дядя Мелих как будто все понял и долго молчал. Потом заплакал. Закурил. Снова стал задыхаться. Справившись с приступом, сказал, что Джеляль всегда вел себя неправильно. Покинув дом Шехрикальп, он всю жизнь, казалось, мстил семье за то, что отец, женившись во второй раз, некрасиво поступил по отношению к нему и его матери. А ведь отец любил его не меньше, чем Рюйю. И вот теперь нет ни Джеляля, ни Рюйи. Теперь единственный у него, Мелиха, ребенок — Галип.

Слезы. Молчание. Звуки незнакомого дома. Галип хотел сказать дяде Мелиху, что надо купить бутылку ракы в лавке на углу и скорее вернуться домой. Но вместо этого он задал вопрос себе; читатели могут представить, какой это вопрос, и пропустить один абзац.

Какие истории, какие воспоминания, какие сказки, какие цветы в саду памяти Джеляля и Рюйи побудили Рюйю покинуть Галипа и перебраться сюда? Почему она это сделала? Потому что Галип не умел рассказывать истории? Потому что он не был интересным и веселым собеседником? Или потому, что некоторые рассказы он просто не мог понять? Или чрезмерным обожанием мешал их веселью? Или они сбежали от его постоянной грусти?..

Невозможно было примириться с потерей Рюйи, воспоминания о ней были непереносимы, казалось, от переживаемой им боли и тоски вещи начнут сдвигаться со своих мест; к концу лета Галип выехал из квартиры, которую они снимали с Рюйей, и перебрался в дом Шехрикальп, в квартиру Джеляля.

...В конце лета произошел военный переворот. Новое правительство, сформированное из почтенных людей, не запачканных грязью, называемой политикой, объявило, что найдет всех виновных в политических убийствах, совершенных в недавнем прошлом. В годовщину смерти Джеляля Салика газеты вежливо напомнили, что не раскрыто даже его убийство. Одна газета, но почему-то не «Миллиет», в которой работал Джеляль, посулила оказавшему содействие в поисках его убийцы приличное вознаграждение. Сум-

ма была такая значительная, что получивший ее мог купить грузовик, маленькую хлебопекарню или бакалейную лавку, то есть обеспечить себя постоянным доходом до конца жизни. Началось расследование убийства Джеляля Салика. Власти в Стамбуле и в провинции засучив рукава принялись за работу.

К этому времени я немного пришел в себя и начал потихоньку превращаться в деятельного человека. Этот новый человек, каким я стал, не особенно прислушивался к доходившим до Стамбула сообщениям провинциальных корреспондентов, например, о том, что убийца задержан в горном селении, около которого недавно упал в пропасть и разбился автобус с футболистами и болельщиками; потом поступило известие, что преступника поймали, когда он в приморском городке сидел и смотрел с тоской и чувством выполненного долга в сторону заморской страны, заплатившей ему мешок денег. Эти первые сообщения воодушевляли тех, кто раньше не осмеливался давать какую-либо информацию, а также побуждали власти работать еще усерднее.

Сотрудники стамбульской службы безопасности стали вызывать меня по ночам, чтобы с моей помощью установить преступника. С наступлением комендантского часа и до утра отключали электростанцию, так как у муниципалитета не хватало на нее денег, и жизнь города разделилась на две половины — белую и черную. Спекулянты-мясники в темноте приводили в исполнение смертные приговоры, забивая старых лошадей. Жизнь города стала похожа на жизнь далеких провинциальных поселков. После полуночи, окутанный клубами сигаретного дыма, я вставал из-за рабочего стола, где с вдохновением, достойным Джеляля, писал новую статью, спускался к парадному дома Шехрикальп, выходил на пустую улицу и ждал полицейскую машину, которая везла меня в здание госбезопасности в Бешикташе, похожее на замок за высокими стенами. Насколько пустым, застывшим и темным был город, настолько оживленным, полным жизни и света был этот замок.

Мне показывали фотографии самых разных молодых людей: то с мечтательными лицами, то с растрепанными волосами, то с воспаленными глазами. Разглядывая пугающие лица людей, вынужденных позировать фотографу среди некрашеных, грязных, неизвестно чем заляпанных стен отделов безопасности, я иногда различал какие-то показавшиеся мне знакомыми тени, задерживался взглядом, и тогда бдительные сотрудники, неизменно торчавшие рядом, сообщали мне жуткие подробности о человеке, мечтательное выражение лица которого я рассматривал на фотографии: этот парень был схвачен по доносу в кофейне «Улькюджю» в Сивасе, на его счету четыре убийства; этот молодой человек, у которого и усы еще не растут, опубликовал большую статью против Джеляля в журнале энверходжаевского толка; фотографию этого, с оторванными пуговицами на пиджаке, прислали в Стамбул из Малатьи[1] — он был учителем и лет десять назад, после публикации статьи Джеляля о Мевляне, настойчиво объяснял своим девятилетним ученикам, что Джеляль должен быть убит за оскорбление великого религиозного деятеля; человек средних лет с испуганными глазами, выглядевший как отец семейства, напившись в кабаке в Бейоглу, произнес длинную речь, призывая очистить страну от заразы; сидящий за соседним столом гражданин, мечтающий об обещанном газетой вознаграждении, донес на него в полицейский участок Бейоглу, сказав, что, говоря о заразе, он упомянул и Джеляля Салика. Знает ли Галип-бей этого человека с испитой физиономией, видел ли Галип-бей в последнее время рядом с Джелялем кого-либо из этих людей, чьи фотографии лежат перед ним?

В середине лета, когда на новых пятитысячных купюрах появилось изображение Мевляны, я прочитал в газетах, что умер отставной полковник Фатих Мехмет Учунджу. Мои вынужденные ночные визиты в управление безопасности участились, а число предлагаемых мне фотографий увеличилось. Я увидел еще более печальные, страшные и странные лица, чем те, что были в скромной коллекции Джеляля. Мастера по ремонту велосипедов, студенты-археологи, портные, заправщики с бензоколонок, подмастерья в

---

[1] Малатья — город в центральной части Анатолии.

лавках, киностатисты, владельцы кофеен, авторы религиозных брошюр, кондукторы автобусов, сторожа парков, сводники, молодые бухгалтеры, продавцы энциклопедий... все они прошли через пытки, были измучены — кто больше, кто меньше — и смотрели в объектив с выражением «Я не здесь», «Это не я», прикрывающим печаль и страх, как будто они забыли тайну, хранившуюся в глубине их памяти, а поскольку забыли, то и не стремились постичь ее.

Я не собирался говорить о буквах, которые видел на лицах, запечатленных на фотографиях, потому что не хотел снова возвращаться к старой игре, казавшейся мне (и моим читателям) давно законченной: все идет так, как идет, судьбой все предопределено. Но в одну из бесконечных ночей в замке (может быть, правильнее было бы говорить «крепость»?), когда я с неизменной решимостью отказывался узнавать показываемые мне лица, один из сотрудников службы безопасности — позднее я узнал, что он полковник генштаба, — спросил: «Вы совсем не видите букв? — и с профессиональной уверенностью добавил: — Мы тоже знаем, как трудно человеку в этой стране быть самим собой. Но все же помогите нам хоть немного».

В другую ночь коренастый подполковник рассказывал, что в Анатолии еще сохранились остатки ордена, члены которого по-прежнему верят в Махди, причем не преподносил это как результат работы спецслужб, а будто дружески делился информацией: во время одного из своих тайных путешествий в Анатолию Джеляль завязал отношения с этими «реакционерами», ему удалось встретиться с ними то ли на окраине Коньи в доме автослесаря, то ли в Сивасе в доме одеяльщика, и он сказал, что в своих статьях поместит знаки, извещающие о приближении дня конца света. Так вот, статьи о циклопах, проливах, из которых ушла вода, переодевающихся пашах и падишахах полны этих знаков.

Один из служащих госбезопасности объявил, что он в конце концов разгадал знаки и надеется расшифровать акростих, который складывается из начальных букв абзацев давнишней статьи Джеляля под названием «Поцелуй». Мне захотелось сказать: «Я знал». Я прекрасно понимал, зачем они разъясняют мне смысл названия книги «Разгадка тайны», где автор рассказывает о своей жизни и борьбе, и показывают фотографии, отснятые им на темных улицах Бурсы, когда он был в ссылке в этом городе: мне хотелось их прервать: «Я знаю». Я, как и они, после статей Джеляля о Мевляне знал о пропавшем человеке и забытой тайне. Они сказали мне с веселыми улыбками, что у Джеляля «винтики раскрутились», то есть память ослабла, и потому он искал человека, который убил бы его, чтобы «обрести» забытую тайну; среди выложенных передо мной фотографий я увидел лица грустные, серьезные, растерянные, похожие на те, что хранились у Джеляля в шкафу черного дерева; и опять мне захотелось сказать: «Я знал». А еще мне хотелось сказать, что я знаю, кто те влюбленные, к которым Джеляль обращался в статье об отступивших водах Босфора, и знаю, с кем он встречался в своих снах еще до того, как засыпал.

Может быть, им было прекрасно известно, что я знал и чего не знал, и они просто хотели поскорее закончить свое дело и изгнать все сомнения, которые были у меня и у читателей газеты, до того, как они непомерно разрастутся; они хотели лишить нашу жизнь тайны, раскрыть тайну Джеляля раньше, чем мы ее раскроем.

Иногда, видя, что дело порядком затянулось, кто-нибудь из опытных работников, которого я впервые видел, или тщедушный прокурор, с которым познакомился давно, принимались выстраивать улики, как в плохих детективных романах. Они высказывали предположения, что убийца был пешкой, засланной внешними силами, желающими «дестабилизировать» наше общество, что преступниками являются бекташи-накшибендисты, возмущенные тем, что их тайны стали объектом насмешек, что виноваты некоторые поэты, пишущие акростихи размером аруз, то есть добровольные хуруфиты, которые, сами того не подозревая, взяли на себя роль представителей внешних сил в этом заговоре, толкающем нас к беспорядкам, своего рода Страшному суду. Нет, у этого убийства не было никаких политических мотивов: это легко понять, достаточно вспомнить, что убитый журналист долгие годы писал не имеющую ничего общего с политикой чушь,

которую вбил себе в голову, причем старомодным стилем и так длинно, что никто не в силах был это читать. Убийца — или сам знаменитый бандит Бейоглу, считающий, что Джеляль распустил о нем оскорбительные слухи, или нанятый им человек.

Наконец они решили, что убийца — парикмахер, на которого поступил донос. Мне показали этого маленького худого человека лет шестидесяти, увидели, что я не могу опознать и его, и после этого меня больше не звали в замок на безумные пляски смерти, жизни, тайны и власти. Через неделю все газеты сообщали о парикмахере, который сначала отрицал свою вину, потом признал, потом опять отрицал и снова признал. История была такая: Джеляль Салик написал об этом человеке в статье под названием «Я должен быть самим собой», которую впервые опубликовал много лет назад; в той статье и — позже — в других статьях Джеляль писал, как парикмахер пришел к нему в газету и задал вопросы, касающиеся Востока, нас и нашего будущего, вопросы глубокие, способные пролить свет на тайну; Джеляль на все эти вопросы дал шутливые ответы, причем в присутствии других людей. Парикмахер с возмущением увидел, что эти шутки, которые он принял как оскорбление, были использованы Джелялем в нескольких статьях. Когда спустя двадцать три года статью снова опубликовали под тем же названием и тем самым снова нанесли ему оскорбление, парикмахер не выдержал и решил отомстить журналисту (были здесь и другие причины). Осталось неизвестным, о каких других причинах, существование которых отрицал парикмахер, шла речь, но действия парикмахера, говоря языком полицейских и газет, были определены как «индивидуальный терроризм». Вскоре после этого в газетах была напечатана фотография измученного, усталого человека, на лице которого не было ни букв, ни смысла; быстро вынесли и утвердили приговор, и в назидание другим парикмахер был повешен; это произошло на рассвете, когда по улицам Стамбула бегают только собаки, не признающие комендантского часа.

В те дни дома я работал над статьей о горе Каф, а в контору ко мне приходили посетители, которые хотели поговорить о Джеляле. Я слушал их в каком-то полусне и ничем не мог им помочь, просто выслушивал их излияния. Экзальтированный учащийся лицея им. Имама Хатипа говорил, что из статей Джеляля о палачах убийца мог сделать вывод, что Джеляль на самом деле Даджал, и тогда, убив Джеляля, этот человек становился Махди, то есть ставил себя на место Его; портной из Нишанташи уверял, что шил для Джеляля исторические костюмы, я с трудом вспомнил, что именно его видел сидящим в мастерской в ту ночь, когда пропала Рюйя, — так смутно помнится фильм, увиденный много лет назад. Пришел Саим, стал просвещать меня на предмет богатства архива госбезопасности; пока он рассуждал о названии статьи «Я должен быть самим собой», ставшей причиной убийства, я унесся мыслями куда-то далеко-далеко и от себя, и от Саима.

Некоторое время я полностью посвятил себя адвокатской практике, делам, которые вел. Я жил активной жизнью, нашел старых друзей, завел новых, проводил вечера в компаниях. Иногда я замечал, что облака над Стамбулом окрашены в необычный желтый или пепельный цвет, иногда видел знакомое, привычное, обычное небо. По ночам, написав на одном дыхании две-три статьи, как делал это Джеляль в свои лучшие годы, я вставал из-за стола, садился в кресло около телефона, вытягивал ноги на подставке и ждал, когда окружающие меня вещи превратятся в знаки другого мира. И тогда я чувствовал, как в глубине моей памяти шевелится какое-то воспоминание, оно как тень перебирается из одного сада памяти в другой и третий, и я в этот момент будто открывал и закрывал двери своего «я» и постепенно превращался в другого человека, который мог бы встретиться с этой тенью и быть счастлив с ней; я ловил себя на том, что был готов заговорить голосом этого другого человека.

Я старался владеть собой, поменьше отдаваться воспоминаниям о Рюйе — они наваливались, как правило, в самое неподходящее время — и очень боялся, что меня может одолеть меланхолия. Два-три раза в неделю я вечерами ходил к тете Хале, после ужина кормил с Васыфом японских рыбок, но никогда не садился на край постели и не смотрел газетных вырезок (один раз все же посмотрел и увидел вырезку, где фотография Джеляля была напечатана вместо фотографии Эдуарда Робинсона; так я открыл, что они

немного похожи, как дальние родственники). Когда становилось поздно, мой отец или тетя Сузан говорили, чтобы я поторопился и не опоздал домой — как будто меня там ждала больная Рюйя, — а я им отвечал: «Да, пойду, пока не наступил комендантский час».

К дому Шехрикальп и нашему старому дому я никогда не ходил мимо лавки Алааддина, я шел окольным дальним путем по переулкам, стараясь не оказаться на тех улицах, где мы гуляли с Рюйей и по которым шли Рюйя и Джеляль, выйдя из кинотеатра «Конак». В результате я попадал в странные стамбульские переулки с фонарями, буквами, незнакомыми стенами, страшными слепыми домами, окна которых были задернуты темными занавесками. Плутание в темноте по незнакомым местам делало меня настолько другим человеком, что, когда я подходил к дому Шехрикальп уже после наступления комендантского часа и видел все еще висящий кусок материи, привязанный к решетке балкона на верхнем этаже, я с радостью воспринимал это как знак того, что Рюйя ждет меня дома.

Увидев эту синюю тряпку, я неизменно вспоминал одну ночь в третий год нашей женитьбы: мы по-доброму разговаривали в тишине, как старые друзья, хорошо понимающие друг друга, и беседа не тонула в бездонном колодце равнодушия Рюйи. Открыл тему я, но заработало ее воображение, и мы вместе стали представлять, как проведем день вдвоем, когда нам будет по семьдесят три года.

Итак, нам по семьдесят три года, и зимним днем мы вместе идем по улицам Бейоглу. На сэкономленные деньги мы покупаем друг другу подарки: свитер или перчатки. На нас старые, тяжелые, сохраняющие наш запах пальто, к которым мы привыкли и потому любим. Мы идем бесцельно, просто разговариваем и равнодушно смотрим на витрины. Мы ругаем все подряд, жалуемся, что все переменилось, вспоминаем, насколько лучше была раньше одежда, витрины и люди. Причем мы прекрасно понимаем, что разговоры наши вызваны тем, что мы старые, что нам нечего ждать от будущего, но все равно ведем мы себя именно так. Мы покупаем килограмм засахаренных каштанов, тщательно следя, как их взвешивают и заворачивают. Потом на одной из улочек мы набредаем на старую книжную лавку, которую никогда раньше не видели, и поздравляем друг друга с этим удивленно и радостно. В лавке низкие цены, здесь продаются детективные романы, которые Рюйя не читала или забыла, что читала. Мы разгребаем книжные завалы, выбирая книги; старая кошка бродит среди книжных груд и мурлычет, а понятливая продавщица улыбается нам. Потом мы заходим в кондитерскую, радуясь, что книги, купленные так дешево, обеспечат Рюйю чтивом минимум на два месяца; за чаем у нас возникает маленькая ссора: поскольку нам по семьдесят три года, мы, как все люди этого возраста, ссоримся оттого, что все эти семьдесят с лишним лет жизни прошли впустую. Мы возвращаемся домой, разворачиваем пакеты, раздеваемся и, не стесняясь наших белых, дряблых тел, предаемся любви, поедая каштаны и запивая их сладким сиропом. Блеклый цвет наших старых, усталых тел похож на полупрозрачную кремовую белизну нашей кожи шестьдесят семь лет назад, когда мы только познакомились. Рюйя, у которой фантазия всегда была развита сильнее, чем у меня, сказала, что, занимаясь любовью, мы закурим сигареты и будем плакать. Я заговорил на эту тему, потому что знал, что в семьдесят три года Рюйя уже больше не будет тосковать по другим своим жизням и будет любить меня. А Стамбул, как понимают читатели, будет оставаться таким же бедным.

Иногда в старых коробках у Джеляля, среди вещей в моей конторе или в одной из комнат у тети Хале я все еще натыкался на какие-то старые вещи, не выброшенные лишь оттого, что я почему-то не обратил на них внимания. Фиолетовая пуговица от цветастого платья, которое было на ней в тот день, когда мы познакомились; «модные» очки с приподнятыми верхними краями: в шестидесятые годы они появились в европейских журналах на лицах богатых женщин, тогда же носила их и Рюйя, но месяцев через шесть перестала; маленькие черные шпильки: одной она обычно закалывала волосы, укладывая их обеими руками, а другую зажимала в уголке рта; крышка от деревянной коробочки, в которой она держала иголки и нитки и о пропаже которой сильно жалела; каким-то образом оказавшееся среди адвокатских дел дяди Мелиха задание по литературе: Рюйя с помощью энциклопедии сочинила рассказ о птице Симург, живущей на горе Каф, и

приключениях тех, кто искал ее; написанный рукой Рюйи список покупок, которые я должен был сделать (соленый тунец, журнал «Бейяз пердэ»[1], газ для зажигалки, шоколад с фундуком «Бонибон»); дерево, которое Рюйя нарисовала под руководством Дедушки; зеленый носок, один из тех, что я видел на ней, когда она девятнадцать лет назад садилась на взятый напрокат велосипед.

Перед тем как осторожно опустить эти предметы в мусорный ящик возле дома на улице Нишанташи и убежать, я несколько дней, иногда несколько недель, даже — да, да! — несколько месяцев, носил их в набитых всякой ерундой карманах, а когда, выбросив, уходил, всегда мечтал, что однажды эти грустные вещи вернутся ко мне вместе с воспоминаниями, так же как выступают из тьмы вещи в квартире Джеляля.

Сегодня мне от Рюйи остались только записки: мрачные, черные, совсем черные страницы. Тут записаны рассказы о палачах и сказка о Рюйе и Галипе, услышанные от Джеляля ночами, когда шел снег; я вспоминаю, что единственный способ для человека стать собой — это стать другим, заплутаться в историях другого; эти истории мне хотелось бы поместить рядом в черной книге, они напоминают мне о наших воспоминаниях и любовных историях и сказках, рассказанных нам другими, а еще напоминают о влюбленном, потерявшемся на улицах Стамбула, и человеке, забывшем смысл выражения своего лица и старающемся разгадать тайну; таким образом, я подхожу к концу своей книги, усердно занимаясь новой работой, которая состоит в новом пересказе старых, очень старых историй. В конце моей книги Галип пишет последнюю статью Джеляля, ее надо вовремя передать в газету; но в общем-то этими статьями уже никто не интересуется. Под утро я с горечью вспоминаю Рюйю и, встав из-за стола, смотрю в темноту просыпающегося города. Вспоминаю Рюйю и, встав из-за стола, смотрю в темноту города. Я вспоминаю Рюйю, и мы словно вместе смотрим в темноту Стамбула, и когда вдруг начинает казаться, что между сном и явью я найду ее след на голубом клетчатом одеяле, нас охватывают печаль и волнение. Потому что нет ничего более удивительного, чем жизнь. Кроме слова. Кроме утешительного слова.

1985—1989

■

[1] «Белый занавес».

«Бамбук шелестит под осенним ветром...»

Из старинной китайской поэзии

Перевод с китайского и вступление ИЛЬИ СМИРНОВА

Перед читателями «ИЛ» — подборка стихотворений, созданных китайскими поэтами, жизнь которых уместилась в триста лет правления Сунской династии (X—XIII вв.). Не пытаясь объяснять стихи, позволю себе тем не менее предварить эту публикацию несколькими соображениями, которые, надеюсь, окажутся небесполезными.

Напомню, что вплоть до начала нынешнего века китайцы были привержены династийной периодизации собственной истории. Сколько бы ни длилось правление той или иной династии, это время всегда воспринималось как законченное историческое и культурное единство. Поэтому самое общее определение, к примеру «сунский Китай», применительно к трем сотням лет истории гигантской страны — гораздо меньшая условность, чем привычные нам «николаевская Россия» или «викторианская Англия».

Так что объединение в одной подборке поэтов, разделенных полутора сотнями лет, не своеволие переводчика, а строгое следование китайской традиции, внутри которой «сунская поэзия» — при всем многообразии имен, направлений, стилей — отчетливо ощущалась как художественное явление, единое в главных своих чертах и, безусловно, отличное от предшествующей «танской поэзии» или от последующей «юаньской», хотя и связанное с ними общими истоками, цитатами, намеками, символикой, темами, наконец. Замечу в скобках, что и самый тонкий знаток «со стороны», не прошедший традиционной китайской выучки, в девяти случаях из десяти не сможет датировать старое китайское стихотворение, не говоря уж о том, чтобы назвать его автора — ну разве попадется самое что ни на есть хрестоматийное.

Одна важная особенность средневекового взгляда на изящную словесность, может быть, не вполне осознается современными читателями. Дело в том, что по китайским представлениям ценность литературы — далеко не только в ее вершинных достижениях. Как природный ландшафт не состоит из одних гор, так и пейзаж словесности достоверен только в единстве всех создающих его имен и произведений. Поэтому намного выше, чем сборники отдельных, пусть самых замечательных поэтов, ценились в Китае разного рода антологии.

Составление антологий почиталось особым искусством. Необходимо было на сравнительно небольшом пространстве создать полноценный поэтический пейзаж

© И. Смирнов. Перевод, вступление, 1999

В публикации использованы фрагменты картин средневековых китайских художников.

с подъемами и спадами, высшими взлетами поэтического гения и поучительными неудачами — иными словами, передать пульсацию того своеобразного ритма, который, отражая ритм природы, одухотворяет любые явления человеческого бытия. Главное, что воплощалось в лучших изборниках, — это пропорция имен, тем, жанров, своеобразная игра с традиционными репутациями, доступная только подлинным знатокам.

Европейский поэтический вкус воспитан на иных образцах, в иной традиции. И выбирать из старой китайской поэзии стихотворения для перевода, руководствуясь исключительно собственными оценками, было бы неоправданной самонадеянностью. Все поэты и все стихи, представленные в нашей подборке, уже несколько столетий назад помещены в самые авторитетные китайские собрания поэзии эпохи Сун и наравне с другими составили ее поэтическую славу. На этих журнальных страницах — своеобразный фрагмент стихотворного пейзажа за несколько столетий, каким он виделся китайцам-эрудитам.

Однако не всегда и не во всем можем мы без потерь следовать за вкусами носителей традиции. Скажем, легко заметить пристрастие переводчика к пейзажной лирике, весьма важной в системе китайского поэтического универсума, но его далеко не исчерпывающей. К сожалению, высоко ценимые в Китае стихи, к примеру на исторические сюжеты, требуют в переводе бесконечных примечаний и пояснений, в которых без остатка тонет поэзия. Точно так же, в нарушение принятых в классических собраниях пропорций, из всего обилия поэтических форм явное предпочтение отдано так называемым «оборванным строфам» – самым лаконичным стихам, которые с наибольшей полнотой воплощают редкостное умение старых китайских мастеров «прозревать великое в малом».

Надеюсь, однако, что, несмотря на эти вынужденные компромиссы, в нашей подборке сохранилось одно из главнейших свойств всякой средневековой антологии — ее внутренний сюжет, перекличка поэтов и стихотворений. Именно в диалоге с похожими по теме, форме, художественным приемам стихами становятся явственнее тончайшие оттенки привычных смыслов, какие-то новые грани лирического сюжета.

Поводом для китайского стихотворения почти всегда служило воспоминание, причем нередко — об известном с детских лет знаменитом произведении великого поэта-предшественника; о соперничестве и речи не шло, но стремление как-то оттенить памятную строку, слегка сместить акцент, расцветить новой деталью, конечно же, присутствовало. Поэтому столь зорок взгляд китайца-стихотворца и так изощрено его внимание к самомалейшим переливам звуков, красок, чувств. И всегда хранил он в памяти средневековую максиму: «строка кончается, мысль безгранична».

Наконец, стоит отметить, что в нашей подборке представлена только классическая поэзия — стихи с регулярной длиной строки и весьма строго ограниченным набором тем, из которого традиция исключает любовную тематику, впрочем, дозволяя ее в благопристойных рамках любви супружеской. В эпоху Сун рядом с поэтической классикой расцвела и любовная лирика — новый жанр так называемых «мелодий», или «романсов», тесно связанный с музыкой и гораздо более свободный и формально, и содержательно. Но это уже в самом деле «другая песня».

Сунская поэзия переводилась у нас в стране. Выходили сборники нескольких наиболее известных поэтов. Наша публикация знакомит читателей с новыми поэтическими именами — стихотворцами замечательного таланта, чьи стихи и через тысячу лет волнуют ум и сердце. А разве не в этом назначение истинной поэзии во все времена?

ЛИ ГОУ (1009–1059)

Вспоминаю реку Цяньтанцзян

Парус поставив, в утлой лодчонке
к дому хмельной возвращался;
Горы стеной впереди темнели,
чуть освещенные солнцем.

Гладь речная сияла-сверкала
в светлых лучах заката;
Разом речные нарциссы надели
розово-алое платье.

Проводы весны

На террасе Ичунь — Весны Благодатной —
с грустью весну провожаю;
Слезы текут в золоченую чашу,
а я и не замечаю.

Печальной иволге — мне показалось —
скорбь людская понятна,
Она высоко летает и видит:
всюду цветы облетают.

ЧЖАН ЛЭЙ (1054–1114)

Слушаю сверчка

1.

Бамбук шелестит под осенним ветром,
об осени напоминает;
Впервые на опустевших ступенях
услышал сверчка ночного.

Хотя и скитаюсь-брожу на чужбине,
а все же почувствовал радость —
Сегодня этот знакомый голос
с жизнью меня примиряет.

2.

Два года странствовал по воде,
отдавшись во власть волнам;
Лицо старика, седина на висках —
всё, что я приобрел.

Под кровлю заглядывает луна,
гнется под ветром бамбук;
Сегодня впервые в этом году
голос сверчка услыхал.

Весенним днем

Кружит мошкара, паутина реет,
словно трепещет воздух,
И долгие думы текут неспешно —
с днями длиною схожи.

Весенние травы двор полонили,
редко скрипнут ворота;
Высокое солнце сияет в окнах,
пусто в светлых покоях.

Ночью слушаю ветер и дождь

В буддийском храме заночевал,
домой возвращаться поздно;
Слышу шуршание струй дождевых
в изгороди поределой.

Печали своей не умерит гость,
гонимый, как ряска, ветром;
В монашеской келье читаю стихи,
подслушанные у ливня.

Из стихов «В праздник Фонарей»[1]

1.

Ранним утром призвали меня
в государев дворец Дамингун;
Удостоился высочайших даров[2],
в полночь вернулся домой.

Десятилетие службы, как сон,
промчалось — и я старик;
Вместе с годами ушла любовь
к ветру, к горной луне.

2.

На побережье огни мерцают
осенними светляками;
Песни горцев слух утомили —
столько в них горя-печали.

Сам удивляюсь: этой весною
ко всему безразличен;
Книги читаю один в тишине
и от вина отказался.

В шестую луну на шестом году эры правления Юанью (1092) я был освобожден от должности помощника составителя Истории и назначен на должность помощника начальника секретариата. Через много лет возвращен на должность помощника составителя Истории и, по совместительству, на должность советника Исторической палаты. Поэтому пришел в свой прежний кабинет и сделал на стене следующую надпись:

Деревья дворцовые
признали во мне знакомца,
Хотя возвратился
старик с седой головою.

С унылого неба
осенняя сеяла морось,
Но все же заметил,
как сильно выросли сосны.

[1] Праздник Фонарей отмечался в полнолуние первого месяца года; в этот день повсюду вывешивали масляные фонари, а власти единственный раз в году снимали запрет на ночные гуляния. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Как правило, император жаловал уходящих на покой чиновников парадной одеждой, экзотической едой с государева стола и т. п.

Строфы без названия

1.

Недавно с софоры опала листва,
а сколько уж голых дерев.
Бессмысленно жалуется сверчок,
ночами печально стрекочет.

За домом моим на тропинке лесной
осенний мох появился;
На пыли, укрывшей столик для книг,
следы от мышиных лапок.

2.

Поздняя осень; проспал до полудня —
а все холодна подушка!
С гнутых углов черепичной кровли —
ливня звенящие струи;

Сохнут в корзине лечебные травы —
нужен огонь пожарче;
Дверь затворив, воскурю благовония
на подставке для свитков.

Слушаю пение птиц

Так долго странствовал по Янцзы —
уже борода седа;
И слышу вновь, как птицы весной
с восходом солнца поют.

Покинул северный край, но навек
в душе останется след:
Бамбук ледяной, слива в цвету,
гряда желто-бурых холмов.

Ночью сижу в одиночестве

Двор пустынен, безлюден, тих;
полная блещет луна;
Кажется, иней скоро падет —
воздух ночной посвежел.

Только утун не хочет признать,
что срок увяданья пришел:
Редкими листьями на ветру
все шуршит и шуршит.

Е МЭН-ДЭ (1077–1148)

Сочинил в беседке Вэйшаньтин

Беседка на склоне, а выше — громады
двух скалистых утесов;
Бамбуковой рощицы не хватает,
чтобы шумела листвою.

Зато немолчный голос потока,
словно чистая яшма —
Печаль и тоску по далекому дому
в сердце сумел умерить.

ЛЮ ЦЗЫ-ХУЭЙ (1101–1147)

Скала Спокойного Созерцания

Буйно-густая
роща персиков диких;
Сенью древесной
скрыты замшелые камни.

Если отшельник
предался созерцанью,
Значит, мечтает
прочь отринуть стремленья;

Не возвращаются
к ночи домой дровосеки…
Холодно. Горы
в дождь— как зеленая яшма.

На реке

Кажется, до небес достигает
гребень волны прили́вной;
Вечер прохладен, и за рекою
легкий туман на деревьях.

Третий день, как северный ветер
разметал переправу;
К тихому берегу притулилась
утлых лодочек стая.

Ранний отъезд

Петел в деревне
криком рассвет возвестил;
В утреннем небе
истаивает луна.

Странник на лошади
затемно тронулся в путь;
Меркнет светильник,
пуст гостевой покой.

Под беспредельным небом

Окоем без границ, одинокий парус,
тайные мысли о доме;
В полнеба закат горит-изгорает,
свет на западе тонет.

Воронье от холода сбилось в стаю —
сколько их, птиц летящих!
Устремляются к дереву в устье потока,
чтоб на ночлег угнездиться.

СЮЙ ЦЗИ (1162–1214)

Поздняя весна

Стихает ветер. Сады одеты
в нежно-зеленое платье;
Весенние краски едва сгустились
и вновь безнадежно тают.

У листьев лотоса на мелководье —
головастиков племя;
Вино молодое струит ароматы,
ивовый пух летает.

По дороге в Цзяньцзянь

В тумане и тучах горные пики,
без счету — крутые уступы;
Извив ручья — я немного помедлил,
извив — и помедлил снова.

Но только возле стремнины потока
смиряет шаги свои странник
И слушает разом: шумящие сосны
да чистой влаги журчанье.

Перебираюсь через хребет Цзюлин

Теснят дорогу отвесные скалы,
немолчно звенят ручьи;
Едва спустился к подножью и снова
к вершине стремишь свой путь.

Следишь неотрывно, как горные пики
скрывает облачный дым,
И не замечаешь, как сам погрузился
в пелену облаков.

Начало осени

Осень пришла и первым дождем
омыла заставу-лес;
Краски заката прозрачно-чисты,
необозрима даль.

Ветер утих, в поднебесье парит
гряда заревых облаков;
Горные склоны, вершин череда,
уступы отвесных скал.

Осенние прогулки

Стрекот осенних цикад похож
на треск воздушного змея;
Праздный брожу вдоль прозрачных ив,
внимаю шумливым цикадам.

Незамутненные воды ручья
сравнимы с зеркальной гладью;
Ласточка чиркнет влагу крылом —
бегут мельчайшие волны.

СЮЙ ЧЖАО (?–1211)

1.

Как же давно
уехали вы, господин!
Следом за вами
стремится моя душа.

Танские свитки
я со стены сорвала;
И паутина
опутала стопки книг.

2.

Как же давно
уехали вы, господин!
Пылью покрылся
украшенный яшмою цинь[1].

Лотоса семя
уже цветком проросло;
Скоро ль настанет
время новых корней?

3.

Как же давно
уехали вы, господин!
Стала лениться
брови густые чернить.

Горькие думы —
тонкие нити дождя —
Не прерываясь,
текут, текут и текут.

Стихи об ущелье Санься

С гор низвергаясь,
с ревом мчится река;
Вдоль побережья
клены встали стеной.

Крик обезьяний
не горек для обезьян;
Странника душу
вдруг пронзает тоска[2].

---

[1] Цинь — музыкальный инструмент типа гуслей.
[2] Крик обезьян — в старинной поэзии один из символов тоски по родному дому.

Напев о листьях ивы

Чудится, будто ветер порывистый
нежные листья осыплет, —
Светло-зеленые и бледно-желтые
в пруд прозрачный глядятся.

Деве-красотке покуда неведома
горечь долгой разлуки.
Тонкий свой стан изогнула причудливо —
учится красить брови.

ЧЖАО ШИ-СЮ (ок. 1170–после 1225)

Надпись на свитке стихов даоса из храма Сычэнгуань

Персика цвет, словно алый шелк,
ветхую кровлю укрыл;
Возле реки в облаках листвы
ивы и тополя.

Разве что в ясную пору, днем,
кто-то сюда забредет;
Утренний сумрак в дымке дождя
принадлежит только вам.

Пригласил гостя

В пору цветения желтых слив
льют проливные дожди;
В лужах, в пруду, на полях заливных —
хор лягушачий звенит.

Гостя позвал, но он не пришел,
полночь давно позади;
Шашки передвигаю один,
в лампе тает фитиль.

Несколько дней

Уж несколько дней как осенний ветер
больному терзает душу:
Он сдул покрывало из желтых листьев,
трава во дворе обнажилась.

За лесом прозрачным вдруг проглянула
далекой горы вершина;
Потом наползли внезапные тучи —
гора стала вдвое ниже.

ВЭНЬ ТЯНЬ-СЯН (1236–1282)

Канун Нового года

Небо с землею
пустынны — кругом ни души;
Лета и луны
прошествовали чередой.

В поздние годы
измучен ветром с дождем,
У края обрыва
суровы иней и снег.

Судьба на излете,
кончается жизненный срок;
Мое поколенье
в забвении сходит на нет.

Мне больше не снится
вина новогоднего хмель...
Светильник мерцает;
ночую в старом дворце.

Южное море[1]

Берег Южного моря
пред моим распахнулся взором.
Павших воинов столько —
не сочтешь, — что соломы в поле.

Даже волны морские
источают тления запах...
Дикий яростный ветер
треплет злобно мои седины.

Все погибло-исчезло,
ни горы не видать, ни потока,
Ни страны не осталось,
ни единой семьи, ни приюта.

У великого мужа
устремлений — на тысячелетья,
И земной моей жизни,
я уверен, предел не положен.

[1] На побережье Южного моря (так китайцы называют часть Южно-Китайского моря, примыкающую к провинциям Фуцзян и Гуандун) армия государства Южная Сун потерпела одно из самых сокрушительных поражений от завоевателей-кочевников, после которого в 1279 году Китай был на сто лет покорен монголами. Вэнь Тянь-сян попал в плен, несколько лет провел в тюрьме и был казнен за отказ служить новой династии Юань.

Почтовая станция в Цзинлине

Старый, заросший бурьяном дворец:
светлый закатный луч;
Белое облачко в небесах —
где его дом-приют?

Как и всегда, услаждает взор
гор и рек красота;
Разве что прежних друзей не сыскать
в городе и окрест.

Пух тростниковый реет-кружит,
лег и на плечи мне;
Ласточка, жившая под стрехой,
где она вьется теперь?

Минули годы, настала пора
нынче покинуть Цзяннань;
Стану кукушкой[1] рыдающей я,
в горе домой возвращусь.

[1] Кукушка — символ скорби, душевной неприкаянности.

РУФ ХЛОДОВСКИЙ

Пушкин и Парини

О возможном источнике замысла романа «Евгений Онегин»

Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве. Два месяца спустя — тоже 200 лет назад — в Милане скончался Джузеппе Парини. «Бывают странные сближения», говорил Пушкин, правда, совсем по другому поводу.

Большинству наших читателей сближение Пушкина с Парини, вероятно, покажется больше, чем странным. О Джузеппе Парини у нас мало кто знает. О нем, насколько известно, не вспоминают даже наши пушкинисты. Ничего особо поразительного в этом нет. Трудно представить поэта, который и как художник и как человек был бы более не похож на создателя романа в стихах «Евгений Онегин», чем автор сатирической поэмы «День».

Пушкин — об этом теперь можно говорить без обиняков — сознавал себя потомственным русским аристократом, придавая своей родовитости не просто огромное, но принципиальное значение. Успехи буржуазной демократии во Франции, в Америке, а также и в России радовали его столь же мало, как и разбуженного декабристами А. И. Герцена. В неоконченной поэме «Езерский» Пушкин скорбел: «Мне жаль, что нет князей Пожарских,/ Что о других пропал и слух,/ Что их поносит шут Фиглярин,/ Что русский ветреный боярин/ Теряет грамоты царей,/ Как старый сбор календарей <...> / Что геральдического льва/ Демократическим копытом/ У нас лягает и осел./ Дух века вот куда зашел!»

Позиция, занятая Пушкиным после духовного кризиса начала 20-х годов, была плохо понята большинством его современников. Аристократизмом Пушкина попрекали не только Фаддей Булгарин, но и те его друзья, которые вскоре выйдут на Сенатскую площадь. «Ты сделался аристократом, — писал Пушкину К. Ф. Рылеев в июне 1825 года, — это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь, ради Бога, Пушкиным. Ты сам себе молодец».

То, что он сам себе молодец, Пушкин в 1825 году знал. Байрон сделался для него прошлым. Тем не менее Пушкин счел нужным ответить на упреки романтика Рылеева и развеять его демократические предрассудки. «Мне досадно, что Рылеев меня не понимает — в чем дело. <...> Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством (NB Мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наши сочинения вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc. Не должно русских писателей судить, как иноземных». Шестисотлетнее дворянство входило в художественное самосознание Пушкина, обеспечивая ему ту беспримерную внутреннюю свободу, которая превратила Пушкина в Пушкина — величайшего из европейских поэтов — и которую сам он завещал национальной русской культуре в поразительном стихотворении «Не дорого ценю я громкие права...», сознательно приписанном им итальянскому поэту Ипполито Пиндемонте.

Самосознание Джузеппе Парини было иным. В отличие от Александра Пушкина он был самым настоящим плебеем. Джузеппе Парини родился 23 мая 1729 года в семье с каждым днем все более нищавшего торговца шелком. Плебейством своим Парини

© Р. Хлодовский, 1999

кичился. В молодости, в оде «Сельская жизнь», он заявлял: «Я не рожден стучаться в тяжелые двери знати. Нагим, но свободным войду я в царство смерти».

Однако стучаться в двери миланской знати Парини все-таки пришлось. Чтобы выбиться из нищеты, он поступил в монастырскую школу барнабитов и принял в 1754 году духовный сан. В этом же году он, подобно Monsieur l'Abbe из «Евгения Онегина», сделался домашним учителем Джан Галеаццо Сербеллони, старшего сына герцога Габрио. В очень аристократическом доме Сербеллони Джузеппе Парини прожил до 1762 года, до тех пор, пока однажды герцогиня Мария Виттория, прогневавшись за что-то на дочь музыканта Дж. Б. Саммартини, отвесила той звонкую оплеуху. Парини возмутился и вступился за девушку, герцогиня вознегодовала, и... «Monsieur прогнали со двора».

Аббат Парини в ту пору, когда он обучал юного Джан Галеаццо Сербеллони, был гораздо образованнее «убогого француза», подготовлявшего Онегина к вступлению в петербургский свет. В 1752 году Парини опубликовал поэтический сборник «Некоторые стихотворения Рипано Эупилино», имевший успех у любителей словесности и открывший перед ним двери миланской Академии Преображенных. Тон в Академии задавали просветители. Парини набрался у них модных в то время философских идей и, еще живя в доме Сербеллони, сочинял по заказу «Преображенных» оды, в которых поэзия сознательно ставилась на службу гражданской пользе: «О войне», «Сельская жизнь», «О здоровом воздухе», «Обман». Рассмешивший Пушкина призыв Рылеева — «будь Поэт и Гражданин» — молодому Парини пришелся бы по душе. Эгалитарные идеалы, исповедуемые большинством членов Академии Преображенных, им разделялись. Где-то около 1787 года он специально для прочтения в этой Академии сочинил занятный «Диалог о знатности», действующими лицами которого, как то нередко случалось в XVIII веке, оказались покойники. Джузеппе Парини изобразил в «Диалоге» беседу между дворянином и безродным поэтом, по странной случайности угодившими в одну и ту же могилу. Предметом их беседы стала знатность. В конце концов оба они пришли к единодушному согласию в том, что все люди по природе равны и что одно лишь глупое тщеславие побуждает полагать, будто кто-то рождается дворянином.

Надо ли удивляться тому, что пребывание аббата Парини в доме герцога Сербеллони закончилось скандалом. Но в жизни и творчестве Джузеппе Парини оно сыграло важную роль. Обучая юного Джан Галлеаццо, Парини имел возможность близко познакомиться с бытом и нравами высших слоев итальянской аристократии, нравственное неприятие бездумной праздности которой формировало начатую в доме Сербеллони сатирическую поэму «День». Подросший к тому времени Джан Галеаццо, видимо, стал реальным прототипом ее главного героя, а за его наставником «науки нежной» угадывался сам Парини, который надел на себя эту ироническую маску только потому, что ему очень уж хотелось открыть своему ученику глаза на окружающую его жизнь и воспитать его в духе новых, либеральных идей и идеалов.

Первая часть поэмы, «Утро», жанрово определенная как «небольшая поэма», была опубликована в 1763 году, вторая часть — тоже «небольшая поэма» «Полдень» — в 1765-м. Поэма имела шумный и несколько скандальный успех. Миланский высший свет счел себя оскорбленным. Ходили слухи, будто первый денди Милана, вельможный богач Альбериго да Барбиано, часто посещавший дом Сербеллони и, разумеется, встречавший там Парини, узнал себя и свои привычки в образе жизни «молодого синьора» из «Утра» и пригрозил поэту суровой расправой. Однако участи Вольтера Парини избежал. Его уже защищала слава. Большинству читателей — в том числе и просвещенным дворянам — сатирическая поэма понравилась. Прочитав «Утро», граф Джузеппе Имбонати, возглавлявший в то время Академию Преображенных, попросил Парини взять на себя обязанности наставника своего сына Карло, а после выхода в свет «Полудня» его автору была предложена кафедра красноречия в Пармском университете. Парини отказался. Он решил связать свою литературную и общественную деятельность только с Миланом. У него появились основания рассчитывать на то, что там он сумеет сделать неплохую карьеру.

Аристократическая праздность и бездумная суетность «молодого синьора» противопоставлялись в поэме Парини здоровой жизни трудового народа и осмеивались не без искреннего гражданского негодования. Тем не менее никакой чрезмерной, из ряда вон выходящей политической смелости в сатирической поэме Парини не было, как не было и особой философской оригинальности в демократичности его «Диалога о знатности». Джузеппе Парини шел в ногу со временем. Во второй половине XVIII века идеи Монтескье, Вольтера, Жан-Жака Руссо и «Энциклопедии», создаваемой д'Аламбером и Дидро, беспрепятственно проникали в Италию и накладывали заметный отпечаток на всю ее культуру. В то время как члены Академии Преображенных изучали «О духе законов» Монтескье, «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» Жан-Жака Руссо и «Философские письма» Вольтера, великосветские щеголи и повесы, подобно «молодому синьору» из поэмы Парини, зачитывались «Орлеанской девственницей».

Особой популярностью идеи французских просветителей пользовались в Милане. Миланская буржуазия, начав вдруг осознавать себя третьим сословием, восторженно предавалась всякого рода либеральным иллюзиям. Работая над поэмой «День» и перерабатывая ее первую часть «Утро», Парини продолжал сочинять гражданские, просветительские оды, в которых писал о необходимости прививать населению оспу («Оспопрививание»), негодовал по поводу оскопления мальчиков, готовящихся стать оперными певцами, справедливо усматривая в кастрации покушение на человеческое достоинство («Музыка»), заявлял, что нищета является главной причиной всякого рода преступлений («Нужда») и т. д.

В 1769 году Парини стал главным редактором «Миланской газеты» и с 1777 года постоянно жил в Брере — ныне там находится знаменитый музей, — а в 1792 году, сделавшись Суперинтендантом ее школ, получил в Брере обширные апартаменты и соответствующее им жалованье. Жизнь и карьера поэта-просветителя Джузеппе Парини сложились благополучно.

Пушкин философию Просвещения не любил и писателей-просветителей не жаловал. «Ничто не могло быть противуположнее поэзии, — писал он, — как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония, холодная и осторожная, и насмешка, бешаная и площадная».

То, что имя Джузеппе Парини было Пушкину знакомо, сомнению не подлежит. Автор «Евгения Онегина» хорошо знал книгу Симонда де Сисмонди «О литературе Юга Европы», в которой о Парини рассказывалось. О Парини как о крупном итальянском поэте упоминала и героиня романа Жермены де Сталь «Коринна, или Италия» — одной из самых читаемых тогда в России книг, а Пушкин в этот роман заглядывал.

Однако мог ли сатирик итальянского Просвещения заинтересовать Пушкина как поэт и хоть как-то повлиять на его творческие замыслы? Предположение на первый взгляд странное. Однако только на первый взгляд.

«Евгений Онегин» задумывался как безжалостная сатира на современное петербургское светское общество, в котором, видимо, должны были вращаться личные недруги автора. В ноябре 1823 года Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница. Вроде «Дон-Жуана» — о печати и думать нечего». А вот из письма А. И. Тургеневу (декабрь 1823): «...Я на досуге пишу новую поэму «Евгений Онегин», где захлебываюсь желчью». Именно угрюмая желчность сатиры, предметом которой был уже не погрязший в пороках Рим, а современность и современники, не позволила бы, как считал Пушкин, начатому им «Онегину» пройти через русскую цензуру.

Тем не менее в 1825 году первая глава «Евгения Онегина» была издана. Первой главе романа в стихах предшествовало предисловие мнимого издателя, побуждающее предполагать, что, замышляя «Онегина», Пушкин в какой-то мере оглядывался на сатирическую поэму Парини. «Первая глава, — писал он, — представляет нечто целое. Она в себе заключает <сатирическое> описание жизни петербургского молодого человека в конце

1819 года...» Точно такое же предисловие мог бы поставить Парини к «небольшой поэме» «Утро». Правда, потом эпитет «сатирическое» Пушкин снял, но в конце предисловия мнимый издатель «Онегина» продолжает именовать автора сатириком: «Но да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шутливом описании нравов».

Издан был не совсем тот роман, о котором когда-то помышлял Пушкин. В процессе работы над «Евгением Онегиным» тон пушкинского романа менялся, потому что менялся герой, менялось отношение к нему автора и сам метод изображения окружающего героя общества. Памфлетную, угрюмую желчь вытеснила веселая ирония. Классицистскую сатиру в романе заменила «поэзия действительности».

К. Ф. Рылееву и А. А. Бестужеву первая глава «Евгения Онегина» не понравилась. Они ждали от Пушкина романтизма, плохо верили в то, «что свет можно описывать в поэтических формах», и хотели бы увидеть в Онегине либерально мыслящего положительного героя, вроде Чацкого.

Пушкин сатирическое поведение Чацкого не одобрял. Возражая на декабристскую критику «Евгения Онегина», он писал в марте 1825 года А. Бестужеву: «Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею и требуешь от меня такой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня *сатира*? О ней и помину нет в «Евгении Онегине». У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры. Само слово *сатирический* не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен...»

От своих первоначальных замыслов, связанных с «Онегиным», Пушкин отказался. Однако о том, что они имели отношение к сатирической поэме Джузеппе Парини, он, как ни странно, не забывал. В последней строфе седьмой главы «Онегина» Пушкин в шутку поместил пародийное вступление ко всему роману, представляемому здесь как классицистская поэма:

Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая Муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

В вариантах вступления важная строка «О ты, эпическая Муза» читалась: «О Муза Пульчи и Парини». Вступление пародийно, но для установления связи замысла «Евгения Онегина» с поэмой Парини оно имеет серьезное значение. Вступление доказывает, что на протяжении всей многолетней работы над «Евгением Онегиным» Пушкин помнил об итальянском поэте, оглядываясь на поэму которого он замышлял и, видимо, начинал свой роман в стихах. Соединение Парини с Пульчи — тоже чрезвычайно показательно. Просветительская сатира Парини воспринималась и трансформировалась Пушкиным в комическом ключе по-ренессансному шутливой поэмы Луиджи Пульчи «Большой Морганте». Связями своими с восходящей к итальянскому Ренессансу иронией создатель «Руслана и Людмилы» дорожил. В конце января 1825 года он писал Рылееву: «Бестужев пишет мне много об «Онегине» — скажи ему, что он не прав: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? <...> следственно должно будет уничтожить и «Orlando furioso», и «Гудибраса», и «Pucelle», и «Вер-Вера», и «Реникс фукс», и лучшую часть «Душеньки», и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc. etc... Это немного строго». В тот самый день, когда Рылеев и Бестужев вышли на Сенатскую площадь, Пушкин закончил «Графа Нулина».

Веселая ирония Пушкина преображала гневную просветительскую сатиру Парини

до неузнаваемости. Джузеппе Парини завершает «Утро» строками, звучащими почти трагически:

Прочь с дороги, чернь,
Трон пропусти, что моего синьора
Мчит! Берегись, когда из-за тебя
Один бесценный миг он потеряет!
Ни розог кучер не дрожит, ни петли,
Нет для него законов, и колесам
Не привыкать тебя переезжать
И, липким от твоей нечистой крови,
Катиться дальше, оставляя длинный –
Ужасная картина! — алый след.

(Перевод Евгения Солоновича)

А вот как выглядит это у Пушкина:

Уж тёмно: в санки он садится.
«Поди, поди!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Очень может быть, что зависимость этих блистательных, моментально врезающихся в память строк от несколько тяжеловесного, драматического финала «Утра» показалась бы абсолютно невероятной, если бы им не предшествовала строфа, в которой упоминаются и «широкий *боливар*», и «недремлющий Брегет», который точно так же регулирует беспечную жизнь молодого повесы Онегина, как он регулировал смену развлечений «молодого синьора» в сатирической поэме Парини.

Небезынтересно отметить, что с пушкинским романом в стихах перекликается не только финал «Утра», но и его начальные строки. Чтобы удостовериться в этом, достаточно вспомнить тридцать пятую строфу первой главы «Онегина»:

Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.

Стихи поэмы Парини как бы обрамляли замысел романа Пушкина, но в процессе работы над «Евгением Онегиным» рамка эта была Пушкиным поломана, и обломки ее попали в разные строфы.

Связь первой главы «Онегина» с поэмой Парини была современниками Пушкина замечена. Во всяком случае, одним из них. Это был редактор «Московского телеграфа» Николай Полевой. В 1825 году его отношения с Пушкиным не определились, и он еще надеялся с помощью П. А. Вяземского заручиться сотрудничеством с первым поэтом России. В обстоятельной статье «Евгений Онегин», роман в стихах. Сочинение Пушкина» Н. А. Полевой писал:

«Спешим оправдать Пушкина в укоризнах, которые делают ему некоторые критики. Кроме того, что лишают себя наслаждения, они стараются еще и другим передать мучительные свои ощущения. Они уверяли всех и каждого, что «Руслан» взят из Ариоста, «Кавказский пленник» из «Чайльд-Гарольда», «Бахчисарайский фонтан» из «Гяура» — предчувствуем, что «Онегина» осудят на подражание «Дон Жуану» и «Беппо» Бейрона и «Дню» Парини. Читавшим Бейрона нечего толковать, как отдалено сходство «Онегина» с «Дон Жуаном», но для людей, не знающих Бейрона или Парини, но которые любят повторять слышанное, скажем, что в «Онегине» есть стихи, которыми одолжены мы, может быть, памяти поэта; но только немногими стихами и ограничивается сходство: характер героя, его положения и картины — все принадлежит Пушкину и носит явные отпечатки подлинности, не переделки».

Примечательно, что Н. Полевой называет поэму Джузеппе Парини «День». Заглавие это принадлежит Парини, но при его жизни оно было мало кому известно. Первые

части поэмы, «Утро» и «Полдень», отделяет от двух последующих, «Вечер» и «Ночь», довольно большой промежуток во времени, период, когда и в миропонимании и в поэтике Джузеппе Парини произошли серьезные перемены. Над двумя последними частями поэмы Парини работал долго и упорно, одновременно неоднократно переделывая «Утро» и «Полдень» и создавая лучшие из своих од: «Падение» (1785), «Гроза» (1786), «Опасность» (1787), «Благодарность» (1790—1791), «К Сильвии» (1795), «К Музе» (1795—1796) и др. На смену абстрактной просветительской гражданственности в творчестве Парини приходят несколько роднящие его с Пушкиным гуманизм и гуманность — воспевание человеческого достоинства, внутренней независимости поэта и красоты окружающего человека мира. Однако довести до конца свою работу он так и не успел. Поэма под заглавием «День» была опубликована после смерти Парини его учеником, Франческо Рейна, который включил «День» в шеститомное собрание сочинений учителя, издававшееся им в Милане с 1801 по 1804 год.

Н. Полевой, возможно, был знаком именно с этим изданием или с каким-то пока неизвестным нам французским переводом «Дня». А может быть, он впервые узнал о Парини из философического рассказа юного В. Ф. Одоевского «Дни досад», печатавшегося во второй половине 1823 года в «Вестнике Европе» и написанного под несомненным влиянием поэмы Парини. Рассказ Одоевского не только повторяет ее композиционную структуру (его герой желчно описывает, как проводит «безмозглое» светское общество утро, день, вечер и ночь), но и содержит в себе настоятельный совет русским переводчикам обратить внимание на «прекрасную поэму Парини «Il giorno»: «Примененная к нашим обычаям, оставленная ли в национальном костюме, она была бы драгоценным приобретением для нашей Словесности».

Весьма вероятно, что Пушкин, приступая к созданию «Евгения Онегина», был знаком не только с «Утром», но и с двумя последними частями поэмы «День». Если это так, то становится более понятным интерес Пушкина к поэту мало симпатичного ему Просвещения. XVIII век в Италии был гораздо менее противоположен поэзии, чем философия французских энциклопедистов, и итальянские просветители, как правило, не выступали «против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов». Аббат Парини ни в стихах, ни в прозе религиозных тем не касался, сана с себя не снимал и с церковью поддерживал добрые отношения. XVIII столетие в Италии было прежде всего веком «Аркадии», весьма влиятельной литературной академии, основанной в Риме, но имевшей свои отделения («колонии») не только во всех крупных городах Италии, но даже в Южной Америке. Гёте, приехав в Италию, счел нужным стать ее членом.

До сравнительно недавнего времени академия «Аркадия» пользовалась у историков литературы незавидной репутацией. Ее поэтов упрекали в празднословии и бессодержательности — в том, что они превратили поэзию в жеманную салонную игру, нередко привнося в нее пряную эротику, характерную для стиля гривуазного рококо. Однако некоторые заслуги у «Аркадии» все-таки были. Пушкин рококо ценил. Борясь с вычурной прециозностью и напыщенными гиперболами барокко, поэты «Аркадии» даже в пору нравственного и политического упадка порабощенной иноземцами Италии сохраняли ее высокую поэтическую культуру, возрождая язык и стиль не только петраркистов XVI века, но и самого Петрарки. Пройти через школу «Аркадии» для итальянского поэта было необходимо, и автор поэмы «День» не без пользы для себя усвоил ее уроки.

Подобно большинству своих современников, Джузеппе Парини преклонялся перед гением Пьетро Метастазио, этого, по выражению Жан-Жака Руссо, «единственного поэта сердца», и в 1771 году вослед лучшему поэту «Аркадии» сочинил мелодраму «Асканий в Альбе», музыку для которой написал пятнадцатилетний Моцарт. Вступив в просветительскую Академию Преображенных, Парини связей своих с «Аркадией» не порвал. Именно укорененность в национальной поэтической культуре, поддерживаемой фривольной «Аркадией», помогла Парини преодолеть внутренний духовный кризис, вызванный его разочарованием в демократических и либеральных идеалах занесенного в Италию Просвещения.

Великая революция во Франции на какое-то время возродила в Джузеппе Парини прежние мечтания, но они довольно скоро развеялись. В 1796 году Наполеон Бонапарт, этот, по выражению Пушкина, «мятежной вольности наследник и убийца», изгнав из северной Италии австрийцев, создал Циспаданскую республику, столицей которой стал Милан. По прямому указанию Бонапарта Джузеппе Парини, вместе с Пьетро Верри и Чезаре Беккариа, был введен в состав миланского муниципалитета. Однако долго в нем он не усидел. Оккупационный режим, установленный Бонапартом в созданной им республике, Парини глубоко возмущал, и он не скрывал своего возмущения. «Народом, — заявлял просветитель Парини, — следует руководить добрым советом и вместе с тем давать ему работу и средства к жизни. Не заставлять его силой отказываться от его ложных взглядов, а убеждать больше хорошими примерами, чем законами». Современники рассказывали, что, слыша весьма распространенный в ту пору лозунг: «Да здравствует свобода! Смерть аристократам!», автор сатирической поэмы «День» неизменно восклицал: «Да здравствует свобода, смерть — никому!» Из пробонапартовского муниципалитета аббата Парини прогнали.

В августе 1799 года возглавляемая Суворовым русско-австрийская армия разгромила лучших бонапартовских генералов и очистила Ломбардию от французов. 15 августа смертельно больной Парини встал с постели и написал сонет, приветствовавший изгнание французов из Италии: «Филистимляне разграбили ковчег Господен». В нем он описывал эксцессы революции и предупреждал вернувшихся в Милан австрийцев против эксцессов реакции. А через два часа Парини не стало. Он умер от сердечного приступа.

Русские переводчики к пожеланию В. Ф. Одоевского не прислушались. Опасения Николая Полевого не оправдались. О Парини в России забыли. О нем не упомянул даже такой кропотливый исследователь связей Пушкина с итальянской литературой, каким был академик М. Н. Розанов. В не единожды переиздававшихся комментариях к пушкинскому роману в стихах, написанных Н. Л. Бродским и Ю. М. Лотманом, Парини не назван. В многотомном сочинении Владимира Набокова, озаглавленном «Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», строка «О Муза Пульчи и Парини» прокомментирована, но связь замысла Пушкина с сатирической поэмой «День» не замечена, а Пульчи и Парини охарактеризованы весьма неточно. Правда, в 1934 году в статье «Парини», помещенной в первой советской «Литературной энциклопедии», выдающийся историк театра и большой знаток итальянской литературы С. С. Мокульский написал, что «знакомство Пушкина с поэмой Парини несомненно и отзвуки ее можно найти в первой главе «Евгения Онегина». Но эта его статья осталась никем не замеченной.

На связи Пушкина с Парини внимание Мокульского обратили итальянские критики. Первым об этих связях заговорил Сальваторе Ди Фриско в статье «Итальянский источник «Евгения Онегина» Пушкина», опубликованной в 1930 году в журнале «Национальное обозрение». Приведя довольно много текстуальных соответствий, пораженный ими Ди Фриско задался вопросом: «Был ли известен Пушкину «День» Парини?» — но ответить на него положительно не решился.

В 1937 году Этторе Ло Гатто, возможно не без влияния Ди Фриско, обратился к теме связей Пушкина и Парини и посвятил им специальную статью, напечатанную в редактируемом им журнале «Эуропа ориентале». Вячеслава Иванова Ло Гатто убедил. В статье «Роман в стихах» Вяч. Иванов уверенно утверждал: «...светский день Евгения (в первой главе) рассказан под впечатлением «Дня» Парини».

Статья Вячеслава Иванова ныне нашим пушкинистам известна. Надо полагать, она уже побудила их к соответствующим размышлениям и разысканиям. Хотелось бы думать, что публикуемые впервые на русском языке фрагменты поэмы Парини «День» пробудят интерес к этому крупному итальянскому поэту XVIII века и у наших читателей.

ДЖУЗЕППЕ ПАРИНИ

Фрагменты поэмы «День»

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Утро

Восходит утро в обществе денницы,
И скоро время появиться солнцу,
Над горизонтом встав, на радость тварям,
Дубравам и садам, полям и водам.
Тут добрый селянин встает с постели,
Что верная жена и ребятишки
Своим теплом обогревали ночью,
И вот, неся открытые Церерой
И Палесом орудия священны,
Вслед за волом уже идет он в поле,
Росу дорогой стряхивая с веток,
В которой солнце первые лучи,
Как в драгоценном камне, отражает.
Встает кузнец и в звонкой мастерской
За то, что не доделал накануне,
Берется — ключ ли то замысловатый
Для богача, чтоб замыкать сундук
Надежный, украшенья ль золотые
Или серебряные для невест,
Посуда ли узорная для трапез.
Но что я вижу? Ты приходишь в ужас,
И дыбом волосы твои от слов
Становятся моих. Такое утро
Не для тебя, синьор! Ты на закате

© Е. Солонович. Перевод, 1999
Гравюра Ф. Розаспины с рисунка А. Аппиани

Не сел за скромный ужин и при свете
Неверных сумерек не опустился
В изнеможении на одр убогий,
Не то что люд простой в своих лачугах.
.....

Ты между раутами и балами
И оперой и карточной игрой
Ночь растянул и наконец под утро,
Усталый, в золотой карете, стуком
Колес и топотом коней нарушил
Ночную тишину и распугал
Огнем надменных факелов потемки;
Так колесницей сицилийский край
Плутон от моря оглушил до моря,
И факелы змееволосых Фурий
Дорогу освещали впереди.
Домой ты воротился, где другое
Тебя уже занятье ожидало —
Стол с яствами и веселящим соком
Холмов французских, а не то испанских
Или тосканских, а не то бутылка
Венгерская, которую плющом
Вакх увенчал зеленым, нарекая
Царицей трапезы. И наконец
Сон собственной рукой тебе перины
Взбил пышные, и ты на них улегся,
Слуга тенистый полог опустил,
И вот уже тебе смежил зеницы
Петух, что открывает их другим.
Коль так, усталые не должен чувства
Освобождать из макового плена
Морфей, доколе зрелый день найти
Не сможет щелку в золоченых ставнях,
И не одну, и солнце с вышины
Полдневными лучами не окрасит
Едва заметно стен опочивальни.
Сейчас твой день, забот приятных полный,
Начнется, так что на простор пора
Мне править челн и, наставляя песней,
Тебя к деяниям готовить славным.
.....

Уже тебе несут — ты видишь? — слуги
Рукой усердной выходное платье.
Его, соперничая, ткали Рона
И Сена, чтобы здесь портной богатый
Сшил и пометил гербовым щитом,
Где ножницы красуются и титул
Monsieur ; не только время года важно
Для ткани и покроя, но и то,
Насколько дню и часу отвечают
Материя, фасон и роскошь платья.
Сюда пожалуй и, как самодержец,

Сам разрешить сомненья не умея,
Сзывает к трону на совет неспешный
Сатрапов, чье плешивое чело
Указывает на обширный разум,
Так ты, герой, садись в кругу зеркал
И терпеливо их оценку внемли.
Пусть зеркало, положенное на пол,
Показывает, как чулок послушный
Обтягивает ногу; пусть одно
Перед лицом находится, другое —
За головой, дабы глаза судили
Благодаря двойному отраженью
О всем искусстве сразу. Пусть вокруг
Потеют слуги: кто, склонив колени,
Сверкающие стягивает пряжки
На башмаке, стопу твою облекшем;
Кто светлых локонов великолепье,
Струящихся на спину, собирает
Под черной сеточкой; кто на тебе
Надушенное расправляет платье.
Блаженны юноши, которым мода
В картонах преподносит, алым шелком
Обтянутых, столь много украшений.
Не дальше как вчера был осчастливлен
И ты ее подарком. Для тебя
Всю ночь трудились тысячи иголок
И взад-вперед сновали утюги,
В тиши домов пыхтя и громыхая,
И не напрасно: с гордым видом сможешь
Ты и сегодня появиться в свете
И, среди зависти и восхищенья
Тебе подобных проходя, как бог,
Шептаться всех, кто будет там, заставишь.
Да буду вами я услышан, Музы!
Вам жизнь богиня памяти дала,
И вы певцам великим подсказали
Героев имена: Ахилл, Эней
И столь же славный подвигами Готфрид.
Теперь вы мне нужны, без вас не справлюсь
С намерением моему синьору
Напомнить об изысканных вещах,
Которые ему великолепья
Прибавят, так что ахнут все вокруг.
Но в довершение картины общей
Какая из числа вещей изящных
Вклад первой удостоится внести?
Важны и та, и эта. Вот шкатулка,
Обтянутая кожей с позолотой,
К себе твое внимание привлечь
Спешит: сто применений предлагает
Она с ее семьей приспособлений
Блестящих для ушей, зубов, ногтей
И волосков. Честь быть одним из первых

Спешит оспорить, полн душистой влаги,
Хрусталь, что чувств не даст тебе лишиться,
Спасенье подарив, случись вблизи
Чернь, испускающая смрадный запах,
Невыносимый для ноздрей твоих.
Не менее для той же самой цели
Шелкóвая подушечка готова,
Тугая от благоуханных трав,
Которые тебе на радость горы
Растят в лучах полуденного света.

.....

Еще не все. А зрительная трубка
И áнглийское в золотой оправе
Стекло? От трубки выгода в театре
Для приближения с далекой сцены
Проворных ножек и поющих губ
И для того, чтобы нескромным взглядом
Ты шарил в населенном полумраке
Лож наверху иль мог на лицах дам
Читать, что в нежных их сердцах творится,
Рождается любовь иль умирает,
Дабы о чем витийствовать тебе
Назавтра было. Пусть лорнет о взорах
Твоих печется днем, распределяя
Их так, чтоб каждый, на кого ты смотришь,
Тщеславился, а тот, кого при встрече
Ты не узнал, не смел тебе пенять.
Твое стекло, судья неумолимый,
Пусть осуждает или одобряет
Палладиевы стены и аркады
Иль Тициановы полотна, пусть
Поет одеждам, книгам, женским лицам
Хвалы или ругает их. И кто,
Будь он в своем уме, дерзнет подвергнуть
Сомненью суд лорнета твоего?

.....

Вот черепаховая табакерка,
Вот золотая: на обеих крышках
Герои в сладострастных позах взгляды
Влекут изображеньем, а внутри
Два тонких сорта табака хранятся —
Испанский маслянистый и рапе,
Чтоб скуку, как назойливую муху,
Гнать от тебя. Вот драгоценным блеском
Нетерпеливые сверкают перстни:
Когда на пальцы их нанижут, ждут.
Желаешь камень с изваяньем Граций
Нагих, что умудрился выдать Жид
Тебе за арголидскую работу,
Потребовав неслыханную плату
И знатоком стократ тебя назвав?

А хочешь лучезарные рубины?
Иль, может быть, сегодня предпочтенье
Индийскому окажешь бриллианту,
Который стоил ста волов тебе,
Что, по твоим полям ступая грузно,
Богатство под копытами рождали.
Но перстней всех важнее золотое
Кольцо надеть в любовных изреченьях,
Дабы оно, сжимая твой мизинец,
Напоминало что ни миг о верной
Жене другого, — той, кому ты мил.
На очереди груз двойной — две пары
Часов, чтоб ни одно из дел великих
Не пропустить.

.....

Работа кончена, труда немало
Положено. И звонкие подковы
Горячих лошадей уже ты слышишь,
Которых, въехав на широкий двор,
Бесстрашный кучер сдерживает ловко.
Спеши собою, важным седоком,
Коней нетерпеливых осчастливить.
А впрочем, благородному синьору
Покои покидать не подобает,
Пока на холоде иль на жаре
Он кучера изрядно не продержит,
Чтоб знал слуга, сколь велико различье
Меж ним и господином. Но продолжу
Науку, ибо не всегда похоже
Одно бывает утро на другое.
Тем временем приятное занятье
Ты вялым пальцам сможешь предоставить —
Перебирать брелоки на часах.
Важней для Неба, чем твое здоровье,
Нет ничего. И жизнь тебе подобных
Нам, смертным, драгоценнее всего.
А посему, синьор, тебе потребно
Порой ослабить тетиву на время,
От благородных отдохнуть трудов.
Коль скоро утро выдается тихим
И ясным, отправляйся на прогулку,
Пешком, чтоб члены вялые размять
На воздухе. Пусть красный сапожок
Сафьяновый твою обует ногу,
Став для нее защитою от пыли
И грязи, по которой ходят люди.
Пусть развевающимся при ходьбе,
Свободного покроя будет платье,
И руку обрисовывает узкий
Рукав, который бархатом внизу
Украшен алым или васильковым.
Прибавь широкий галстук из виссона,

На выбор — желтый или белоснежный,
Пусть тонкую твою охватит шею,
А кудри... Лучше их пока не трогать
Искуснейшей руке того, кто форму
Им придает, ведь согласись, обидно
Творенье чудодея отдавать
Во власть капризным дуновеньям ветра.
Но и нельзя, чтобы они небрежно
На плечи падали: даны ль природой
Они тебе, иль с головы чужой
Их для тебя взял лучший парикмахер,
Чтоб ты носил их, должен круглый гребень
Не позволять им растрепаться, зубья
В них черепаховые погрузив.
И наконец, пусть под широкой шляпой
На улице от глаз невежды будет
Твое лицо божественное скрыто.

От переводчика

Работая над переводом, я не раз обращался к «Евгению Онегину», все решительнее уверяясь в неслучайности параллелей между пушкинским романом в стихах и поэмой Парини. О том, насколько обоснована эта уверенность, читатель сможет судить по ряду цитат из первой главы «Онегина», предлагаемых в той последовательности, в какой они перекликаются с сатирическим сочинением итальянского поэта.

Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит...
(XXXV)

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он...
(XXXV)

Но, шумом бала утомленный,
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проснется за полдень...
(XXXVI)

Он три часа, по крайней мере,
Пред зеркалами проводил...
(XXV)

Духи в граненом хрустале,
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов —
И для ногтей и для зубов.
(XXIV)

Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать...

(XIX)

Онегин входит:
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет, скосясь, наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел...

(XXI)

Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони...

(XXII)

Покамест, в утреннем уборе,
Надев широкий *боливар*,
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе...

(XV)

■

БЕЛА РИГО

Пушкин и Йокаи

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

«У него была впечатляющая внешность. Непокорная, курчавая шевелюра, выступающие скулы, чуть приплюснутый нос выдавали в нем присутствие африканской крови. (Один из предков его взял в жены дочь Ганнибала, чей род был известен еще во времена расцвета Карфагена.) Глаза были темные и глубоко посаженные. И все же, вопреки несхожести черт, лицо это с первого взгляда напоминало Байрона. Их роднило общее выражение».

Таким видел — вернее, представлял сам и представлял на суд других — Пушкина Мор Йокаи. Из этой портретной зарисовки становится ясно, что писателю были хорошо известны изображения Пушкина, мелькавшие на страницах европейской печати. Хорошо были известны ему и всякие истории, касающиеся происхождения и жизни русского поэта. Не стоило бы уделять особое внимание этому составленному из штампов портрету Пушкина, однако Йокаи живописует здесь не только великого русского поэта, но и героя своего романа «Свобода под снегом».

Ни у одного русского человека не может вызвать сомнений тот факт, что творческое наследие Пушкина вот уже два столетия служит фундаментом русской культуры. Но даже для читателей журнала «Иностранная литература», возможно, явится неожиданностью наше утверждение: Александр Сергеевич Пушкин принадлежит и нам, венграм. В кругу людей, проявляющих живой интерес к поэзии, к культуре (к сожалению, этот круг все сужается и сужается), именно Пушкин может соперничать с крупнейшими венгерскими поэтами и писателями. И дабы никто не счел это утверждение всего лишь юбилейным преувеличением, можем подкрепить его фактами, легко поддающимися проверке: в наших учебниках литературы для младших и старших классов Пушкину предшествуют лишь те венгерские собратья по перу, кто жил до него. Да и по тому, сколько места отводится ему в этих учебниках, русский классик не уступает никому из родившихся до него венгерских классиков. Вот мы и подошли к одному из ключевых моментов нашей темы:

КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ПОКОРИЛ ВЕНГРИЮ ПУШКИН?

А покорил он ее несомненно. Правда, покорил ее и другой представитель русской литературы — Лев Николаевич Толстой, и отдать пальму первенства одной из этих крупнейших фигур было бы трудно. У Толстого в Венгрии были не только читатели и почитатели, но и преданнейшие адепты его идей. Зато Пушкин прочнее укоренился в нашей культуре. Сказки Толстого с присущим им пуританством не сумели прижиться в венгерских букварях. Ну а сказки Пушкина юные читатели, только начинающие приобщаться к поэзии, получают в переводе лучших наших поэтов. И безусловно, к поклонникам Пушкина относится узкий, но влиятельный в формировании эстетических вкусов круг любителей оперы, ведь многие либретто классических русских опер восходят к произведениям Пушкина. По статистике оперных спектаклей, русская оперная культура в Венгрии после итальянской и немецкой всегда соперничала с французской за третье место, однако в связи с наступившим Пушкинским годом чашу весов на какое-то время наверняка перевесит русская опера.

Если отвлечься от сегодняшней статистики и заглянуть в прошлое, мы увидим, сколь поразительно быстро обрел Пушкин достойное место в нашем общественном сознании, при том что в XIX веке в Венгрии практически никто не владел русским. Лучшие представители нашей культуры — правда, через посредничество немецкого, но проявляя при отборе на редкость тонкий вкус, — знакомили венгров с ценнейшими достижениями русской литературы. Наряду с Пушкиным высоко оценен был Гоголь. Названные их

© Rigó Béla.1999
© Т.Воронкина. Перевод, 1999

именем улицы и культурные учреждения благополучно уцелели даже в ходе самых яростных кампаний по десоветизации во время недавней смены режима.

Первый перевод «Онегина» вышел в 1866 году вместе с подборкой стихотворений. Имя переводчика, благодаря этому единственному его творческому свершению в области перевода, вошло в бессмертие. Карой Берци из участника революции 1848 года превратился в великолепного писателя, пишущего на охотничьи темы, а в завершение метаморфозы он выучил русский, чтобы перевести пушкинский роман в стихах. До 1953 года перевод этот считался непревзойденным. Поэты-новаторы начала XX века, с яростью ниспровергавшие ценности былых времен, тем не менее восторженно превозносили пушкинский поэтический шедевр, переведенный Кароем Берци. По мнению крупнейшего мастера реалистической прозы Жигмонда Морица, «достаточно прочесть одну-две строки из «Онегина», и они на весь день смягчат настроение, витая над тобой подобно тонкому аромату старинных духов или нежному запаху лаванды...» А по мнению крупнейшего мастера импрессионистской прозы Дюлы Круди, «восторг и пыл юности, мягкое всепонимание зрелой поры, тихая задумчивость старости пробудятся даже в самом холодном сердце к тому моменту, как мы со вздохом простимся с «Онегиным» (поэт лишь едва коснется струн своей лиры, а звуки ее отзываются в нас с такою силою, что иной музыки, кроме пушкинской, уже не хочется слышать)». Ну а Михай Бабич, властитель поэтического мира первой половины столетия, констатирует то, что для него представляется неопровержимым: «Мы чувствуем Пушкина так, словно он наш поэт. Поэзия его, как и любого другого великого поэта, стала частью нашей души...» Эту же мысль я дерзнул высказать и вначале.

В 1953 году, скорее по политическим мотивам, захотели поменять этот перевод, ставший вожделенным объектом многочисленных декадентских излияний, на новый вариант, приближенный к социалистическому духу. К числу парадоксов эпохи следует отнести тот факт, что очередным блестящим текстом «Онегина» нас одарил, выиграв конкурс на лучший перевод романа, не кто иной, как Лайош Априли, поэт-священник, бежавший из Румынии, где творчество его было запрещено. В наши дни издатели отдают предпочтение переводу Арпада Галгоци, осуществившего свой труд во всеоружии филологических и эстетических познаний. Таким образом, у нас есть три перевода «Онегина», один совершеннее другого, однако нельзя не заметить, что при каждом новом переводе переводчикам остается все меньше простора для творческих открытий.

Впрочем, нас ведь интересует не триумфальное шествие Пушкина в Венгрии как таковое. Мы поставили перед собой всего лишь одну задачу — показать, как наш самый знаменитый прозаик XIX века, еще при жизни возведенный в ранг классика (да и по сей день самый издаваемый у себя на родине писатель), в поисках ответа на животрепещущие вопросы эпохи и в тревоге за будущее своей страны обратился к Пушкину. Иными словами,

КАК ПРИШЕЛ К ПУШКИНУ МОР ЙОКАИ?

Здесь самое время хотя бы в нескольких словах напомнить русскому читателю, кто был этот человек, сделавший Пушкина своим романтическим литературным героем, кто был Йокаи.

Лет сто назад, пожалуй, можно было бы обойтись без этого отступления. Мор Йокаи был хорошо известен в России еще при жизни. Многие его романы — «Новый землевладелец», «Двойная смерть», «Любовь до эшафота», «Божья воля», «Черные алмазы», «Золотой человек» — были переведены на русский язык и пользовались популярностью. Молодой Чехов даже позволил себе литературную шалость: поспорив с редактором журнала «Будильник», взялся написать роман из иностранной жизни не хуже переводных романов того времени. Повесть «Ненужная победа» (1882 г.) — читателям она предлагалась как переводная — имела большой успех. По свидетельству М. П. Чехова, в редакцию «Будильника» «поступали письма с запросами, не Мавра ли Йокая этот роман, или не Фридриха ли Шпильгагена».[1] Чеховская стилизация была столь искусной,

[1] «Ненужная победа», «литературная шалость» Чехова, была в России несколько раз экранизирована — в 1916, 1918 и 1924 годах. (*Прим. ред.*)

что, если бы мы перевели «Ненужную победу» на венгерский, думаю, ее вполне можно было бы выдать за оригинальное произведение Мора Йокаи.

Биография Йокаи созвучна венгерской истории XIX века. Родился он в 1825-м и, подобно своему другу и почти ровеснику Петёфи, был участником революционных событий 1848 года. После подавления революции Йокаи скрывается, а затем постепенно сближается с деятелями литературы и политическими властителями, способствовавшими консолидации и последующему компромиссу, приведшему к созданию Австро-Венгерской монархии. Признанный писатель Йокаи является постоянным карточным партнером премьер-министра, а его долги втайне выплачивает сам император из своей личной казны. Он мирволит к Йокаи уже хотя бы потому, что это любимый писатель его супруги королевы Елизаветы, красавицы с трагической судьбой. Все эти предпосылки позволяют догадываться, чем именно притягивала Йокаи жизнь Пушкина. Он видит общность судеб — своей и великого русского поэта, ведь он тоже был приговоренным к ссылке бунтовщиком и объектом монаршей милости. Но и различия, конечно же, были велики, хотя Йокаи, как правило, мало заботило то, расходятся ли его представления с реальной действительностью. Если он обнаруживал слишком большие несовпадения между двумя этими сферами, он полагал это весьма печальным — для действительности, разумеется. Пушкина Йокаи считал не только своим предтечей по судьбе и своим другом, но и видел в нем русского Петёфи. Для подобной параллели были основания, это правда, но правдой было и то, что в одном из своих романов («Политические моды») Йокаи весьма вольной рукой вылепил из Петёфи литературного героя. А ведь Петёфи он знал не по публикациям в европейской печати, а по совместному пребыванию в коллегиуме, по долгим беседам в кафе и даже по житью под одним кровом: более года Йокаи снимал у Петёфи комнату.

И все же увлечение Пушкиным будет не совсем понятно, если не разобраться в том, какие чувства, пристрастия, мечты связывали Йокаи с русскими и с самой Россией.

Любой участник революции 1848 года изначально настроен против русских. В самом деле, трудно забыть, что войска русского царя подавили — можно сказать, из любезности к австрийскому кузену — национально-освободительное выступление венгров. Но эта антирусская настроенность не была всепроникающей. Занявшие Венгрию русские войска не питали никаких недобрых чувств к местному населению. Они всего лишь выполняли приказ и с неодобрением смотрели, как Вена под сенью русского оружия подвергает венгров мстительному террору. В романах Йокаи русские герои нередко — а точнее, сплошь и рядом — являют собой образцы рыцарства и боевого товарищества. В романе «Свобода под снегом», описывая некий петербургский салон, Йокаи язвительно насмехается над тем, что в русских светских кругах дамы, равно как и мужчины, говорили на языке «самого любимого врага», то бишь на французском, зато мужчины прекрасно владели немецким, то есть языком «самого ненавистного друга». Для Йокаи и последующих поколений русские многие годы оставались любимыми врагами, и лишь товарищу Сталину удалось надолго перевести их в другую категорию — ненавистного друга.

Обостренное чувство предвидения выразилось у Йокаи и в том, что с 70-х годов прошлого века он с большой тревогой, даже страхом ждал русской революции. Сразу же после Парижской коммуны, напуганный бурными революционными событиями, он написал «Роман будущего столетия», где попытался прежде всего найти наилучшие решения венгерской национальной проблемы. Как писатель, он подобрал весьма любопытный рецепт для решения национальной проблемы — к сожалению, рецепт, трудно применимый в действительности. Йокаи придумал три Венгрии. Одна сохранялась в рамках габсбургской монархии и более того — становилась ее центром, так что даже императорская семья подвергалась мадьяризации. Другая Венгрия, созданная по всем нормам международного права, являла собой этакую мини-Америку и, чтобы недалеко ходить, размещалась в дельте Дуная. А для поборников исконно мадьярского духа он открыл прародину мадьяр в горах Тибета: кто испытывает к ней ностальгические чувства, извольте совершить туда паломничество.

Все это, пожалуй, любопытно лишь для нас, венгров, зато русский читатель может

получить представление о широте размаха, с какой Йокаи обращался с историей. По его мнению, Россия, начиная с 1870-х годов, становится по-настоящему опасным очагом революции, а потому XX век ей не пережить без потрясений. В его «Романе будущего столетия» нигилисты захватывают власть революционным путем, однако верховная предводительница нигилистов (несколько гипертрофированная проекция эмансипации) организует заговор против своих же единомышленников и коронует себя в царицы. После долгих-долгих перипетий к 2000 году России наконец удается восстановить правление Романовых, в результате чего воцаряется мир в самой стране и на всей земле.

В силу различных цензурных запретов эта книга так и не смогла попасть в Россию, а посему с помощью нескольких отрывков из романа мы попытаемся показать, какого рода внутренние побуждения толкали Йокаи заниматься «русским вопросом» и тем самым прийти к фигуре Пушкина.

Прежде всего давайте взглянем глазами Йокаи на штурм Зимнего дворца и вообще Санкт-Петербурга:

«И с башни Петропавловской крепости можно было видеть, как вспыхивают, загораются один за другим роскошные дворцы — те, что при свержении Романовых восставшие разграбили, но сами дома уцелели. Ныне же все подверглось огню и уничтожению. Первым пал Михайловский замок, где царя Павла постиг печальный конец; затем настал черед Аничкова дворца, запечатленного в мраморе свидетельства нежных чувств императрицы Елизаветы к графу Разумовскому, а вслед за ним вспыхнул Генеральный штаб, резиденция российского генералитета, вкупе с Таврическим дворцом, построенным Екатериной II для князя Потемкина; напоследок занялся огнем и Зимний дворец — это чудо света — со знаменитым Эрмитажем, музеем, где собраны шедевры искусства.

Горело все, объятое адским пламенем».

Даже воображаемые прототипы «Авроры» возникают в этом видении, жестокостью своей превосходящем последующую историческую реальность. Правда, речь здесь идет не об одном большом крейсере, а о нескольких речных мониторах:

«Нигилисты вытащили стальные речные мониторы на берег и приспособили под их плоские днища толкачи на стальных цилиндрах. Теперь стальное судно превращено в сухопутное атакующее сооружение, его толкают, и оно катится по длинному проспекту. И эта движущаяся баррикада преграждает всю улицу, из вращающихся башен своих отвечает на приветствия береговых батарей: ударом на удар! А позади нее, защищенная железным панцирем, продвигается вперед штурмующая рать, толкая перед собою движущийся стальной колосс. Время от времени ядра ударяют в монитор и, пробив панцирь, взрываются меж стальных его ребер. В таких случаях монитор откатывается на четыре-пять саженей назад, давя своими стальными цилиндрами тех, кто толкал его. А когда монитор увязает намертво в куче трупов, подоспевают новые группы атакующих и вновь толкают его вперед».

Чем больше мы вчитываемся в провидческие слова Йокаи, тем больше находим аналогий:

«А в тот момент, когда все кончается, что-то как раз и начинается: атаман разбойников становится главой полиции, коммунист — ростовщиком, бродячий цыган — директором банка, франкмасон — прелатом, народный трибун — министром, а президент красной республики — императором.

Через три месяца в город придет весна. С улиц уберут следы разрушения, дворцы восстановят, сгоревшие дома отстроят заново; взамен погибшей сотни тысяч людей придут двести тысяч; в храмах вновь воздвигнут алтари, на колокольнях повесят колокола. Откуда ни возьмись опять появится высшее духовенство, а вдоль зазеленевших улиц из царского дворца к Исаакиевскому собору по устланному сукном настилу двинется коронационное шествие, и ликующий народ возвестит с крыш домов, что Россия вновь обрела царицу.

Европейские дипломаты принесут свои поздравления, с искренней радостью приветствуя сии великие перемены, что спасли общественный порядок в Европе».

История изобилует аналогиями. Поэтому мы и обращаемся к минувшим событиям. Йокаи, завлеченный воображением в двадцатое столетие, совершает резкий поворот к прошлому, прозревая в нем корни будущего. Ведь для Йокаи, который пережил царскую интервенцию и сокрушительные деяния Парижской коммуны, будущее естественно коренится в прошлом.

Иными словами, для него самого и для его современников

КОРНИ БУДУЩЕГО — В РОССИИ!

А теперь, попросив у читателя извинения за то, что нас так кидает из одной эпохи в другую, обратимся к роману Йокаи, отражающему пушкинскую эпоху, рисующему самого Пушкина и его друзей. Роман «Свобода под снегом» вышел в свет в 1879 году, после необычно долгой для сверхплодовитого Йокаи подготовки; писатель не один год — хотя и с перерывами — тщательно работал над текстом. Темой произведения, по сути, служит заговор декабристов. Йокаи с жаром погружается в изучение источников, однако ему не хватает ни энергии, ни возможностей разобраться в весьма неравноценных материалах. Это ощущается сразу же, как только автор представляет читателю участников знаменитого исторического заговора:

«В зал, где проходило собрание «Северного общества», вели двойные двери, как это нередко бывает в русских дворцах. Тут уж не подглядишь в замочную скважину и не подслушаешь.

Центр зала занимал массивный стол, более похожий на шкап, верхнюю часть которого составляла рулетка.

На столе были выставлены столбиками монеты — вероятно, империалы, поскольку банкноты при игре в рулетку не в ходу, — лежали лопатки крупье с длинными ручками, и каждый из вновь прибывших занимал место у стола, выложив перед собою кошелек. Но на самом деле никто не играл, все это делалось для отвода глаз. Стоило только очередному гостю открыть дверь, как рулетка тотчас приходила в движение и пляшущий шарик предупреждал собравшихся, что идет кто-то еще. Можно было не опасаться, что их застанут врасплох.

Гостей представляет друг другу хозяйка дома. Сия церемония неизбежна, так как в зале собрались люди, никогда дотоле не встречавшиеся: посланцы тайных обществ, созданных в самых отдаленных уголках страны.

Председатель «Северного общества» и хранитель печати — князь Гидимин. Секретарь общества и он же агент русско-американской компании по торговле пшеницей — молодой поэт Рылеев. Здесь же старший из трех братьев Тургеневых — Николай, историк; полковник Любин, владелец тайной типографии; один из братьев Бестужевых; Кюхельбекер, старший штабс-офицер артиллерии. Кроме того, присутствуют: глава «Союза благоденствия» Вашковский; представитель «Общества соединенных славян» Артамон Муравьев; Орлов — вдохновитель «Геройского союза». Все это — обособленно действующие тайные общества, у которых общая цель: свобода. Однако средства, способы, методы действия у них различные, для того и собрались здесь эти люди, чтобы разрозненные планы свои свести воедино. Приглашены были на это совещание полковник Пестель с далекого Черноморья, возглавляющий «Южное общество», и Якушкин, глава сочувствующих «диких племен» с еще более отдаленного Кавказа, и еще один единомышленник из дальней дали (этому пришлось перейти через реку крови, разделяющую две нации) — поляк Крижановский, выразитель чаяний «Косцов». Все эти славные мужи облачены в мундиры, за исключением Рылеева; будучи штатским, он одет в модный синий фрак с золотыми пуговицами. Крижановский — уланский офицер, Якушкин — кавалер Георгиевского ордена. Лица у всех гладко выбриты; лишь поляк сохранил свой национальный колорит и Якушкин, взлохмаченная борода которого срослась с бровями: истинный тип дикого казака, бравирующего своим пренебрежением к внешности.

И каждый из присутствующих отмечен некоей печатью на челе. Зинаида стоит в дверях, встречая входящих, а зал тем временем заполняется людьми. Громких общих бесед не ведется, каждый поглощен возвышенными заботами, которые привели его сюда.

Неожиданно шарик рулетки вновь приходит в движение.

— Кто бы это мог быть? — вопрошает Зинаида.

На пороге зала появляется Пушкин».

Пережив коммуну и страшась грядущей революции нигилистов, Йокаи тем не менее стремится изобразить декабристов с симпатией. Зато бунтари из народа, в более ранних его произведениях изображаемые лишь с легкой долей критики, здесь становятся все более отвратительными. В одной из сцен романа «Свобода под снегом» Пушкин попадает в злачное место, где собирается революционное отребье, — в трактир под названием «Медвешонка». (По нашему предположению, эта диковинная форма возникла через немецкую транскрипцию названия «У медвежонка».) Если в революционном салоне можно встретить Рылеева вполне благообразной наружности, то здесь песню ножа («Уж как шел кузнец») в крайне вольной интерпретации распевают гордые своими завшивленными обносками люмпены. Пушкину любопытны дела этих революционеров из низов, однако взаимоотношения их не безоблачны.

«— Ну а теперь выпьем на посошок! — громогласно призывает юный Марат. — В память об этом славном вечере! Друзья! Братья! Господа! Нет-нет, обычная выпивка не подойдет! В память о том, что сегодня мы сложили нашу славную боевую песнь, нашу «Марсельезу», разопьем оставшиеся чернила.

— Выпьем до дна! — дружно взревели все.

— Ну уж нет, этого они от нас не дождутся! — сердито бормочет Пушкин и, схватив за руку Диаболку, устремляется к лестнице из подвала, чтобы выбраться из этой преисподней.

Якушкин отправляется за санями, оставленными в конце улицы, а Пушкин отыскал свою шубу и укутал в нее Диаболку. Господин Марат застиг его в дверях — с бутылкою, где на донышке плескались остатки чернил.

— Ай-ай-ай, брат Пушкин! Решили улизнуть, так и не глотнув на прощанье? Уж не гнушаетесь ли хлебнуть из бутылки, к которой мы все приложились? Негоже так поступать! Не выпущу вас, покуда не хлебнете. Да здравствует равноправие! Иль не равны мы все и во всем?

— Нет, — сказал Пушкин, — мы отнюдь не равны.

— Par exemple?

— Par exemple, я сильнее вас, вот схвачу вас за шиворот и вышвырну отсюда.

В следующее мгновенье господин Марат уже лежал посреди мостовой, а снег вокруг него окрасился лиловыми чернилами из разбитой бутылки».

В личном плане Йокаи глубоко отождествляет себя с Пушкиным. Он тоже немало натерпелся от заимодавцев, как и его русский собрат по перу, которого он выбрал героем романа. Бродячий анекдот, согласно которому Пушкин выплачивал лишь те долги, что не были подтверждены долговой распиской, а, стало быть, считались долгом чести, был известен и в Венгрии. В романе Йокаи ростовщик, который был наслышан, с какими долгами поэт рассчитывается, а с какими нет, собственноручно уничтожил долговую расписку, дабы обычную сделку обратить в моральный долг. Но бедствующему поэту нечем расплатиться, разве что рукописью. Рукописью этой оказалась поэма «Цыганы». Йокаи, который вообще-то неохотно занимался переводами, в особенности поэтическими, поэму Пушкина перевел и поместил ее в своем романе. Эта публикация «Цыган» — первая на венгерском языке — более ста лет давала возможность венгерскому читателю наслаждаться пушкинским шедевром.

Когда Йокаи изображает реальную российскую жизнь, во многом схожую с венгерской, он правдив и убедителен, но когда он строит события вокруг Пушкина, его охватывает стихия романтической идеализации. Взять, к примеру, любовную линию. В Пушкина влюбляются все поголовно. Влюблены в него прославленная певица, грузинская княжна, знатная аристократка и ее внебрачная дочь, рожденная от царя. Бедняге Пушкину не докучает своими домогательствами только красавица цыганка, да и то лишь потому, что любит другого. Зато грузинская княжна и внебрачная царевна, состязаясь друг с другом в страсти и благородстве, всецело преданы Пушкину. Каждая готова отречься от собствен-

ного счастья в пользу другой, предоставляя объекту любви самому избрать себе жену. Жизнь Александра Сергеевича, какой описывают ее биографы Пушкина, сложилась не столь удачно, так пусть, решает Йокаи, поэт хотя бы в вымышленной биографии получит это скромное воздаяние.

«Тем временем барышни тоже нашли «Зеленую книгу». Обе они до тех пор продолжали поиски (а как тут было удержаться?!) в будуаре Зинаиды, пока не наткнулись на поэму Пушкина «Цыганы». Барышни впервые держали ее в руках. По правилам хорошего тона, девице благородного происхождения до пятнадцатилетнего возраста держать роман в руках дозволено, а вот читать — запрещено. К тому же оная поэма еще не была напечатана и распространялась лишь в рукописных копиях. Александр Пушкин породил целое общественное сословие, какого прежде не существовало: переписчиков. В каждом городе находились люди, которые жили тем, что переписывали поэмы Пушкина, и книгопродавцы торговали ими из-под полы, тем самым обходя цензуру. Да и по сю пору многие стихотворения этого русского Петёфи гуляют по свету именно так — переписанными от руки.

И вот барышни жадно ухватились за сей запретный плод.

То Бечаба читала вслух Софии, то София Бечабе, а иногда они читали вместе — дуэтом.

Тогда-то и пришла им мысль окрестить самого Пушкина именем его романтического героя: Алеко. Теперь в разговорах о нем юные девицы называли его не иначе, как Алеко.

Хотя в действительности все было наоборот. Алеко был господского звания, но затесался в цыганскую среду. Пушкин же сам по натуре цыган («поэт», «человек богемы», «цыган» — все едино), неведомо как угодивший в общество княжон».

Однако поэту даже столь безбрежно вольной души, каким мнится Пушкин воображению Йокаи, все же предстоит прибиться в личной жизни к какому-либо берегу. Вот только кого же предпочесть из этих наделенных красотою и необыкновенными душевными достоинствами дам? По причине взаимного самоотречения обеих подруг выбор нареченной для Пушкина надлежит сделать царю. Пушкин даже получает от самодержца свадебный подарок: он вправе пожелать что-нибудь очень важное. Но что может пожелать поэт, в особенности если он революционер?

«Пушкин пал пред царем на колени и сказал:

— Отец наш! В сей радостный день даруй народу твоему конституцию!

Царь безмолвствовал, что было добрым знаком. И Пушкин, набравшись смелости, продолжил:

— Великий государь! Вся Россия бурлит и клокочет, готовая взорваться, подобно Везувию. Этот вулканический взрыв возможно предотвратить одним лишь листом бумаги, где начертано слово «Хартия». То не мое пожелание, вся подвластная тебе страна хочет этого. Каждый честный человек, каждый патриот, каждый твой верноподданный так думает и так говорит. Мы не требуем обустроить страну нашу на чужой манер. Подведи свой народ к свободе с осторожностию, постепенно и шаг за шагом, внедряй конституцию сообразно духу нравов и обычаев нашего народа. Уничтожь крепостную зависимость. Удали Аракчеева, он вклинился промеж тебя и твоего народа; забери дело народного просвещения у Святейшего синода и вновь препоручи его заботам Голицына; призови к ступеням трона своего достойнейших мужей страны и повели им высказаться от души. Отмени цензуру и дозволь высвободиться потаенным мыслям: что окажется в них правдою — возвысь, что обернется ложью — уничтожь. Изгони прочь недостойных управителей, кои грабят державу и тебя самого. Отмени военные поселения, что ложатся тяжким бременем на народ. Созови свои старые верные полки, дай в руки им их полковые знамена, собери их лагерем; впереди поставь нас, страждущих под гнетом. И тогда увидишь, как все переменится, узришь, на какие чудеса способен народ; отстояв собственную свободу у себя на родине и за пределами ее борясь за свободу других наций, возвысится он над всеми прочими народами. Даруй нам свободу, а славу возьми себе!

Царь молча выслушал эту дерзновенную речь, а затем сказал:
— Встань! Прощаю тебе твои слова...»

Русский читатель, воспитанный на традициях, отличных от венгерской литературной прозы, вероятно, воспримет эту тираду скорее с юмористической стороны. И в самом деле трудно вообразить, чтобы царь, выдавая свою дочь замуж, в качестве свадебного подарка даровал любимому поэту и народу вольность. Ну а поскольку невеста в романе умирает до свадьбы, царь тотчас и отбирает свой дар. Следует заметить, что такая перенасыщенность романтикой казалась чрезмерной даже читателям — современникам Йокаи. Суровые нелегалы заклеймили «Свободу под снегом» как «балетный роман», литературоведы считают, что Йокаи писал роман, находясь во власти заблуждений, но сам автор очень любил это свое детище. Зато по-настоящему, всерьез этот роман восприняла вышеупомянутая русская цензура. В русском переводе (под названием «В стране снегов») роман печатался в первых шести номерах «Полярной звезды» за 1881 год — в значительно подстриженном и припудренном виде, — но даже с помощью этих мер редактору журнала не удалось избежать запрещения романа, пагубно повлиявшего на дальнейшую судьбу журнала.

Сложно было бы проводить глубокий и серьезный анализ романа Йокаи в рамках подобного очерка. То, что кажется любопытным венгерскому филологу, хорошо знающему творчество Йокаи, для русского читателя вряд ли интересно. То, что венгерский литератор, мало-мальски сведущий в творчестве Пушкина, посчитает открытием, русскому читателю может открытием вовсе не показаться. И тут мало что изменит факт, что в рамках событий Пушкинского года в Венгрии появится небольшая монография о «Евгении Онегине», где автор (пишущий и эти строки) пытается увлечь нынешнюю молодежь в путешествие по страницам бессмертного романа в стихах. Нелегко наводить мосты даже между симпатизирующими друг другу культурами. И все же оставим в стороне собственные скептические мысли по этому поводу, процитируем лучше вполне оптимистические слова Йокаи, адресованные им в 1898 году русским читателям журнала «Восход»: «Венгерский народ проникнут глубокой симпатией к великой русской нации, призванной к славной миссии нести цивилизованность и гуманность. Выдающиеся носители русского духа — Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гоголь, Достоевский, Герцен — пользуются у нас почти такой же популярностью, как и у себя на родине. Народу чужда ненависть к другим народам, кто отрицает это, тот — лжепророк. Обязанность журналистики состоит в том, чтобы распространять идею братства меж народами. Литература есть факел общественного мнения. Приветствую вас, дорогие мои сестры и братья во литературе».

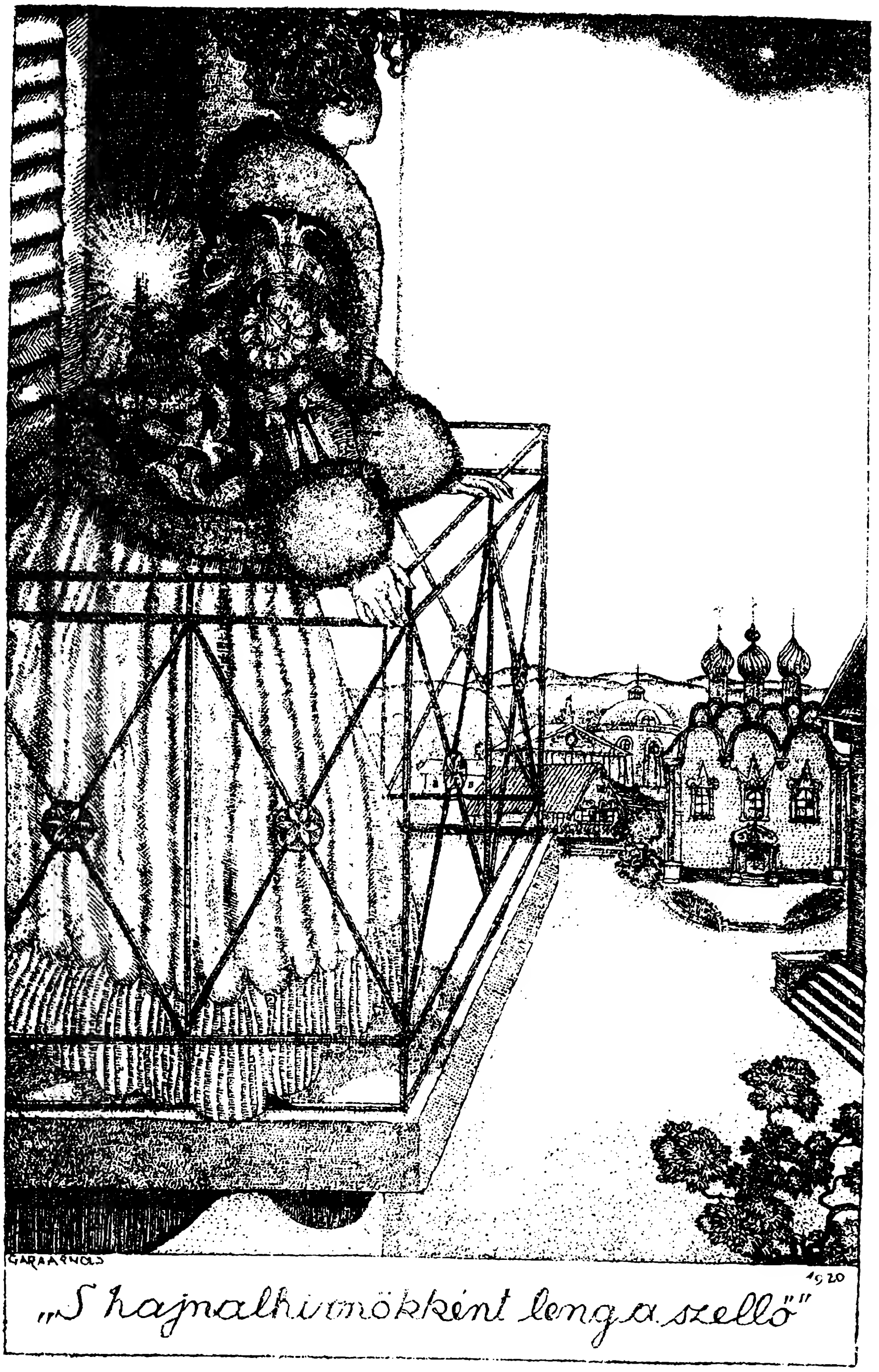
Конечно же, в этом послании немало фраз протокольного характера. Есть здесь некоторая высокопарность, любезничанье с читателем, чтобы завоевать его. Словом, немало патетики и ораторских приемов. Но раз уж мы привели это обращение Мора Йокаи к русскому читателю, давайте призадумаемся вместе: отчего сегодня у нас не возникает желания произносить подобные высокие, любезные слуху и сердцу слова?

От редакции

Бела Риго, венгерский поэт и критик, давний друг и автор нашего журнала, прислал нам также и восемь иллюстраций к восьми главам «Евгения Онегина». Гравюры выполнены венгерским художником, живописцем и графиком, Арнольдом Гарой (1882—1929). Пушкинский роман в стихах — в переводе Кароя Берци и с иллюстрациями Арнольда Гары — вышел в Будапеште в 1920 году. Эти иллюстрации принесли художнику широкую известность.

Предлагаем вниманию наших читателей работы Арнольда Гары.

Вот наш герой подъехал к сеням...



И тихо край земли светлеет...

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке...

И вспомнил он Татьяны милой

И бледный цвет, и вид унылый...

И снится чудный сон Татьяне.

Младой певец

Нашел безвременный конец!

«Простите, мирные места!..»

«...Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

ЛИТературный гид ⇨ XX век: СТОП кадр – 2

Продолжая тему, начатую в первом выпуске «СТОП-КАДРА» (февральский номер этого года), мы предлагаем читателям эссе, очерки и воспоминания известных писателей, посвященные заметным событиям и ярким личностям второй половины уходящего столетия.

ДИНО БУЦЦАТИ

ОСКОЛКИ НЕВОЗМОЖНОГО

ЭВЕРЕСТ

Надо ли радоваться, что Эверест покорен? Правда ли, что 29 мая 1953 года — счастливый день для человечества? Следует ли нам гордиться этим?

Ну конечно. О чем тут спрашивать? — отвечают здравомыслящие люди. Это не просто уникальное событие в истории альпинизма. Даже для тех, кто от альпинизма далек, это такое историческое свершение, такой светлый день, что память о нем сохранится у потомства на долгие века, отныне он будет фигурировать во всех энциклопедиях, даже карманных и детских, наряду с открытием Северного полюса, полетом первого самолета и взрывом первой атомной бомбы. Финишная лента, конечная станция, желанный рубеж, для достижения которого понадобилось столько дерзких идей, бесплодных попыток, научных разработок, столько отваги и героизма, столько трагедий и сверхчеловеческих усилий.

И вот наконец свершилось! Два человека стоят на ледяном пике высотой 8888 метров, и нет ничего выше их, никто еще не поднимался так высоко и никогда не поднимется. Ведь это — макушка мира, самый острый бугор земной коры, самая выпирающая неровность на кожуре старого сморщенного яблока, которое висит в межзвездном пространстве и на котором мы живем. И в то же время это, без преувеличения, — Вершина, Высшая Цель, символ Идеала и Стремления Ввысь. И разве этим не искупаются все страдания, все затраты, все жертвы? Ну разумеется, и, даже если бы цена была в сто раз большей, нашим долгом было бы заплатить ее. Вот скажите мне: если бы вдруг судьба дала вам силу и возможность, разве не отправились бы вы в экспедицию вместе с полковником Хантом? Конечно да. Кто бы устоял против такого искушения? Надо быть червяком, гусеницей, вошью, чтобы не вдохновиться таким предприятием. Ведь это была последняя неприступная крепость девственной природы. Океаны, пустыни, джунгли, полярные льды — все это уже открыто и исследовано. Оставался только шпиль, только купол, только колокольня маленькой сварливой деревни, которую мы зовем Землей. Там, наверху, еще никто не был. Попробуйте представить себе, что́ почувствовали эти двое, когда взошли на вершину и, взглянув вверх, не увидели ни ледников, ни островерхих кряжей, ни скал, ни нависших утесов — ничего, только чистое небо, синюю бездну Вселенной?

Когда они озирались вокруг, насколько хватало глаз, до горизонта и даже за ним все было ниже и мельче их. Можете представить, какой беспредельный, просто-таки ужасающий восторг они испытали? Словно могучий поток радости низвергся им в душу; ни житейских забот, ни укоров совести, ни тщеславия, ни мелких мыслишек. Пусть не хватало воздуха, накатывала дурнота, трудно было удержаться на ногах. Все равно сам Наполеон после битвы в стране пирамид не испытывал такого. Теперь и умереть было не жалко. Они растворились в несказанном блаженстве.

Восславим же новозеландца Хиллари, непальца Тенцинга, руководителя экспедиции полковника Ханта и их товарищей. Мы им завидуем. Их симпатичные лица по праву заполняют страницы газет, вытеснив киноактеров и киноактрис, спортсменов и политиков. Нет таких почестей, которых бы они не заслуживали.

И все же мы, в нашем далеке, обреченные жить в пыльных, шумных, загаженных городах, на скучной, плоской равнине, снова задаем вопрос: надо ли радоваться? Или лучше бы Эвересту оставаться непокоренным?

Взгляните на эту гордую вершину, на этот величественный храм, который до 29 мая мог показаться каким-то миражом, галлюцинацией, мифом. Разве не стал он меньше, чем вчера? Разве не потускнела его красота? И разве не грустно, в сущности, видеть

© Н. Кулиш. Перевод, 1999

ДИНО БУЦЦАТИ (1906—1972) — итальянский писатель. Публикуемые эссе взяты из сборника «Земные хроники» (Милан—Верона, 1973).

крохотный след, оставленный крюками и ледорубами на склонах высочайшей горы, — муравьиную дорожку на стеклянной голове великана?

Это было последнее прибежище нашей фантазии, уцелевшая твердыня неведомого, осколок невозможного, который еще хранила Земля. Сфотографированный со всех сторон, измеренный с точностью до метра топографическими инструментами, тщательно нанесенный на карты, Эверест все же оставался бескрайним и необъятным именно потому, что не был покорен. Теперь чары развеялись, теперь мы точно знаем, что легендарная вершина — такая же, как все прочие, что на ней не живут горные духи. Теперь Эверест, хоть и под первым номером, входит в перечень знаменитых гор, с именами и фамилиями альпинистов, маршрутами восхождения и так далее. Иначе говоря, началась его история, а легенда исчезла навсегда.

Что дальше? Что у нас еще остается? Не показалось ли нам вдруг, что Земля стала более тесной и унылой? В древнем замке, в самой высокой башне, была комнатка, куда никто еще не проник. И вот наконец дверь открылась. Человек вошел и увидел. И тайн больше нет.

Кто-нибудь скажет: у нас еще есть Луна, есть другие планеты, есть межзвездное пространство. Там никогда не утолить жажду приключений, не насытить стремление к неизведанному. Мы исчерпали Землю, так давайте исследовать Вселенную. Но когда это будет? Было бы опрометчиво делать прогнозы, и все же мне кажется, что ждать придется долго. Ни нам, ни, по всей видимости, нашим детям не достанется места в ракете, летящей на Луну. Пройдут десятилетия, даже века, прежде чем такое путешествие превратится в реальность.

А пока мы остаемся пленниками на поверхности вечно вращающейся планеты, земного шара, который вчера еще казался бескрайним, а сегодня стал маленьким, как мячик: мы знаем все его секреты, обшарили со всех сторон, изъездили во всех направлениях. Оставался нетронутым один кусочек, маленькая кочка, холмик снега. Там укрылась поэзия — с мечтами, надеждами, иллюзиями, прекрасными и бесполезными вещами, которые, однако, так необходимы для жизни. После 29 мая этого года поэзия ушла и оттуда. Где нам теперь ее найти?

1953 г.

СОБАКИ В СТРАТОСФЕРЕ

В сообщении об успешных экспериментах в стратосфере, пришедшем из России, чувствуется неосознанный стыд: две собаки, запущенные в ракетах на высоту десять тысяч метров и сброшенные оттуда на парашютах, приземлились «целыми и невредимыми». Заметьте: только «целыми и невредимыми», и ни слова о цветущем здоровье, о бодром настроении; это оставляет почву для невеселых догадок. Далее говорится о «весьма удовлетворительном состоянии». Удовлетворительном для кого?

То, что четвероногие после этого кошмара остались в живых, должно заткнуть рот защитникам животных: демонстраций протеста, очевидно, не будет. Планируя совершить такое опасное путешествие, перед лицом грозной неизвестности, человек, прежде чем рисковать самому, разумно решает послать на пробу другого, кого справедливо или несправедливо считает ниже себя. Разве ежедневно в лабораториях и клиниках не приносятся в жертву науке сотни собак? Ну так, стало быть, можно зашвырнуть одну-другую в самое пекло, ради того чтобы сделать шаг вперед на пути, который, с божьей помощью, доведет нас до Луны и Марса. Сам по себе факт осуждения не вызывает. Тем более что бедные собачки, если верить сообщению, все же уцелели. Но согласитесь: мы в этой истории выглядим некрасиво. Вспоминаются тираны древности — или такие бывают и сейчас? — которые не прикасались к еде, пока раб-дегустатор, попробовав и оставшись в живых, не докажет ее безвредность. Только вот в чем разница: если блюдо бывало вкусным — а в старину придворные повара готовили превосходно, — то в случае, когда в пудинг или торт не был добавлен мышьяк, дегустатор получал удовольствие. Но скажите мне, что за радость несчастным животным болтаться в небе неизвестно зачем и почему?

Предвижу возражения: собака — животное великодушное, она без колебаний бросается в огонь, спасая хозяина; если бы она была в состоянии понять, как важны для нас

полеты в стратосферу, она сама бы принялась жалобно скулить, требуя, чтобы ее отправили в какую-нибудь далекую галактику.

Да, возможно. Если бы она была в состоянии понять. Но ведь она не понимает. При всем своем природном оптимизме собака никак не может надеяться, что наверху, среди планет, висят, допустим, гроздья сосисок. Собаке невдомек, что ее вынужденный подвиг позволит человеку раздвинуть границы своего горделивого владычества. Стиснутая скафандром, запертая в тесной кабине, запущенная к зениту, словно пушечное ядро, а потом провалившаяся в пустоту, силой тяжести увлекаемая в пропасть, вися на шелковом зонтике над необъятной бездной, несчастная собака не испытает ничего, кроме ужаса, и все эти непостижимые трюки для нее будут означать только одно: совсем немного, еще мгновение — и ты умрешь. В то время как там, внизу, ученые с довольной улыбкой следят за ходом эксперимента, представляя, как их имена появятся в сообщении ТАСС, предвкушая почести и награды, сердце несчастного пса чуть не разрывается от невыразимой муки, тем более ужасной, что, с точки зрения собак, ей нет ни малейшего житейского объяснения.

Вот и снова человек воспользовался превосходством, в котором нет его заслуги и которое заключается в том, что его черепная коробка непропорционально, чудовищно развита по сравнению с остальным телом; он заставляет других, менее хитрых и проницательных существ выполнять свои дьявольские капризы. Но пусть бы он хоть признал это. Согласился с тем, что поступает безнравственно. Повинился в своем коварстве. Выступил бы с официальным заявлением: «Собака Мир, двух лет, неизвестной породы, видимо, помесь таксы и овчарки, вчера, на борту ракеты класса Икс, побила абсолютный рекорд скорости и так далее, и тому подобное...» Куда там. Бедных тварей даже не называют по именам, как будто они просто вещи. Ни слова похвалы или благодарности. Хоть бы угостили во искупление вины каким-нибудь деликатесным супом или вкусной косточкой.

А что, если бы люди, высадившись, к примеру, на Марсе, вдруг обнаружили там высокоразвитую собачью цивилизацию? И породу людей, которые, как низшие существа, были бы в рабстве у собак? И если бы собаки использовали этих своих рабов как подопытный материал для экспериментов в стратосфере? И если бы собачье верховное командование вдруг объявило, что «несколько людей», запущенных в ракетах на немыслимую высоту и сброшенных оттуда на парашютах, приземлились или, вернее, примарсились в «удовлетворительном состоянии»? Разве это не привело бы нас в сильное замешательство?

Такая возможность не исключена, и мы, боясь насмешек, не станем — хотя искушение велико — обращаться в ООН, требуя запретить использование собак как подопытных кроликов для космических полетов. Выскажем только одно скромное пожелание: когда поставят первый памятник первому человеку, высадившемуся на Луне, пусть рядом с фигурой первопроходца будет изваяна фигурка собаки, сидящей у его ног, или по крайней мере — надеюсь, хоть в этом нам не откажут — на постаменте, среди подходящих к случаю барельефов будет изображен песик, который испуганно смотрит вверх, словно желая сказать: и все же, великий герой космоса, если ты достиг цели, в этом есть и моя заслуга.

Наивные мечтания: в грядущую эпоху памятники, скорее всего, выйдут из моды, и если их еще и будут заказывать, то исключительно ультра-абстракционистам. И первооткрывателя Луны изобразят в виде какой-нибудь трости, а собаку, конечно, если о ней вспомнят, в виде маленькой тросточки; во всяком случае, в ее облике уже не будет ничего собачьего. Живые собаки, проходя мимо, не смогут узнать себя в ней, а потому, бедняжки, не испытают ни малейшего чувства удовлетворения.

1957 г.

ВЕЧНЫЙ ПОРЫВ

Вы, слишком усталые или разочарованные: «Зачем это нужно? Неужели мы станем счастливее, если высадимся на Луне?»

Вы, возмущенные: «Ну разве это не бред — тратить столько трудов и столько миллиардов на дело, которое не принесет никакой реальной пользы, в то время как больше

половины человечества страдает от голода?»

Вы, кто уже пресытился бурными и невероятными событиями нашего века, кто, равнодушно глянув на ракету и заголовок на первой полосе, сразу утыкается в биржевые котировки, спортивную хронику, сводку происшествий и некрологи.

Вы, молодые люди, не воспринимающие Луну как желанную цель, потому что сама идея полететь туда — это часть системы, которую вы хотите разрушить.

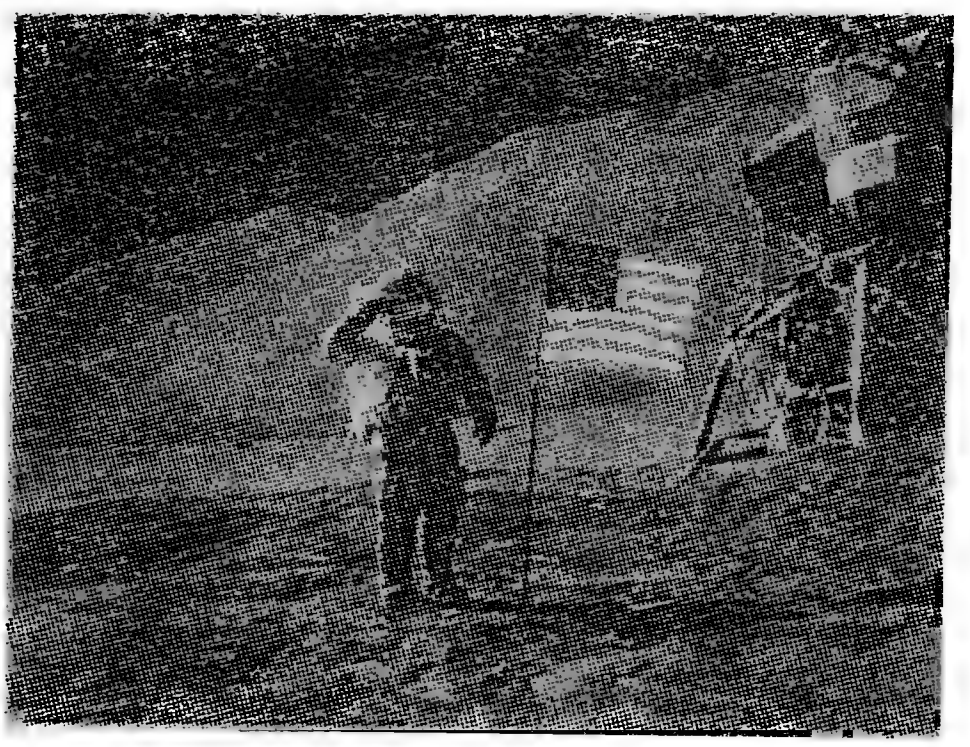
Вы, другие молодые люди, не видящие славы в таком полете, потому что отвага аргонавтов, исследователей и первооткрывателей — типично буржуазная отвага.

А также вы, старики, в глубине души желавшие, чтобы ничего не случилось: горько быть свидетелем того, как приоткрываются звездные врата, и сознавать, что покорение звезд свершится без тебя.

Вам уже не перечеркнуть то, что произошло вчера. Все ваши доводы стали праздной болтовней.

А в основе происшедшего — вечный, неодолимый импульс, на пользу или во вред нам, добровольно или против нашей воли побуждающий нас как можно больше увидеть, как можно больше узнать, как можно больше подчинить себе природу. Это жажда жизни в самом возвышенном и дерзновенном своем проявлении противостоит сглаживающей, расслабляющей энтропии. Это свободное дыхание человечества.

Рано или поздно человек должен был отправиться в «головокружительный полет». Когда Земля была изучена полностью, все ледники исследованы, все вершины покорены, привычный дом стал тюрьмой, а попытка к бегству — неизбежностью. Если бы не существовало теперешнего проекта лунной экспедиции, завтра появился бы другой, быть может совершенно противоположный по замыслу. Если бы Лоуэлл, Андерс и Борман потерпели неудачу, через три месяца или через три года по их стопам пошли бы другие. Если бы Америка решила вдруг все бросить, за дело взялась бы Россия, или Англия, или Китай, или Франция, или Израиль, а в отдаленном будущем, допустим, и Италия. Теперь, когда мы знаем, что легендарный рубеж может быть преодолен, пусть даже ценой огромных затрат, усилий и испытаний, бросить все означало бы пойти против собственной природы. Человек сделал первый шаг на пути, к которому готовился долгие столетия, и остановиться или повернуть назад уже нельзя.



Мы — свидетели самого грандиозного, самого славного и опасного приключения, на какое когда-либо отваживался род людской. Так трудно найти слова, достойные этого события, даже самые правильные и красноречивые кажутся вялыми и жалкими. Царь природы вышел из своего вековечного убежища, и сказка скоро станет былью. Подвиги Тесея, Улисса, викингов, Христофора Колумба и других величайших героев прошлого по сравнению с этим кажутся детским лепетом. Даже самый прожженный скептик не может не испытать изумленного восхищения перед мужеством этих троих.

Они смогли отправиться в эту чудовищно трудную и невыразимо опасную экспедицию благодаря огромным совместным усилиям передовых ученых, искуснейших техников и рабочих. Когда они вернутся с победой, то не принесут с собой ни золотого руна, ни драгоценных камней, ни дани от покоренных народов. Да, на Земле свирепствует голод. Но это неправда, что программа «Аполлон-8» оторвана от жизни и бесполезна: ведь бла-

годаря ей сотни тысяч людей получили работу, кусок хлеба и моральное удовлетворение. Кроме того, нельзя не признать, что космическая гонка превращается в действенное противоядие против другого, страшного, гибельного соревнования: гонки вооружений.

Однако, заметите вы, человечество не станет от этого счастливее. Возможно, и так. Но разве не утешительно, разве не радостно видеть, что самый високосный год в истории, как его кто-то назвал, год, когда в Европе вырвались на волю мрачные, разрушительные силы, завершается мирным, сказочно опережающим время и неоспоримо славным событием, сиянием новых, пусть наивных и смутных, но безграничных надежд, праздничным огнем заката после тяжелого, тревожного дня?

Бесспорно, полет астронавтов на Луну — даже если его, не дай бог, ждет неудача — знаменует собой окончательное завершение определенной исторической эры. Простимся навек с пастухом, кочующим по Азии, с почитаемым, а многими все еще любимым миром поэзии. Недели три назад, уже зная о предстоящем старте «Аполлона», не сквозь миланский туман, а с горной кручи я смотрел на ярко сверкавшую Луну и думал: «Будешь ли ты еще видеться нам такой далекой, недостижимой, загадочной? Сможешь ли месяц спустя, если астронавты долетят, превращать нашу убогую действительность в мечту, дарить нам это неизъяснимое очарование, эти возвышенные думы, это затаенное томление? Боюсь, что нет».

Сейчас новолуние. Завтра вечером на небе появится серебристый серп, послезавтра — полумесяц. Лоуэлл, Андерс и Борман еще не успели развеять чары. Давайте взглянем на Луну в последний раз.

1968 г.

Перевод с итальянского Н. КУЛИШ

СОЛ БЕЛЛОУ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ О ХРУЩЕВЕ

Хрущев, наследник Ленина и Сталина, преемник Маленкова и безусловный глава советской олигархии, обратил на себя внимание всего мира и заставил нас думать о себе. Хотя трудно, конечно, поверить, что этот вот лысый, коренастый, жестикулирующий, громогласный человек может победить нас, разрушить наши дома или даже уничтожить нас вовсе.

«Хрущев едет, этот малахольный», — сказал мне в сентябре прошлого года работник гаража на Третьей авеню, когда мимо промчалась колонна советских «кадиллаков». В этом году Хрущев явился непрошеным гостем. Мы не встречали его с распростертыми объятиями и не дарили ему своей любви, но это, похоже, мало его беспокоило. Как бы то ни было, он сумел стать главной фигурой на полосах наших газет, на наших телеэкранах, на ассамблее ООН и на городских улицах. Американец на его месте, ощутив себя нежеланным, хуже того — неприятным визитером, стушевался бы. Другое дело — Хрущев. Уж он-то разошелся вовсю: устраивал уличные пресс-конференции, пикировался с балкона со стоящей внизу толпой, распевал куплеты из «Интернационала» и показывал, как он свалит с ног апперкотом воображаемого гангстера. Играя на публику, наслаждаясь ее вниманием, он вел себя как комик в пьесе, написанной и поставленной им же самим. То же самое в ООН: злобно рыча, перебивая мистера Макмиллана[1], стуча кулака-

[1] Гарольд Макмиллан (1894—1986) — премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии в 1957—1963 гг. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© Л. Мотылева. Перевод, 1999

СОЛ БЕЛЛОУ (род. в 1915 г.) — американский писатель, лауреат Пулицеровской (1975) и Нобелевской (1976) премий. Публикуемый очерк впервые был напечатан в журнале «Эсквайр» в 1961 году.

ми по столу, потрясая в воздухе ботинком, сжимая в объятиях союзников и допекая оппонентов, вскакивая с места, чтобы пожать руку элегантному чернокожему Нкруме[1] в малиновой с золотом тоге, или прерывая свои же проклятия в адрес Запада, чтобы закупорить бутылку с советской минеральной водой, вдруг становясь обаятельным, этаким Хрущевым-душкой, он ни разу не покинул авансцену. И казалось — никому не под силу оттеснить его на задний план.

Бальзак некогда заметил, что политик — это гигант самообладания. Разумеется, он имел в виду политика буржуазного. Хрущев — другого поля ягода. Со времени своего дебюта на мировой арене вскоре после смерти Сталина и ухода Маленкова «в отставку» Хрущев, неизменно оттиравший Булганина, изумляет, сбивает с толку, приводит в смятение и оторопь весь мир. Если политик в традиционном смысле слова — это чудо самообладания, то Хрущев словно бы не умеет и не желает скрывать своих чувств. Его искренность, его открытость — такой же очевидный вроде бы факт, как то, что его страна — союз социалистических республик. Других политиков устраивает роль представителей своих стран. Хрущева — нет. Он желает лично воплощать Россию и строительство коммунизма.

Робость ничего нам не даст. Если уж мы хотим понять Хрущева, мы должны раскрепостить наше воображение, позволить ему, как говорится, пойти ва-банк. Так или иначе, Хрущев *заставляет* нас думать о себе. Он все время у нас на глазах. В Китае, Париже, Берлине, Сан-Франциско — везде он актерствует. В Австрии, разглядывая работу скульптора-абстракциониста, он с «озадаченным» видом просит автора объяснить, что это все, черт побери, означает. Выслушав ответ или, скорее, пропустив его мимо ушей, он замечает, что скульптору, видно, придется все время здесь околачиваться, чтобы разъяснять людям свое загадочное произведение. В Финляндию он попадает как раз к началу торжеств по случаю дня рождения президента; отпихнув беднягу в сторону, он балагурит перед телекамерами, ест, пьет, мечет громы и молнии и, наконец, милостиво позволяет увезти себя на родину. В Америке поездка по стране, предпринятая им в ходе первого визита, была театральным шоу — другого слова не подберешь. Любой монарх XV века позавидовал бы его умению быть *собой*, с кем бы он ни общался — с прессой, с фермером Гарстом, с ослепительными голливудскими дивами или с сан-францисскими профсоюзными лидерами. Уолтера Рутера[2] он в лицо назвал соловьем, который поет с закрытыми глазами, ничего не видит и, кроме самого себя, никого не слышит. В Голливуде со Спиросом Скурасом[3] они обменивались опытом восхождения к успеху, и каждый старался доказать, что его взлет был стремительней. «Я был бедным иммигрантом». — «Я начал работать, едва научился ходить, был пастухом, фабричным рабочим, трудился в угольной шахте, а теперь я председатель Совета министров великого Советского государства». Ни тот ни другой не упомянул о цене, которую заплатили за их возвышение широкие слои общества: Скурас умолчал о пагубном воздействии Голливуда на мозги среднего американца, Хрущев ни словом не обмолвился о депортациях и чистках. Мы, кому все это величие было без спросу навязано, не имели голоса в их споре. Оно и понятно: китам шоу-бизнеса всегда важно обладать некой монополией на патриотизм. Сочетание идеологии и потехи, характерное для обеих сторон, вызвало на тихоокеанском побережье эмоциональный кризис, и там-то как раз Хрущева потянуло на бóльшую откровенность. «В Голливуде нам канкан показывали, — сказал он на собрании профсоюзных деятелей в Сан-Франциско. — Девицы должны были задирать юбки и выставлять зады. Они хорошие, честные артистки, но хочешь не хочешь, приходится плясать. Их заставляют подделываться под вкусы испорченной публики. В вашей стране люди на это ходят, а вот советские люди с возмущением отвергли бы такое зрелище. Это порнография. Это культура для пресыщенных и испорченных людей. Показ подобных фильмов в вашей стране называется свободой. Нам такая «свобода» не нужна. Вам нравится «свобода» смотреть на задницы, а мы предпочитаем свободу мыслить, использовать наши умственные способности, свободу созидательного прогресса». Я взял эти слова из по-

---

[1] Кваме Нкрума (1909—1972) — первый президент (1960—1966) Республики Гана.
[2] Уолтер Филип Рутер (1907—1970) — американский профсоюзный лидер, убежденный антикоммунист.
[3] Спирос Скурас в 1949—1962 гг. был исполнительным директором киностудии «XX век—Фокс».

луофициального издания, оплачиваемого русскими. Оно умалчивает о факте, сообщенном некоторыми американскими газетами: советский премьер-министр, пустившись пародийно изображать канкан, задрал полы пиджака и выставил на всеобщее обозрение свой собственный зад.

Н.С Хрущев, Ширли Маклейн и Морис Шевалье на киностудии в Голливуде.

Это искусство, друзья. Это также совершенно новый способ исторической аргументации, заключающийся в том, что лидер мирового марксизма физически, с помощью своей собственной фигуры порицает западную цивилизацию. Больше того, это театр. А все мы — завороженные зрители, порой вопреки своему желанию. Исполненный Хрущевым номер представляет собой то самое, что Джеймс Джойс называл эпифанией[1], то есть «богоявлением», суммирующим в себе или выражающим собой целую вселенную значений. «Мы вас похороним», — сказал Хрущев капиталистическому миру, и, хотя с тех пор нас не раз уверяли, что это просто украинский оборот речи, означающий: «Мы обгоним вас по объему производства», мне лично кажется, что, когда мы наблюдали за этим танцем, у многих из нас зачесались носы — верный знак того, согласно старому поверью, что кто-то прошелся по нашей могиле. Мы не будем очень далеки от истины, если назовем хрущевский канкан танцем смерти. «Культура для пресыщенных и испорченных людей» обречена. Вот что означает его грубое и злое паясничанье. Именно это он хотел сказать и нью-йоркской публике, разыгрывая перед ней злодея и шута горохового. Для него эти люди — толпа распущенных, недисциплинированных и некультурных жителей загнивающего капиталистического города. Жизнь, однако, не так проста; ибо если голливудский канкан — убогое зрелище, то что мы можем сказать об искусстве социалистического реализма с его бескомпромиссными и идейными героями-рабочими и их фальшиво-слащавыми подругами? Сам Хрущев стоит гораздо выше подобной серятины. Из этого можно сделать вывод: в несвободном обществе правитель сосредоточивает в себе весь творческий потенциал страны и оставляет ее искусство обескровленным.

Не исключено, что для удовлетворения нужд одного человека потребуется не только Россия, но и весь мир. Ведь идеология сама по себе не может дать таких взрывов темперамента; причина кроется в характере. «Меня часто посещает мысль, — писал Уильям Джеймс[2], — что лучший способ определить характер человека — это найти то умственное или духовное состояние, в котором он чувствует наивысшую полноту жизненных сил. В такие моменты внутренний голос говорит ему: «Вот оно, твое настоящее «я»!» Возможно, именно в этих взрывах Хрущев обретает свое «я» или пытается его нащупать. Возможно, именно когда на глазах у всего мира он отпускает вожжи и его несет, он чувствует наивысшую полноту жизни. Богатой палитрой чувств он не располагает. Когда он скидывает незамысловатую личину бюрократической недоступности, или крестьянской степенности, или дружелюбия, остается либо злоба, либо ехидство. Ведь такая школа, как страх, отнюдь не способствует развитию выразительных средств, а умение жить в страхе было в сталинские времена совершенно необходимо любому крупному партийному функционеру. Поэтому разносторонности от Хрущева ожидать нельзя. Однако у него нашлись качества, позволившие ему одолеть учебный курс до конца: крепость нервов, выдержка, терпение, ломовой напор, безжалостность к чужим жизням, да и к своей собственной. Было бы преувеличением, если бы я сказал, что он испытал все напасти, какие выпадают на долю людей в России; но с уверенностью можно утверждать, что, благополучно достигнув вершины, он теперь празднует победу. Он не был наказан за свои преступления — напротив, стал крупнейшим государственным деятелем; это убе-

---

[1] Джойс употребил это слово в ранней версии романа «Портрет художника в юности»; эпифания, по Джойсу, — это внезапное «обнаружение сути предмета»; момент, когда «душа самой обыденной вещи является нам в лучистом сиянии».

[2] Уильям Джеймс (1842—1910) — американский философ и психолог.

дило его, что жизнь таит в себе неожиданные, драматические повороты. Ликуя от того, что посрамил буржуазную цивилизацию с ее представлением о наказуемости зла, он играет свою роль с тем бóльшим воодушевлением.

Не случайно наши лучшие политические комментаторы, описывая поведение Хрущева, используют театральные метафоры. Сульцбергер в «Нью-Йорк таймс» говорит о «неистовом алогизме, характерном для пьес Брендана Биэна[1]». Другие увидели сходство с ленинградским цирком, а один английский психолог предположил, что Хрущев мог взять на вооружение учение Павлова об условном рефлексе. После того как Павлов, поощряя подопытных собак подачками, выработал у них условный рефлекс на определенные сигналы, он нарушил систему сигналов, и у животных возникли нервные расстройства. Наши ведущие политики среди букетов, улыбок и любезностей завели с Хрущевым разговор о предстоящей встрече на высшем уровне — и в ответ он, обернувшись неким ибсеновским исчадием северных снегов, оглушил их рычанием и обдал холодом. Думаю, если бы Хрущеву нужны были уроки, чтобы овладеть приемами «контрастного душа», он скорее мог бы взять их у Гитлера, оглушившего весь мир, нежели у гораздо более тихого Павлова. От Гитлера он мог бы узнать, что демонстративные вспышки злобы подкашивают воспитанных людей, что в делах государственных успех сулят беспринципность, жестокость и безумие. Гитлер мог произвольно вызвать в себе ярость и, добившись поставленной цели, через каких-нибудь несколько секунд уже быть со своим окружением холодновежливым. В случае Хрущева нельзя говорить о подобном сочетании истерии с холодным политическим расчетом, которое грозило бы миру гибелью в огне и льду[2]. Но нужно ли ему учиться психологическим приемам у профессора Павлова? Сам ученый.

Нет, театральные метафоры все же самые точные; когда я, даже еще не увидев его в действии во время недавнего визита в Америку, пытался определить актерский почерк этого невысокого, бодрого, румяного, крепко сбитого, жестикулирующего здоровяка, мне пришло в голову, что Марсель Марсо — еще один лицедей, представлявший в Нью-Йорке гоголевскую «Шинель», — и Хрущев, находившийся в другой части города, оба черпали вдохновение в русской комической традиции. Ее вершина — «Мертвые души» Гоголя. У гоголевских помещиков и крестьян, либо гротескно дубиноголовых, либо столь же гротескно проницательных, у губернских самодуров, подхалимов, крохоборов, чиновников, чревоугодников, картежников и пьяниц Хрущев позаимствовал немало красок для создания своего комического образа. Он — один из гоголевских «толстых», которые «умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят».

Когда обстановка требует большей серьезности, он играет роль марксиста. Его выступление в ООН в поддержку борьбы колоний за независимость заставило меня подумать о Троцком в первые годы после революции, в особенности во время подписания Брест-Литовского мирного договора. К изумлению немецких генералов, он отложил переговоры, чтобы выступить с речами, призывающими мировой пролетариат поддержать революцию и распространить ее вширь. Разумеется, те времена навсегда отошли в прошлое. Они отошли в прошлое еще до смерти Ленина. Велика разница между молодым революционным задором Троцкого и избитыми пропагандистскими приемами старого партийного тяжеловоза. Однако, когда Хрущеву это на руку, он — марксист. Вставая на защиту бедных тружениц Голливуда, он рассматривает их вихляние бедрами и задирание ног с точки зрения ортодоксального марксизма (старая песня об отчуждающем труде, навязанном человечеству капиталом).

Есть что-то общее между марксизмом Хрущева и либеральной идеологией западных бизнесменов. Они прибегают к ней лишь по мере надобности. Хрущев, однако, имеет перед ними то преимущество, что нужды русской политики совпали с его личными нуждами, — так почему бы ему порой не пойти на поводу у своего темперамента? Кроме

---

[1] Брендан Биэн (1923—1964) — ирландский драматург.
[2] Аллюзия на стихотворение Роберта Фроста «Огонь и лед».

того, он испытывает глубокое презрение к представителям Запада, которые не способны пренебречь закостенелыми, порочными, скомпрометировавшими себя формами цивилизованной дипломатии. Приверженность этим формам представляется ему великой комой, глубокой спячкой; Хрущев не ставит спящих ни в грош и пользуется ими как хочет. Фотографии, сделанные на встрече в верхах, показывают, каких успехов он добился. Сжатые до предела губы генерала де Голля выражают дурное предчувствие и отвращение. Мистер Макмиллан глубоко оскорблен. Бывший президент Эйзенхауэр выглядит опечаленно-самоуверенным. Взаимопонимание опять не было найдено, но, разумеется, его вины в этом нет. Вместе вся эта троица должна была показаться Хрущеву «нетронутой невестой тишины» из оды Китса. И нетрудно догадаться, какие чувства он, достигший вершин власти потомок крепостных, должен был испытывать. Столкнувшись лицом к лицу с лидерами буржуазного Запада, так долго внушавшими ему страх и ненависть, он почувствовал, что он крепче, глубже и умнее любого из них. И эмоционально раскрепощенней.

Трудно сказать, был ли Хрущев, стучавший ботинком на ассамблее ООН, «настоящим» Хрущевым. Так или иначе, одна из привилегий, которые дает власть, — это привилегия непосредственного эмоционального самовыражения. Насколько я могу судить, на Западе этой привилегией пользуются очень немногие.

«Тех, кто выбился в люди, уж никто не осудит, — провозгласила недавно наша «Дейли ньюс» в одном из остроумных рекламных объявлений. — Один молодой человек любил спагетти и пиво, но, сделавшись младшим администратором, решил, что ему скорей пристало заказывать бифштекс и спаржу. Только став президентом компании, он почувствовал себя настолько уверенно, что мог вернуться к спагетти и пиву».

Таковы привилегии, которые дает власть, но удивительно: за исключением людей искусства и диктаторов, мало кто даже из президентов компаний отваживается сказать миру, что́ он думает. Полицейский комиссар Нью-Йорка Кеннеди, безусловно сумевший выбиться в люди, поплатился некоторое время назад за то, что откровенно высказал свое мнение по поводу религиозных убеждений полицейских-евреев. Комиссар — не антисемит, это всем известно. Тем не менее нью-йоркский совет раввинов счел себя обязанным потребовать от Кеннеди, чтобы он взял свои слова обратно, и мэр Вагнер по формальным причинам это требование поддержал. Оказывается, совсем не просто говорить то, что думаешь. Даже люди искусства ищут прикрытия, маскируясь под банковских служащих и вуалируя свои высказывания. Остаются одни диктаторы. (Случайное ли это совпадение, что Эмили Пост[1] умерла во время визита Хрущева?)

Перемежая маску улыбчивого крестьянского добродушия с маской злости, русский премьер-министр выпускает на волю свои глубочайшие эмоции, и если они не потрясают нас, то потому только, что мы утратили непосредственный контакт с реальностью. На Западе связь между мнением, чувством и телесным движением нарушена. Мы лишились выразительной силы. Хрущев виртуозно пользуется этой силой, демагогически эксплуатируя свое русско-крестьянское происхождение. Эмоции у него всегда наготове, и, хотя он лжет, он имеет перед нами преимущество. Принципы западного либерализма больше не претворяются в эффективное действие. Лишенные выразительной силы, мы благоговейно трепещем перед ней, мы жаждем ее и в то же время боимся. Мы хвалим скучное достоинство наших тихоречивых лидеров, но в глубине души питаем слабость к вспышкам страсти, даже когда эти вспышки притворны и демагогичны. «В растерянности лучшие, а худших / Переполняет бешеная страсть»[2].

Временами Хрущев выходит за грань гоголевского комизма; не всегда в этом человеке можно разглядеть черты симпатичного мошенника, который любит вволю покушать рыбки и масленых блинов. Гоголевский Чичиков на радостях от удачной аферы скачет по комнате вдали от людских очей. Хрущев изображает канкан на глазах у мировой общественности с нутряным весельем злобного гнома. Перед нами человек, которого сложными течениями людских воль вынесло в такое место, откуда рукой подать до власти над миром. В эпоху, когда видные деятели демонстрируют лишь смешанные — вторичные и третичные — цвета из спектра человеческих свойств, он не показывает нам иных цветов,

---

[1] Эмили Пост (1872—1960) — американская писательница, автор книг и газетных статей об этикете.
[2] Цитата из стихотворения Уильяма Батлера Йейтса «Второе пришествие».

кроме первичных. То ли он выставляет на всеобщее обозрение свои подлинные инстинкты, то ли, как растленный и хитрый старик Карамазов у Достоевского, юродствует, разыгрывая простодушие.

Когда отпадает нужда в обаянии и в подтрунивании, он предстает жестким, своевольным и трудным человеком. Шутливо-презрительно побалакать со Спиросом Скурасом — это для него пара пустяков; в переговорах с хорошо информированными людьми, пытающимися оказывать на него давление, он становится груб и агрессивен — ведь привычка к власти лишила его всякой гибкости. Он, похоже, не умеет играть ни по каким правилам, кроме своих собственных. Природа, история, русский марксизм и, вероятно, более всего то, что он пережил эпоху Сталина, сделали его таким, какой он есть, и другим он сделаться не мог. Фактическое признание своей оплошности, подобное парижскому признанию бывшего президента Эйзенхауэра, — для него вещь немыслимая. Он живет с железной необходимостью никогда не ошибаться. Людей, которые ошиблись, он, возможно, ярче всего помнит лежащими в гробу. Для него черта между невозможным и возможным проведена кровью, и иностранцы, которые этой крови не видят, должно быть, кажутся ему большими чудаками.

1961 г.

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ МОТЫЛЕВОЙ

ГРЭМ ГРИН

ЕРЕТИК ОТ МАРКСИЗМА

Наверное, легче было поймать самого Зорро, чем Фиделя (все на Кубе зовут его по имени, и только враги — Кастро). Он встретится с вами в удобное ему время и в выбранном им месте, но держу пари, что встреча ни за что не состоится в Гаване, скажем во вторник, в одиннадцать тридцать утра, в таком-то кабинете на таком-то этаже.

Начнем с того, что в Гаване он бывает редко. Куба теперь — страна, а не просто экзотический уголок для увеселений, как это было в дни правления Батисты. Новые апартаменты во Дворце революции и днем и ночью готовы к приезду хозяина, но мало что может удержать его там надолго. Разве что любимая игрушка: карта Кубы размером с бильярдный стол, снабженная гигантским пультом, позволяющим высвечивать пастбища, плантации сахарного тростника, кофе и табака. Вот этот-то сельскохозяйственный ландшафт на самом деле и есть его дом.

Однажды нам чуть было не удалось поймать Фиделя на «Туригуано», государственной ферме. с трех сторон окруженной болотами, — этаком острове, населенном племенными коровами, лошадьми и свиньями. Мы на день отстали от нашего графика (семь лет автомобили здесь никто не ремонтирует, поэтому они имеют обыкновение разваливаться на части прямо посреди дороги) и, прибыв на ферму только под вечер, остановились в сельском общежитии. Фидель, как оказалось, уехал отсюда минувшим утром. В Морон поспели к середине дня и обнаружили, что там он переночевал и чуть свет отправился дальше, куда — неизвестно. В Камагуэе, в штаб-квартире партии, о его передвижениях вообще ничего не знали, при этом местный секретарь таинственно «куда-то отлучился»; Фидель же объявился тут вскоре после нашего отъезда. Так мы ехали все дальше на восток, к Сантьяго и Гуантанамо, а он всегда оказывался то впереди нас, то позади.

Во второй же вечер моего пребывания на Кубе мне довелось наблюдать, как он произносит одну из своих знаменитых марафонских речей — четыре часа без бумажки — перед делегатами съезда профсоюзов. Не очень-то хорошо зная испанский, я был погло-

© В. Горностаева. Перевод, 1999

ГРЭМ ГРИН (1904—1991) — английский писатель. «Еретик от марксизма» — глава из эссе «Три революционера», вошедшего в сборник «Избранные эссе» (1969).

Вступление Ф. Кастро и его соратников в Гавану после победы.

щен скорее самим представлением, нежели содержанием речи. Подобно театральной пьесе, это зрелище легко делилось на акты. В первом Фидель, возвышаясь над залом, представлял собой степенную, исполненную невероятной значительности и почти неподвижную фигуру; едва ли не в каждой его фразе монотонно повторялось слово «conciencia»[1]. И вдруг в один миг действие превратилось в фарс: Фидель издевательски забубнил с трибуны «не знаю», «не знаю», передразнивая некоего представителя партийной номенклатуры, отличавшегося, по всей видимости, большим невежеством. Он принялся играть шестью стоящими перед ним микрофонами, то касаясь их пальцами, то переставляя с места на место, то выстраивая в одну линию, словно какие-нибудь цветы. Он абсолютно безошибочно угадывал, к какому из них следует наклониться в данную секунду, чтобы его мурлыканье, смех, сердитое хмыканье или передразнивание прозвучали эффектней. Он играл одновременно несколько ролей, гримасничая и вызывая безудержный хохот аудитории, и руки его при этом находились в беспрерывном движении. «Нигде больше не встретишь людей, которые бы так чутко воспринимали юмор». Он изничтожил сеньора Фрея, чилийского президента: казалось, еще мгновение, и увидишь, как труп бедняги свисает с плеча Фиделя.

После этой речи он скрылся где-то в провинции столь же стремительно, как десять лет назад скрылся от солдат и самолетов Батисты в лесах Сьерра-Маэстры. И только дней через десять, не раньше, фотографии и репортажи о его путешествиях появятся в «Гранме», ежедневной газете со смешным детским названием. Потом вспоминаешь, что так называлась яхта, на которой Фидель и еще восемьдесят три революционера — семьдесят один из них погибли или были взяты в плен в первую же неделю сражений — приплыли из Мексики на Кубу свергать диктатуру Батисты.

Разумеется, подобная неуловимость отчасти является мерой предосторожности. Убийце пришлось бы приложить немало усилий, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. План очередного покушения, недавно раскрытый благодаря двойному агенту, как раз и состоял в том, чтобы заманить Фиделя в западню. Заговорщики сели на «хвост» машине Айде Сантамария, заведующей отделом по связям латиноамериканских компартий, когда та возвращалась с работы из «Дома Америк»[2]. Враги собирались убить Айде, рассчитывая, что сама эта смерть неизбежно приведет Фиделя прямо к ним в руки.

У кубинской революции три главные героини: Селия Санчес, в 1956 году ждавшая Фиделя в Сьерра-Маэстре, Вильма Эспин, сражавшаяся вместе с Раулем Кастро в провинции Орьенте и впоследствии вышедшая за него замуж, и Айде Сантамария. Айде (ее фамилия звучит здесь не чаще, чем фамилия самого Фиделя) участвовала в неудачном штурме казарм Монкада в Сантьяго в 1953 году. Там погибли ее брат и жених; первому вырвали глаза, второму отрезали гениталии. Тела обоих принесли ей в тюрьму. А четыре года спустя, выйдя замуж за Армандо Харта, она сражалась в Сьерра-Маэстре. (Впервые я встретился с ней в 1957 году, когда они с мужем скрывались на явочной квартире в Сантьяго.)

Если бы покушение на Айде удалось, ей непременно устроили бы похороны в Пантеоне Героев, и уж на эту-то скорбную церемонию Фидель явился бы обязательно. Но Айде вовремя заметила фары преследующей ее машины и лихо ушла от погони.

Вот почему Фидель имеет все основания не назначать встреч на определенный час и быть вызывающе непунктуальным, когда дело касается его появлений на публике (например, 29 августа съезд Конфедерации трудящихся Кубы начался с опозданием на час). Но его враги — это враги исключительно внешние. Бояться коварного нападения со сторо-

---

[1] Совесть, сознательность *(исп.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] «Дом Америк» — кубинская общественная организация, основана в 1959 г. для установления культурных связей со странами Латинской Америки.

ны своих ему не приходится. Кубинский народ хорошо вооружен, и будь Фидель тираном, его бесконечные поездки по стране прекратились бы очень скоро.

Личная безопасность — вовсе не главный мотив, заставляющий его колесить по Кубе. Он впервые открывает для себя собственную страну, и порой даже мельчайшие детали новых впечатлений становятся для него откровением. В своей речи перед делегатами съезда профсоюзов он сказал: «Главная моя учеба — беседы с рабочими, студентами, крестьянами. За свою жизнь я прошел два университета: в одном не научился ничему, в другом — всему, что знаю». Фидель — человек честертоновского склада: его путешествия — это всегда возвращение к дому, но сам этот дом — в неизведанных землях.

Мне повезло больше других: в последний вечер моего пребывания на Кубе прямо посреди ужина за мной явился человек, и остаток ночи я провел с Фиделем где-то на окраине Гаваны. Едва мы успели сесть, как Фидель взахлеб, словно ему был необходим кто-то посторонний, чтобы заново испытать удовольствие от собственного рассказа, принялся описывать, как во время своей последней поездки очутился в маленькой деревушке. Уже стемнело, но на улицах не было ни единого огонька — свет горел только в доме, где располагался местный комитет партии. В баре двое мужчин играли в домино, он подсел к ним и тоже стал играть. Слух о его приезде моментально облетел всю деревню, стали собираться жители. Они потребовали, чтобы вождь произнес речь. (Это напомнило мне чей-то рассказ о том, как в 1965 году, в тяжелый период засухи и политической неопределенности, Фидель вдруг перестал выступать публично; с 26 июля, национального праздника Кубы, и до самого октября он не произнес ни единой речи — это молчание повергло всю страну в растерянность и тревогу.) Фидель ответил крестьянам, что как-нибудь еще приедет к ним и тогда будет говорить, а сейчас у него самого есть к ним вопросы... (Тут я почувствовал на себе его проницательный и лукавый взгляд.) ...И он узнал, почему на улицах не горят огни, и в какую даль нужно идти, чтобы починить ботинки, и как сильно они зависят от городка, расположенного аж в пятнадцати километрах от *пуэбло*[1]... Это были мелочи, наверняка знакомые любому сельскому жителю, однако Фидель почти всю свою сознательную жизнь провел на войне, в тюрьме или в изгнании. Только теперь, в сорок лет, он по-настоящему начинал жить. Я не раз задавался вопросом, как же он покажет себя в мирное время, когда героическая эпоха останется позади. Но, судя по всему, его героическая эпоха только-только начинается.

Фидель рассказывал об этом *пуэбло* больше получаса: если я прерывал его каким-либо вопросом, он останавливался на середине фразы, быстро и ни на секунду не задумываясь отвечал мне, потом продолжал точно с того места, на котором остановился. В одно мгновение из хитроватого и остроумного наблюдателя он превращался в энтузиаста. Если бы я не упустил его тогда на ферме «Туригуано», если бы поездил вместе с ним по стране, я бы увидел то, что увидел он, присутствовал бы при рождении его очередной идеи. Идеи, которая внезапно озарила его там, за партией в домино...

Фидель вознамерился поставить эксперимент — в этом забытом богом *пуэбло*. Впредь его жители перестанут зависеть от города. Они будут обеспечены всем необходимым, и притом бесплатно. Они не будут платить за жилье (уже в своей речи 29 августа он предсказал всеобщую отмену квартирной платы, о которой и объявил в 1970 году[2]); начальная школа у них уже есть, а средняя будет построена; у них будет свой собственный электрогенератор; будет детский сад и бесплатная общественная столовая, которая освободит женщин от основной работы по дому («По-моему, это поможет сохранить многие семьи»); дважды в неделю у них будет бесплатное кино; а сапожник будет бесплатно чинить ботинки. Деньги не отменяются, зато нужда в них практически исчезает. Социализм в одной отдельно взятой стране где только не строили. А это будет коммунизм в одном отдельно взятом *пуэбло*.

За экспериментом будут наблюдать социологи и психологи. Как люди станут проводить появившийся у них в избытке досуг? Вырастет или упадет производительность труда? «А что, если эксперимент не удастся, если производительность труда не вырастет?» — спрашиваю я. «Значит, будем думать дальше», — отвечает он. Часто ли другие коммунистические лидеры допускали такую меру сомнений в своих планах?

---

[1] Деревня *(исп.)*.
[2] Приписано Г. Грином в более поздних изданиях.

Фидель марксист, но марксист эмпирический, играющий коммунизм на слух, а не по нотам. Гипотеза для него важнее догмы, оттого его и прозвали еретиком. «Мы не принадлежим к какой-либо секте или масонской ложе, не исповедуем никакой религии. Мы еретики? Ну что ж, еретики так еретики, пускай нас называют еретиками». И еще из той же речи: «Если существует марксистско-ленинская партия, вызубрившая наизусть всю «Диалектику истории» и вообще все написанное Марксом, Энгельсом и Лениным и все равно неспособная хоть что-нибудь сделать, неужели же остальные обязаны ждать и откладывать революцию до лучших времен?» Он видит, как коммунизм повсеместно становится консервативным и бюрократическим, как революция умирает на кабинетных столах, задыхается в тисках государственных границ. (Я пересказал ему известное соображение, что Россия сейчас куда ближе к административно-хозяйственной революции, нежели к коммунистической. Книгу Джеймса Бернэма[1] он не читал, но сделал себе пометку «купить».)

Потом настала его очередь слушать. Я взялся излагать ему свои взгляды на то, что католицизм и коммунизм способны не просто холодно сосуществовать бок о бок, но и успешно сотрудничать. Камнем преткновения в отношениях католиков и коммунистов является именно марксистская философия, но Фидель ни за что не допустит, чтобы философия XIX века помешала ему идти к коммунизму своим путем и добиваться экономических успехов. О папском нунции на Кубе он отзывался с дружеской теплотой и уважением. За морем простираются бедные земли Южной Америки, где соседствуют нищета и богатство — налицо революционная ситуация, создающая для коммунистической экспансии такие громадные возможности, каких лишена Россия в Европе. На Кубе католицизм всегда был религией буржуазии, к тому же религией, лишенной глубинных корней. Религия кубинских крестьян — афро-христианство: Огун и Легба делят здесь алтарь с христианским Богом — как на Гаити. Но в Южной Америке повсюду, за исключением, может быть, Бразилии, крестьяне испокон века исповедуют католичество, и если коммунизму предстоит явиться туда с Кубы, то Фидель ни в коем случае не должен выглядеть гонителем церкви. Да у него и нет желания становиться им. Врагами церкви на Кубе являются вовсе не коммунистические лидеры, а кардинал Спеллман и епископ Шин, эти доблестные рыцари холодной войны и контрреволюции, клерикалы, для которых Папы Иоанна XXIII словно бы никогда и не существовало[2].

В то время как Россию медленно, но верно сносит к государственному капитализму, а в Китае разыгрываются какие-то и вовсе фантастические варианты (не так давно газета «Гранма» безжалостно высмеяла культ Мао Цзэдуна), Куба может стать полигоном истинного коммунизма. Здесь получается нечто похожее на Афинский форум: остров относительно невелик, люди едва ли не каждый день видят своих вождей на улицах родных городков и деревень и поэтому имеют возможность прийти за советом, узнать новости непосредственно из первых рук и чувствовать при этом, что им доверяют. Знаменитые четырехчасовые речи Фиделя состоят не из демагогических заявлений, ораторских фокусов или пустых абстрактных фраз; они содержательны, очень подробны и затрагивают самые что ни на есть земные проблемы. Именно из его выступлений мы узнаем всю правду, какой бы неутешительной она ни была, — например, об ужасающей ситуации в Моа или о скверном состоянии канализации в Нуэва-Хероне. Речи Фиделя гораздо больше напоминают речи Коббета[3], нежели Черчилля, и, на мой взгляд, от этого только выигрывают. В них ощущается страстное желание научить и воспитать свой народ. Тот же дух живет в новых школах и технических колледжах, на глазах преображающих страну.

Фидель никогда не отказывается от однажды принятого решения — в случае неудачи он во всеуслышание объявляет о допущенных ошибках; он делится с народом своими мечтами, и не беда, если иная из них на деле окажется неосуществимой. Работа его революционной мысли видна воочию. Так у часов в прозрачном корпусе видно движение всех колесиков сложного механизма. Когда Фидель появился на трибуне съезда пе-

---

[1] Джеймс Бернэм (1905—1987) — американский экономист, философ, публицист. Имеется в виду его книга «Managerial Revolution», написанная в 1941 году.

[2] Папа Иоанн XXIII (1881—1963) — провозгласил право трудящихся на участие в управлении и на долю произведенных ценностей.

[3] Уильям Коббет (1763—1835) — английский политический деятель и публицист.

ред началом той самой речи 29 августа, сидевшая рядом незнакомая девушка взволнованно прошептала мне на ухо: «Мы никогда заранее не знаем, о чем он станет говорить». Вот уж чего не скажешь о наших политиках.

Этот человек, непреклонный и неутомимый в своих трудах, не раз оказывавшийся на волосок от смерти, наделен душевным благородством, которое рождает безграничную преданность в сердцах других людей. (Из двенадцати соратников, добравшихся с ним до Сьерра-Маэстры, двое погибли, но ни один не совершил предательства.) Один молодой министр, отвечавший в правительстве за сельское хозяйство, допустил грубый административный просчет, в результате которого вся Гавана на некоторое время осталась без молока. Фидель тогда сказал ему, что если он уважает самого себя, то должен отправиться в добровольное изгнание на остров Пинос. Министр так и поступил и шесть месяцев проработал на ферме. «А что бы произошло, если бы вы не поехали?» — поинтересовался я у него. «Да ничего, — отвечал он, — но я сам чувствовал бы себя выброшенным за борт революции».

«Все струны души, каждого в отдельности и всего народа, натянуты в ожидании будущего и радостно переживают настоящее», — писал Вальтер Скотт по поводу совсем другой революции. «Всего народа?» Нет, совсем не всего. Каждый день два американских самолета прилетают из Майами в Варадеро[1] и забирают беженцев, которые приезжают в аэропорт в битком набитых автобусах. Дважды в неделю самолеты авиакомпании «Ибериан эйрлайнс», прилетающие на Кубу почти пустыми, возвращаются назад заполненными до отказа, без единого свободного места. Любой гражданин Кубы непризывного возраста (молодых кубинцев могут призвать в армию и отправить служить во Вьетнам) вправе покинуть страну, взяв с собой только один чемодан. Сочувствующий иностранец, вроде меня, конечно же, купается в ярких солнечных лучах революции; те же кубинцы, что предпочли изгнание, должно быть, видели и теневые ее стороны. Кто-то, наверное, воображаемые, а кто-то и вполне реальные.

1966 г.

Перевод с английского В. ГОРНОСТАЕВОЙ

ЛЮСЬЕН БОДАР

«СОВЕРШЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК

Массы по определению безупречны. Человек массы — микрокосм, частичка Великой Всеобщности — тоже обречен или быть безупречным, или хотя бы стремиться к совершенству. «Женьминь жибао» изложила официальную точку зрения на сей предмет: «Настоящий член коммунистического общества должен обладать ясным политическим сознанием, быть всесторонне образованным, способным в равной степени заниматься и физическим и умственным трудом».

В этом определении таится множество смыслов. Оно свидетельствует, что маоизм пошел гораздо дальше СССР... Советская революция совершалась во имя весьма конкретных политических и экономических целей, она была призвана в первую очередь изменить социальное устройство — создать общество без классов, основанное на диктатуре пролетариата и обобществлении средств производства. Русские усвоили уроки марксизма, научились жить по-новому: их мышление претерпело «политические» изменения. Но по сути люди остались в большинстве своем прежними — сохранили индивидуальные раз-

[1] Варадеро — курортный и туристический центр на Атлантическом побережье.

© А. Николаева. Перевод, 1999

ЛЮСЬЕН БОДАР (род. в 1926 г.) — французский писатель, журналист. Публикуемый очерк взят из книги «Китайский кошмар» (Париж, 1961).

личия. Кремлевский режим изменил среду существования, но не посягнул на саму природу человека.

Пекин с самого начала руководствовался иными принципами. Новая власть сразу же приступила к «дезиндивидуализации» китайского индивида — с помощью промывки мозгов. А программа «Большого скачка» открыла в этом плане и вовсе безграничные возможности. Теперь считается, что людей можно «монтировать» и «ремонтировать», как механизмы, заставляя подчиняться «условным рефлексам». «Народная поэзия» и «народная наука» играют здесь важнейшую роль...

«За 15 лет Китай перегонит Англию».

По мнению коммунистических лидеров, в былые времена народное поэтическое творчество выражало лишь неизмеримые страдания простых людей. Новая же поэзия призвана выплеснуть наружу неудержимый «красный» энтузиазм. Поэтому теперь стихи сочиняются ежедневно и в невероятных количествах: ведь на каждого труженика в разгар рабочего дня может накатить такая волна чувств, что справиться с ними удается единственным способом: слагая вдохновенные строки.

Партия регулярно публикует статистические данные о художественных достижениях народа. Скажем, одни только рабочие провинции Цзянсу «произвели» за полгода десять миллионов стихов — «в честь новых свершений на пути социалистического строительства в родной стране, дабы воспеть героический дух народа, сражающегося с природой, а также высокий духовный подъем масс».

«Каждый человек — поэт, и поэзия сторицей вознаградит каждого» — таков лозунг режима. На самом-то деле, каждый человек просто обязан быть поэтом. Такова «установка», «линия». Но каждый обязан быть еще и художником: в итоге количество картин, рисунков и гравюр, «рожденных народом», исчисляется фантастическими цифрами. К тому же рабочие и крестьяне вдруг бросились писать антиамериканские сатирические комедии, нравоучительные пьески, обличающие лентяев, а также трагедии, в которых рассказывается о подвигах Председателя Мао и народной армии. Большинство из них ставится на сцене. Вся страна превратилась в один большой театр.

Для народных масс стихи, картины, пьесы — еще один вид «продукции», которая к тому же призвана повысить производительность труда. Когда «народ Мао», свершая неслыханные трудовые подвиги, начинает выказывать признаки усталости, ответственные товарищи включают условные рефлексы стихоплетения и рисования. И каждый из семисот миллионов китайцев старается придумать самые прекрасные слова, чтобы выразить счастье, подаренное ему нескончаемой работой.

Пролетарии на самом-то деле куда талантливей профессиональных писателей. А если кому не удается выразить себя с помощью поэзии и живописи, значит, что-то в нем «не так». Ему придется выступить с самокритикой и начать работу над собой: выучить новые иероглифы, посоветоваться с более опытными в литературном деле товарищами, и результат не заставит себя ждать — трудовой порыв воплотится в стихах.

Но одной поэзии мало. Учение Мао гласит: «Каждый человек — ученый, и наука сторицей вознаградит каждого». Нельзя забывать основу основ: человек — главная движущая сила Вселенной, он может все. И потому должен восстать против «механицизма», «стабильности», «неизменности» — всех этих ложных императивов «чистой науки», которые воплощены в реакционной поговорке: «Человек предполагает, Бог располагает». Надо смело приступать к технологической революции, не забивая себе голову так называемыми «естественными законами», и тогда свершится невозможное. Величайшая ошибка — тормозить движение вперед, цепляясь за всякого рода теории. Только пламен-

ный энтузиазм народных масс способен создать истинную науку — только такая наука будет «живой», способной отразить новые веяния, реальный прогресс человечества.

Иными словами, наука неотделима от народа. Каждый китаец — ученый, следовательно, простым китайцам и надлежит двигать науку — изо всех сил, пуская в ход воображение и находчивость. Практически ежедневно по всей стране, во всех слоях общества все китайцы обсуждают одну проблему: «А что еще мы можем сделать? Как ускорить движение вперед?» И любая подобная дискуссия выявляет новые линии раздела между «хорошими» и «плохими» членами общества. По одну сторону остаются пессимисты, «идеологические ископаемые», рабы природы, слабаки — те, кто боится неудач и советует действовать неспешно, постепенно. Но победу одерживают их противники: активисты, мужественные и искренние коммунисты, которые заявляют: «Мы сокрушим природу. Она неприступна только для трусов и слабовольных. Но мы бросаем ей вызов, и она покорится, стократ вознаградив нас за дерзость».

Правда, как ни странно, законы природы, презираемые маоистами, не всегда легко сокрушить, хотя наверняка делу мешают некоторые «отсталые элементы». Например, в сельских кооперативах старые крестьяне, эдакие дряхлые патриархи с пергаментными лицами, упрямо твердят, покачивая головами: «Нельзя так густо сеять, колосья будут слабыми и погибнут, — и непременно добавляют: — Во всем есть свой давно заведенный порядок. Лето следует за весной — и ничего тут не изменишь». Но молодые над их поучениями посмеиваются, они полны решимости доказать, что только густые посевы позволят максимально использовать богатство земли — и урожаи будут фантастическими...

Такого рода столкновения происходят повсюду. Партия не потакает «умникам» и скорее склонна объявить их саботажниками. Урожай погиб — значит, посевы плохо поливались, за ними нерадиво ухаживали, землю не удобряли. Надо исправить ошибки — повторить эксперимент, удвоив усилия.

С некоторых пор у любого китайца появляются собственные «научные» соображения. Ведь известно: чтобы «быть на хорошем счету», надо выиграть гонку, наобещав больше других. И совершенно неважно, если на деле взятые обязательства обернутся полным идиотизмом. Именно подобное понимание соревнования заронило в умы китайцев, скажем, идею вырастить свиней в три тонны весом.

А дело было так. В одной провинции было созвано совещание ветеринаров, где участникам внушалось: свиньи тоже должны сделать «Большой скачок», почему это до сих пор они никак не желают набирать весу больше ста килограммов? Развернувшаяся дискуссия напоминала аукцион. Один из участников объявил, что берется довести вес подопечных ему животных до тысячи кило. Второй выкрикнул новую цифру — полторы тонны. Третий — тысячу восемьсот кило. Кто-то еще — две тысячи. В итоге совещание пришло к «единственно верному решению»: за три ближайших года добиться рекордных результатов — вес свиней должен достичь трех тонн.

В научное соревнование вовлекаются даже машины. И они тоже должны неуклонно повышать уровень своих возможностей. Вот одна из подлинных историй. В Шанхае на табачной фабрике работала система, которая могла высушивать за сутки три тонны табака. Некий активист решил увеличить нагрузку до трех с половиной тонн. Ему это удалось, и героя наградили медалью. Эксперименты продолжились: четыре тонны, пять... И машина сломалась.

На многих предприятиях после схожих опытов все оборудование повыходило из строя. Но существует «установка» не прекращать поиск резервов; воля народа должна одержать верх над материей. Партия учит относиться к машинам, как к людям: их тоже надо «заставлять» работать. С идеологической точки зрения предела возможностей у машин быть не должно, никаких пределов вообще не бывает.

В сегодняшнем Китае человеку дозволено испортить оборудование от избытка усердия. Гораздо хуже прослыть трусливым перестраховщиком. Стоит ли печалиться из-за неудач? В конце концов, главное — показать старание и рвение...

После атаки на сельское хозяйство маоизм пошел штурмовать индустрию. Все, даже самые невежественные крестьяне были брошены на строительство «народных заводов». Их возводили повсюду, голыми руками. Иначе говоря, Мао решил использовать в промышленной сфере те приемы, которые помогли ему выиграть войну. Тогда была создана несокрушимая сеть народных партизанских отрядов; теперь Мао вознамерился пост-

роить множество доменных печей, цементных заводов, электростанций... Тогда крестьян удалось быстро превратить в партизан, но можно ли сделать из них инженеров? Хотя таков главный принцип маоистской науки: человек — сам себе бог, человек — вседержитель.

Из свежих газет я узнаю, что крестьяне провинции Фуцзянь основали десять тысяч семьсот пятьдесят четыре научных центра, которые разрабатывают пятьдесят тысяч тем. В области Ханчжоу сорок пять тысяч «народных специалистов» открыли восемнадцать способов улучшения качества ветчины. Или вот: за неделю массы усовершенствовали сто тысяч моделей сельскохозяйственных орудий. А ученики школ и лицеев Гирина заложили двадцать две тысячи предприятий.

Китайская деревня, в которой еще десять лет назад царило средневековье, превратилась в огромную площадку, где развернулся конкурс «изобретателей и рационализаторов». В одном из сел умельцы сами соорудили трактор — чудище, ощетинившееся трубками, хрипящее и готовое в любой миг развалиться. Некий кузнец изобрел «педальную машину», способную перемещать семьсот кило груза со скоростью семь километров в час. Повсеместно стало появляться электричество: нужны только плотина, небольшой водоем да деревянная турбина. Если этого нет, энергию может давать газ, выделяемый «естественным продуктом», собираемым в бадьи. Так что славным китайцам есть чем гордиться: природный ум помогает им получать свет из собственного дерьма. Видно, и на самом деле наука не требует каких-то там особых глубоких познаний — довольно смекалки...

Партия не устает повторять крестьянам: «Вам нет нужды в огромных машинах, значительных инвестициях, сложных лабораториях, специалистах. Деревня до чего угодно дойдет своим умом! Есть же у вас бамбук, печки, старые железки да три-четыре стойких коммуниста! Этого достаточно, чтобы произвести все, что производит Запад!»

Если кое-какие самоделки и выглядят топорно — что с того? Пользоваться-то ими можно! Скажем, автомобильные рессоры из твердых пород дерева вполне заменяют металлические. Главное — практичность и быстрота отдачи. Самые маленькие изобретения могут иметь огромнейшее значение и способны изменить условия жизни и труда. Тысячелетиями китайцы сгибались под тяжкими ношами — любые грузы носили на собственных плечах. С недавних пор они не носят, а толкают. Все население поголовно мастерит колесный транспорт: на смену корзинкам пришли ручные тачки. Но это еще слишком робкий шаг к автоматизации. Из новой цивилизации — цивилизации колесной — необходимо «скакнуть» к шарикоподшипникам. И каждый кооператив станет производить свои собственные...

Газеты наперебой рассказывают о «народных инициативах». Некая домашняя хозяйка из Кантона сигнализировала ответственному по улице, что большая местная фабрика, выпускающая лампочки, нуждается в нитях накала. И вот жители квартала после «обсуждения» решают начать производство. Организована бригада из шести человек. Собраны деньги — шестьдесят юаней, приобретена старая печь, кузнечные мехи, кое-какие инструменты. И в помещении районного партийного комитета закипает работа... Подобные производственные бригады возникают повсюду. И это ничего не стоит государству: «люди Мао» все добудут сами.

Такова новая линия партии — опора на жертвенность и идеализм. В результате китайский коммунизм сделал самый опасный, самый дерзкий поворот в своей истории. До сей поры маоизм уважал чувство эгоизма, имевшее крепкие корни в Поднебесной. И в какой-то момент власти даже сумели поставить его себе на службу. «Ты должен блюсти свой интерес, — обращалась партия к рядовому труженику, — ведь коммунизм, удовлетворяя всеобщие потребности, тем самым одновременно станет удовлетворять и твои собственные».

Тогда каждый получал вознаграждение за работу еще по принципу строго индивидуального учета трудового вклада. Размер оплаты определялся точно, по единым нормативам, по «коммерческому» принципу количества и качества. Труд оставался товаром. Эта система имела один недостаток: она слишком дорого обходилась государству и партии. А коль скоро китайцы дружно решили сделаться образцовыми «людьми Мао», надобность оплачивать их труд сама собой отпала. Скажем, шанхайские рабочие написали на стенах: «Мы хотим работать ради Дела, а не ради Денег. Если «Большой скачок» сулит нам большое счастье, станем ли мы думать о жалких добавочных юанях!» Рабочие поклялись, что удвоят усилия и повысят производительность труда, потребовав при этом, чтобы им снизили зарплату до минимальной ставки.

Движущей силой человеческих дел отныне должен стать не корыстный интерес, а любовь к социализму и его идеалам. Семьсот миллионов китайцев воплощают в жизнь лозунг: «Один за всех, и все за одного», они разворачивают соревнования, не думая о награде.

Но новое отношение к труду не терпит лени. В деревне каждый кооператив создает специальную секцию, призванную «излечивать лодырей». Речь идет, конечно, не о контрреволюционерах, которые подлежат «трудовому перевоспитанию», а об обычных бездельниках, голытьбе — о тех, кого можно исправить, прибегая к соответствующим средствам.

Газеты рассказывают об одной деревне, где удалось излечить всех лентяев до одного. Инициатива исходила от самих крестьян, возмущенных никудышными работничками, всегда готовыми нарушать дисциплину, зубоскалить, ругать руководство... Например, у некоего Янга хватало наглости постоянно притворяться больным и лежать-полеживать днями напролет в постели. И однажды лучшие «бойцы» кооператива явились с жалобой к председателю местной партийной ячейки: «Вы умеете заставить хороших работников работать еще лучше, а почему вы так снисходительны к отстающим — к тем, у кого руки не тем концом приделаны?» И тогда партийная ячейка в свою очередь обратилась за помощью к массам. Демократические дискуссии продолжались много дней. Народ составил список: в него вошли фамилии семнадцати человек, зараженных микробом лени; было решено применить к ним — в качестве лекарства — особый режим «трудового шефства».

Но сперва лодыри прошли идеологическую обработку. По двенадцать часов в день в течение двух месяцев осваивали они учебный курс, посвященный «трудовой доблести народа». После чего им пришлось держать экзамен, где они должны были доказать свое желание перековаться: экзамен выдержали все.

Затем лентяи перешли под опеку товарища Вая, известного «активиста», человека, побившего много трудовых рекордов. Этот образцовый коммунист внушал им одновременно и страх и уважение; вместе с ним они образовали «бригаду передовиков». Действуя на подшефных своим примером, Вай за семь месяцев «практического перевоспитания» добился того, что они пришли к фантастическим показателям: теперь кооператив насчитывает на семнадцать рекордсменов больше, и они не устают повторять, что счастливы и благодарны народу за то, что он обошелся с ними так великодушно.

В городах власти вели облавы на «уклонистов». Партия рассматривала каждый отдельный случай, проверяла места работы... Все симулянты были отправлены на шахты, на строительство плотин, на подземные работы. Даже отбросы общества, даже немощных и больных надлежало возвратить в трудовую народную массу...

Итак, в Китае теперь существуют только «маоисты». Но не слишком ли много человеческого в них осталось? Способны ли они беспрекословно принять свою судьбу, не ожидая иной награды, кроме обещанных Мао в далеком будущем «двух тысяч лет неслыханного счастья»?

1961 г.

Перевод с французского А. НИКОЛАЕВОЙ

ЭНДРЮ КОПКИНД

СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ В ЭРУ ВОДОЛЕЯ

Вудстокский фестиваль музыки и искусства проходил вовсе не в Вудстоке; музыка на нем играла далеко не первостепенную роль; искусства как такового практически не было; а определение «фестиваль» подходило к этому событию не более, чем к Великой французской революции или к землетрясению в Сан-Франциско. То, что произошло в

© С. Силакова. Перевод, 1999

ЭНДРЮ КОПКИНД (1935—1994) —американский журналист. Публикуемый очерк взят из сборника его репортажей «Тридцатилетние войны» (1996).

минувший уик-энд на ферме Макса Язгура у подножия Катскилских гор, не укладывается в расхожие представления и общепринятые классификации. Там воплотилась в жизнь некая ужасная и прекрасная метафора, явленная миру исключительно через единство противоположностей: слились рай и концлагерь, щедрость и погоня за прибылью, небо и грязь, любовь и смерть. От порывов поколения, которому принадлежит это десятилетие, заходили ходуном леса и луга, и никто не мог сказать: кто же родится в размалеванных краской «дей-глоу»[1] яслях — свирепый зверь или пестрая птичка?

Шоссе №17В

Дорога, ведущая с западного берега Гудзона к озеру Уайт, бежит по холмам, похожим на зеленые пироги-кныши: внутри — мягкая начинка из чернозема, сверху — поджаристая корочка рощ и камней. Следы человеческого присутствия являют собой сельский эквивалент Ист-виллидж[2], где «мамашами», как и положено, зовутся старушки-божьи одуванчики в шалях, а не продвинутые радикалы с пушками. «Автомагазин Сигала», «Эльфенбаум: Бакалейные товары» — никаких тебе коммун и нарколабораторий. И по этой-то дороге, точно киностатисты мимо задника-фона, длиннющей вереницей потекли чудики в своих микроавтобусах и дерьмовозках, на мотоциклах и на своих двоих. Выехавшие на природу обитатели Бронкса поднимали головы от своих картишек и вязанья — и с испугом понимали: начался сезон ведьм.

«Битники рванули деньгу зашибать!» Вудсток был прежде всего искусственной средой обитания, сотворенной кучкой хиппи-бизнесменов, чтобы консолидировать дело культурной революции и настрелять денег у ее солдат. Мечта о Вудстоке родилась в голове двадцатипятилетнего Майкла Ланга, бывшего торговца тяжелыми наркотиками из Бенсонхерста. В качестве стартового капитала он задействовал крупное состояние, унаследованное двадцатишестилетним Джоном Робертсом, а также привлек к предприятию еще ряд организаторов и инвесторов. Для Ланга хип-культура и хип-капитал — вполне совместимые вещи; поклявшись сделать первый миллион к своему двадцатипятилетию, он исполнил задуманное — и не стал останавливаться на достигнутом. Одетый от «Виллидж/Дюранго», разъезжающий на белом «порше» Ланг выглядит как хиппи, ведет себя по-хиповски — да и натура у него хиповская; его интерес к финансовым накоплениям — всего лишь логическое продолжение мечты любого хипа о том, как бы слямзить в супермаркете целый мешок всякой всячины. Он так кайф ловит.

---

[1] «Дей-глоу» — излюбленная хиппи светящаяся краска. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Ист-виллидж — район в южном Манхэттене. В 60-е гг. был известен как один из центров городской контркультуры.

Название «Вудсток» было избрано исключительно как аллюзия на героику культурной революции — в этом поселке на Гудзоне обосновался Дилан. Вудсток — место, где тусуется группа «Бэнд»[1] и ходят толпами культовые личности; именно здесь Мик Джаггер (если верить слухам) как-то съел начиненный кислотой пирожок прямо из промежности одной знаменитой группи[2]. Подобные легенды отлично помогают продавать билеты, но сам фестиваль изначально предполагалось устроить в сорока милях от Вудстока — в Уолкилле, штат Нью-Йорк.

К началу лета окрепло ощущение, что Вудсток станет суперрок-фестивалем всех времен и народов, и организаторы дюжины других летних фестивалей принялись ожесточенно раскручивать собственные проекты, чтобы повернуть на свою мельницу потоки рекламы и народного энтузиазма. Рок-музыка (как живая, так и в записи) по-прежнему остается одним из самых легких способов заработать на новой культуре — наряду с бутиками по продаже одежды и украшений, торговлей постерами, наркотиками и походным снаряжением, журналом «Эсквайр» и курительной бумагой «Зиг-Заг». Но шумиха вокруг Вудстока встревожила добрых бюргеров Уолкилла, а стражи закона, приняв их страхи как руководство к действию, запретили впускать подозрительную тусовку в город. Другие общины оказались не то менее чопорными, не то более алчными; в тот же день, когда Уолкилл дал организаторам от ворот поворот, они получили аж шесть серьезных предложений относительно площадки для проведения фестиваля. Всего за месяц до его начала контора «Вудсток венчерс» выбрала ферму Язгура в шестьсот акров (плюс несколько других участков) у озера Уайт.

Реакция местных жителей была неоднозначной. Некоторые соседи Язгура были очень недовольны тем, что он сдал землю (по слухам, за пятьдесят тысяч долларов) под Вудсток. Но слово «прибыль» их в итоге вразумило. Процитируем письмо одного горожанина, опубликованное в местной газете: «Не их дело, как Макс распоряжается своей землей. Если они не могут пережить, что Макс заработает на своей земле немножко долларов, пусть сами попытаются воспользоваться ситуацией и тоже подзаработать. Пусть сдают место под кемпинги или просто торгуют водой и лимонадом». Чтобы снять страхи перед хиповскими злодействами, бизнесмены сулили горожанам бешеные доходы: «Некоторые из наших сограждан близоруки — они не понимают, что делают эти молодые ребята. Благодаря им в нашем округе начнется экономический бум, который не будет стоить налогоплательщикам ни цента».

Авангард чудиков появился как минимум за неделю до официального открытия фестиваля. К среде шоссе № 17B напоминало «Тропу Хо Ши Мина» — люди шли беспрерывным потоком. Первые ласточки в большинстве своем были закоренелыми маргиналами: их прически, манеры и жаргон свидетельствовали, что эти ребята давно уже сдвинулись на своих коммунах, политическом радикализме или контркультурном стиле жизни. В прохладной звездной ночи они играли на музыкальных инструментах, танцевали и сидели у костров, жаря коноплю и покуривая гашиш. Никакого шмона, свинчивания и «свиней»-копов — полное единение и улет с отпадом.

К вечеру следующего дня, четверга, дух блаженной неги на травке сменился взрывчатой атмосферой городских джунглей. Люди опрокидывали легкие и низкие загородки (призванные регулировать движение толп, не давя при этом на психику); по лугам, подпрыгивая на ухабах, разъезжали грузовики и легковушки; среди валунов и коровьих лепешек вырастали палатки. Городок строился всю ночь до утра; передвижные туалеты уже воняли, и бумага в них кончилась, начались перебои с едой, к цистернам с водой выстроились длинные очереди. А утром в пятницу, когда до всех дошло, как же перенаселена наша планета, появилось ощущение блокады: если пробиться на фестиваль было очень сложно, то уехать назад и вовсе невозможно.

Практические проблемы обеспечения порядка с самого начала тревожили устроителей фестиваля. Беркли, Чикаго, Зэп — действующие модели поведения толп молодежи — показали, что взрыв возможен при малейшей провокации или вообще безо всякого повода. Набрать охранников организаторы решили из числа свободных от дежурства нью-йоркских полицейских. Из восьмисот человек, пришедших на собеседование (типичный

---

[1] «The Band» — рок-группа, известная благодаря своему сотрудничеству с Бобом Диланом.
[2] Группи — особы, посвящающие себя служению любимым музыкантам.

вопрос: «К вам подошел подросток и выдохнул вам в лицо струю марихуанного дыма. Ваши действия?» Неправильный ответ: «Арестую». Правильный ответ: «Глубоко вдохну дым и улыбнусь»), было отобрано около трехсот. Им выдали новенькую форму. Но в последнюю минуту под давлением полицейского управления они были отозваны, и организаторам пришлось нанимать вожатых из детских летних лагерей, учителей физкультуры и просто местных жителей.

Охранники не имели права применять силу и арестовывать участников фестиваля; их задача сводилась к тому, чтобы «присутствовать», сверкая своими красными флуоресцентными майками с «пацификом», а также регулировать движение и при необходимости оказывать первую медицинскую помощь. Подлинные заботы о поддержании порядка — бог с ней, с законностью — были возложены на членов коммуны «Поросячья ферма», которых привезли из Нью-Мексико вместе с ребятами из других хиповских скитов чартерным авиарейсом (обошедшимся в шестнадцать тысяч долларов). В аэропорту Кеннеди их встречали автобусы, раскрашенные в «психоделические» цвета.

За практической проблемой поддержания порядка крылось концептуальное внутреннее противоречие фестиваля: как стимулировать энергию новой культуры, одновременно получая со своего детища прибыль и не выпуская его из-под контроля. Вудсток стал для авангардного капитализма экзаменом в этом искусстве. Ту же самую ситуацию, но в более смазанном виде, мы наблюдаем в случае «черного капитализма»[1], в индустрии СМИ и шоу-бизнеса, на примере новых моделей образования и экономического развития «третьего мира». Здесь же проблема была сконцентрирована на одном отдельно взятом поле во время одного уик-энда: если «Вудсток венчерс» вылетит в трубу или механизмы контроля не сработают, рассыплется вся эта микровселенная.

Устроители, очевидно, чувствовали лежащую на их плечах ответственность. Они постарались воплотить в жизнь все аспекты теории кооптации. Политическим организациям и андеграундной прессе были выделены тысячи долларов за участие в фестивале. Это должно было «узаконить» мероприятие в глазах хиповской общественности и удержать деятельность радикалов во «внутрисистемных»[2] рамках. (И андеграунд купился на эту идею.) Настоящим полицейским было строго запрещено входить на территорию лагеря. Распространились слухи, что за употребление наркотиков вязать не будут — правда, крупным торговцам советовали держаться подальше. Еда, вода, места для палаток — все совершенно бесплатно. В итоге бесплатной оказалась даже музыка. Опорой порядка стали «поросятофермеры», впечатлявшие народ своей несомненной продвинутостью. Они заразили тусовку этикой «любви и вруба», нейтрализуя в зародыше «антисистемные» акции своими ненавязчивыми хиповскими проповедями о том, что лучше заниматься любовью, чем воевать, о магической цельности нашей планеты и о том, как важно делать *свое,* индивидуальное дело, желательно в одиночку. «Поросятофермеры» были единственными толковыми организаторами в лагере. Они руководили раздачей бесплатной еды (овсянки и риса), безо всякого торазина выводили кислотников из «неудачных полетов» и оказывали медицинскую помощь, когда в ней возникала необходимость.

Несколько десятков политических активистов, присутствовавших на фестивале, слонялись без дела. После ливня в ночь на пятницу пошли разговоры, что вот-вот начнутся массовые волнения, но активисты обнаружили, что недовольство дурной погодой — не та идея, которая может поднять народ на политическую борьбу. Непогода буквально заблокировала собравшихся на территории, и в этом смысле ферма Язгура действительно стала концлагерем — или хиповской резервацией, — но все были под кайфом и счастливы. Потом дождь перестал, взревела музыка, подвезли еду и воду. Наркотиков было полно, и распространяли их в открытую; в уютном прохладном лесочке «химики» установили свои портативные лаборатории, а торговцы, сидя на пеньках, преспокойно занимались коммерцией: кислота, меск, псилоцибин, гашиш... В этом полумиллионном полчище ни один человек при всем старании не избежал бы «включения»[3]: косяки передавали с одной подстилки на другую, комочки гашиша возникали невесть откуда, аки ман-

---

[1] Фраза, вошедшая в обиход во время избирательной кампании 1968 г. Имеется в виду оказание финансовой и другой поддержки мелким предпринимателям.

[2] На жаргоне западных хиппи «система» означает «истеблишмент», враждебное хипу общество.

[3] «Включение» — аллюзия на классическую триаду лозунгов хиппи: «Turn on, tune in, drop out» («Включись, настройся, вырвись»).

на небесная, а «Синих Смешинок», кислоты «Солнышко» и розового мескалина было просто завались.

С какого бы бока, под каким бы углом вы ни посмотрели на армию, заполонившую отлогие склоны холмов у сцены, взгляд всюду натыкался на картины, неподвластные обыденному воображению. Такие силы не мобилизовывала еще ни одна из демонстраций или политических акций. Ни один съезд, ни одно культурное событие доселе не вызывали такой необходимости в единении и самоанализе. Амбивалентность и противоречивость этой искусственной среды обитания рождали тревогу, но не заметить, с каким восторгом обживалось новое поселение, мог только человек с одномерным восприятием мира.

Журналисты, оставшиеся «снаружи», видели однородную массу. Внутри же различия были более заметны. Примерно половину толпы составляли «хиппи выходного дня», прикатившие с Лонг-Айленда, чтобы разок окунуться в заманчивую стихию чудиков. Другая половина уже имела стаж погружений. В нее входили племена, посвятившие себя любым богам, которые сейчас кажутся «реально работающими», и любым мифам, в которых можно черпать энергию выживания: Мехер-Бабе, Матери-Земле, «уличным бойцам», Дженис Джоплин, Атлантиде, Джими Хендриксу, Че.

Склоны стали их домом. Рано утром в субботу, после долгой дождливой ночи, прошедшей под музыку Рави Шанкара, Джоан Баэз и многих других, они все еще не собирались расходиться. Двадцать — сорок тысяч человек (точная статистика утратила свой смысл — тут ошеломляли не цифры, а само зрелище) в каменном молчании сидели на грязной земле, неотрывно глядя на пустую сцену.

В этой стране в этом столетии доселе еще не видывали «общества», столь свободного от какого-либо давления. Все купались голяком в озере, секс был доступнее завтрака, а «свиньи» только улыбались и раздавали овсянку. Для людей, не наблюдавших воочию интенсивной, общинной сплоченности политических борцов (Народный парк, Париж в мае 1968-го, Куба), Вудсток навечно останется образом счастья, уготованного нам всем после революции.

Итак, это была иллюзия — и не иллюзия. Для всех, кроме самых закоренелых, бал кончен, и косяки погасли; у Монтиселло вновь начинают шмонать. Устроители придумали «уик-энд свободы», дабы поплотнее набить свои карманы; повториться он может, только если будут гарантированы прибыли (сейчас уже почти точно известно, что «Вудсток венчерс» потеряла свой капитал). Хранители старой культуры, наслушавшись идиотской болтовни СМИ насчет смертей и передозировок, уже приходят в ярость. Истеблишмент ничуть не изменился — просто на время одного уик-энда он оставил изгоев в покое.

Что здесь не иллюзорно, так это реальность новой оппозиционной культуры. Она прорастает из разлагающихся старых форм, зараженных всеми этими нелепыми и деструктивными ценностями частнособственничества, конкуренции, коммерции, погони за прибылью и элитарности. Новой культуре пока лишь предстоит сформировать свои институты в массовом масштабе; никакими ресурсами для этого она не обладает. На данный момент ей приходится удовлетворяться — или не удовлетворяться — ролью кочегара, подбрасывающего в топку старой системы новые идеи, рок, наркотики, любовь и прямоту суждений. Все это вернется назад в извращенных и испохабленных формах — из «Коламбиа рекордс», Голливуда, магазина «Блумингдейл». Но что-нибудь да уцелеет, ибо нет на свете лекарства, исцеляющего от тошноты и отвращения. Ныне речь идет не об «увлечениях молодежи», а об основополагающем событии; возраст его участников имеет отношение лишь к нынешней его фазе. Ясно, что тошнота пока еще не может служить базой для политического объединения масс; радикальным политикам еще предстоит понять, что культурная революция — море, в которое им следует погрузиться, подобно тому как борцы за права черных погружаются в «черную культуру». Но кровь кипит все сильнее, и когда наркоманы, нудисты, «*love*-ники», сектанты-экологи и музыкальные фанаты узнают, что за любовь нужно сражаться, — чертям жарко станет.

1969 г.

Перевод с английского С. СИЛАКОВОЙ

ПЬЕР ВЕЙЕТЕ

СМЕРТЬ ФРАНКО

«МЫ ОБЕСПЕЧИМ ЕМУ КРАСИВУЮ СМЕРТЬ...»

Во вторник вечером, в 23 часа 15 минут, в спальню Франко во дворце Пардо вошел монсеньер Педро Кантеро Куадрадо, кардинал Сарагосский и член регентского совета. Через руку у него был перекинут покров Святой девы дель Пилар. Не говоря ни слова, он набросил его на постель, в которой уже две недели лежит глава государства.

За этот день его состояние ухудшилось настолько, что впервые было названо «чрезвычайно серьезным». Тогда каудильо призвал к себе супругу, донью Кармен, детей и внуков.

Теперь он спит. Как только покров, почитаемый чудотворным, оказался на его постели, Франко проснулся. Ему дали поцеловать покров, и он пролил несколько слезинок. Один из врачей, находившихся у постели умирающего, сказал: «Господь не раз посещал этот дом, будем надеяться, что и сейчас Он не оставит его...»

Я вспоминаю об этой уже известной сцене не ради удовольствия еще раз подчеркнуть ее архаичность и лубочную назидательность. И не для того, чтобы мимоходом сказать, что покров, под которым ныне лежит Франко, некогда был поднесен Святой деве Сарагосской... королем Альфонсом XIII и что на Святую деву дель Пилар в теперешние времена возложена деликатная миссия — оказывать покровительство национальной гвардии. Я вспоминаю об этой сцене, потому что она знаменует поворотный момент в долгой болезни Франко.

До сих пор многие из тех, кто был вхож в спальню каудильо, думали, что глава государства, говоря попросту, еще может вывернуться...

Последний приступ развеял все сомнения. Конечно, еще может наступить краткая ремиссия, и существование каудильо Испании на какое-то время продлится, но новых осложнений болезни ему не выдержать. Появились безошибочные признаки: с этого момента члены семьи не покидают спальни больного, они все чаще и чаще, как показывает эпизод с покровом Божьей Матери, взывают к помощи религии. Наконец, и это главное, количество врачей у одра Франко постоянно увеличивается. Их было одиннадцать, а теперь — девятнадцать. Среди вновь прибывших нейрофизиологи и гастроэнтерологи первого ряда. Спальня во дворце Пардо превратилась в настоящую медицинскую академию. А чем больше в ней народу, тем больше информации просачивается. Накануне утром врач, комментировавший последний бюллетень, дал понять, что большинство его коллег считает состояние Франко безнадежным. Проблемы с кровообращением столь серьезны, что накануне ночью уже нельзя было прибегнуть к необходимому оперативному вмешательству. Ясность ума, судя по всему, каудильо сохраняет, но с каждым часом ему становится все труднее выражать свои мысли.

Иначе говоря, Франко еще не мертв, но его уже нет.

Родные и близкие, не желавшие верить в очевидное, теперь смирились.

Председатель кортесов и регентского совета, а значит гарант конституции, личный друг Франко, не отходивший от его постели в течение двух недель, Алехандро де Вальсарсель становится (вместе с Карлосом Арриасом Наварро) ключевой фигурой в государстве. Недавно в частном разговоре он произнес такую фразу: «Теперь нам не остается ничего другого, как обеспечить ему красивую смерть».

Сейчас могут открыться кое-какие маленькие тайны, особенно те, что касаются передачи власти. Удивительно, но нет никаких признаков того, что окружение Франко «оказывало на него давление», с тем чтобы он воспользовался — если здесь уместно это

© Éditions Arléa, 1986
© Н. Малыхина. Перевод, 1999

ПЬЕР ВЕЙЕТЕ (род. в 1943 г.) — французский писатель, журналист. Публикуемый очерк отмечен премией Альбера Лондра (1976); печатается по изданию «Grands reportages» (Éditions Arléa, 1986).

слово — своей болезнью и окончательно поставил во главе государства принца Хуана Карлоса, как на это всегда надеялось большинство «новых франкистов».

Но в том же разговоре Алехандро де Валькарсель совершенно определенно сказал: «Я не знаю никого в нашей среде, кто мог выступить со столь неуместным предложением... С другой стороны, если бы у каудильо было подобное желание, он бы не преминул его нам высказать. Запомните наконец, что никто не оказывает на Франко никакого давления».

В понятие «красивая смерть» входит и тот драматизм, который придают его болезни пресса и особенно радио и телевидение. На смену таинственности первых дней пришло поразительное нагнетание этой темы в новостных передачах. Первый диагноз удалось раздобыть только через пятнадцать часов. Зато потом бюллетени стали слетать с экранов так же неудержимо, как облетает осенняя листва с мадридских деревьев... И какая точность в деталях! Не скрываются ни серьезные сбои в работе организма, ни мельчайшие неполадки. Даже информация об естественных отправлениях всесторонне анализируется и неуклонно обнародуется. Газеты публикуют анатомические схемы, чтобы читателям было удобнее следить за течением болезни.

Столь пристальное, окрашенное в самые драматические тона внимание к любым сведениям о состоянии здоровья каудильо поддерживает в зрителях и слушателях такое же напряжение, с каким в военное время следят за сводками с фронта. Нетрудно догадаться о смысле, которым наделяется эта аналогия: генерал Франко всю свою жизнь вел крестовый поход против врагов Испании и веры, и так же мужественно борется он сейчас с болезнью. На смертном одре Франко остается образцовым крестоносцем, смотрите и восхищайтесь его беспримерной стойкостью и непоказным героизмом.

А что происходит в политике? На первый взгляд ничего особенного, если не считать того, что режим стремится создать образ единства нации и спокойствия. «У нас все atado»[1], — заявляет он. Иначе говоря, все находится под контролем настолько, насколько это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную преемственность власти. Молчаливое большинство должно видеть невозмутимое лицо режима.

В ЧЕТЫРЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ УТРА...

Мадрид, 20 ноября, четверг. За Франсиско Франко статуя командора не приходила. И кровавый призрак не стаскивал его с трона. И никто не повернул против него оружия. Смерть настигла его во сне. Франко просто не вышел из того химического дурмана, который в течение последних дней заменял ему сон. К этому случаю идеально подходят два весьма банальных выражения: «он угас» и «он ушел незаметно»...

Четыре двадцать пять утра... Испанцы называют это время madrugada[2]. В этот час начинает светлеть небо. На этот неверный, тайный час Франко сам не раз назначал смертные казни.

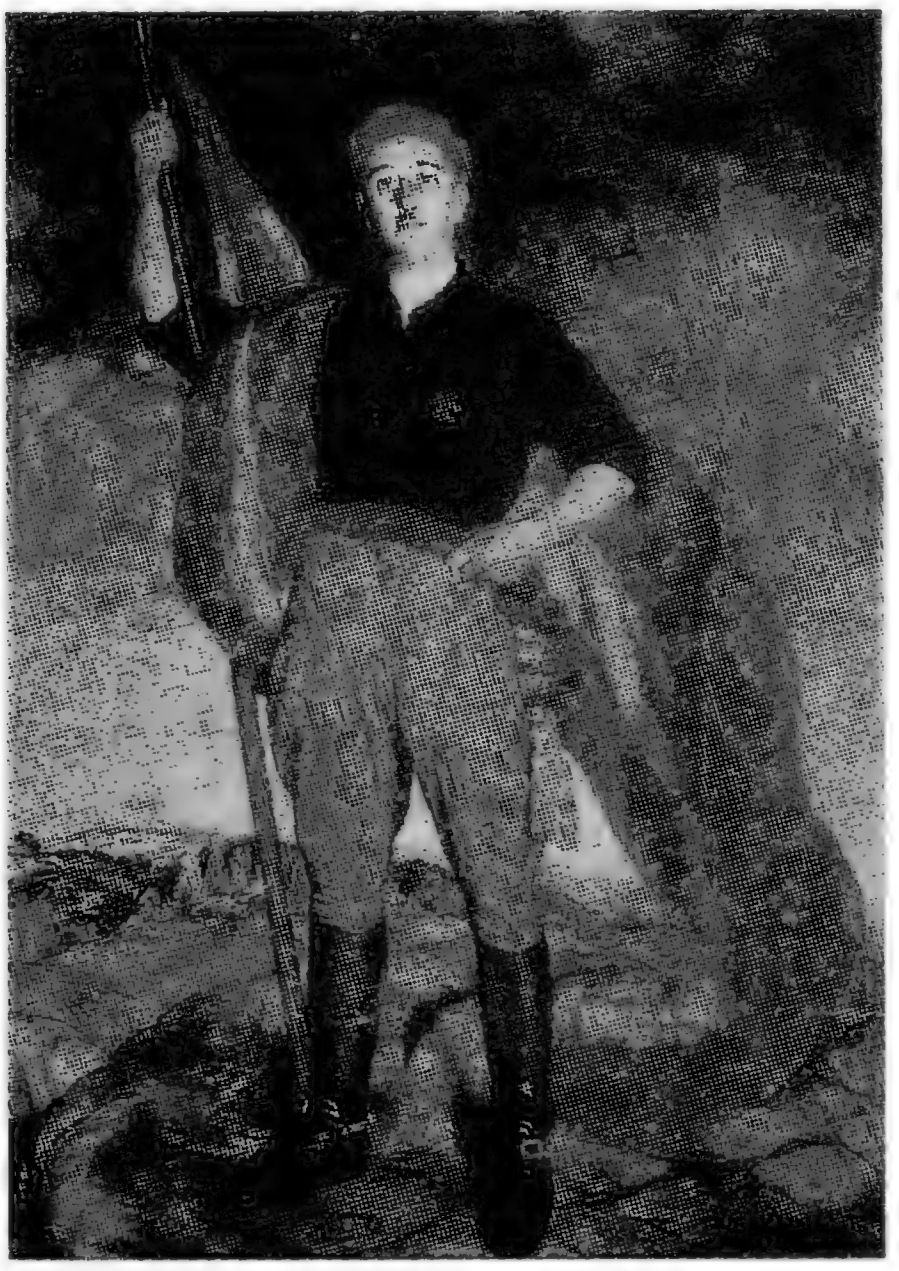
В больнице «Ла Пас» из всей семьи каудильо находится только его единственная дочь Кармен де Вильяверде. Она дремлет в маленькой комнатке, смежной с палатой, в которой третью неделю находится ее отец. Ее муж, хирург Кристобаль Мартинес Бордиу, дежурит вместе с тридцатью пятью другими врачами.

И все же в четыре двадцать пять — может, чуть раньше, может, чуть позже, такие подробности долго не перестают быть предметом споров — отказали два последних еще сопротивлявшихся органа: сердце и мозг. На мониторах аппаратуры изображение застыло. Физическая жизнь главы испанского государства кончилась. «В глубоком сне», как позже скажет один из врачей.

Тридцатью девятью годами раньше, в самый разгар гражданской войны, в тот же день и в тот же час Хосе Антонио Примо де Риверу вытащили из камеры и во дворе образцовой тюрьмы в Аликанте расстреляли. Республиканцы сами сделали из молодого руководителя Фаланги героя и мученика.

---

[1] *Здесь*: схвачено *(исп.)*.
[2] Утро, рассвет *(исп.)*.



Игнасио Сулоага. Портрет генерала Франко.

Принц Хуан Карлос и генералиссимус Франко.

Потом имя Хосе Антонио будет выбито на фронтонах всех испанских церквей. Франко поставил его на службу своему правлению, и службу эту оно сослужило.

Между расстрелом в Аликанте и тихой кончиной в «Ла Пасе» прошло тридцать девять лет. Странная встреча, посмертная, но все же...

Ближе к пяти часам утра маркиз де Вильяверде незаметно, в полном одиночестве покидает больницу «Ла Пас» через запасной выход. Требуется время, чтобы зять Франко успел добраться от «Ла Паса» до Пардо. Он должен лично сообщить донье Кармен о кончине человека, который пятьдесят два года был ей мужем. Требуется время, чтобы министр юстиции, «государственный нотариус», прибыл в госпиталь и официально засвидетельствовал смерть. Наконец, требуется время, чтобы службы правопорядка успели отправить кому следует соответствующие донесения.

В шесть десять музыкальная программа, которую с некоторого времени передает государственная радиостанция, внезапно прерывается. Все региональные станции транслируют Мадрид. Министр информации М. Эррера в нескольких словах извещает народ Испании о смерти каудильо. Звучит национальный гимн...

ЧЕРЕЗ СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД

В шесть часов пятьдесят минут две полицейские машины с выключенными сиренами прижимают ранних автомобилистов к правой стороне пасео Кастельяна. Они расчищают дорогу для автокатафалка мадридского муниципалитета с номером 802 266. Это «додж», до блеска отмытый фургон. Решетка радиатора выполнена в виде распятия. Задняя часть кузова — прозрачный пластик. На нем еще не просохла вода после мойки. Этот автомобиль, мрачный и шумный, проводит по всей длине столичной магистрали траурный штрих. И мадридцам, в чьи руки еще не успели попасть экстренные выпуски газет с огромными жирными заголовками «Умер Франко», тем, кто только что вышел из дому, вполне понятно, что́ означает катафалк, на большой скорости направляющийся в сторону «Ла Паса».

Гроб должны были вынести через главный вход. Но появившийся в восемь часов кортеж государственных лимузинов делает резкий разворот и становится со стороны

двора. И катафалк стоит на дуге пандуса, который ведет с проезжей части к зданию с вывеской «Травматология и реабилитация». Это, так сказать, потайная дверь.

Десять часов. Вокруг трупа весом в тридцать шесть килограммов уже некоторое время хлопочут бальзамировщики. Позже, когда по телевидению покажут открытый гроб, зрители увидят Франко в полной парадной форме, округлившегося и опрятного, с безмятежным лицом, которое как бы демонстрирует «смерть в полном здравии». Пока происходит это маленькое косметическое чудо, Кармен де Вильяверде, дочь Франко, почти не отходившая от него в последние дни, вручает Карлосу Арриасу Наварро письмо отца, которое она хранила уже месяц. Это духовное завещание каудильо, подчеркивает она. Его необходимо сразу же довести до сведения испанского народа. И в машине, которая везет Карлоса Арриаса в министерство информации, он перерабатывает заранее заготовленную речь.

В десять часов он обращается к Испании. Скорбь переполняет его, транзисторы передают дрожание голоса. Толпа праздношатающихся, которых всегда немало позади больницы, умолкает, чтобы послушать речь президента. Большинство улавливает только обрывки фраз. И может быть, тот драматический момент, когда Карлос Арриас вытаскивает из кармана знаменитое письмо и разворачивает его перед микрофоном.

В толпу падают привычные формулировки: «Я хочу жить и умереть католиком...», «Помните: исконные враги Испании и христианской цивилизации не дремлют...» Последние слова президента тонут в рыданиях. Немедленно включается траурная музыка. Ее прерывают только для сводок новостей, содержание которых становится ясно из первой же фразы: «В Сарагосе и Арагоне каудильо был у себя дома...», «Нашим каталонским храбрецам он говорил...», «Франсиско Франко любил Гипускоа...».

В одиннадцать двадцать пять наконец происходит вынос тела. Генералы, представляющие все рода войск и увешанные орденами по всей ширине груди, отдают покойному честь.

Сейчас откроют катафалк и два офицера из личной охраны Франко станут по обеим его сторонам. На все уйдет не больше тридцати секунд. Косой луч солнца падает на собравшихся. Шесть служащих больницы в зеленых халатах выносят на плечах тяжелый гроб красного дерева с резьбой по углам. И на крышке — тяжелое скульптурное распятие того же дерева. На несколько секунд повисает тишина. Полная. И оцепенелая. Вот это был Франко... Из тех, кто стоит рядом со мной, никто не видел Франко живым.

Пока траурный кортеж направляется в Пардо, где будет отслужена месса в присутствии родных и близких, на которую должен прибыть Хуан Карлос, мадридцы бросаются на охоту за газетами. Мало сказать, что киоски берут с бою. Их попросту разносят. Спецвыпуски распродаются или разворовываются в считанные минуты.

Да, теперь смерть Франко читается на всех лицах. Хотя некоторые остаются непроницаемыми — наверное, по разным причинам. Разговаривать многие отказываются. «Я не занимаюсь политикой». Другие демонстрируют свои чувства, вывешивая национальные флаги с черным крепом на балконах и в витринах своих магазинов. Торговцы опускают жалюзи. Со слезами на глазах. И целый день на улицах, и особенно на экранах телевизоров, будут проливаться потоки слез. В основном пожилыми людьми.

Мужчины захлебываются в рыданиях, не могут договорить начатую фразу: «Испания умерла сегодня... Да, Испания...» Женщины заходятся в слезных причитаниях: «Он был величайший человек всех времен... наш отец...»

Что же до тех, для кого смерть Франко составляла предел мечтаний, кого она освободила от сорокалетнего ожидания, то они ведут себя намного сдержаннее. Конечно, срабатывает старый инстинкт: «Не верь!» Если сегодня вечером в маленьких квартирках на Карабанчеле и будут отмечать это событие бутылкой «Кордониу», месяц ждущей своего часа в холодильнике, то — без всякого шума. Без победных залпов.

Сегодня монополия на публичное изъявление чувств принадлежит франкизму. Их можно наблюдать во всем разнообразии, выйдя на Пуэрта-дель-Соль. У газетных киосков люди переговариваются, читают газеты по трое-четверо, вытирают глаза. Другие, приложив ухо к транзистору, слушают Реквием Моцарта или сотую хвалу генералиссимусу, на сей раз из Севильи. О нем все говорят, о нем все думают...

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ТИШИНА

Мадрид, 21 ноября, пятница. Первая колонна длиной в несколько километров движется от реки Мансанарес, она идет от нижнего города, откуда постоянно поднимаются фабричный дым и речной туман. Вторая колонна спускается из верхнего города, то есть из центра. «Старый» Мадрид на сорок восемь часов стал зоной молчания. Ни автомашин, ни шума. Дальше, за пределами этой зоны, автомобильный поток (по буйству он напоминает Латинскую Америку, по плотности — Париж) продолжает свой сумасшедший концерт. Здесь же, вокруг Пласа Майор, в маленьких улочках отдается только эхо тысяч шаркающих ног. Вторая колонна образуется тут — огромная человеческая змея сжимает город в своих кольцах, извилистым путем сползая к площади Ориенте.

Улицы, сходящиеся к Пуэрта-дель-Соль, черны от народа. Те, кто в полдень находится здесь, не могут и надеяться, что попадут во дворец Ориенте — а это метрах в трехстах отсюда — раньше полуночи. Они становятся в очередь, не проявляя никакого нетерпения.

«Зона молчания» — такие таблички распорядился развесить алькальд по стенам домов. И люди молчат. Или, в крайнем случае, перешептываются.

Тем нашим читателям, кому известно, что в Испании говорят громче, чем где бы то ни было в Европе, понятно, почему эти молчаливые толпы производят такое ошеломляющее впечатление. Для «европейского менталитета», то есть для француза-демократа, зрелище это тем более поразительное, что явно противоречит общепринятому представлению: Испания так страдала под игом Франко, что не сумеет скрыть радости, когда тиран умрет.

От заблуждений такого рода я избавился за тот месяц, когда готовил репортаж. Среди прочего, я узнал, что корни франкизма в сто раз более народны, глубоки и разветвлены, чем нам представлялось. Но я и подумать не мог, что скорбь обретет такой размах...

Испания подтверждает свою веру в личность покойного каудильо и, может быть, еще в большей степени выказывает страх — Испания осталась без Отца... Поражает не столько то, что многочисленные толпы мадридцев стремятся проститься с Франко, сколько искренность их чувств. Конечно, все, что связано со смертью, затрагивает испанскую душу. Может быть, и это, и обычное любопытство к смерти присутствуют в длинных процессиях к гробу Франко. Но до такой степени притворяться невозможно. Как бы то ни было, но к утру завтрашнего дня, к воскресенью, более миллиона мадридцев отдадут последний долг генералиссимусу. И так — по всей стране...

ФАШИСТСКИЕ ПРИВЕТСТВИЯ И ГРИГОРИАНСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ

Вернемся в послеполуденный Мадрид. С балконов свешиваются национальные испанские флаги и знамена с траурным крепом, мостовая под ними запружена народом. В руках у людей цветы, у кого — целые охапки, у кого — букетики гвоздик, красных и желтых, как флаг Испании. В большинстве своем они одеты в темное. Мужчины повязали черные галстуки, многие женщины прикрывают лицо мантильями. Они плачут. Кое-кто, плача, поедает вынутый из сумочки бутерброд. Слезы орошают тортилью, уже десятки носовых платков — хоть выжимай. Другие перебирают четки. Толпа, как единое целое, серьезна. Толпа дисциплинированна — она под наблюдением. В тысячах и тысячах рук зажаты газеты, так что издалека кажется, будто вся она осыпана траурным конфетти.

Обе колонны сливаются на площади Ориенте. Здесь проходили самые грандиозные действа франкистов — и в 1946-м, и в 1971-м, и в 1975-м. Сегодня она, как серым флером, окутана светом пасмурного дня. Для скорби лучше не придумаешь. И для приглушения религиозной музыки — хоралов Баха и, главным образом, григорианских песнопений, которые с восьми часов утра звучат беспрерывно. Уже на рассвете более пяти тысяч человек ждали здесь, когда откроются двери дворца. И несколько сотен из них провели эту ночь на улице.

Посетителей впускают через великолепный двор Арсенала. Охапки цветов у каждой колонны расцвечивают серый гранит галереи. Затем, через оружейный зал, тоже заполненный букетами и венками, они попадают к монументальной мраморной лестнице, где перед огромной римской статуей тридцать солдат держат знамена, склонив их к ступеням. Здесь встречаются два потока. У тех, кто спускается, лица особо скорбные

— они уже простились с Ним. Солдаты из личной охраны и личной гвардии Франко, офицеры всех родов войск, служители — все в парадной форме — сопровождают процессию по роскошным пустым помещениям до Колонного зала. Сейчас он превращен в траурный — стены задрапированы черной тканью, горят свечи.

Франко в парадной форме лежит в гробу, обитом шелком. Лицо у него гладкое, восковое. По обеим сторонам гроба в протокольном, расписанном по минутам прощании преклонили колени на красных бархатных скамеечках подчеркнуто погруженные в горе видные фалангисты в голубых рубашках, выдающиеся государственные деятели и личные друзья.

Те же, кто в течение долгих часов стоял в очереди, прощаются с покойным на ходу. Перед останками каудильо бесконечной вереницей шествует сам франкизм.

Как описать это фантастическое зрелище и все разнообразие актеров, принимающих в нем участие? Вот супружеская пара, это совсем простые, плохо одетые люди, они рыдают, держась друг за друга. За ними — буржуазная дама, она только что от парикмахера. Из сумочки крокодиловой кожи она вынимает розу и, обозначив коленопреклонение, бросает ее в изножье катафалка. Мужчина без возраста в двубортном пальто, черных кожаных перчатках и темных очках. По этому лицу — одному из тех бесцветных лиц, которые бреют парикмахеры, — текут слезы. Четкая, будто нарисованная, линия усов. Он щелкает каблуками и вскидывает руку в фашистском приветствии. Таких, как он, здесь идут сотни, и от их скорби мороз подирает по коже. Вот монах-капуцин перекрестил гроб и украдкой вытаскивает из-под сутаны маленький фотоаппарат (что строжайше запрещено). Косяками идут монахини, все одинаковые, розовощекие, они шепчут молитвы. А вот дряхлая старуха, словно вышедшая из фильма Бунюэля «Виридиана». Это, конечно, богохульница, сейчас она осыплет покойника проклятиями. Но нет, с трудом удерживая равновесие, она тянет руки с костылями к телу усопшего. И сразу после нее молодая мать тем же жестом поднимает ребенка к траурному покрывалу.

Вот семейство, которое рыдает в полном составе. Вот женщина рвет на себе волосы, она падает — пусть ее обходят. Другая плачет в голос. Вот господин в форме Голубой дивизии, он держится прямо благодаря броне из наград. Выдающийся футболист, знаменитый тореро. И тысячи, тысячи неизвестных всех возрастов, из всех социальных слоев, но, как мне кажется, в основном представители среднего класса.

Сейчас, когда я пишу эти строки, уже спустилась ночь. Одна из колонн от площади Сибелес поднимается по проспекту Хосе Антонио. Другая тянется от реки. Никто не считает, сколько человек в обеих процессиях. Они будут двигаться всю ночь, освещенные мадридскими фонарями и дворцовыми факелами.

Это намного серьезнее, чем просто торжественное прощание с покойным главой государства. Устроенное с тем вкусом к грандиозному, с которым тоталитарные режимы обставляют массовые действа, оно странным образом перерастает в посмертный плебисцит.

МАРШРУТЫ КОРТЕЖЕЙ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ

В Мадриде, самой традиционалистской столице Европы, вчера произошло, возможно, беспрецедентное событие. Один из народов мира с богатейшей историей вновь обрел короля — дон Хуан Карлос Бурбон-и-Бурбон, потомок Филиппа V, взошел на трон, оставленный Альфонсом XIII 14 апреля 1931 года.

В то же самое время, в том же самом городе были выставлены для прощания бренные останки генерала Франсиско Франко, могильщика законной республики, который после гражданской войны превратился в солдата-победителя, полного хозяина Испании, в каудильо, и скончался после почти полувека безраздельного владычества...

ДИРИЖЕРЫ МАССОВЫХ ЭМОЦИЙ

Здесь, в кортесах, на фоне шелков, золота, парчи и бриллиантов проходит церемония вступления на престол... При этом от кортесов до дворца Ориенте не больше двух километров. Удивительным образом сочетаются обе эти церемонии. Весь Мадрид пре-

вратился в огромное кладбище. Он весь — пышность заупокойной службы при поразительном стечении народных толп. Вообразить атмосферу последних сорока восьми часов в Мадриде можно, только вспомнив, как проходили массовые народные собрания в гитлеровской Германии, фашистской Италии, сталинской России и в Китае при Мао. Тоталитарные режимы умеют дирижировать оркестром массовых эмоций... в отличие от демократий. Последние на собственной шкуре научились не доверять такого рода музыкальным произведениям «большого стиля». Как бы то ни было, франкизм эту партитуру освоил блестяще и исполнял ее уже неоднократно. На сей раз — это шедевр жанра.

Столкнув в узком временно́м зазоре торжественное прощание с каудильо и вступление дона Хуана Карлоса на трон, власть бросила народ в пучину разноречивых чувств. Одновременно их захлестнули — и продолжают захлестывать — траур и ликование. Не успели они поклониться телу отца (обожаемого или ненавистного — сейчас не имеет значения), как зазвучали коронационные фанфары. Король для народа уже готов, и телевидение круглые сутки талдычит, что он великий, что он красивый и — главное — что он испанец.

Нет, мы действительно не готовы к подобным переживаниям. И пусть по горячим следам трудно постичь глубинную суть происходящего, можно все же попытаться хотя бы запечатлеть отдельные, но существенные штрихи.

Зимнее кастильское утро, все вокруг — розовое. В уличном освещении нет нужды, ветер сьерры за ночь утих. Дон Хуан Карлос выехал из дворца Сарсуэлы. Он едет на одном из тех старых «роллс-ройсов», которые в начале века перевозили последних коронованных особ и андалусских тореро, если на арене им сопутствовал успех. Перед «роллс-ройсом», старомодным, с высокой подвеской, аристократичным, следует вереница черных «доджей» — грузных, тяжелых, роскошных и плебейских. Это парадные лимузины франкизма. Уже в этих нюансах автомобильной палитры заключен символический смысл.

Стоит ли видеть такой же символ в мелком происшествии на проспекте Хосе Антонио? Перед знаменитым баром «Чикоте» буквально за несколько минут до появления королевского кортежа откуда-то сверху бросают на проезжую часть мертвого голубя. На крыше мелькает чья-то тень и исчезает в ярком свете утра. В мгновение ока сбегаются национальные гвардейцы и вооруженные полицейские, вокруг орудия преступления их собралось не меньше десятка. Никогда ни одно пернатое не изучалось с таким тщанием. Но судя по всему, голубь не нес ни взрывчатки, ни послания... во всяком случае, письменного.·

Через минуту появляется королевский кортеж, толпа приветствует его криками «Да здравствует король!» Эта толпа тщательно профильтрована стражами порядка. Ее можно назвать многочисленной, но никак не более того...

Представьте, как это выглядит с самолета. С запада на восток Мадрид пересекают две длинных параллельных процессии: одна сопровождает Хуана Карлоса, другая движется к бренным останкам. Они никак не сообщаются. Во всяком случае, те мадридцы, которые собираются отдать последние почести каудильо, явно не склонны покидать свое место в рядах, пусть даже на несколько минут, чтобы поприветствовать короля. Но сторонники короля, напротив, после проезда официального кортежа в основном присоединяются к тем сотням тысяч, которые по двенадцать-тринадцать часов ждут возможности полсекунды созерцать тело Франко. Многие из них проведут ночь на улице и все же вряд ли окажутся к рассвету у дверей дворца Ориенте.

Тут не в почете медлительность священнодействий, к которой так привержена английская монархия. Церемония свершается быстро, немного шумновато, с латинским темпераментом, con emoción[1], а в глазах публики это главное. Хуан Карлос I Испанский показывает здесь свое лицо, сумрачность которому несомненно придает строптивый подбородок. Сейчас оно еще более пасмурно — от торжественности момента. Для Хуана Карлоса настал долгожданный день. Когда он — с морщиной, перерезавшей лоб, едва сохраняя способность говорить — появился в амфитеатре, все стало ясно как божий день: перед ним — корона и скипетр, кортесы, аплодирующие стоя, в дальних рядах — члены

[1] С чувством *(исп.)*.

семьи Франко, отныне его подданные, и — представители девяноста государств. Такое стоит некоторых жертв.

Большинство иностранных представителей, выходя из самолетов в аэропорту, были сдержанны, как того требуют обстоятельства. Лишь один из них разразился политической филиппикой — генерал Пиночет. Вскинув руку в фашистском приветствии, он произнес перед микрофоном неистовую антимарксистскую речь. Надо сказать, что Пиночет во плоти производит впечатление: кажется, такой персонаж возможен только в фильмах Косты Гавраса. А тут его видишь живьем. От полускрытого темными очками взгляда стынет в жилах кровь. На некотором отдалении держится князь Монако, его облик очень успокаивает.

Речь, которую произносит Хуан Карлос, явно не может оправдать надежд Пиночета. Бывший министр Лопес Родо назовет ее даже «первой речью новой эпохи». О ней мы еще услышим: ведь такие речи, речи королей, никогда не пропадают бесследно.

Но слова словами, а вот — первый публичный жест короля Испании. После церемонии вступления на трон он направляется во дворец Ориенте. Коралловое платье королевы Софии скрывается под черным бархатным манто. Их королевские высочества вступают в зал с колоннами и присоединяются к скорбному шествию рядовых мадридцев. Вместе с ними склоняются перед останками каудильо. Несколько минут они тихо молятся перед гробом. Затем приносят соболезнования донье Кармен Вильяверде и ее детям.

В общем, все проходит идеально, как и было рассчитано заранее. Франкистская конституционная машина не дала ни единого сбоя.

22 ноября 1966 года Франко представляет кортесам «Органический закон». 22 июля 1969 года он назначает своим преемником дона Хуана Карлоса де Бурбона. 20 ноября 1975 года Франко умирает. И два дня спустя последние почести ему отдает уже Хуан Карлос I, король Испании. Эту сцену телевидение транслирует на всю страну. Несколькими часами позже на экранах появляется донья Кармен, блистательно исполняющая роль вдовы не столько Франко, сколько всего франкизма: высокая, кажущаяся еще выше в траурном одеянии, под вуалью, несгибаемая и у гроба, и перед камерой. Яркий образ трагического мужества. И — одновременно — преемственности власти. И — истинного завершения церемонии восшествия на трон.

Что на самом деле означают эти два эпизода, которые беспрестанно повторяет телевидение? Они означают: «Испанцы, вы видите своими глазами, что сам король перед лицом Франко — такой же подданный, как вы. Запомните, испанцы: у короля Испании нет иной власти, кроме той, которую он принял от покойного каудильо, истинного своего отца. Монархия сегодня не возрождается, монархия сегодня вводится в Испании. Потому что мы этого хотели».

Тяжела сегодня королевская мантия на плечах испанского короля, ибо мантия эта — саван.

1975 г.

Перевод с французского Н. МАЛЫХИНОЙ

МАРТИН ЭМИС

ДЖОН ЛЕННОН: ОТ «БИТЛА» ДО «ДОМОХОЗЯЙКИ»

В ранней юности у меня был приятель, до умопомрачения похожий на Леннона — тот же изящно вылепленный нос, тот же клювообразный рот, те же тонкие веки, придающие взгляду надменность. Звали моего приятеля Барри.

Барри использовал весьма трудоемкий, но зато оригинальный метод обзаводиться подружками. Дни напролет он проводил за изучением рубрики «Друзья по переписке»

©. В. Горностаева. Перевод, 1999

МАРТИН ЭМИС (род. в 1949 г.) — английский писатель и журналист. Публикуемое эссе напечатано в газете «Обсервер» в 1980 году.

в журнале «Битлз мансли», производя скрупулезный отбор — он предпочитал девушек, живущих не дальше нескольких сотен ярдов от квартиры его родителей. Писал этим девушкам письма и вкладывал в конверт свою фотографию (для довершения сходства — в ленноновской кепке с козырьком, а позже — в круглых очках без оправы). Письма он подписывал «Барри Леннон», или же «Бадди Леннон»[1], смотря по настроению.

Джон и Йоко во время записи на студии в Нью-Йорке.

Часто, напялив пиджак со стоячим воротником и натянув сапоги со скошенными каблуками, я являлся на пирушки, устраиваемые Барри по принципу «парочка на парочку». Он называл себя то младшим братишкой Леннона, то его кузеном, а иногда придумывал и вовсе экзотическое родство вроде брата-подкидыша. И уж конечно, нет-нет да и представлялся самим Ленноном. Теперь, когда произошло то, что произошло, эта юношеская забава уже не кажется мне такой невинной.

Барри был большим знатоком по части «битлов». Он знал, что рост Джона пять футов одиннадцать дюймов (Пол и Джордж были того же роста, а коротышка Ринго — всего пять футов и восемь дюймов) и что одеваться Джон любил как можно проще. Знал сорт его любимых тянучек, а также привычки его жены и сына — как-никак тот был его, Барри, «родным племянником». Успех, которым Барри, несмотря на все его недостатки, пользовался у «друзей по переписке», поистине впечатлял. Наблюдая все это собственными глазами в качестве его дружка и мальчика на побегушках, я чувствовал, что девушки, даже самые доверчивые, видели Барри насквозь. Просто им, так же как и мне, не хотелось разрушать иллюзию близости к великому человеку.

Джон Леннон родился в 1940 году. Мы с Барри родились в сорок девятом, а потому «Битлз» и их музыка безраздельно властвовали над нашими юными сердцами. Мне было тринадцать, когда я впервые увидел их по телевизору в одной совершенно заурядной передаче, которую по обыкновению смотрел, придя домой из школы. Они пели «Love me do». Я тогда сразу понял, что эти ребята станут частью моей жизни. Вскоре после этого у меня с отцом вышел спор — он утверждал, что не пройдет и года, как о «Битлз» благополучно забудут. Когда же пришел срок платить проигранные пять шиллингов, он нехотя признался, что ему, пожалуй, все же нравятся одна-две их песенки. Моя мама к этому времени уже сходила по ним с ума. И все кругом тоже.

Поначалу «Битлз» воспринимали как безответственных и распущенных парней, этаких разрушителей «всего святого». И не мудрено — ведь это они ввели в моду длинные волосы. Но очень скоро, благодаря стараниям менеджера группы Брайена Эпстайна, «Битлз» стали любимцами не только «детей», но и «отцов». Волосатики из «Великолепной четверки» оказались на самом деле славными ребятами — и родители по всей стране вздохнули с облегчением. Вот только Джон оставался своенравным и непредсказуемым, чем портил Эпстайну всю картину. Но именно Леннон, и как личность, и как музыкант, олицетворял собой «Битлз».

Это он валял дурака перед камерой и изводил телеведущих. Это он сочинил или, уж во всяком случае, сделал популярной фразу: «Маленькие девочки должны вести себя тихо и непристойно». В своих интервью он то блистал остроумием, то, наоборот, нес полную чушь. Он опубликовал две книги бессмыслиц — *«In His Own Write»* и *«A Spaniard in the Works»*. Он напивался и затевал драки в ресторанах и ночных клубах.

Леннон и Маккартни как солисты и авторы песен завоевывали и делили между собой поклонников, а Джордж и Ринго были рядом с ними просто невинными овечками. Но в том, как вел себя Пол, было нечто суетливое и преувеличенно жизнерадостное: ему

---

[1] Buddy (*англ.*) – приятель, дружище. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

явно хотелось, чтобы его обожала не только ваша мама, но желательно еще и бабушка. Предпочитать Пола Джону было все равно что предпочитать Клиффа Ричарда Элвису Пресли или Донована Дилану. Лидером был Джон, и он был сам себе хозяин. Когда в конце 60-х, после выхода пластинок *«Rubber Soul»*, *«Sergeant Pepper»* и *«White Album»*, они оказались на самой вершине своей музыкальной славы, мне, как и миллионам других дотошных читателей прессы, посвященной рок-музыке, стало ясно, что дни «Битлз» сочтены. И все мы точно знали, что группу развалит именно Джон.

В старые добрые времена Барри напоминал мне Леннона. Но позже Леннон стал напоминать Барри — того Барри, на которого внезапно накатывал очередной бзик, Барри-фантазера, Барри-хамелеона. Теперь для бедняги настали трудные времена — попробуй угнаться за ошеломляющими метаморфозами, то и дело происходящими с Ленноном, идет ли речь о внешнем облике или же о целой философии. Сотворив «развеселые шестидесятые», Леннон стал богом-вседержителем для легковерных толп последующего десятилетия. Того самого десятилетия, конец которого совпал с его собственным.

Карьера Джона в начале 70-х смахивает на ленту телеграфного агентства с чередой избитых заголовков: Леннон возвращает орден Британской империи; встречается с Пьером Трюдо[1]; Джон и Йоко раздают листовки в защиту мира; общаются с Махариши[2], Тимоти Лири[3], с бесконечными гуру всех мастей. ЛСД, кокаин, героин; борода, черные круглые очки, как у слепого, стрижка-ежик, бритый череп с прядью волос; постельные забастовки протеста против того, этого, пятого, десятого... Пока в конце концов Леннон не «устал просыпаться на полосах газет». Он поддался депрессии и отгородился от жизни. Он стал настоящей «домохозяйкой» — пестовал сына и пек дома хлеб, в то время как Йоко сбивалась с ног, приобретая недвижимость. Их мечтой было скупить всю «Дакоту» — квартал особняков в Нью-Йорке, где происходило действие фильма «Ребенок Розмари». Оправдываясь, Йоко говорила: «Просто дело в том, что у Джона никогда не было своего дома».

После разрыва с «Битлз» музыка Леннона лишилась прежней мелодичности и гармонии, стала резкой и колючей. Порой, правда, появлялись вещи замечательные, волнующие; но чаще это было нечто, резавшее слух и походившее скорее на рекламные речевки. Он умер как раз в тот момент, когда его лирический дар, казалось бы, начал возрождаться.

В Америку Леннона привело не столько стремление к анонимности, пусть и относительной, сколько желание раствориться в многолюдном и лишенном классовых условностей Нью-Йорке. И убийство Джона было очень типичным для этого города — выстрел наугад, бессмысленный, но попавший в цель. Именно так и убивают, когда хлесткая фраза Уорхола[4] — «Каждый человек — звезда» — поселяется в мозгу у психопата, у какого-нибудь окончательно спятившего Барри.

Несть числа тем, кто, так же как и я, бесконечно крутил на проигрывателе пластинки «Битлз». Эти записи отмеряют время моей юности. Каждая их песня в мгновение ока переносит меня в особый уголок прошлого. Услышав о смерти Леннона, я испытал потрясение, не идущее ни в какое сравнение с тем, что я переживал, когда убили обоих Кеннеди и Лютера Кинга. Мне трудно справиться с этим горем. И я думаю о Барри, о мечтателе Барри, который однажды купил сразу две пластинки *«Strawberry Fields»* — на случай, если вдруг разобьет одну по дороге домой. Представляю, что чувствует он сегодня. Без Джона для нас обоих прошлое уже никогда не будет прежним.

1980 г.

Перевод с английского В. ГОРНОСТАЕВОЙ

---

[1] Пьер Трюдо (род. в 1919 г.) — премьер-министр Канады (1969—1979; 1980—1984).

[2] Махариши Махеш Йоги (род. в 1911 г.) — индуистский религиозный лидер, основоположник учения о трансцендентальной медитации.

[3] Тимоти Фрэнсис Лири (1929—1996) — американский психолог и писатель, пропагандировавший использование ЛСД и других психотропных препаратов.

[4] Энди Уорхол (1928—1987) — художник, кинорежиссер, основоположник и наиболее видный представитель поп-арта.

ЯН ЮЗЕФ ЩЕПАНЬСКИЙ

ЛОГИКА ТЕРРОРА

Теперь, когда миновал страх за жизнь Иоанна Павла II, можно не только облегченно вздохнуть, но и поискать объяснение драме, разыгравшейся на площади Святого Петра. Однако уравнение не решить, если исключить из рассмотрения второй его член — если не попытаться разгадать, чем руководствовался человек, стрелявший в Папу. Проще всего посчитать его безумцем. В поступке Мехмета Али Агджи, безусловно, есть элемент безумия. Но, хотя в основе многих — если не большинства — террористических актов и можно найти признаки некоего психического сдвига, усугубленного целым набором комплексов и обид, это отнюдь не означает, что ключ к истории покушения — в руке психиатра.

Мехмет Али Агджа заявил, что задумал убийство Иоанна Павла II в знак протеста против того, что творится в Афганистане и Сальвадоре. Объяснение это, на первый взгляд, подтверждает гипотезу безумия: казалось бы, что может объединять фигуру Папы с тамошними событиями? Однако, если глубже задуматься над этими странными ассоциациями, окажется, что они не лишены своеобразной логики.

Прежде всего нужно отличать безумие клиническое — врожденную либо приобретенную болезнь рассудка — от безумия индуцированного, то есть деформации мыслей и чувств под влиянием навязанной извне системы понятий. Вопреки выводам, напрашивающимся при наблюдении за этой системой в действии, ее предпосылки рационалистичны. Рационалистичны в том смысле, что их главный критерий — эффективность действия. Чтобы охарактеризовать менталитет, формируемый этой разновидностью рационализма, незачем искать идеологическую подоплеку. Политические экстремисты любых направлений — от крайне правых до крайне левых — применяют одну и ту же тактику, пользуются почти идентичным языком, а их отношению к миру, который они стремятся себе подчинить, свойственны одинаковая ненависть и одинаковый схематизм оценок. Человек XX века, хорошо знакомый с методами политической агитации и пропаганды, без труда обнаружит сходные черты в памфлетах, карикатурах, пасквилях и программных декларациях, с помощью которых экстремисты всех мастей атакуют существующую действительность. Мыслят они крайне упрощенно: всякие проявления общественной, политической, духовной и культурной жизни в их глазах сводятся к простой игре сил, диктуемой интересами антагонистических классовых, национальных или расовых групп. В такой картине мира нет места бескорыстным стремлениям, моральным принципам, объективным нормам добра и зла. Единственная ценность, оправдывающая любой способ действия, — успех.

Террор — прямое следствие такой точки зрения. Хаос, паралич запуганного общества должны подготовить почву для переворота. А поскольку единственной реальностью признается игра сил, а нравственность почитается лишь маской интересов истеблишмента и властных структур — по сути дела, неважно, каков будет объект террористического акта. Этим объектом могут стать пассажиры самолета, женщины, дети, старики в привокзальном зале ожидания, случайные посетители кафе. Человек как отдельное существо в расчет не берется. Люди — всего-навсего масса, подвергающаяся технической обработке. Если же выбор падает на конкретную личность, то лишь потому, что ей приписывается символическое значение. Это ничуть не противоречит принципиальной деперсонификации, отличающей отношение террориста к роду человеческому. Степень абстрактности сохраняется.

Для политики насилия с ее крайним рационализмом сакральность человеческой жизни — фикция. Как понятие метафизическое она вообще не принимается во внима-

© К. Старосельская. Перевод, 1999

ЯН ЮЗЕФ ЩЕПАНЬСКИЙ (род. в 1916 г.) — польский писатель, эссеист. Публикуемое эссе взято из сборника Я. Ю. Щепаньского «Все мы ищем» (1998).

ние. Учитывается лишь «практическое» значение личности — ее положение в обществе и место в политике. Удар по отдельному человеку становится ударом по «враждебным силам», которые, по мнению воинствующих экстремистов, управляют миром. Заговорщицкая теория истории объясняет механизмы любых исторических процессов заговорами могущественных мафий с единственной целью — захвата власти. Колоссальное упрощение и редукция понятий ведут к окончательному разладу рационализма с эмпирикой. Над миром нависает опасность мифологизации. Появляются зловещие Темные Силы: жидокоммуна, масоны, паписты, финансовые магнаты и иные жупелы подобного рода, готовые — невзирая даже на взаимную враждебность — сплотиться для борьбы с радикальными идеологиями.

Абсурдное на первый взгляд заявление Мехмета Али Агджи укладывается в схему такого демонизированного представления о мире. Быть может, в нем слышны отголоски устарелого постулата о «союзе церкви и тронов». Так или иначе, покушение на Иоанна Павла II не было продиктовано личной ненавистью террориста. Можно с большой долей вероятности предположить, что Мехмета Али Агджу нисколько не интересовали человеческие качества Кароля Войтылы. Речь шла о низвержении символа — положение и авторитет мишени были столь высоки, что их можно было посчитать синонимами власти над миром. А это означало, что пуля убийцы попадет в самое сердце «злых демонов» и «враждебных сил», осуществив символический акт наказания за Афганистан и Сальвадор вкупе со всеми страданиями человечества.

Логика безумная. Но это и есть логика террора.

Возможно, несостоявшийся убийца Папы — всего лишь платный убийца. То, что о нем известно, как будто противоречит такой гипотезе. Однако он, вне всяких сомнений, профессионал, то есть человек, действующий не под влиянием импульса, а выполняющий четко поставленную задачу, — эмиссар неких сил, послушный законам своего деперсонифицированного мира. Но прозвучавшие перед базиликой выстрелы на всю жизнь связали Мехмета Али Агджу с особой, которая если и является символом, то прежде всего — символом высочайших человеческих ценностей. Прощение, полученное Агджой, не политический акт и не пропаганда. Сможет ли этот жест братской любви поколебать логику террора? Сейчас, когда Папа оправляется от ранения, подумаем о террористе — о молодом человеке с лицом, искаженным гримасой презрения. Подумаем и о нем.

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

ВИДИА С. НАЙПОЛ

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

I. ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

Тегеран, встретивший меня в августе семьдесят девятого, спустя семь месяцев после Революции, показался мне порождением чьей-то разгулявшейся фантазии. Современная столица, жизнь которой замерла как по мановению волшебной палочки: реклама на каждом углу еще расхваливает заморские товары, а товаров уже нет как нет (вместо «Жареных цыплят из Кентукки» — суровое «Наши жареные цыплята», лицо бравого американского полковника на вывеске наспех замазано, поверх него намалевано другое). Среди недостроенных многоэтажек скелеты застывших кранов, в пустых ресторанах скверная еда. В обеденном зале отеля «Ройал Хилтон» — Хилтон пока еще значится

© 1997 by V. S. Naipaul
© О. Варшавер. Перевод, 1999

ВИДИА С. НАЙПОЛ (род. в 1932 г.) — тринидадский писатель. Публикуемые фрагменты взяты из статьи, напечатанной в журнале «Нью-Йоркер» в 1997 году.

на меню, счетах и на всей ресторанной утвари — жалкая горстка посетителей, зато скатерти сияют безупречной белизной; на столе блюдо с коричневой жижей, в которой плавают куски резиновой осетрины; по углам, с видом отверженных гениев, перешептываются угрюмые официанты в строгих бабочках. На всем неумолимая печать упадка, но за окном слышится гул несметной толпы: пятница — молитвенный день, и люди спешат к зданию Тегеранского университета. Их так много, что земля гудит от их шагов, как море, и пыль висит над головами, не оседая; сегодня вся страна слушает в прямом эфире знаменитых проповедников, и «стражи Революции»[1] — чья партизанская экипировка зеленеет горделивым символом веры — гоняют по улицам в новеньких японских фургончиках, утверждая свою власть над городом.

В теперешний свой приезд я остановился в отеле «Хайатт», который, строго говоря, был уже не совсем «Хайатт», а бывший «Хайатт», ныне «Гранд-отель Азади». «Азади» — значит «свобода». Все пятизвездочные отели уже были национализированы, переименованы и переданы в ведение Фонда Угнетенных (названного так в пику Фонду шаха Пехлеви[2]). Но среди тегеранцев еще бытовало старое название, «Хайатт». Отель стоял на краю города, в его северной гористой части.

Широкая гладь мраморного пола выглядела вполне благопристойно, и за столом в фойе, как и положено в приличном отеле, в три часа ночи дежурил портье. Однако ковер в лифте оказался довольно замызганным, и края у него топорщились; позолота на дверях лифта — остатки прежней роскоши — местами содралась, местами стерлась, и стало понятно, что золото было внешним, наносным, как ламинированный слой на кредитной карточке. Все работники отеля были без галстуков — тоже веяние Революции; отложные воротнички под лацканами форменных курток неряшливо замялись и в полутьме смахивали на средневековые плоеные воротники, несколько пожухлые от времени. Из служителей одни были небриты — по мусульманскому обычаю, другие, наоборот, до блеска выбриты, но немыты. В этом виделся уже социальный вызов, сплетение, как и во всем здесь, религии и политики — двух составляющих Революции.

У входа в кафе висел плакат в рамке, на котором была изображена закутанная в чадру женщина. Мердад, студент университета, мой гид и переводчик, перевел мне надпись на плакате так: «Это портрет непорочной женщины». Тот же плакат мы видели потом во многих общественных местах Тегерана.

И еще одна тема неотступно преследовала нас всюду, куда бы мы ни пошли: восьмилетняя война с Ираком. Война закончилась недавно, но в ней уже начали проступать черты былинности, будто все это случилось лет сто назад. Мердад, когда речь впервые зашла о войне, высказался как-то уж очень странно: «Это война, которая была напрасной». Я спросил его, что он теперь о ней думает, и он ответил: «Ничего». Вряд ли он хотел так сказать. Скорее, пытался выразить свою невыразимую боль.

Сестре Мердада было чуть за тридцать. Девушка образованная и довольно мило-

---

[1] Корпус «стражей Исламской революции» был создан для охраны ее завоеваний.
[2] Пехлеви — монархическая династия в Иране в 1925—1979 годах.

видная, но незамужняя — после войны мужчин на всех не хватало, — она работала в каком-то издательстве. Это считалось редким везением: как правило, незамужние женщины в революционном Иране не имели возможности заниматься сколько-нибудь самостоятельным делом, да и вообще выходить из дому. Возвращаясь с работы, сестра Мердада тоже сидела дома, по большей части у себя в комнате. Мердад жаловался, что у нее испортился характер: она то гневалась, то капризничала, то заливалась слезами; мать просто не знала, что с ней делать.

Отец Мердада до Революции служил в банке. В семьдесят девятом все банки были национализированы, и он потерял работу. Тогда он наскреб денег сколько смог и открыл маленький галантерейный магазинчик; этот-то магазинчик и кормил всю семью. Вспоминая далекие уже времена, когда ему было восемь, Мердад говорил, что в начале Революции чаще всего звучал клич коммунистов: «Нун, Кар, Азади!» — «Хлеб, Работа, Свобода», но уже через год он оказался переиначенным: «Хлеб, Работа, Исламская республика». Теперь на все случаи жизни имелись религиозные правила, за соблюдением которых строго следили «стражи Исламской революции». За эти годы сами «стражи» заметно изменились: их бороды и партизанская экипировка символизировали теперь власть, а не мятежный дух. Как-то под вечер Мердад повел меня в парк неподалеку от «Хайатта». В сумерках юноши и девушки приходили сюда, чтобы глазеть друг на друга и знакомиться, а «стражи» — чтобы подсматривать за ними и ловить нарушителей с поличным. Девушки, закутанные в черное с головы до ног, мелькали между деревьями небольшими стайками. Их черные чадры и одежды, видные издалека, маячили в зелени парка удивительным, зазывным символом женственности. Девушки — некоторые из них уже не девушки — выглядели заметно увядшими, «потому что мужчин после войны поубавилось», сказал Мердад. Он наверняка думал о своей сестре, замурованной в четырех стенах.

В одном конце парка по обеим сторонам широкой лестницы стояли бюсты вождей мусульманского Ирана, поразительно похожие друг на друга: своего рода советское искусство для парка культуры, порожденное мусульманской революцией.

Как когда-то в коммунистических странах выхолощенные газеты печатали лишь новости о других коммунистических странах, точно так же в англоязычной тегеранской «Таймс» освещались в основном «вести мусульманского мира». Между ними время от времени попадались события местного значения, как то: суд над тремя террористами из организации «Муджахиддин-э-Хальк», дефицит запчастей в нефтяной промышленности из-за торгового эмбарго США, падение валютного курса.

Разумеется — и это ни для кого не было секретом, — тут не обходилось без цензуры. Особой суровостью отличалась цензура книжная. Книги подвергались досмотру не в рукописи, не в верстке, а после выхода всего тиража. Это заставляло авторов воспитывать в себе внутреннего цензора, бдительного и пристрастного. Но как тут ни изворачивайся, как ни пытайся обойти все препоны и рогатки, все равно любой мог попасть впросак. Скажем, музыка — дозволительна она или нет? На сей счет мнения расходились. А шахматы — вдруг это азартная игра, и на нее следует наложить табу? Но наконец аятолла Хомейни объявил, что в шахматы играть дозволяется, и его слово стало законом.

Лифты с облезлой позолотой на дверях без конца барахлили. Иногда после ремонта они вдруг начинали с грохотом и скрипом ездить вверх-вниз по шахте, вовсе не останавливаясь на этажах. Кондиционер у меня в комнате сломался. «Хараб», — сказал портье, что означало: не работает, и все. Я хотел было настоять, чтобы кондиционер починили, но вмешался Мердад. Он вытребовал для меня комнату с видом на горы, на северной стороне, куда не попадало послеполуденное солнце.

Теперь в ясные дни я видел из окна, как легкие тени от облаков скользят по голым бурым склонам, сдвигая и раздвигая хребты, углубляя ущелья, меняя очертания отрогов. В пасмурную погоду горы выстраивались рядами, как декорации, постепенно бледнея в глубине сцены. На тусклом их фоне пологие желто-бурые холмы на переднем плане словно придвигались еще ближе и делались четче и рельефнее. Трава, то ли скошенная, то ли выжженная солнцем, иногда начинала неожиданно мягко золотиться на их склонах. Деревья доходили только до подножий, выше зелень резко обрывалась. Некоторые из самых ближних холмов выглядели неестественно плоскими: видимо, их специально разравнивали под стройплощадки.

Арашу было двадцать семь лет. Последние четыре года войны он провел на фронте, из них первые два — когда ему было шестнадцать и семнадцать — добровольцем, а потом еще два по призыву. Теперь он работал таксистом, но не в агентстве, что давало бы ему известную устойчивость положения, а сам по себе: садился в свою машину и за небольшую плату возил пассажиров по маршрутам городских автобусов. Что-то вроде маршрутного такси, но, по всей видимости, без лицензии.

Мы сидели за столиком у окна. В кафе, куда мы с ним пришли, — стеклянном павильончике на многолюдной, обсаженной платанами улочке в северной части города, — преобладала обеспеченная публика. Платан — по-здешнему, чинар — считается на Востоке красивейшим и целебнейшим деревом (в Кашмире даже его тени приписывают целебные свойства). Натуралистические изображения чинара во множестве представлены в старинной живописи персов и Великих Моголов.

Была середина дня, и в кафе сидели в основном замужние женщины в чадрах. От укутанных в черное фигур и даже от столиков, заставленных чаем, мороженым и шербетами, веяло чем-то неуловимо изысканным: будто извечное стремление женщин к изяществу и красоте не желало больше томиться под гнетом и упрямо рвалось наружу. В сегодняшнем Иране оно воспринималось как своего рода бунт.

Записавшись в 1984 году в добровольцы, Араш перешел в разряд полувоенных — так называемых «басиджи». Отличительным знаком басиджи были головные повязки разных цветов — красные, зеленые, белые или черные. В иранских и зарубежных телепередачах чаще всего мелькали красные: красный — цвет крови, веры и самопожертвования.

В свою бытность басиджи Араш участвовал в одиннадцати наступлениях. Семь из них застали его на передовой. В начале войны еще соблюдался старинный мусульманский обычай: перед каждым наступлением на передовую приезжал певец, чтобы своим искусством разжечь боевой пыл солдат. В такт песнопениям солдаты били себя в грудь кулаком, а то и двумя — когда положение на фронте становилось особенно серьезным. Иногда приезжали настоящие знаменитости — певцы, прославленные на весь Иран. Накануне одного из наступлений, четвертого или пятого, в часть, где служил Араш, тоже приезжал знаменитый певец.

Если профессиональный исполнитель не мог добраться до передовой, его заменял кто-нибудь из солдат. Тут главное, чтобы голос певца звучал как можно тоскливее и монотоннее. Тексты, как правило, брались не из Корана, а из молитвенных песен, которые всем были хорошо знакомы благодаря знаменитым исполнителям.

— В любой школе есть мальчики, которые знают эти печальные песни, — сказал мне Мердад. — Так что всегда найдется, кому петь. (В тот же вечер, помогая мне разобраться с записями, Мердад продемонстрировал, что значит бить себя кулаками в грудь. Не прошло и полминуты, как от его монотонного гипнотического стука просторная комната отеля показалась мне нестерпимо тесной.)

Обряд длился обычно часа два. Знаменитого певца, о котором рассказывал Араш, хватило на целых шесть часов: у него было больше силы в легких и больше выносливости, чем у остальных.

Песнопения настраивали солдат на мысли о смерти и мученичестве, о том, что скоро они попадут в рай и обретут свободу. После обряда все затихало на полчаса-час, иногда даже на полтора. Потом, как правило в половине третьего ночи, начиналось наступление. В промежутке между окончанием обряда и началом наступления солдаты писали письма и завещания, чинили ботинки, меняли нижнее белье.

— Перед наступлением многие совершали обряд омовения, — сказал Мердад. — Наступление — деяние священное, и перед ним следует вымыться и привести себя в порядок. Ведь для любого солдата наступление могло закончиться мученичеством, и каждый хотел предстать перед Богом чистым, в чистых одеждах.

Прослужив два года добровольцем-басиджи, Араш вернулся домой, но почти сразу же был призван в армию. После двух месяцев обучения он снова попал на передовую.

Я спросил Араша:

— Если тебя все равно должны были призвать на службу, зачем же ты пошел в басиджи?

— Я поступил так же, как мои друзья — каждый четвертый из моих сверстников. В нас вложили эту мысль.

— Кто?

— Радио, телевидение, агитаторы, кричавшие возле мечетей, журналы, газеты — все.

Ему внушили, что он борется, во-первых, за Ислам, а во-вторых, за свою страну и семью.

— Слово, которое он употребил, — объяснил мне потом Мердад, — очень сильное слово: «намус». Оно означает стремление мужчины защитить женщин своей семьи. Но оно же применимо, когда мужчина говорит о своей родине — или о своем оружии.

Вот забавная история, известная еще со времен Реза-шаха — отца последнего шаха. Однажды, проверяя готовность войск, Реза-шах указал на ружье одного из солдат и спросил: «Что это у тебя в руке?» «Ружье», — ответил солдат. Реза-шах очень рассердился. «Акбар, — сказал он, — это не ружье. Это твой намус. Это твоя мать, твоя жена, дочь. Ты должен беречь и защищать свой намус». Потом Реза-шах прошел дальше вдоль строя и остановился около Ахмеда — турка из северного Ирана (иранцы любят рассказывать анекдоты про своих турок). Указав на ружье Ахмеда, шах спросил: «Что это?» «Это намус Акбара, — ответил Ахмед. — Это его жена, мать и дочь».

Когда, отслужив баси́джи, Араш был призван в армию и прошел двухмесячную подготовку, его отобрали для службы в особом десантно-диверсионном полку. Он должен был самостоятельно добраться до линии поддержки, в двенадцати милях от передовой. Не успев к ночи подняться на вершину холма, где находилось указанное ему «место сбора», он уснул под открытым небом и проспал чуть не до полудня. Проснувшись, он начал карабкаться дальше, но в этот момент снаряд выбил скалу у него из-под ног, и ударная волна отбросила его метров на десять. На следующий день он очнулся в полевом госпитале. К его руке тянулись трубки от нескольких капельниц, вся левая сторона тела отнялась.

Сейчас мы сидели в уютной нише у окна; за окном проносились машины, женщины в чадрах за соседними столиками ели мороженое и пили чай. Со дня его ранения прошло девять с половиной лет, и все же он осторожно, словно прислушиваясь, провел ладонью по левому бедру и сказал:

— До сих пор чувствуется.

После ранения он провалялся в госпитале семнадцать дней, однако домой в Тегеран его так и не отпустили. Он говорил, что баси́джи имеют право вернуться домой в любой момент. Но его никто не слушал, и из госпиталя ему пришлось возвращаться к тому же «месту сбора».

Потом Араш припомнил один довольно интересный случай. Однажды, когда его рота несколько дней подряд стояла прямо против позиций противника, он заметил, как на иракской стороне что-то блеснуло и исчезло. Солнечный зайчик от часов, подумал он. Через некоторое время зайчик появился вновь, и он догадался, что это не случайно. Поймав луч солнца на часы, он посветил на ту сторону — и тут же получил ответ. Так они перемигивались довольно долго. В последующие дни они продолжали начатую игру, но вместо часов стали использовать бинокли.

Все это подозрительно смахивало на рассказы о братаниях между солдатами западных держав во время первой мировой. Но Араш не мог об этом знать. Его история говорила об огромной усталости, которая накопилась с обеих сторон к концу войны. Сам он, впрочем, не высказывал подобной мысли. Он вообще не высказывал никаких мыслей, просто вспомнил один из бесчисленных военных эпизодов: чего только на войне не бывает.

Когда срок его обязательной военной службы истек, он добровольно остался в части еще на четыре месяца. В армии у него появилось много друзей; дождавшись, когда один из них дослужил, он тоже демобилизовался и вместе с другом поехал в Ширáз. В первую ночь им пришлось ночевать в парке. Проснувшись, они узнали, что умер аятолла Хомейни. Араш воспринял это как поистине черную весть.

Послевоенный Тегеран его разочаровал.

— Кругом свадьбы, одна за другой. Двое моих друзей только что приняли мучени-

чество. А тут, в Тегеране, на той же самой улице, по которой шли их похороны, — свадьба. На фронте был Ислам, и была война. А в Тегеране — моды, музыка, и по Голосу Америки слушатели-иранцы просят почаще крутить новые записи. В Тегеране никому и дела нет до войны.

Хуже того, выяснилось, что баси́джи пользуются в столице дурной славой, потому что преследуют людей за нарушение мусульманских заповедей и занимаются вымогательством денег.

— Они считают себя обделенными и думают, что во всем виноваты богачи, — заметил Мердад. — Поэтому иногда они ведут себя агрессивно.

Араш говорил с нами как будто вполне открыто, но все же в его словах чего-то не хватало. Он говорил о войне — но на этой войне как бы не было смерти. Он рассказал нам, как его ранило осколком снаряда, как по минным полям прогоняли овец, чтобы взрывать мины, — и больше ничего. Когда мы задали ему вопрос о батальонах мучеников, он сказал только, что во время наступления мученики шли первыми, за ними — обычные армейские батальоны, за ними — батальоны поддержки. Он готов был говорить о войне, но он не хотел говорить о смерти.

Позже, когда мы уже в сумерках вышли из кафе и вернулись в машину, я спросил его напрямик:

— Многих убивало на твоих глазах?

Он явно не хотел отвечать, но, помедлив, все же сказал:

— Когда полк шел в наступление, нас было четырнадцать сотен. Назад вернулись только четыреста.

— И что ты думаешь об этом теперь?

— Мне все равно. — Нечто подобное я уже слышал раньше от Мердада. Но это «все равно» Араша, как и «ничего» Мердада, видимо, означало только одно: их боль невыразима.

— По-моему, ты человек одинокий.

— Мне нравится быть одному, — сказал он и, помолчав, добавил: — Все думали, теперь настанет век справедливости, как при Али. Оказалось, зря надеялись.

Али, двоюродный брат и зять великого Пророка и четвертый исламский халиф, прославился мудростью своих суждений. В 661 году он был убит по дороге в мечеть — с того времени и по сей день шииты свято чтят его память.

— Так ты думаешь, высшая справедливость — как при Али — еще возможна в этом мире? — спросил я.

— Нет. Конечно нет. Она и тогда была не очень возможна. Али был великий человек, и очень скоро у него появилось много врагов. Это ему мешало. В жизни всегда так бывает.

Араш постиг эту истину, еще когда ему было двадцать лет.

Однажды утром я заказал себе завтрак, и горничная, толстая нагловатая девица с немытым лоснящимся лицом, внесла его в мой номер. На ней было надето так много всего — в том числе наверняка и синтетики, — что запах пота бил в нос за несколько шагов. Завтрак состоял из персидского сыра (произведенного в Дании) на ломтике жареного хлеба, половинки давно увядшей красновато-синюшной луковицы и тоскливо распластанного на тарелке салатного листа, тоже явно не первой свежести. Вид дохлой луковицы и салатного листа напомнил о близости тифа и отогнал аппетит, лишь тепловатый «Нескафе» оказался более или менее сносным, но пакетика хватило только на одну чашку. Скоро та же горничная зашла за подносом и удалилась, угрожающе покачивая бедрами в благочестивых одеждах. А еще через несколько минут она заглянула в третий раз — узнать, не застелить ли постель. На сей раз она жевала жареный хлеб, вероятно из моего завтрака. Ее рот со всем содержимым, в отличие от остальных частей тела, был виден до мельчайших подробностей.

В тот же день после обеда, когда я работал у себя в номере, из прачечной принесли мое белье. Рубашки были выстираны и уложены в отдельные целлофановые пакеты, все остальное вернулось в красивой картонной коробке. Эта коробка, оклеенная со всех сторон фирменной бумагой с названием отеля, меня несколько озадачила. По моим поня-

тиям, она как будто выпадала из общего аскетического тона отеля и Фонда угнетенных. Однако, открыв крышку, я увидел свое нестиранное белье ровно в том виде, в каком передал его утром в прачечную. Я позвонил портье; тот прислал ко мне приемщика из прачечной. Приемщик был явно смущен. Забрав мои вещи, он принес их обратно до смешного быстро. Теплые от утюга (хотя, скорее всего, так и не выстиранные), они лежали в новых целлофановых пакетах.

Спустившись в холл, я обнаружил, что со стены над большими электронными часами исчезла надпись «Долой США». От угловатых уродливых букв, провисевших пятнадцать лет, на стене остались лишь бледные отпечатки да дырки от шурупов. В этом мне почудился некий высший исторический смысл, как бы предвестие грядущих перемен. Однако на следующий день над часами появились новые буквы — на сей раз персидские, — более округлые и внушительные. Судя по всему, они повторяли прежний призыв, только гораздо увереннее.

Солнце и бегущие облака кроили и перекраивали горы к северу от Тегерана, высвечивая то новое ущельице, то неожиданно выросший над ним хребет; за знакомыми вершинами обнаруживались еще вершины, за ними — бурые скалы, обтесанные снегами и ветрами. Иногда облако, искромсанное каким-нибудь острым гребнем, сползало в низину и заполняло собой все ее извилины и теснины, точно снег.

II. СОЛОНЧАКИ

Али, шестидесятилетний иранец (его имя, как и некоторые другие, изменено), сколотил себе состояние на нефтеразработках еще при последнем шахе. Примерно в начале семидесятых, накануне великого нефтяного бума, Али здорово повезло (правда, к везению пришлось приложить трезвый расчет и кое-какие деньги): он приобрел большой участок солончаковых земель на юге страны. Он покупал землю меньше чем по полтумана за квадратный фут (туман равен десяти риалам, что в ту пору составляло примерно тринадцать центов США). А через три или четыре года, когда великий бум уже начался и Иран стал быстро развиваться, он продал часть своей земли под строительство по цене больше тысячи туманов за квадратный фут. Таким образом (приятно иногда пожонглировать фантастическими цифрами), первоначальное вложение, равное каким-нибудь десяти тысячам долларов, выросло за три-четыре года в солидный капиталец — почти четыре миллиона.

Большинство людей на том бы и успокоилось. Но не таков Али. Он сделался сторонником Революции.

— Теперь у нас были деньги, было устойчивое финансовое положение, но не было свободы, — рассказывал он. — А нам так нужна была свобода.

В шестидесятые годы, обучаясь в одном заграничном университете, он увлекся политикой и вскоре стал стыдиться того, что он выходец из несвободной страны. Это чувство стыда не оставляло его ни на минуту. И, когда в Иране началась наконец Революция, Али — через одного своего друга, аятоллу, — немедленно начал оказывать ей моральную и материальную поддержку.

К пониманию Революции Али пришел в основном через чтение книг, особенно исторических. Однако известную роль сыграла и религия.

— Мы верили, что Революция зиждется на законах природы и законах небес, — сказал он, и эти его «законы небес» прозвучали очень похоже на «высшую справедливость», о которой говорил Араш.

В подготовке Революции сплелось столько разных идей и мотивов, что, как только она пришла, за кажущимся единением ее творцов начали проступать бесчисленные противоречия. В борьбе этих противоречий Али изрядно пострадал: с ним, как и со всеми богачами, Революция обошлась круто.

Он был строен и невысок, с правильными персидскими чертами — с виду ничего примечательного, но эта слишком явная непримечательность могла быть и напускной. Его истинная внутренняя сила проступала при общении не сразу. К примеру, стройность его казалась на первый взгляд дарованной от природы, и лишь позже выяснялось, что

она — результат регулярных физических упражнений. Все эти годы его поддерживала работа, дело, которое он делал, и упорное, почти яростное стремление выжить. На его жену удары судьбы наложили более суровый отпечаток. Волосы ее сильно поредели, и хотя она еще сохраняла известную привлекательность, все же в ее чертах навсегда запечатлелась глубокая, неизбывная скорбь.

Некоторые из знакомых Али стали противниками Революции в первый же месяц. У Али этот переход занял больше времени. Но когда начались расправы, серьезные сомнения закрались и в его душу. Людей хватали и бросали в тюрьмы без всякой вины; многие больше не возвращались.

— Потом они начали врываться в дома и конфисковывать все подряд. Мы не могли спокойно спать, мы боялись за свое имущество, за детей, жен. — В словах Али мне явственно слышалось понятие, о котором уже говорил Мердад: намус.

Революционный суд — или так называемый Суд Исламской справедливости — начал заседать спустя месяц после Революции. Второй человек в этом суде был близким другом Али, и Али каждый день ходил на заседания в надежде спасти хоть кого-то из своих знакомых.

— Заседания продолжались почти круглосуточно. Распоряжался в суде Халхали. — Речь шла об аятолле Халхали, главном судье и палаче при Хомейни. — Он превратил суд в орудие своей расправы. Суд находился на улице доктора Шариати, до Революции в том же здании располагался военный трибунал. Когда-то шах воздвиг его, чтобы судить своих врагов. Теперь в нем судили самих строителей — то есть бывших сподвижников шаха.

По словам Али, партия туде — коммунистическая — сразу же проникла в новую систему правления на всех уровнях. По пятницам коммунисты даже являлись в мечеть на общие молитвы, словно бахвалясь своей богопослушностью. По сути, уже в самом начале Революции они перешли на службу к Хомейни. Им не нужна была исполнительная власть: они вполне довольствовались ролью советников. Но именно они стояли за национализацией банков, страховых компаний, заводов. Они вносили в правление Хомейни просоветские мотивы и придавали ему должную весомость и официальность.

Жизнь Али сильно осложнилась. Работать стало невозможно. Новые чиновники воспринимали его враждебно, как часть старого режима. Некоторые из подчиненных развернули против него агитацию, двое-трое периодически проникали в его рабочий кабинет и учиняли настоящие допросы. Приходилось от них откупаться. А в конце первого года Революции его похитили.

— Я находился на одном из объектов — мы строили жилые дома. Они, трое или четверо, приехали на машине и попросили помочь им разобраться в каком-то строительном проекте. Я подсел к ним в машину, и меня увезли. Проехав миль десять, они остановились посреди пустыни и вытолкнули меня из машины возле какой-то лачуги — вероятно, пастушеского домика. Там они начали допрашивать меня, как на суде. Совсем молодые ребята. Насмотрелись боевиков и вот — дорвались до оружия.

Оружие было шахское. Когда его армия развалилась — а это произошло почти в одночасье, — многие кинулись в старые арсеналы за оружием. По словам Али, в первые четыре месяца Революции автоматами был завален весь университет, и они свободно выдавались всякому, кто предъявлял любое мало-мальски сносное удостоверение личности.

Он решил тогда держать ухо востро и в первую очередь выяснить, кто стоит за этими молокососами. Может, они действуют одни, на свой страх и риск? Но вдруг у них четыре тысячи сообщников, которые собираются требовать с него выкуп? Разговор в пастушьем домике посреди пустыни длился десять часов. Наконец Али было объявлено, что его отпустят, но за это ему придется заплатить. Он не хотел платить слишком много, чтобы не потворствовать вымогательству, и назвал совсем маленькую сумму. Похитители пришли в ярость. Они грозили убить его, грозили взорвать здание его компании. Но он наотрез отказался набавлять цену.

— Я был очень тверд, — сказал он мне.

В конце концов его отпустили. Но после этого похищения жизнь его еще больше осложнилась. В Тегеране проживало пять миллионов человек, и как минимум четыре из

этих пяти, казалось, готовы были ворваться к нему с оружием и требовать денег. Местные власти предъявляли ему бесчисленные претензии. В начале второго года Революции его донимали все кому не лень: правительство, коммунисты из правительства, простые агитаторы. После того первого случая его похищали еще три или четыре раза.

К тому же над душой все время стояли вездесущие «стражи Революции». Они проникали в сад и заглядывали в окна, проверяя, не смотрит ли кто видео или спутниковое телевидение, иногда даже врывались в дом и учиняли обыск. Они охотились за запрещенными вещами, а к ним теперь относилось и спиртное, и ветчина, и женские платья, и мужские галстуки.

— Если кто был опрятно одет, это им тоже не нравилось. Таких они просто избивали. Что-то вроде полпотовского режима, хотя до крайностей не доходило. Может, всего процентов десять от того, что было в Камбодже, — но все равно вся наша жизнь перевернулась с ног на голову. Воистину революция.

— То есть?

— Правительство упустило бразды правления, и страна целиком вышла из-под контроля. Начались анархия и террор. Впрочем, Хомейни сам все это устроил. Месяца через три после Революции мой друг, аятолла, повез меня к Хомейни домой. Он еще раньше упоминал в разговорах с Хомейни, что я технарь, прогрессивный и грамотный, и могу помочь в решении жилищной проблемы. И вот, когда мы втроем — я, мой друг аятолла и сам хозяин — сидели на полу в доме Хомейни, дверь отворилась и вошли муллы, сразу несколько человек. Хомейни начал с ними беседовать. Потом к ним присоединились еще муллы, потом еще, и так продолжалось до тех пор, пока вся комната не заполнилась муллами. Их было не меньше двухсот, и всем им нужны были деньги для правоверных мусульман из их сел и городов и для вверенных им религиозных организаций. Хомейни возразил, что на всех у него денег не хватит, а потом сказал:

— Возвращайтесь по домам. И заставьте первого встречного богача, фабриканта или крупного фермера дать вам денег.

Эти слова в устах главы государства поразили Али. Он вдруг ясно увидел, что Хомейни ведет свой народ к хаосу и беззаконию.

В комнате вместе с нами сидел юрист, друг Али, вошедший во время разговора.

Он сказал:

— У Хомейни было очень своеобразное понимание законности. Он очень хорошо знал свой народ и понимал, что нужно большинству. Большинство было неграмотно. Им нужны были деньги и вещи, а не Революция. Они хотели денег, и Хомейни это понимал.

— Да, большинство хотело грабить, — подтвердил Али.

— Вот он и привел страну к анархии и дал им возможность грабить. Он выполнил волю большинства.

— Когда Хомейни говорил: «Следуйте закону», это не был закон страны, — продолжал Али. — Это был его собственный закон, закон Хомейни, ведущий к полному хаосу. В тот день у него в доме я понял, что этот человек — не правитель. Он был и остался революционером, и с этим ничего нельзя было поделать. До самого последнего дня он творил в стране беспорядки. — Помолчав немного, он добавил: — Он во всем полагался на инстинкт. Он был умен, как зверь, послушный одним инстинктам. Это и помогало ему сохранять власть над людьми. Его ум был неподвластен образованию, как и душа была неподвластна чувствам. Он всегда оставался невозмутимым.

Во время нашей следующей беседы в памяти Али всплыли еще кое-какие подробности той давней встречи с Хомейни спустя три месяца после Революции. Двести мулл пришли к Хомейни, чтобы просить у него денег, и он велел им возвращаться домой и взять деньги у первого встречного богача. Большинство, видимо, вполне этим удовольствовалось. Но тут — совсем как в арабских сказках про тысячу и одну ночь — один мулла сказал:

— А у нас дома все бедняки. В целом городе нет ни одного богача.

Хомейни, словно в задумчивости, дотронулся до рукава Али, и на какой-то миг — достаточно длинный и мучительный, чтобы не забыть его и через семнадцать лет, — Али показалось, что сейчас его принесут в жертву этому бедному мулле.

А пятнадцать месяцев спустя и впрямь приключилось нечто подобное. Али был арестован местным революционным судом. Против него был выдвинут целый список обвинений: пособничество монархическому режиму, захват обширных земель, принадлежавших народу, вывоз миллиардов американских долларов за границу, попытка государственного переворота, руководство контрреволюционной организацией. В этих обвинениях не было ничего конкретного, это были обычные, стандартные обвинения, какие выдвигались тогда против многих.

— Все их революционные суды для того и создавались, чтобы судить таких, как я, «богачей», — сказал Али. — «Стражи» Революции — сплошь желторотые юнцы — набирались в основном по глухим деревням; их легко было узнать по выговору. Они были счастливы, что наконец-то дорвались до оружия. Многие из них потом погибли на войне. Вообще среди революционеров было, вероятно, процентов сорок из муджахиддинов и шестьдесят — из мусульманских группировок. Муджахиддины — марксисты — проникли в революционные суды с самого начала. Но они ничем себя не выдавали и делали вид, что они такие же мусульмане, как и остальные.

Али продержали в заключении шесть месяцев. Революционной тюрьмой служил старый, разделенный перегородками фабричный склад. Тут было отгорожено несколько одиночек, две общие камеры для уголовников — в основном воров и челноков, которые возили наркотики через границу, — и большая камера для политических заключенных. Среди политических были члены партии туде (несмотря на то, что руководство партии в то время еще сотрудничало с правительством), члены муджахиддинских группировок (хотя муджахиддины тоже еще не начали воевать с правительством) и крайние маоисты. Словом, правительство начало потихоньку избавляться от левых.

— Когда кого-нибудь должны были казнить, мы обычно узнавали об этом накануне. Вечером мы пораньше гасили свет и притворялись спящими. Около полуночи в тюремном саду включали прожектора, и мы, без ведома охранников, издали наблюдали за тем, как приговор приводится в исполнение. Приговор выносил местный мулла — он вершил высший революционный суд и объявлял, что ждет узников: конфискация, заключение, смертная казнь.

Наконец был объявлен суд над Али. На суд приглашались все, кто мог выдвинуть против него любые мыслимые обвинения и предъявить любые обличительные документы. Всего по делу состоялось семь заседаний, после чего оно было прекращено.

Мулла, исполнявший роль судьи, сказал:

— Я сам не революционер. Я вершил эту Революцию ради победы Ислама. Но между Исламом и Революцией есть различие. Ислам строит дом на небе. Ему не нужен дом в преисподней. Богатый человек не обязательно виновен — если, конечно, вина его не доказана. Может, ты и не самый лучший мусульманин, но вины за тобой я не нашел.

После суда дела у Али пошли как будто немного лучше. Проблемы, конечно, оставались, множество проблем. Жить было по-прежнему нелегко, и вряд ли стоило рассчитывать на какую-то стабильность в будущем. Но истовые революционеры, клеймившие богачей — всех скопом — и донимавшие Али в первые три года Революции, постепенно исчезали из суда и правительства. От самых рьяных правительство избавилось само, остальные с годами заметно помягчели. Кого-то развратили взятки, другие успели за годы службы неплохо заработать и сами ушли в бизнес. Чиновники, оставшиеся у власти, порой изрядно докучали, но их поведение стало уже более предсказуемо, и с ними можно было как-то договориться.

После всего пережитого в доме Али навечно поселилась печаль, и неизбывная скорбь не сходила с лица его жены. В сущности, это была скорбь по разбитой жизни.

Утренний косой свет резче оттенял провалы горных ущелий. Все неровности, будь то осыпь или трещина в скале, виднелись как на ладони. Утром также яснее был размах строительства на ближних холмах: на буром фоне выделялись серые бетонные террасы, подготовленные для новостроек. По вечерам на голых, казалось бы, склонах то тут, то там вспыхивали цепочки огней. Утром огни исчезали, словно их и не было, и склоны снова выглядели пустынными.

А потом однажды, бродя по окрестностям, я узнал, что на одном из пологих желто-

бурых холмов, слева от моего окна, стоит знаменитая тюрьма Эвин, где в свое время казнили узников без числа. В почтовом адресе отеля «Азади Хайатт» значилось: «Эвин кросроудс» — перекресток дороги на Эвин.

Я и раньше замечал, что в одном месте на склоне проглядывает краешек бетонной террасы, в другом петляет дорога; замечал высокую ступенчатую стену, которая, взбираясь наверх, исчезала из вида и возникала вновь с противоположной стороны холма. Я чувствовал, что две части стены должны быть связаны между собой, но даже не догадывался, для чего эта стена тут воздвигнута. Наверное, меня отвлекала игра света и тени на холмах.

Теперь, зная, что передо мной тюрьма, я удивлялся сам себе. Глядя на нее столько дней, я воспринимал ее просто как деталь пейзажа и ни разу даже не спросил себя, для чего здесь, над зеленью чинаров и тополей, высится этот гигантский песочного цвета ангар. В следующие два-три дня план тюрьмы стал мне понятнее. По асфальтовой дороге, петляющей в зелени деревьев, — наверх, к воротам; у ворот будка охранника; у подножия бетонного ангара тянутся длинные низкие строения, с виду похожие на железнодорожные склады или мастерские. Поодаль, чуть ниже — бетонные домики, видимо, для администрации, а вовсе не жилые, как мне казалось раньше. Изначально я принял их за жилища нефтяников, беспорядочно разбросанные по склону, — и эти домики, а точнее, мое представление о них помешало мне разглядеть тюрьму.

Тюрьма была так обширна и занимала такую значительную часть северного Тегерана, что изучение ее заняло немало времени.

Однажды средь бела дня я вдруг увидел у подножия холма высокий забор и в нем высокие голубые ворота. Вероятно, из этих самых ворот после Революции выезжали по ночам грузовики, доверху наполненные телами казненных. На фоне зелени, кирпича и бетона эти голубые ворота были видны издалека, и выбор цвета немало озадачивал.

У подножия этих гор, прекрасных и многоликих, огромная тегеранская тюрьма выглядела, пожалуй, внушительнее и мрачнее, чем даже знаменитый Пражский замок.

Али рассказывал, что во время заседаний революционного суда на улице доктора Шариати председательствовал, как правило, аятолла Халхали, судья-палач, соратник Хомейни. В первые послереволюционные дни этот суд заседал почти круглосуточно. Очень возможно, что на улицу доктора Шариати обвиняемых доставляли прямиком из тюрьмы Эвин.

В августе 1979 года, когда я впервые попал в Тегеран, суд еще работал вовсю. Как-то раз, давая интервью тегеранской «Таймс», Халхали признался, что он приговорил к смертной казни «человек, пожалуй, триста-четыреста». Иногда, сказал он, ночные грузовики вывозили из тюрьмы по тридцать-сорок тел сразу. <...>

V. ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ

Все кругом подчинялось бесчисленным строгим правилам. Женщинам не показываться на улице без чадры и с непокрытой головой; юношам и девушкам не ходить рядом; женщинам не петь на радио и на телевидении; такую-то и такую-то музыку не слушать — но это было далеко не все. Журналы, газеты, книги и телевидение подвергались жесточайшей цензуре. Над северным Тегераном каждый день кружили вертолеты, высматривая тарелки спутниковых антенн, «стражи» отслеживали в парках юношей и девушек или искали по домам наркотики и спиртное. В провинциальном Ширазе я видел, как местная полиция нравов обходила даже туристские отели, дабы лишний раз о себе напомнить.

В семьдесят девятом и восьмидесятом годах проповедники Исламского возрождения неустанно повторяли, что Ислам есть полное и всеобъемлющее учение о жизни. Теперь в Иране налицо был политический Ислам как полный и всеобъемлющий контроль над этой жизнью. Господин Парвиз, главный редактор тегеранской «Таймс», жаловался вскоре после моего приезда: «Они тут уже норовят нам указывать, как сидеть и как говорить». Пожалуй, я тогда не вполне его понял. Перечислить все здешние запреты было не так уж сложно; но на то, чтобы понять, сколь они всепроникающи, требовалось время. А еще требовалось время, чтобы увидеть, как эти запреты уродуют жизнь людей... <...>

Морозным февральским днем восьмидесятого года среди студентов, разбивших палатки перед зданием захваченного американского посольства, я видел девушек в партизанском облачении. То был театр Революции в духе Че Гевары. Помню, как из палатки, согнувшись, выбралась пухленькая девушка в форме защитного цвета. В руке у нее была кружка горячего чаю, которую она несла кому-то из парней, лицо светилось радостью служения Революции и бойцам Революции. Из тех парней — мусульманских студентов, последовавших за аятоллой Хомейни, — многих, скорее всего, теперь уже не было в живых, других очень скоро усмирили, заодно с коммунистами и прочими левыми. На стенах посольства и на деревьях висели плакаты, в которых Иранская Революция сравнивалась с Никарагуанской, причем обе изображались как составные части единого поступательного движения истории. Вряд ли та девушка с кружкой могла предвидеть, что Революция, в которую она вносила свою лепту, выродится в давно опостылевшее, многовековое притеснение женщин и в вертолеты, кружащие над городом в поисках спутниковых антенн.

Сама революционная атрибутика постепенно приобрела иное значение. Густые бороды утратили связь с Че Геварой и превратились в правоверные, не знающие бритвы мусульманские бороды, а зеленые партизанские одежды обернулись униформой стражей религиозного правопорядка.

Никто из тех, с кем мне приходилось встречаться, не думал больше ни о какой революции. Революционное пламя, вдохновлявшее все предыдущее поколение, окончательно погасло в сердцах иранцев. Никто даже не заговаривал ни о каких политических выступлениях: не было лидеров, способных повести за собой людей, и не было идей. Новые идеи попросту не рождались в обществе, зажатом в тиски полного и всеобъемлющего контроля. Истинные правители, хотя их фотографии висели на каждом шагу, были далеко; правительство, по чьему-то точному выражению, стало «оккультным», таинственно-недосягаемым. И все же среди общей безмерной усталости возникало стойкое чувство: что-то должно случиться. И чувство это рождало тревогу.

У Мердада был друг по имени Ферейдун. Ему, как и Мердаду, было двадцать с небольшим; сейчас он проходил службу в военной авиации. Ферейдун был высокий худощавый юноша с тонкими заостренными чертами. Как и Мердад, он учился в Иране и немного стеснялся своего английского, но разговорившись, болтал бойко и даже витиевато. Взращенный в глухой изоляции революционного Ирана, он испытывал неутолимый голод по книгам, идеям и философским рассуждениям.

Сегодня Ферейдуна должны были отпустить в увольнение, и после обеда мы с Мердадом отправились к нему домой. В квартире, выходившей окнами на одну из шумных городских улиц, было темновато и тесновато. В маленькой гостиной стояло два обеденных стола, один из них — тот, что подлиннее, — был уже накрыт для нас: стеклянная вазочка с шоколадными конфетами, ваза с фруктами и чай в маленьких стаканчиках с золочеными ручками.<...>

Брату Ферейдуна было девятнадцать. Всего на пять-шесть лет моложе Ферейдуна, но он принадлежал уже к другому поколению. Они жили в соседних комнатах, их разделяла, как сказал Ферейдун, лишь тонкая перегородка, но по одну ее сторону, у Ферейдуна, стояли серьезные книги, а по другую были развешены фотографии футбольных команд, поп-групп, поющих «хэви-метал», и изображения свастики. Брат Ферейдуна был нацистом. Он относил себя, как и всех иранцев, к арийской расе — и поэтому был нацистом, убежденным нацистом.

Сидя за большим обеденным столом в гостиной, Ферейдун подробно рассказывал мне, как брат и его друзья изводили семью живших по соседству евреев: резали шины их автомобиля, били оконные стекла. В результате семья уехала не только из Тегерана, но и вообще из страны.

Иран — не Европа и не Штаты. Иран расставляет свои акценты, и история, рассказанная Ферейдуном с поистине поразительной непосредственностью, была даже не о юных нацистах, а о том, сколь значительной может быть разница в пять-шесть лет. Между старшими и младшими братьями было и еще одно существенное отличие: младшие не боялись. У брата Ферейдуна и его друзей-нацистов было любимое развлечение: по вечерам они выходили на улицу и дразнили «стражей Революции», явно напрашиваясь

на то, чтобы их «замели». За такое удовольствие приходилось платить: брат Ферейдуна частенько отсиживал день-другой в камере.

Когда мы с Мердадом пришли, брат Ферейдуна, щуплый и с виду болезненный юноша, сидел в гостиной. Я еще ничего о нем не знал и, разумеется, не придал значения тому, что он весь в черном. Разговаривал он вежливо, но несколько отрешенно, и я решил, что передо мной еще один мальчик без будущего, потерянный и несчастный — несчастнее, чем его брат или Мердад. Теперь, после всего услышанного, я захотел с ним поговорить, но тут выяснилось, что он ушел, не сказав никому ни слова. В этом, как прокомментировал Ферейдун, было еще одно типичное проявление девятнадцатилетних: пренебрежение к культурным традициям прошлого.

Да, Революция породила странных детей.

Однажды Мердад повез меня в новый, быстро растущий район в северо-восточной части Тегерана — район состоятельных людей, разбогатевших после Революции и на Революции. Здесь все было словно в другом городе: внизу торговый центр с дорогими магазинами, от него вверх по склону, как по ступенькам, поднимались добротные многоквартирные жилые дома, каждому не больше десяти лет. Это, как объяснил мне Мердад, владения новых торговцев и дельцов. Их дочерей легко было узнать по чарующей раскованности, с которой они двигались; в глаза бросались высокие каблуки, стройные ножки, обтянутые вываренными по моде джинсами, коротенькие стильные чадры.

— И кожа, — добавил Мердад, отмечавший в женской красоте свое. Хорошая кожа складывается из хорошего воздуха, хорошей еды и уверенности в завтрашнем дне. У его сестры такой хорошей кожи не было.

У здешних жителей протест выражался по-своему. Перед входом в торговый центр, на освещенном возвышении наблюдательного поста, «страж» в форме цвета хаки разговаривал с молодой девушкой; девушка стояла перед ним спокойно, без всякого смущения.

— Он ее задержал, — пояснил Мердад.

Видимо, она нарушила какую-то из мусульманских заповедей или допустила вольность в поведении; возможно, просто не убрала волосы под шарф.

— Поговорит с ней и отпустит, — уверенно добавил Мердад.

Мы зашли в кафе. Тут в отражении одного из зеркал Мердад показал мне еще одну девушку и сказал:

— Вон, смотрите, наркоманка под кайфом.

Взгляд у девушки был блуждающий, затуманенный, шарф сполз с головы на затылок. В углу «страж», поглядывая в ее сторону, выговаривал что-то владельцу кафе. В конце концов к девушке подошел официант и попросил ее поправить чадру; она лишь рассеянно тронула рукой затылок. «Страж», видимо, не желая поднимать шум, скоро ушел. Чуть позже девушка, покачиваясь, вышла из кафе; из-под ее съехавшего шарфа выглядывали длинные каштановые волосы. Наркотики — это модно, как еще раньше объяснил мне Мердад; это тоже проявление протеста.

Когда мы уже уезжали из торгового центра, на дороге нам встретилась группа молодых людей. Только что их обыскивали «стражи» на мотоциклах: искали видео, компакт-диски, наркотики и прочие запретные плоды цивилизации. <...>

* * *

Минуло почти два десятилетия с тех пор, как портреты шаха и его родственников исчезли со стен, и теперь с тех же стен, из тех же рамок на иранцев смотрели великие мужи Ислама. Вся страна была опутана правилами и запретами, «стражи» и басиджи неукоснительно следили за их выполнением — днем в парках, вечером на дорогах. Люди совсем молодые, ровесники Ферейдунова брата, не видели в жизни ничего, кроме религиозных запретов. Молодых влекла сексуальная революция, потому что им опостылели суровые всеподчиняющие требования веры. После непомерной боли и страданий в обществе зарождался новый нигилизм.

1997 г.

Перевод с английского О. ВАРШАВЕР

ПАТРИК ЗЮСКИНД

ГЕРМАНИЯ, КЛИМАКС

В четверг 9 ноября 1989 года в 19 часов 15 минут — мне тогда было сорок лет и восемь месяцев — я услышал в Париже во французских радионовостях короткое сообщение о том, что восточно-берлинское правительство постановило ровно в полночь открыть границу с Федеративной Республикой Германией и границу между Восточным и Западным Берлином.

Очень хорошо! — подумал я. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Наконец-то эти люди получат законное право на свободное передвижение. Наконец-то и ГДР осторожно ступает на проложенный Горбачевым путь реформ, демократизации и либерализации, как это уже сделали Венгрия и Польша, как, вероятно, скоро сделают Чехословакия и Румыния, изнемогающая под властью самого отвратительного из восточных деспотов. Я выключил радио и пошел ужинать. Мир еще был в порядке. Я еще понимал, что происходит в политике. Я еще мог выдержать быстрый, но вполне разумный и, казалось, предсказуемый темп европейских изменений. Я еще, так сказать, шагал в ногу со временем.

Все уже было в прошлом, когда через пару часов я вернулся с ужина. Не помню, когда точно — до или после полуночи, то есть 9 или 10 ноября, — во всяком случае, я снова включил радио, на этот раз немецкое, поймал прямой репортаж из Берлина, где между тем разразилась какая-то вакханалия, и услышал интервью правящего бургомистра Вальтера Момпера, чьи восторженные излияния венчались фразой: «Сегодня ночью немецкий народ — самый счастливый народ в мире!»

Я оторопел. Мне показалось, что я ослышался. Мне пришлось повторить эту фразу вслух, чтобы уловить ее смысл: «Сегодня ночью немецкий народ — самый счастливый народ в мире!» И все же никакого смысла я в ней не уловил. Может, у этого господина не все дома? Может, он был пьян? Кого он имел в виду, говоря о «немецком народе»? Граждан ФРГ или ГДР? Западных или восточных берлинцев? Всех вместе? Неужели даже нас, баварцев? Неужели и меня самого? И как это — «счастливый»? С каких это пор народ — даже если допустить, что существует нечто такое, как немецкий народ, — может быть счастливым? Я, например, счастлив? И как может судить об этом Вальтер Момпер? Тут мне припомнилось замечание Густава Хайнемана, самого невзрачного, неброского, а потому, вероятно, наиболее типичного президента ФРГ, который на вопрос одного журналиста, любит ли он Германию, сухо ответил: «Я люблю свою жену».

Побойся Бога, Вальтер Момпер, подумал я, как же ты мог ляпнуть такое! Завтра в комментариях к новостям тебя ткнут носом в эту фразу! Она будет преследовать тебя до конца твоих дней. Необдуманно бросив эту фразу, ты раз и навсегда выставил себя на посмешище.

Но на следующий день, прилежно прочитав газеты (немецких мне не досталось, их, что называется, отрывали с руками) и внимательно прослушав радио, я понял, что Вальтер Момпер — герой дня. Никто и не думает тыкать его носом, а фраза о «самом счастливом народе» у всех на устах, позже ее (по аналогии с «лучшим голом месяца») объявят «лучшим высказыванием месяца» и даже «лозунгом 1989 года».

Едва оправившись от этого шока, я через несколько дней прочел в газете, что Вилли Брандт, кумир моей юности, социал-демократ, как и Момпер, выдал на-гора афоризм: «Теперь срастется то, что составляет единое целое», очевидно имея в виду ГДР и Федеративную Республику, включая целиком оба Берлина.

Старческий лепет, думаю я. Явный случай болезни Альцгеймера или еще какого-то возрастного нарушения мыслительных способностей. Ибо что же тут составляет единое

© Э. Венгерова. Перевод, 1999

ПАТРИК ЗЮСКИНД (род. в 1949 г.) — немецкий драматург и прозаик. Публикуемое эссе взято из сборника «Страх за Германию» (1990).

целое, скажите на милость? Да ничего! Напротив: ничего более несовместимого, чем ГДР и ФРГ, нельзя и вообразить! Разные общества, разные правительства, разные экономические системы, разные системы воспитания, разный уровень жизни, принадлежность к разным блокам, разная история, разный уровень алкоголя в крови — ровным счетом ничего общего, и нечему тут срастаться, и нет никакого единого целого. Жаль мне стало Вилли Брандта. Мог бы человек с честью уйти на покой. Зачем ему понадобилось выставлять себя на посмешище и нести подобную чепуху, рискуя своим добрым именем?

И снова я попадаю пальцем в небо. Точно так же, как недавний афоризм Момпера, высказывание Брандта становится лозунгом дня, его встречают бурными овациями на массовых митингах, на Западе и Востоке, его подхватывают как девиз не только социал-демократы, но и правящие партии, и даже зеленые. И наконец, третий мощный удар обрушивается на мою бедную голову, и я перестаю что-либо понимать, утрачивая историко-политическое самосознание. Правда, это происходит некоторое время спустя, но все в той же связи: в феврале 1990 года я смотрю по немецкому телевидению репортаж о возвращении канцлера Коля из Москвы, где он получил принципиальное согласие Советов на немецкое единство — или полагал, что получил, не в том суть. Канцлер Коль стоит в салоне самолета, явно в отличном настроении, держит в руке полный бокал, в котором, как поясняет комментатор, искрится шампанское, и гаркает, обращаясь к теснящимся на заднем плане журналистам и членам делегации: «Есть у вас там сзади что выпить?» Ага, думаю я, у человека день рождения, он хочет угостить компанию, как мило с его стороны. Ничего подобного! День рождения у канцлера Коля, как я потом вычитал в справочнике, только 3 апреля, а вовсе не в феврале. И он выпивает не просто так, не потому, что у него как раз случилось хорошее настроение, нет, услышав одобрительный шум, подтверждающий, что дело лишь за тостом, он поднимает свой бокал и провозглашает: «Итак, за Германию!» И стоящий за его спиной и на четыре пятых заслоненный им министр иностранных дел немного высовывается из-за спины канцлера, чтобы показаться публике, и тоже поднимает свой бокал, хоть и чуть-чуть менее решительно, и пьет «За Германию!».

Я едва не поперхнулся от изумления. До сих пор я никогда не видел человека, пьющего за Германию.

Что ж, признаюсь, застольные речи как таковые мало меня трогают. Это подчеркнутое навязывание тостов и, того хуже, сопровождающее их дребезжание сдвинутых бокалов всегда казалось мне чем-то излишним. Обычно с моих губ легко соскальзывает лишь «Ваше здоровье!», и рука небрежно приподнимает бокал. В случае крайней необходимости и когда того требует очень уж торжественный повод, я даже готов выпить за здоровье какой-нибудь знаменитости — юбиляра или лауреата; если на то пошло, я способен даже с грехом пополам понять такие туманные тосты, как «За счастливое будущее!» или «За удачу!», — но никогда не стал бы пить за страну. И из всех стран на свете менее всего за Германию, с чьим именем — ведь прошло всего-то пятьдесят лет! — нерасторжимо связываются великая война и Освенцим.

Да-да, знаю, он не то имел в виду, наш канцлер Коль, когда пил «За Германию!». Он подразумевал не старую агрессивную Германию, а современную и будущую, мирную, цивилизованную и вписавшуюся в Европу. Его взор был устремлен в грядущее, а не в минувшее, разумеется, какие тут могут быть сомнения...

Может быть, я в этом отношении более консервативен, или более чувствителен, или просто получил другое воспитание, и оно не позволяет мне — при любых обстоятельствах — употреблять некоторые общеизвестные клише. Может быть даже, дела обстоят именно так, как утверждает в журнале «Шпигель» Рудольф Аугштайн, выступающий в роли пресс-адъютанта Коля. «Дарвинистически настроенная история, — пишет Аугштайн, — явно не оставляет нам времени на ретроспекцию, на этот столь приятный человеку «печальный труд». Может быть. Но я-то сам настроен отнюдь не дарвинистически, я оставляю себе время на ретроспекцию, могу даже заглянуть вперед или взглянуть вверх и, когда слышу тост, подобный тому, что произнес канцлер Коль, чувствую себя так, словно «дарвинистически настроенная история» одним махом перешагнула через меня. Тогда я выпадаю из эпохи.

Примерно в то же время, когда канцлер Коль витал в облаках, провозглашая свой

тост, его соперник в борьбе за пост канцлера Оскар Лафонтен держал речь на собрании СПГ, в которой заявил, что для него вопрос о немецком единстве — проблема сугубо вторичная; куда важнее позаботиться, чтобы людям в Лейпциге, Дрездене и Восточном Берлине жилось так же хорошо, как людям в Вене, Франкфурте, Париже или Мадриде. Я навострил уши. Наконец-то после стольких невразумительных словес прозвучала фраза, доступная моему пониманию. Независимо от того, истинным или ложным был сформулированный в ней тезис, находился ли он в гармоническом соответствии с «дарвинистически настроенной историей» (возможно, и не находился или еще не находился), — здесь по крайней мере был язык, который я понимал, политическая терминология, за которой я мог себе что-то представить. Увы, хотя присутствующие на собрании товарищи вежливо поаплодировали этой фразе, она отнюдь не стала лозунгом дня. Она была погребена под застольными речами, возбужденными комментариями, криками «Герма-ни-я-е-ди-но-е-о-те-че-ство!», которые теперь все чаще скандируются на улицах. Прошло совсем немного времени, и какая-то сумасшедшая воткнула нож в горло тому, кто эту фразу произнес. Я перестал понимать окружающий мир.

Чтобы объяснить, в какую я сорвался пропасть, как велико охватившее меня смятение духа, расскажу один эпизод, имевший место весной 1988 года, когда мир еще обретался в порядке, а я шагал в ногу со временем.

Я получил письмо из «Цайт» от редактора публицистического отдела. Он приглашал меня участвовать в дискуссии на тему «Будущее немецкое единство». Я ответил ему обратной же почтой, ничуть не сомневаясь в собственных правоте и здравом смысле. Я просил избавить меня от подобных глупостей. Я писал, что над немецким вопросом я размышлял лет двадцать назад на первом курсе, посещая семинар по истории. Тогда мы с друзьями целыми днями — а преимущественно ночами — дискутировали на эту неисчерпаемую тему и всегда с одним и тем же результатом, а именно — нулевым или, лучше сказать, с тем результатом, что немецкий вопрос не имеет решения, да и не нуждается в нем, ибо, даст Бог, он когда-нибудь разрешится сам собой, растворится, так сказать, в каком-нибудь, как всегда, сложно приготовленном европейском супе. А до тех пор я и думать об этом не желаю, по поводу Германии мне больше ничего не приходит в голову, я просто не могу себе вообразить более надоевшей темы, чем немецкая, пусть господин редактор даст себе труд поискать другую, мало ли в наше время куда более важных, насущных, а главное, более актуальных политических проблем, чем дурацкая проблема немецкого единства.

Редактор поблагодарил меня за письмо и добавил, что нечто подобное написали ему двадцать или тридцать других предполагавшихся авторов, а потому он решил отказаться от намерения затевать дискуссию «Будущее немецкое единство». Это было, повторяю, в начале 1988 года.

Не прошло и полутора лет, как заварилась вся эта каша. Not with a bang but with a whimper[1] развалился пенсионерский режим в Восточном Берлине, а еще недавно всесильный Эрих Хонеккер, только что во всеуслышание прокаркавший, что стена простоит сто лет, в одну ночь лишился всех своих государственных постов, квартир, банковских счетов и порноальбомчиков и очутился в садовом домике некоего протестантского пастора; на сцену выскочил развязный субъект по фамилии Кренц, пару раз подмигнул с газетных фотографий в качестве главы государства ГДР и вдруг провалился в какую-то щель, совсем как петрушка в кукольном театре, которого двинули дубинкой по голове; его сменил аукционщик Модров; затем сыграл очень короткую и невразумительную роль некий Шлак-Голдовский; затем стремительно промелькнули бледные дамы и потрепанные господа, чьи имена невозможно упомнить, а также капельмейстеры, писатели, адвокаты и снова и снова духовные пастыри; во время демонстрации со свечами в Лейпциге вдруг опять вместо «Мы и есть народ!» раздалось приснопамятное, странно и глупо звучащее «Гер-ма-ни-я-е-ди-но-е-о-те-чест-во!»; были предложены, назначены и проведены выборы; за несколько дней сформировали коалицию и демократическое правительство, за несколько недель составили и подписали государственный договор с Федеративной Республикой, ввели немецкую марку; и вот теперь, когда я пишу эти стро-

[1] Не с треском, а с писком (*англ.*).

ки, немецкое единство, само обсуждение которого всего два года назад представлялось мне напрочь устаревшей и совершенно излишней политической спекуляцией, игрой воображения, можно считать делом решенным. Никто более — ни в стране, ни за рубежом — не ставит его под вопрос, уже через год, если не через несколько месяцев, оно станет реальностью. Развитие... нет, развитие не то слово... лавина обрушившихся на нас событий в самом деле вызывала головокружение. Я ощущал примерно то же, что и представитель упомянутого пенсионерского режима, председатель народной палаты, ныне покойный Хорст Зиндерман, которому принадлежат произнесенные в 1989 году и ставшие с тех пор крылатыми слова: «Мне показалось, что сорок лет социализма ушли у нас из-под ног».

Мне тоже так показалось. И, думаю, многим из моих сверстников. Пусть не сорок лет социализма, но сорок лет крепко сколоченного, прочно пригнанного, вроде бы необратимо надежного, солидного послевоенного порядка вдруг ушли у нас из-под ног. Мы выросли при этом порядке. Другого мы не знали. Не то чтобы мы его особенно ценили, и нам уж совсем не нравился его антураж. Раздел Европы на Восток и Запад, раздел Берлина, раздел мира на два враждебно настроенных, ощерившихся оружием военных блока казался нам чрезвычайно опасным и извращенным, но, увы, логическим следствием мировой войны, которую спровоцировала гитлеровская Германия. С этим предстояло как-то справиться, как-то это преодолеть, но постепенно, полегоньку, шаг за шагом, осторожно действуя в различных направлениях. То обстоятельство, что военный счет приходилось оплачивать главным образом людям по ту сторону железного занавеса, было достойно сожаления, но изменить его было нельзя, разве что ценой еще одной, еще более разорительной войны.

Разумеется, нам еще в школе внушили, что раскол Германии — это ненадолго, что преамбула основного закона обязывает каждого политика в ФРГ стремиться к его преодолению, что ФРГ и ее столица Бонн — всего лишь временное сооружение. Но мы не верили в это уже тогда, а с годами верили все меньше. Нельзя десятилетиями жить во времянке, а тем более в такой роскошной, процветающей времянке, а тем более, если ты молод. И когда в воскресных проповедях заходит речь о «наших братьях и сестрах в зоне» или когда после возведения Берлинской стены нас призывали в знак национальной солидарности зажигать в окне поминальные свечки, нам казалось это смешным и неискренним — словно нам, взрослым людям, всерьез предлагали выставлять в камин башмак, чтобы святой Николай бросил в него шоколадку. Нет, единство нации и вообще национальная тема нас не интересовали. Мы считали, что эта идея XIX века давно устарела и опровергнута историей, что без нее можно спокойно обойтись. Живут ли немцы в двух, трех, четырех или дюжине государств — не все ли равно? 17 июня мы отправились кататься на яхте. Отношение к государству, в котором мы жили, то есть к Федеративной Республике, было сначала настороженно скептическим, потом снисходительным, потом прагматическим и, наконец, даже окрасилось некоторой сдержанной симпатией. Это государство — отнюдь не временно — вело себя совсем неплохо, оно было терпимым, демократичным, правовым, практичным — оно было нашим сверстником и потому в определенном смысле нашим государством.

А вообще-то мы смотрели на Запад и на Юг. Австрия, Швейцария, Венеция, Тоскана, Эльзас, Прованс, даже Крит, Андалусия, Гебридские острова — если говорить только о Европе — были нам бесконечно ближе, чем такие захолустья, как Саксония, Тюрингия, Анхальт, Меклен или Брандербург, которые мы в силу необходимости иногда пересекали, чтобы поскорей по транзитной полосе попасть в Западный Берлин. Что значили для нас Лейпциг, Дрезден или Халле? Ничего. Нас интересовали Флоренция, Париж или Лондон. Мы едва помнили названия городов вроде Котбуса, Штральзунда или Цвиккау. В сознании тех из нас, кто родился южнее Главной линии, они разделяли судьбу таких экзотических городов Федеративной Германии, как Гютерсло, Вильгельмсхафен или Фленсбург.

Вот каким было наше осознанное или неосознанное отношение к положению нации, вот что представляла собой казавшаяся твердой почва, которая 9 ноября ушла у нас из-под ног. Случилось землетрясение, не иначе. В один миг центр тяжести сместился на несколько сот километров к востоку. Там, где прежде стояла угрюмая стена, к которой

мы норовили повернуться спиной, теперь разверзлась туманная, открытая всем ветрам перспектива, и ошалев, как коровы, перед которыми открылись давно запертые ворота, мы остановились и стоим, пялясь в новом направлении и не решаясь сдвинуться с места.

Другое дело молодые — двадцати- и двадцатипятилетние, чья историко-политическая система координат только начинает складываться. Для них конец «холодной войны», изменения в Восточной Европе и немецкое объединение — первые важные политические события их сознательной жизни, за которыми они следят если не с восторгом, то все же с живым интересом. В те лихорадочные ноябрьские дни я встретил в Париже юную девицу, только недавно приехавшую из Берлина, чтобы несколько месяцев поработать во Франции и изучить язык. От волнения она все время ерзала на стуле и нервно курила одну сигарету за другой — но не потому, что впервые попала за границу и Париж показался ей таким же интересным, как мне двадцать лет назад. Ничего подобного. Более того, она считала «полным идиотизмом» торчать в Париже, когда «В Берлине такая action». Через три дня она не выдержала и рванула назад: вышибать, как я понял, камни из стены, шляться туда-сюда, залезать на Бранденбургские ворота, дышать вонью «трабантов» и считать, что все идет как нельзя лучше. Мне это напомнило лето 1968 года, когда мы удирали из школы, чтобы участвовать в антишпрингеровской демонстрации, промокая до костей под полицейскими водометами. «Быть там, где такая action!» Класс!

Точно так же воспринимают ситуацию старшие — те, кому за пятьдесят—шестьдесят, кто лелеет воспоминания о временах до образования ФРГ и сидит у рычагов власти. Они в восторге от того, что «европейская политика вновь пришла в движение», они сияют от самоуверенности и глубокого удовлетворения, им дано наконец выпрыгнуть из тени будничной немецкой политики и уцепиться за подол плаща Истории, дабы завершить дело объединения.

А старцы, старцы-то как возликовали! Поколение полит- и культурстарцев военного и довоенного образца — от Стефана Гейма и Вилли Брандта до юного старца Аугштайна! Им словно вкололи допинг, и они сломя голову кинулись в водоворот событий! Складывается впечатление, что немецкая осень — их последняя весна, так лихорадочно они принимают во всем участие, во все вмешиваются, произносят речи, судят и рядят. Возбужденные, растроганные, разгневанные, мнящие, что голубая мечта достигнута, что наступила пора прекрасных надежд, они строчат наивно-дерзкие комментарии и ведут себя в общем-то отнюдь не по-стариковски.

В сущности, настоящие старцы — это мы, сорокалетние дети Федеративной Республики. Нас это землетрясение застало врасплох. Нас оно потрясло до глубины души. Дело не только в нашей исторически заданной ориентации, то есть не в том только дело, что мы не знали никакого иного порядка вещей. Есть еще одно обстоятельство: эти потрясения застали нас в самый неподходящий момент, поскольку мы находимся в том возрасте, когда человек склонен передохнуть, притормозить, оглядеться, оглянуться назад, подвести итоги и постепенно настроиться на вторую половину жизни. Повторяю, постепенно, спокойно, так сказать, вальяжно. Человека моего возраста больше всего утомляет шум и грохот и такое головокружительное ускорение событий, какое мы переживаем сейчас. Скажу больше: они обрушиваются на нас, как снежная лавина. А мы ведь думали, что все бури уже позади. А мы ведь только что разобрались, что к чему в этой жизни — как в политической, так и в частной. А нам ведь только что удалось, после многих заблуждений и срывов, худо-бедно смастерить более или менее стабильную картину мира, похожую на старый комод со множеством ящичков, куда мы рассовали, как кубики, тысячи камней преткновения нашего существования: морально-этические — сюда, политические — туда, вон там — метафизика, здесь — страхи и неврозы, тут — секс, семья, профессия, финансы и так далее. (Да, признаю, мы не слишком торопились взрослеть, мы могли себе это позволить, мы взрослели дольше, чем предшествующее и следующее за нами поколения, но мы все-таки с этим наконец справились.) И вот, когда нам уже казалось, что мы уловили смысл существования и поняли этот мир, что мы хотя бы в общих чертах знаем, куда бежать кролику, нас застает врасплох климакс в образе немецкого единства. Мы были готовы к нарушениям потенции, к удалению простаты, к вставной челюсти, к менопаузе, ко второму Чернобылю, к раку, к смерти, к черту-дьяволу, но только не к «Гер-ма-ни-я-е-ди-но-е-о-те-чест-во!» Не к этим политическим приви-

дениям! Ведь мы давно засунули это допотопное старье в самый дальний угол нижнего ящика! И вот — бац! Он упал и развалился, наш маленький комод, а кругом валяются в беспорядке камни преткновения.

«Постойте! — говорим мы. — Погодите! — и изумленно протираем глаза. — Что здесь, собственно, происходит? Что будет дальше? Как это? Зачем это? А мы этого хотели?» Но не успели мы задать свои вопросы, как нам уже со всех сторон — справа и слева — стар и млад кричат в ответ: «Поезд ушел!» «Ах так, — бормочем мы, те, кто вовсе не собирался ехать этим поездом. — А нельзя ли остановить состав? Или хотя бы уточнить направление... или немного притормозить, а не лететь на всех парах?» «Нельзя, — говорят нам деятели и функционеры, говорят нам те, кто обретается на высоте исторического момента. — Теперь все катится само собой. События больше не определяются политиками, события сами себя определяют. Раз-два-три, «дарвинистически настроенная история» несется на всех парах: валютный союз — к 1 июля, присоединение земель ГДР согласно статье 23-й основного закона — осенью, общегерманские выборы — в декабре, перенос столицы в Берлин — готово, баста!»

Столица в Берлине, только этого не хватало! Нет нам никакой пощады. «Неужели так уж необходимо, — робко возражаем мы, — переносить столицу в Берлин? В Бонне тоже было очень даже недурно...» — «Отстаешь от жизни, дедуля! И этот поезд уже ушел!»

Страшно? Нет, не то слово. Тому, кто находится в шоке, не страшно. Я все еще не могу прийти в себя. Меня подташнивает, как пассажира, который сидит в мчащемся поезде, не знает маршрута, не знает места назначения и не уверен, что выдержат рельсы. Меня охватывает смутное беспокойство. Не тот старый страх, что Германии угрожает рецидив варварства и мании величия 30-х и 40-х годов. Но все же опасение, что в ее недрах могут таиться тяжелые социальные конфликты, много зависти и лютой обиды, а там дальше, не у нас, а на Востоке, где распадается советская империя, могут вызреть новые войны, в том числе гражданские.

Да, и еще мне становится немного грустно при мысли о том, что больше не будет на свете невзрачного, маленького, нелюбимого, практичного государства — Федеративной Республики Германии, в которой я вырос.

1990 г.

Перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ

ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ

POST SCRIPTUM

Близится конец XX века и конец второго тысячелетия. Мы не увидим следа этой магической даты ни на годичных кольцах деревьев, ни в химическом составе морской воды, ни в звездных россыпях. Дата эта придумана человеком. Наш век и наше тысячелетие могли и раньше закончиться или могут закончиться в неопределенном будущем. Рубеж веков и тысячелетий обозначен лишь в календарях и в нашем сознании, а вернее, в подсознании.

Подсознание. Я все больше убеждаюсь или, скорее, верю ученым, что подсознание не только сильно влияет на судьбы отдельных личностей, но играет также огромную роль в истории целых обществ, государств, народов.

Никто не заметит начала новой эры, однако все мы ощущаем какое-то беспокойство, возбуждение, странное внутреннее напряжение в преддверии этого неуловимого

© К. Старосельская. Перевод, 1999

ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ (род. в 1921 г.) — польский писатель, кинорежиссер, сценарист. Публикуемый фрагмент взят из книги «Вечерние зори» (1991).

мига, который в один прекрасный день мелькнет над нами, возле нас, а также в нас самих.

Человечество взбудоражено, многомиллионное скопище двуногих млекопитающих дрожит от переполняющих его эмоций, ведет себя совершенно иначе, нежели последние две тысячи лет. Разумеется, можно сказать, что это связано с памятью о последней кровавой войне, с достижениями цивилизации, которые перевернули наш образ мысли и наши обычаи, с распространением демократии, изменившей нашу повседневную жизнь, но я-то знаю, что дело в другом: это число, составленное из двойки и трех нолей, прочно засело у нас в подсознании, когтями вцепилось в наши загривки у основания черепа, где, как мне кажется, подсознанию надлежит пребывать, это круглое четырехзначное число исподтишка будоражит наши ленивые мозги и дряблые нервные системы.

Ведь на нас ни с того ни с сего свалилась революция. В центре Европы погруженные в летаргический сон тоталитаризма народы один за другим обретают свободу. Они освобождаются плавно, почти не затрачивая усилий — будто это не труднее, чем съесть порцию фисташкового мороженого. Еще двадцать, еще десять лет назад за одну более или менее вольную мысль расплачивались тюрьмой, пытками, мучительной смертью, а сегодня безнаказанно покачиваются на волнах разнузданной свободы, словно посреди Тихого океана у берегов неведомых островов Блаженства. Объединение Германии, например, представлялось гипотетической возможностью лет эдак через пятьдесят-шестьдесят, смутной перспективой, принимавшейся с большой оговоркой многими политическими силами и флегматичными державами. А тут раз — и Германия едина, хотя из вежливости прикидывается разделенной.

То, что было несбыточной мечтой, стало явью. То, что казалось немыслимым, стало реальностью. То, что было безумной фантазией, обернулось всенародным торжеством.

1991 г.

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

■

ИОН Д. СЫРБУ

УПРАЖНЕНИЯ В ЯСНОСТИ

Фрагменты книги «Журнал журналиста без журнала»

Слово сильнее слова

...Года три назад в Бухаресте мне прожужжали уши про посмертно изданную книгу провинциального писателя, которая наделала шуму, произвела фурор. Это было внезапное открытие талантливого, сильного и смелого мыслителя. Оказывается, долгие годы в тиши, в глуши совершался духовный подвиг человека, все понявшего, посмевшего стать самым беспощадным и опасным летописцем «золотой эпохи» Чаушеску. И вообще — современности...

Мне достали эту книгу (жаль, невозможно адекватно передать название двухтомника, оно построено на непереводимой игре слов: «Jurnalul unui jurnalist fără jurnal», что буквально означает «Записки (дневник) журналиста без печатного издания»), я мельком глянул на фамилию автора (Сырбу), заранее уверенный, что я его не знаю, раскрыл книгу наугад и так увлекся, что не заметил, как забрезжило утро.

И только тогда вдруг понял: это не однофамилец, а тот самый Ион Д. Сырбу, о котором я писал лет десять назад (в предисловиях к двум сборникам румынской короткой прозы, вышедшим у нас, в Москве[1])! Мне открылась другая личность, куда более масштабная. Прежде Сырбу был для меня одним из хороших современных писателей, не более того. А теперь передо мной выросла совершенно незаурядная фигура (вроде как у нас: был давно известный, привычно печатающийся литературовед Андрей Синявский — и вдруг...)

Ион Д. Сырбу был человек энциклопедически образованный, многосторонне одаренный и немало претерпевший на своем веку.

Он родился в 1919 году в Петриле (Трансильвания) в семье шахтера.

Поначалу его судьба складывается благополучно. Он выбился в люди, получил высшее филологическое и философское образование, его заметил Лучиан Блага, один из крупнейших румынских поэтов XX века, и опубликовал его новеллу «Воскресение» в своем журнале. Был тогда Иону 21 год. Но в том же 1940 году Румынию (и не только ее!) начинает трясти. Город Клуж, где учился Сырбу, передан Венгрии в результате Венского арбитража (факультет переезжает в Сибиу), а через год начинается война и Сырбу, еще будучи студентом, послан на фронт...

После войны он в течение нескольких лет делает серьезную ученую и преподавательскую карьеру в возвращенном Клуже. Однако с приходом режима «народной демократии» Сырбу изгнан из системы высшего образования, работает учителем в провинции, журналистом. Не успела выйти в 1956 году его первая книжка прозы «Концерт», как он был по доносу арестован, отсидел семь лет в лагерях. Освобожден в 1963-м, работает сначала в шахте, затем медленно и трудно опять возвращается в сферу интеллектуальной жизни, служит литературным секретарем Национального театра в Крайове (где и обретался до самой смерти в 1989 году — он не дожил всего три месяца до падения режима Чаушеску!).

Сырбу работал продуктивно, много печатался, его пьесы ставились, он выдвинулся в ряд заметных литераторов современной Румынии, но по-настоящему его узнали и заговорили о нем лишь в 1993 году, когда в Крайове вышел упомянутый двухтомник его неопубликованных записок.

Книги стали интеллектуальным бестселлером не только потому, что Сырбу запечатлел в слове трагическую современность своей страны и окружающего мира: он в каком-то смысле

---

[1] «Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою» (М., «Художественная литература», 1986, серия «Современная зарубежная новелла»; рассказ «Мышь Б.») и «Встреча» (М., Библиотека журнала «Иностранная литература», 1988; три рассказа).

© К. Ковальджи. Предисловие, 1999
© Т. Иванова. Составление, перевод, 1999

реабилитировал самосознание общества (в Румынии не было такого мощного слоя потаенной литературы и «самиздата», как у нас).

Необычная исповедь Сырбу состоит из коротких записей-размышлений, похожих по форме на «Уединенное» и «Опавшие листья» Василия Розанова, — только без указания «места» и порой с передачей собственных мыслей вымышленным персонажам (Дед, Напокас и др.). Из предосторожности? Нет, думаю, скорей — это драматургические заготовки к некоей новой «Человеческой комедии».

Книга Сырбу сопровождена послесловием «Жуем хлеб с абсурдом» известного румынского поэта Марина Сореску, который, называя Сырбу «часовым совести», пишет, что его творчество — как «долгая бессонница отверженного — одиночество тем более болезненное, что человек был большим охотником до непосредственного общения. *Мини-Сократ,* как он сам сказал про себя, который не только не видел Афин, но от которого систематически и продуманно отводили всех, с кем он желал беседовать. Мне всегда было больно, что И. Д. Сырбу с его гениальным даром речи не смог быть учителем, не смог иметь учеников». Еще он называл себя «профсоюзом, состоящим из одного себя», «бедным сержантом того войска, которое отступает вот уже 40 лет». И Марин Сореску заключает эссе мысленным обращением к автору — писателю и другу: «...не умаляйте себя, потому что люди уже не понимают шуток и скромность ни на что теперь не годится. Вы большой, чудесный писатель! Этот дневник развеивает миф о пустых ящиках стола, а ваши книги, открытые заново, станут утехой поколений, с которыми вы наконец сможете беседовать, не опасаясь стукачей...»

Я не знаю, когда удастся предложить русскому читателю всю книгу (она того несомненно достойна!). А пока предлагается небольшая выборка из нее, которая, надеюсь, даст представление об уровне автора, о его духовном напряжении, остроте и исторической глубине его мысли. Мне кажется, он мог бы беседовать на равных с лучшими умами XX века.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

Борхес полагает, что вся мировая литература ЕДИНА; словно один человек пишет единую книгу, словно каждый писатель всего лишь ничтожная часть целого.

Следуя логике этой превосходной метафоры-откровения, я могу предположить, что совокупное страдание всего человечества — это страдание одного-единственного человека, того, кто пишет эту единственную, единую книгу. Христа.

(Любопытно, что Христос говорил мало, редко, коротко. *И ничего не писал.* Впрочем, один раз он будто начертал пальцем на земле какие-то слова. Но никто не прочел их. Видя, каков этот мир — а иным он быть не может, — готов предположить, что то единственное слово было: «Вотще».)

* * *

«Для меня страдания, — говорю я своему другу Соммеру, — это форма инвестиций: литературных, религиозных, политических».

У меня свои мотивы считать мои страдания (как и страдания моих родных) первичной материей, из которой мы пытаемся построить нашу маленькую Надежду.

Соммер предполагает, что русские копят страдания, предвидя религиозный демпинг...

Феноменальная идея! В будущем веке, когда весь христианский мир окончательно потеряет веру, русские, как из-под земли, вдруг вытащат на свет сверкающие слитки простой, истинной религиозности...

Невероятно. Русские любят свои страдания и не могут без них обойтись, полагая их длящимся искуплением; венгры считают страдания несправедливой карой; поляки — вызовом небес, а мы — тяжкой стыдной болезнью, от которой нас может вылечить только ангел.

* * *

Следует предположить, что революция — это больше, чем смена политического режима, социальной системы: я думаю, что речь идет здесь об изменении среды, климата, смещении магнитных полюсов, о наступлении или отступлении ледников.

Дед думает, что какая-то часть человечества была в качестве эксперимента засунута (кем? по какому праву?) в гигантский Атанор (сосуд, применявшийся средневековыми алхимиками) и там долгое время находилась под прессом, и, если в один прекрасный день (день откровения) новоявленный Фауст осмелится поднять крышку этого Атанора, возможно, там вместо человека нового типа перед нами предстанет ангелоподобное — или демоническое — философское чудовище, как знать?.. Человек — мера и не мера всех вещей.

* * *

Все-таки мы живем, окруженные нескончаемыми глубинными чудесами. Подобно тому как

только в старости люди начинают замечать, насколько жестока, насколько потрясающа и возвышенна красота детей, деревьев, неба, — точно так же и злосчастное человечество лишь сейчас, когда ему приставили нож к горлу, осознало, что Земля была, была священным чудом, теофанией.

«Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного. Аминь».

* * *

Кто бы мог поверить, что в старости я дойду до того, что буду с удовольствием читать «Разговоры с Гёте» этого ангелоподобного Эккермана, которого я всегда относил к категории типичных лизоблюдов, питающихся крошками со стола обожаемого гения.

Однако теперь жизнь этого официального гения, этого гиганта земного духа, по-немецки деловитого, не боящегося никого и ничего, — его жизнь представляется мне экзотической, небесной и фантастической.

— Понимаешь, — говорит Гёте, — кружок превосходных людей, с которыми тебя связывают добрые отношения и к которым ты постоянно с удовольствием возвращаешься, — вот что я называю Родиной.

Великолепно! Родина — это место, куда ты возвращаешься с удовольствием, а не откуда хочется бежать и где ты принужден оставаться даже несмотря на отвращение. Несколько друзей, городок, театр, обильные застолья и нескончаемые споры об искусстве, философии, науке. Ни следа национализма, религиозной или расовой нетерпимости. Ни тени скуки или тревоги. И никакой смерти. Аркадия.

* * *

Перелистывая уже читанного Лейбница, я, по мотивам строго научным, логически-объективным, вынужден признать, что этот мир на самом деле наилучший из миров... Если вообразить его, однако, без человека, без истории, без идеологий.

Впрочем, я полагаю, что этот убийственный и самоубийственный биологический вид наверное будет устранен. Человек исчезнет, как исчезли, например, гигантские рептилии. Через 10 миллионов лет равновесие мира восстановится, монады очистятся от всякой чепухи и прогресса, все придет к божественной гармонии начал.

Если проанализировать (внимательно читая Мирчу Элиаде) основные мифы, можно заметить, что рядом с идеей продолжающегося и многообразного Генезиса постоянно существует также последовательность Падений: грехопадение — изгнание из рая, впадение в искушение, грех идолопоклонства, грех жестокости.

Монаде ведомо восхождение к свету, равно как и нисхождение во тьму, превращение в ничто. Падение не означает конца, это лишь компрометация и попрание контракта или акта рождения: за каждым падением должно последовать покаяние, сострадание ко всем и вся, и тогда впоследствии может иметь место новый Генезис. Впрочем, на сей раз мне представляется, что процесс деградации, помрачнения монад невозможно остановить: мы выходим из мифа и, пройдя через конец света, превратимся в первичную материю для продолжающегося Генезиса возможных миров.

* * *

Церковь как светская власть и социальная институция и церковь как существо святое и тело Христово разошлись не только теологически, но и в сознании людей. Как жаль! Было бы абсолютно необходимо, чтобы в нашу научную и военную эпоху в практике работы университетов и лабораторий, изучающих материю и жизнь — материю, дабы ее использовать, и жизнь, дабы ее изменить, — хоть немного присутствовала бы и функционировала христианская мораль.

Страх Божий для физиков-атомщиков, страх перед грехом и кощунством у занимающихся генной инженерией, страх перед Страшным судом у политиков, экономистов, военных, правящих этим миром, существенно помогли бы нам сегодня, когда только страх перед концом — смертью, перед exspirosis (всеобщим уничтожением в огне) еще действует в смятенном и бессильном подсознании безбожного человека наших дней.

* * *

Nous vivons dans la peur, et
c'est ainsi que nous ne vivons pas.

Buddha[1]

Память наждаком стирает часы, дни, годы, прожитые в испуге, страхе, граничащем с ужасом.

В отличие от газели, которая, вырвавшись из когтей гепарда, уже через три минуты спокойно пасется, потому что совершенно забыла о пережитом испуге, мы, люди, обладаем онтологической системой, в которой страх излучается в течение многих лет, даже после того как причина его исчезла из памяти и из истории.

Итак, я не могу чувствовать, любить, есть

[1] Мы живем в страхе и, следовательно, не живем вовсе. — *Будда (франц.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

и т. д., пока нахожусь в когтях страха. Моя свобода есть не что иное, как отсутствие страха, игнорирование или забвение его. Но, как ни стирает, как ни выжигает моя память страх, он приходит ко мне во сне; снова и снова возвращаюсь я к мгновениям, когда, получив черные очки и лишившись брючного ремня, я осознал, что потеря свободы может быть страшнее сдирания кожи заживо и публичного гильотинирования.

* * *

Византиец (полагает Дед), угнетенный жестоким хозяином и постоянными набегами варваров, византиец (как и народы, обращенные Византией в свою веру) *мог жить, не имея надежды,* — таков был его недостаток или прото присущее ему качество.

Когда на смену плохому приходит еще худшее, последствия таковы: все плохое становится обыденным, становится законом или принципом (мира или войны). Властелин убивает всю семью своего предшественника, продвигает свое семейство и начинает обирать соотечественников. На страну со всех сторон совершают набеги дикие и голодные варвары, их много, и они беспощадны.

Надежда — еврейская ересь, плохо переведенная на язык христианства. Загробную жизнь надо было изобрести, так как земная давно потеряла смысл. У Адама не было матери, ему не у кого было поплакаться на груди — была изобретена Мария, Пресвятая Богородица, она принимает снятое с креста тело сына, первого политзаключенного истории.

* * *

Жажда власти, жажда употребить власть, жажда удержать власть любой ценой. (Не существует возможности вернуться во власть, изменить решение: можно лишь упасть с высоты и сломать себе шею.)

В течение всей своей жизни я не встречал (даже среди нынешних пенсионеров, бывших партактивистов, партсекретарей) ни одного, кто бы испытывал хотя бы малейшее *раскаяние* за свои ошибки. Не видно у них ни жалости к народу, ни любви к себе подобным. Вместо этого — брань в адрес тех, кто сегодня продолжает начатое ими дело.

Появляется нечто вроде эмоциональной потери памяти: «Эх, — вздыхают они, — разве в наше время подобное было возможно?» Эпоха молотобойцев Дежа и советских советников представляется многим поверженным властителям в ореоле изобилия — хлеба, мяса, порядка и дисциплины. Если завтра придут с освободительной миссией дружеские танки, первыми, кто встретит их с цветами, будут эти их попутчики из второго и третьего десятилетия нашего века.

* * *

Маркион[1] полагал: Бог не сотворил мир, он явился как спаситель откуда-то извне, охваченный жалостью. Theos allotrios? Der fremde Gott?[2]

Читая историю средневековых ересей <...>, я с удивлением (но и с радостью) констатирую, что одобряю и присоединяюсь поочередно сердцем и рассудком ко всем позабытым ересям. Не говоря уже о том, что считаю их, с точки зрения философской, более логичными и человечными, чем совокупность догматов, практикуемых официальной церковью. Мое христианство примитивно, оно языческое и еретическое, но освобождающее и антидогматичное (антигосударственное).

И все же мысль, что мы не плод творения, что мир не сотворен Пантократором, что Он лишь из жалости, случайно явился нам на помощь, внушает мне испуг и отчаяние.

Потому что... потому что Господь, который не наш Отец, из того же чувства жалости должен бы бросить нас на погибель и таким образом спасти мир, животных, деревья, воздух.

* * *

Глубокая печаль моего чудесного детства: мысль о том, что отец никогда не станет покупать мне велосипед.

Печаль моей юности: что мне не избежать казармы, униформы, фронта и фронтов.

Печаль моих зрелых лет: что тюрьма обязательна, никому не дано избежать ее, потому что в столетии, в котором я родился, тюрьма — как скарлатина у детей.

Печаль моей старости: что мир абсурден и этому нет разрешения, что даже самые ученые мои коллеги не различают в тумане будущего, что мы движемся спиной к завтрашнему дню, что смерть настигнет меня, подобно бесшумной стреле, пущенной в спину, и я умру, так и не узнав, каков был смысл моей жизни и кем, собственно, я был в этом глупом углу света и истории.

---

[1] Маркион (ок. 86 — ок. 160) — гностик, отлученный в 144 г. от римской церкви как еретик, основал свою церковь, широко распространившую влияние в бассейне Средиземного моря и Месопотамии.

[2] Чужой Бог? (*греч.* и *нем.*).

* * *

Я не прошу никого сожалеть о несправедливостях, которые претерпел, ибо я их забываю. Я не прошу никого забыть о несправедливостях, совершенных мною, ибо я о них сожалею.

Таке Ионеску[1]

Я нахожу, что яростный атеизм сегодняшних активистов значительно более практически «оправдан», нежели в начале революции. Тогда религия была «опиумом для народа», сегодня, наоборот, в своем новом (политическом) обличье религия превратилась в «опиум для вождей народов»; церковь — институт, который следует срочно заменить (разрушить всегда легче, чем найти замену), поскольку клир является пропагандистским корпусом, пользующимся в народе большим авторитетом.

Сегодня все ухудшилось: заблуждение, вылившееся в ошибку, привело к катастрофе; беда еще не миновала. И тут мало самокритично выражать сожаление, мало перестройки и гласности: в истории был совершен гигантский грех против морали (например, Ялтинские соглашения); половина земного шара стала жертвой бесчисленных преступлений, предательства, ренегатства; будь мы подлинными христианами, нам всем, сверху донизу, от палачей до жертв, следовало бы испытывать чувство *Раскаяния*.

* * *

Э. Чоран: Мне удалось достать только две его книги: «Précis de décomposition» и «Histoire et utopie»[2].

Если сравнить его с Благой[3], я бы назвал его превосходным каменотесом. Однако он никогда не построит собора. И даже собственного дома. Не знаю почему, мне он напоминает престарелых пенсионеров, которые за много лет до конца своего земного существования, наслаждаясь свободой и безмятежностью, с фанатизмом и тщанием готовят себе склеп и размышляют над завещанием. Хотя не имеют наследников.

Философия становится философствованием ради философствования, как только текст становится литературой, а метафоры — просто стилистическими находками. Чоран — великий поэт языка (и через язык — мысли), и он сделал своим коньком и стилем своей жизни преодоление искушений и соблазнов исчезнуть, покончить с собой.

Кто еще верит ему? Весь мир его смакует. Кого он убедит? Весь мир знает, что он великий жонглер, канатоходец, скоморох смерти. Иконоборец от философии, он из отбитых им же осколков, с прекрасным знанием дела, бессознательно строит себе образ собственной своей судьбы, утопию собственного спасения.

* * *

Жюльен Грин[1] пишет в своем дневнике, будто в России существовала религиозная секта, в которой практиковался ритуал *кастрации*. В момент операции юноша восклицал: «Прощайте, звезды, озера, прощайте, леса!» (Вместо того чтобы кричать: «Прощайте, женщины, девушки» — ведь целью кастрации было избавить юношу от женских чар.)

Ужасно. И символично. Без эроса не существует жизни, не существует мира. «Где нет любви, нет ничего!», как сказал наш великий моромет Марин Преда[2].

Не могу не думать о философской и религиозной кастрации, то есть о ритуале ухода в монастырь или вступления в партию. «Прощай, свобода, до свидания, слава, доброй ночи, правда!» Всякое неколебимое убеждение является экзистенциальным насилием; и всякая бесповоротная приверженность одной идее означает именно кастрацию того органа, с чьей помощью мы различаем идеи, которыми живем.

* * *

Ecrire, s'est tuer la mort.

Cocteau[3]

В моей беспутной, трагически растраченной молодости меня призывали в армию, и я шел, потом дезертировал и снова шел служить; я умирал и воскресал, и почему-то у меня то и дело болели зубы. Тогда, в свободное время, я жадно, запоем читал, постоянно опасаясь, как бы у меня не отняли книгу, как бы не прозвучал сигнал тревоги. «Писание» я ощущал смутной болью под ложечкой, оно, точно земля обетованная, всегда манило, но было далеко и недоступно.

Между 1950 и 1955 годами я экспериментировал: писал редко, урывками, учено, не имея

---

[1] Думитру (Таке) Ионеску (1858—1922) — румынский политик, лидер консервативной партии, премьер-министр Румынии (дек. 1921 — янв. 1922). В 1907 г. — один из инициаторов подавления крестьянского восстания, в 1921—1922 гг. участвовал в создании Малой Антанты.

[2] «Уроки распада», «История и утопия» *(франц.)*.

[3] Лучиан Блага (1895—1961) — румынский поэт и философ.

[1] Жюльен Грин (1900—1998) — французский писатель. В 1938—1958 гг. издавал «Дневник» («Journal. 1938—1958»), посвященный преимущественно религиозным размышлениям.

[2] Марин Преда (1922—1980) — румынский писатель, автор романа «Морометы».

[3] Писать — значит убивать смерть. — *Кокто (франц.)*.

компаса и не видя цели, а судно, на котором я плыл, было плотом «Медузы»[1].

Два года (1955—1957) я писал ежедневно как одержимый на чердаках и в подвалах, в корчмах и на службе. (Все это погибло, было сожжено после моего ареста.)

В тюрьме и на шахте в течение семи лет я рассказывал — и то, что когда-то написал, и то, что продолжало вариться в моем воспаленном мозгу; но было полное ощущение, что я попал в полосу неудач.

Теперь уже лет десять (точнее, со 2 августа 1977-го, с того дня, когда я был «отчислен» и со мной обращались, как с конокрадом) —теперь, если я не пишу, то ощущаю необходимость принять цианистый калий или отравиться газом. В свободное же время я читаю, живу, думаю. Но теперь мое писание есть не что иное, как средневековое «ars bene moriendi»[2].

* * *

Время — время года — смерть. Вся научно-фантастическая литература едва ли не апокалиптически одержима идеей Времени и Пространства. Время как пространство, пространство как время <...> Говорится даже об «изобретателях нового времени». Я встречал различное понимание физического времени (человеческого), математического (бесконечного), библейского (божественного). Если можно выйти из пространства, то почему нельзя выйти из времени?

В Апокалипсисе ангел воскликнул: «Времени уже не будет!» — но мы верили этому настолько же, насколько верим Марксу, прокричавшему после 1848 года, что не будет государства. (Если «страна» — историческое производное Пространства, то «государство» не может быть не чем иным, кроме как производным Времени.)

Но старость (которая не является возрастом — это осознание прошедших или потерянных возрастов) заставляет меня в минуты трудного подведения итогов употреблять в качестве производного священного и мирского времени такие понятия, как: *глупое время, суррогат времени, псевдовремя, аут-тайм, минус-время, время мимолетных удовольствий, прошедшее время будущих удовольствий, время чистилища, время, подобное аду, Его время и т. д.*

* * *

Прочел «Istoire de croyance et des idées religieuse»[1], тт. I и II Мирчи Элиаде. Нахожу у себя глупые и очень субъективные заметки, сделанные ночью, сразу по прочтении:

«Библиографии столько, сколько звезд на небе. После трех информаций, найденных или добытых из книги, должен сделать заключение: 30 000 приведенных в ней цитат позволяют мне сказать, что я уже ничего не знаю или ни во что не верю. Гигантский объем материала убивает. Существует грех информации, бред библиографии. Цитата, подобная следующей: «Жители Калоса разговаривают с деревьями» — приводит меня в экстаз, я думаю о лесе, о любви, о свадьбе на небесах. А он спешит дальше, он уже в Австралии, у бушменов, а потом снова возвращается к культу камней у арабов и кельтов.

Он давит меня и унижает. Он обращает меня в ничто. Этим наводнением религий, бесконечными информациями (только информациями) о религиях он убивает во мне мое примитивное (и священное) религиозное чувство.

Когда он, Мирча Элиаде, будет умирать, как позовет он ЕГО? Каким именем, на каком языке? Что касается меня, то я, чтобы не заблудиться в джунглях истории религий, когда придет мой смертный час, прошепчу только «Мама».

* * *

Что такое интеллектуал? В этюде, написанном в 1945 году, я попытался средствами обыкновенного эссе наметить некоторые вехи, обозначающие ясность сознания, — в противоположность той драматической путанице в умах, которая последовала за жестокими годами войны и 23 августа[2]. Если не ошибаюсь, я выдвинул тогда четыре или пять условий sine qua non[3] и признаков интеллектуала (реального и воображаемого):

1. Быть интеллектуалом (и это никак не связано с обладанием дипломом, подтверждающим наличие профессии или специальности) означает в первую очередь иметь *ясный взгляд* на основные события, происходящие вокруг.

2. Быть свободным в своих мыслях, идеях и делах, а также в определении ценностей. То есть выбирать беспристрастно, спокойно, без предрассудков наилучшее решение — не для себя, а для народа, частью которого он является, — не в непосредственном настоящем, а заглядывая как можно дальше вперед, в будущее, ко-

---

[1] Когда в 1816 г. корабль «Медуза» потерпел крушение у берегов Африки, его пассажиры тщетно пытались спастись на плоту. Этот сюжет использовал французский художник Теодор Жерико (1791—1824) в своей знаменитой картине «Плот Медузы».

[2] Искусство хорошо умирать (*лат.*).

[1] «История верований и религиозных идей» *(франц.)*.

[2] 23 августа 1944 г. — день, когда Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

[3] Непременных (*лат.*).

торое можно вывести логически, социологически и политически из имеющихся в его распоряжении предпосылок.

3. Оставаться непреклонным, *смелым солдатом* в борьбе за конечные ценности (Правду, Добро, Красоту) — чтобы их не убили или злодейски не подменили на материальные: экономику, политику, сиюминутную дешевую пользу.

4. Не терять любви к *простому народу*, к его реальным ценностям и нуждам — в рамках морального социализма, чурающегося партий и открытой политики.

5. Судить об *истории твоей страны* без комплексов (без высокомерия и уничижения), без гнева и мстительности, отвергая как национализм, так и злобный догматический космополитизм.

* * *

Несколько лет тому назад мне шепотом рассказали следующий анекдот: один журналист отправился на поиски счастливых рабочих. В Германии рабочие вышли на демонстрацию: они требовали, чтобы пятница тоже была свободным днем. В Америке — забастовка: рабочие хотят получать тринадцатую зарплату. В Англии — скандал: рабочие вообще отказываются работать... Только в Румынии большое веселье, танцуют хору, ликуют. Почему? «Кости дают, дают кости!» — выкрикивает один из танцующих.

На днях в другой очереди я слышал похожий анекдот, вернее, вариации на ту же тему.

Поздно вечером в окно к тетушке Виктории стучит детский пальчик. «Ты что, Георгицэ?» — спрашивает тетушка Виктория. «Мама прислала меня узнать, кончили ли вы варить суп». — «Кончила, Георгицэ». — «Тогда мама просит вас одолжить ей кость. Она тоже собралась варить суп».

Зловещий, идиотский анекдот. И все же — в самую точку. Я знаю кое-что о смехе и слезах, и я пугаюсь, когда слышу этот vox populi[1]. Мне кажется, привыкание к нищете вещь более опасная, чем сама нищета; а ведь эти немудрящие анекдоты доказывают, что мы давно ушли от реального факта нищеты и от ясного его осознания; мы перешли даже собственно стадию смеха, мы находимся на последней стадии отчаяния: мы смеемся над *собой,* мы размышляем о себе, мы уже не оплакиваем *себя*. Возвратно-страдательность этих активных глаголов вырывает нас из реальности и отбрасывает назад, во мрак Средневековья, к неизлечимой и безграничной покорности.

[1] Глас народа (*лат.*).

(Моя жена Лимпи спешит: *обещали выдать яйца!* В магазине «Диадема».)

* * *

Я не современный писатель и не современный читатель. Читаю много, но мой выбор инстинктивен и вкусы сформировались в детстве и сохраняются по сей день. Они не подвластны моде или снобизму: Пруста я прочел лишь в том возрасте, когда почувствовал, что на самом деле понимаю его без труда, без критических подпорок, что он доставляет мне наслаждение. (Как спокойное море, по которому я могу без опаски пуститься вплавь.)

Великих классиков прозы и театра я читал дважды: первый раз в молодости (это было знакомство) и второй раз в старости (когда, полагаю, понял их). Между этими двумя чтениями в моем случае, да и у многих людей моего поколения, пролегли жестокие годы и суровые испытания, типичные для востока (Европы): тюрьма и вытеснение на обочину жизни. Подобный стресс, подобные моральные и метафизические страдания не могли не изменить для меня категорий и оценок. «Бесы», прочтенные в двадцать пять лет, были для меня интересным и глубоким синтезом русской души; сегодня книга представляется мне библейским пророчеством, песнью антипесней, апокалипсисом нигилизма и жестокости самого удела человеческого. Палачи в этой книге представляются мне теперь архетипами мира, в котором я жил (сам того не зная), в котором живу и в котором, к сожалению, окончу жизнь...

* * *

Может ли быть будущим исправленное настоящее?

Может ли быть счастьем отсутствие сиюминутных несчастий?

Можно ли считать благоденствием отсутствие голода, холода, страха?

Можно ли считать демократией всеобщее равнодушие к неравенству и власти?

Можно ли считать свободой, когда правду говорят без страха?

Можно ли сказать, что собака на цепи это просто цепь на собаке?

Суета сует! В течение сорока лет талдычим одни и те же глупости. Будущее, счастье, благополучие, свобода, демократия (да и собака на цепи) — не что иное, как мумии, забальзамированные по науке и выставленные в склепе истории на какой-нибудь красной площади, а мы проходим перед ними и делаем вид, что плачем и верим. Чем думать об этих трупах XX века, перепишу-ка я лучше набело восхитившую

меня английскую фразу: Our disgusting yesterdays[1] (Эмерсон).

У нас, румын, нет множественного числа таких слов, как «вчера», «сегодня», «завтра». У всех западных народов они есть; и народы эти умеют ими пользоваться.

* * *

«Для пролетария, — говаривал отец, — национализм — пьяная чушь; для рабочего национализм — роскошь, без которой можно обойтись». (Отец называл «пролетариями» поденщиков, не членов профсоюза, а «люмпен-пролетариями» были для него безработные, батраки, пьяницы, бродяги, то есть те, кому не повезло.)

Я вспоминаю маминого брата Алоиза Гласера. С войны он вернулся хромым, был возчиком у еврея-трактирщика, пил в одиночку и размышлял. Отцу дядя Лойза очень нравился, особенно за утверждение, что после распада Австро-Венгрии он потерял национальность. Теперь он и не чех, и не немец, и не венгр, хотя был и тем, и другим, и третьим.

«Господа, — рассуждал дядя Лойза, — имеют право переходить от одного короля к другому, из одной партии в другую; следовало бы и нам переходить из одного языка в другой, из одной национальности в другую. Видишь ли, румыны мне надоели, *я увольняюсь из румын*, уезжаю... Поищу себе другую страну, другую национальность...»

Умер он в страшной бедности где-то в Австрии, в Бургенланд. Как и моя мама, он свободно говорил примерно на пяти австро-венгерских языках.

Когда я плакался маме, что меня выгнали из Театра, она со спокойствием видавшей виды крестьянки говорила мне так: «Если тебе не дадут писать на румынском языке, *увольняйся из румын* и перейди к другому языку. Нигде не сказано, что мы должны умереть с тем языком, с которым родились».

* * *

Поспешная, взрывная весна, настоящее чудо. Точно нежданное нашествие ангелов. Яблони в цвету, как невесты.

Я вспомнил, что случилось у меня за окном однажды ночью, в минувшем феврале. Под бременем тяжелого, мокрого снега сломалась моя любимая плакучая ива. За несколько дней до этого, глядя в окно на наш дворик, я заметил, что все деревья, кроме моей ивы, сбросили листья, а на ее ветвях еще сохранилась листва, желто-коричневая, почти черная, и все же листва была. В момент, когда сломалась крона, все эти увядшие листья *внезапно зазеленели*. Я спустился, чтобы потрогать их. <...> Это было чудо: казалось, передо мной одна из потрясающих метафор Священного Писания.

Сломанную иву подпилили. «Специалисты» нашего двора уверяли, что она мертвая, совершенно сухая... Но на третий день из этого мертвеца брызнуло множество почек. Они стали набухать, прорастать, тянуться к солнцу. Я смотрю в окно, радуюсь, и мне хочется запеть: «Христос воскресе!»

* * *

Идея, которой одержим «сын мой» Кандид: «любая власть — «правая», а «левые» только вдовы, бедняки... да книжники, вроде тебя».

Думаю, он прав. Человек, в равной мере сын Природы и Истории (пасынок Создателя), в момент, когда он получает власть бóльшую, чем ему подобные в той же группе людей, начинает командовать, диктовать и решать все, что касается судьбы и хлеба других; он хочет сохранить эту функцию навечно и чтобы весь мир ему рукоплескал.

Народ (или этнос), который полагает, будто он возвеличен Историей по сравнению с соседями, друзьями или врагами, считает себя обязанным непременно спасти мир, навязать новое мировое устройство, послать своих солдат и свои лозунги за горы и долы.

Власть — тайна алхимиков, благодаря которой фашизм и коммунизм сходятся; она же заставила Церковь взять на вооружение меч и костер (для еретиков).

Противоположность *силе и власти* — не слабость и бедность или смиренная и бессильная скромность, а *народ*, этот великий неизвестный, великая жертва, великий одураченный из комедии, которая называется прогресс и мир.

* * *

Слово «свобода» в несчастном румынском языке сегодня становится все более чуждым и неясным неологизмом, употребляемым лишь из соображений демагогии и в целях пропаганды. Практически мы всегда переживали моменты свободы, только когда могли как-то *освободиться* (от хозяев, армии, поставок, тяжкого труда, тюрьмы и т. д.).

Что касается этих «упражнений в ясности», то мои «освобождения» предполагают:

— отрешение от исторического времени и географического пространства, в котором я родился и вырос;

— устранение различных идолов (они досадно размножились), определяющих мои суждения и предрассудки;

---

[1] Наши отвратительные вчера *(англ.)*.

— намеренное забвение почти всего, что я читал, чему учился, что слышал, чему подражал или с чего обезьянничал;

— развитие моей глубинной архаической основы крестьянина-раба, бедного, несчастного, который <...> думает о своей судьбе и рабстве, не гневаясь на небо и без ненависти к окружающим.

Я погибаю. Эти «упражнения в ясности» — я отдаю себе отчет — не претендуют на звание эссе и, возможно, не будут собраны в книгу; их цель — лишь трезвая подготовка к смерти. Радость каждой строки — это ежедневная радость держать в руке перо и видеть детей, деревья, небо, которое я все еще могу разглядеть из окна моей темницы.

* * *

(Нет газа, гаснет свет, весь день выключают воду.)

Смиренно и просветленно читаю дневник Льва Толстого. Не обращаю внимания на чересчур субъективные суждения о таких гениях, как Шекспир, Гёте, Данте и т. д. Он был по-русски одержим моралью и идеей очищения от грехов; он был русский, ужасно русский, очень христианин, ужасно христианин, страстный и догматичный, и все же терпеть не мог официальную церковь. Он был одержим идеей, что Искусство как средство (а не как цель) может просветить, спасти людей и сделать их лучше.

Ежевечерне он беседовал со своим Богом (вроде как отчитывался перед ним). Он ненавидел все в своей душе, что не было любовью, страданием и прощением. Мне кажется, что в своей стране он был самым непокорным умом эпохи, он вел непримиримую борьбу с церковью, царем, армией, подлецами, хамами и невеждами.

«Единственное и верное спасение от всех горестей: осознание своего посланничества, забота, сделал ли то, на что послан» (17 февраля 1897 г.).

При нашем одичании, когда не происходит ничего, кроме смерти, событиями становятся сны (приключения, путешествия, невозможные встречи и т. д.), о которых — в той мере, в какой мне удается спасти их от небытия и забвения, — я пытаюсь рассказать, которые я анализирую, переводя их с чужого, неведомого языка.

Одно приводит меня в недоумение: почему никогда мне не снилось, что я читаю, пишу. Не снилось ничего, что связано с библиотекой, письмом, книгами, хотя, полагаю, эти занятия занимают важное место в моей жизни. А сны мои все больше о детстве, тюрьме, эросе и связанных с этими навязчивыми идеями травмах; снилось мне, что меня снова преследуют, арестовывают, приговаривают и ведут... Я теряю все вещи, не могу найти дорогу, не могу бежать, переплываю широченную реку; прячусь на вокзалах, родители делают вид, что не узнают меня, сестра плачет у ворот...

Но почему ничего о главном увлечении моей жизни, о моем деле, о книге? Иногда мне снится, будто меня вызвали к доске, и я вновь переживаю ужас, что не смогу решить задачу; иногда — будто я напрочь забыл роль на сцене. <...>

Хотя я с десяти лет читал запоем, хотя тяжко страдал, утратив свою прекрасную клужскую библиотеку, беды, связанные с любимыми книгами, никогда не снились мне. Быть может, мои книжные приключения сами по себе *всего лишь сон,* и потому им нечего делать в моих ночных снах? Не знаю!

* * *

Вчитываясь внимательно (и все более субъективно) в «Дневник» этого гиганта Льва Толстого (думаю, что Человек в нем даже более велик, чем писатель), я понимаю, как смерть мало-помалу, день ото дня, каждое мгновение все более завладевает его существом. Жизнь начинается с игнорирования смерти, продолжается борьбой с ней, а к старости происходит ее приятие, смирение перед ней и даже любовь к ней и ее ожидание. <...> Мы совершенно ничего не знаем о ней — всего лишь несколько мифов, поверий, надежд и упований. А дальше — ничего наверняка. (Даже Христа на кресте охватил страх, сомнение, чувство покинутости: «Лама самахфани?»[1]).

И все же не случайно старик Толстой внимательно, почти с научным интересом рассматривает некоторые свои сны. Например, сон о том, как брат пригласил его на охоту. Отправляешься на охоту, но вместо ружья берешь с собой кларнет. Пытаешься стрелять — из кларнета не постреляешь. Брат дает тебе ружье и — БУХ! — ты просыпаешься, разбуженный стуком ширм, которые стояли против окна и упали, поваленные ветром.

То есть весь сон был *подготовкой* к этому звуку. Или весь сон случился сразу, в одно мгновение с шумом. Или шум произошел из-за сна, как своего рода приложение, принадлежность сна. Или шум во сне всего лишь дублирует реальный шум?

Или... вся наша жизнь — всего лишь сложный и глупый сон (почему с кларнетом на охоту?), при помощи которого мы фатально продвигаемся к заранее подготовленному двойно-

[1] «Или́, Или́! лама́ самахфани́? — «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Евангелие от Матфея, 27. 46).

му убийству: тела и души. «...Из жизни мы просыпаемся в смерти, — говорит Толстой, — и только тогда нам становится ясно, что спало и что пробудилось в смерти».

* * *

Целый месяц не мог писать (читал разные историйки и всяческую дребедень), а теперь взялся перечитывать «Le nom de la rose»[1] и понял, что человечество на самом деле существует под знаком Каина. Постоянно брат убивает брата, а Бог, равнодушный, ленивый или бессильный, по ту сторону добра и зла, взирает на нас, удивляется и говорит: «С точки зрения морали от вас нет никакого проку, вам нужен был Варрава, так разделите его долю!»

Как много общего между средневековой религией и политикой наших дней, между монашескими орденами и партийными активистами и догматиками! И я сказал себе: пока стоит мир, борьба между бедными и разбогатевшими будет вестись всегда, поскольку человек — зверь, и хотя у него есть религия и способность философствовать, он, при всех «научных» и теологических аргументах, способен убивать, сжигать, разрушать. <...>

* * *

Уже две недели болею, не знаю, что со мной — какой-то вирус, простуда, грипп. В прошлом году в подобной ситуации прочел много книг о варварских нашествиях, об азиатской резне: Чингисхане, Тамерлане, Атилле и т. д.

Сейчас «балую себя» чтением сочинений о Гитлере, Муссолини и компании; вчера кончил книгу о Канарисе, написанную чехом Кокошкой.

Отчаяние и протест (бессильный), охватывающие меня в результате такого чтения, связаны отчасти с уверенностью, что все эти цезари и криминальные магнаты истории — на самом деле абсолютные посредственности: фанфароны и парвеню, без образования и культуры. Даже Геббельс и Чиано (граф и зять).

Надо прочесть серьезные трактаты об идее *власти,* не может быть, чтобы не существовало трудов, анализирующих феномен порабощения власть имущих их собственной властью. Потому что теперь, в конце этого несчастного XX века, стало ясно — даже когда речь идет о наиболее «закрытых» диктатурах, — что любая абсолютная власть в условиях полицейского надзора, осуществляемого современной техникой, автоматически и непременно ведет к преступлению и рабству. Мне представляется просто дьявольским полное равнодушие великих диктаторов в отношении человеческих жертв. Муссолини, вторгшийся во Францию («le coup de poignard»[1], как назвал это наш добрый профессор и наставник Анри Жакэ), говорил своим генералам: «Мне понадобится не менее десять тысяч мертвых». Гитлер с гордостью заверял в 1941 году, что все его завоевания до тех пор стоили всего-то безделицу — каких-нибудь триста тысяч убитых.

(Любой диктатор становится неосознанным палачом — он уверен, что ОН, ОН один, стоит всех этих жертв. В Средние века считали дьявола магом, философом; в наш век он предстает не иначе как классик, обучающий нас тому, что такое революция и как обосновать тотальную и тоталитарную диктатуру во имя счастья и светлого будущего...)

* * *

Помню, как потрясло меня утверждение: «Начавшие войну чаще всего ее проигрывают».

Почему немцы не обратили внимания на эту истину? Они начали и первую, и вторую мировые войны, и обе проиграли. («Поднявший меч от меча погибнет»?)

В самый раз себя спросить: применим ли этот моральный закон, дарующий победу тому, на кого нападают, а не тому, кто нападает, — приложим ли он к классовой борьбе? Уж не приводит ли любая социальная революция к тому, что безобидного императора сменит другой, который пустит страну под откос? А на место мелкой, с ограниченными аппетитами буржуазии не придет ли алчная и криминальная?

* * *

Из всех моих мест заточения Крайова представляется мне самым жестоким и самым абсурдным. Потому что оно пожизненное. Я имею право на посылку, на свидание, на прогулку, но никто не посылает мне посылку, никто не приходит на свидание, и даже на прогулку я хожу всегда один, всегда один, один. Вот уже почти пятнадцать лет (до 1972 года мне было с кем поболтать и посидеть в корчме) никто из друзей не переступал порог моего дома; да и нет у меня друзей в этом городе («самом большом университетском селе страны» — знаменитость его университета свелась к знаменитости футбольной команды), есть всего несколько благоразумных знакомых да соседи и коллеги, уважительные, но робкие. Никто не спрашивает моего мнения; ужасно быть старым, весьма образованным учителем в городе, где, согласно молчаливому полуофициальному уговору, надо ходить с погашенной свечой и жить в пол-

[1] «Имя розы» *(франц.)*. Роман Умберто Эко.

[1] Нож в сердце *(франц.)*.

ной изоляции, подобно Робинзону на острове теней и всеобщего беспамятства. Есть у меня и святая Пятница, моя преданная супруга, она — посланец румынского языка, призвана развлекать меня и хранить от самоубийства или — и того страшнее — от воплей и безумия.

Я написал в этом городе десять книг, готовлю еще три или четыре; мои пьесы и романы — даже опубликованные, — как и меня, терпят, хотя они находятся под подозрением.

Мы вместе ждем амнистии или помилования.

Бегство исключено.

* * *

<...> За свою жизнь я знал столько диктатур (Антонеску, Гитлер, Сталин, Деж, Хрущев, Брежнев, Чаушеску), что, думается, имею право высказать несколько идей, вместо завещания или *прошения об увольнении* — из этики, своего класса, века, жизни...

— Все диктатуры, даже самые маленькие, по существу империалистичны: они не довольствуются управлением армией, внутренними, внешними делами и финансами, а хотят непременно командовать образованием и культурой, детьми и предками, хотят навести порядок в истории, на Небе — с богами, в каждом индивидуальном сознании, в каждом кошельке...

— Политическая сила дублируется политической армией, власть которой бесконечна и никак не контролируется; ее методы радикально меняют определение и структуру преследуемой цели: народ становится подозреваемым меньшинством, за его мозгами упорно охотятся (благо, исторического времени хватает), охотятся до тех пор, пока не уничтожат, не обезличат или не заставят служить себе и примириться с постоянным давлением на сознание и окончательным превращением его в догматическое, подлое и оппортунистическое.

— Абсолютно все ценности, богатства и правовые нормы, подчиненные этому всеобщему политическому насилию, после краткого периода мнимых успехов становятся тем, чем они являются на самом деле: фальшивками, кичем. Таким образом, у нас индустрия — кич, сельское хозяйство — кич, фольклор — кич, градостроительство — кич, молодежь, театр, даже жизнь — кич. Вплоть до священников, учителей и писателей — все кич.

* * *

Я больше не верю в стиль, для меня стиль означает отношение — к родине, к народу, к человечеству, к истории, к духу. Перед лицом Правды, а не правд.

Человек, понимающий, что у него рак и он скоро умрет, думает, говорит и видит сны по-другому, чем человек здоровый, который знает, что ему жить еще долго.

Я не чувствую себя больным, но осознаю, что являюсь злосчастной клеточкой усталого, больного организма, приговоренного не к смерти, а к *гибели*. Куда бы я ни посмотрел, во всем я вижу неизбежность небытия: в глазах детей, начальников, тупой толпы, даже в небесных знамениях, в листве или в дожде. Будь я помоложе, будь у меня силы, чтобы страдать красиво и достойно, пока приговор не приведен в исполнение, я поискал бы знакомую тропинку и пошел бы по ней к смерти, ведомый гордостью, уважением к моим родителям и учителям, — тропинку не к брату-бору, а к сестре-тюрьме, куда-нибудь к Жилаве или к Герле[1], к тому единственному месту, где я познал романтический свет по-настоящему реального социализма.

Но я стар и болен, я скончаюсь в пути.

Моя жизнь была глупой чередой бессмысленных жертв, не доведенных до конца, терпевших неудачу всякий раз в финале.

* * *

Забвение, стирание из памяти всех слов, наваждений, идей, которые мне удалось записать, сформулировать письменно. Анатоль Франс обратил внимание на этот парадоксальный феномен: подчеркиваю в книге основные идеи, чтобы, возвращаясь к чтению, быстрее отыскать в ней существенное, но констатирую: все, что я подчеркнул и отметил, совершенно стерлось из моей памяти, я гляжу на собственные заметки, словно они и не мои. Кажется, будто в памяти, словно в зале ожидания, сохраняются живыми, присутствуют только те идеи, у которых еще нет билета на письменное выражение, которые были сформулированы лишь устно, то есть которые еще не прошли через память ad actam, ad scriptae[2] ради забвения.

Почему, например, во Франции и вообще на Западе жизнь лишена болезненной политической остроты? Потому что все записано, все, что наболело и болит, перенесено в книги, библиотеки, газеты, журналы и т. д. Любая проблема, о которой пишут, снимает с наших плеч боль и ответственность.

Более свободная пресса — как, например, венгерская — способствовала росту апатии, безразличия в обществе. Зло, о котором написано *и в газете,* не стоит того, чтобы о нем спорить шепотом, исподтишка. Когда наши братья коммунисты поймут очищающую роль свободной прессы, позорное прошлое и потрясающее будущее начнут забываться.

---

[1] Румынские тюрьмы.

[2] Запротоколировано, записано (*лат.*).

* * *

Есть у меня один персонаж, он не дает мне покоя: своего рода коллега или сосед, я называю его «господин Нимбус». Как и я, он одинок, покинут и несчастен.

Встречаясь, мы часами говорим об уголках Лондона или Лисабона (в деталях описывая дома, кабачки, сады и т. д.), потом, с небрежностью великих путешественников, перемещаемся на Гавайи, в Гонконг, Вену или Сигет. Мы спорим, ругаемся, вспоминаем детали, уточняем. (Вроде таких: «Ошибаетесь, коллега, этот музей в Танжере находится не в старом городе, он на берегу моря и называется Касб-ал-Ухыр». Или: «Это правда, у индейцев Мату-Гросу существует традиция: муж женщины, на которую напал и которую изнасиловал друг семьи, посылает на следующий день после случившегося этому другу, сделавшему его рогоносцем, подарки».) <...> Так мы прогуливаемся по Южной Америке, по Трансваалю или островам Фиджи; мы оба влюблены в город Сан-Паолу, мы долгие годы жили в фавеле[1] — какая там жизнь, какие люди, какие нравы! Оттуда мы быстро перемещаемся в Тироль или Самарканд, вспоминаем названия улиц, обычаи, красоту местных пейзажей, общих друзей.

Мы выдумываем, фантазируем, заливаем хором: ни один из нас нигде не был. Я много читал, и он читал порядком, мы оба были только в Ораде да в Браиле, и то проездом, но об этих городах мы не говорим. Расставаясь, мы чувствуем себя очень усталыми, будто только что закончили длиннющее и трудное путешествие.

Сейчас, когда литература стала индустрией и объектом потребления, когда на нас пролился муссонный дождь молодых талантов, когда появились тысячи поэтов, прозаиков (однако очень мало драматургов, этот жанр был злодейски убит режиссерами спектаклей и фильмов), когда концепция литературы как искусства была расширена безумно и беспредельно (например, Камило Хосе Села писал: «Роман уже не имеет определения, так что любое литературное произведение с подзаголовком «роман» и есть роман»), — в этих условиях принадлежащее прошлому веку определение таланта как прирожденной живости слога и богатства воображения следует считать устаревшим. Мне представляется, что, по крайней мере у нас, талантами могут считаться лишь те одержимые одиночки и все реже встречающиеся личности, *обладающие характером и большой смелостью,* которых любят посещать идеи и у которых есть — пока еще есть — способность воспринимать и перерабатывать свет и откровения извне и сверху. *Талант* сегодня, у нас, мог бы быть чем-то вроде радара, способного принимать в границах своего поля зрения и выражения великую боль, трагедии и комедии, угрожающие миру и жизни.

* * *

Горбачев будет принесен в жертву. Нельзя быть одновременно Джордано Бруно и Великим инквизитором, священником и Мартином Лютером. После семидесяти лет догматического бреда явился очень умный и здравомыслящий русский и сунул палец в рану. Однако ран-то много, и они страшно глубоки и застарели. Иные мне представляются неизлечимыми.

Но открылся ящик Пандоры, теперь ветерок свободы дует только в прессе, на заседаниях, за границей; уровень жизни постоянно падает, бюрократы твердо уверены, что «подобное невозможно, что это означает конец Великой России и интернациональной революции».

Перечитываю «ГУЛАГ» Солженицына (по-английски). Только сравнивая океан страданий, принесенных революцией, с дуновением горбачевского ветерка, понимаю, что Советский Союз существует (и он таков, каков есть), что советский человек — реальность и что реформа сверху не может исправить революцию снизу.

* * *

Я потерял — увы! вот что я потерял:
Теплый очаг, торную дорогу[1].

Л. Блага

Поздней ночью, в Великий четверг 1989-го, я с ужасом и содроганием понял, что *окончательно* потерял множество ценностей и реальностей, составляющих органическую часть моего существа.

Я потерял «владения» моего детства — не только пейзаж, реку, горы; не только родителей, родных, друзей, но также Небо, трансценденталии, субстанции и сущности, с помощью которых функционировал интеллектуально.

Я потерял веру в философию, в священников, в политиков; веру в убеждения, идеалы, ценности-цели; потерял всякую веру в Человечество и Историю; Европа для меня сейчас, в конце века — дым, обман.

Я окончательно потерял свою гражданскую, социальную, этническую, религиозную гордость; мне противен мой род, а Балканы представляются просто плевательницей великих держав.

Я верю только в Язык, Доброту, Самопожертвование. И с их помощью, снова и снова, как дитя, восстанавливаю игрушку, которую зовут НАДЕЖДА.

Составление и перевод с румынского
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

[1] Трущоба *(португ.)*.

[1] Подстрочный перевод стихов.

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: КРУГ МНЕНИЙ

1. С чего началось и как развивалось Ваше знакомство с зарубежной литературой?
2. Творчество каких авторов, какие книги оказались для Вас принципиально важными?
3. Главное, на Ваш взгляд, событие мировой литературы этого столетия.
4. Дутые величины и недооцененные авторы в зарубежной литературе XX века.
5. Обоснованны ли разговоры о кризисе мировой литературы?
6. Отдаете ли Вы предпочтение какой-либо определенной национальной культуре?
7. Как Вы оцениваете воздействие зарубежной культуры на современную отечественную?
8. Как влияет Ваша профессиональная деятельность на восприятие литературы?
9. Ваши открытия последних лет в области зарубежной литературы.
10. Назовите, пожалуйста, книги, без которых, на Ваш взгляд, немыслим круг чтения в детстве, отрочестве, юности.
11. Что бы Вы могли посоветовать журналу «Иностранная литература»?

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ, поэт

1. С «Гека Финна». Прочел его лет восьми в старом, еще дореволюционном переводе, после «Лорда Фаунтлероя», и «Маленьких женщин» — все они выходили в одной серии, но все-таки разобрался, что чего стоит, и это, как мне кажется, определило мое последующее отношение к литературе.

2, 10. Естественно, что журнал в первую очередь интересуют иностранные писатели, поэтому о русских говорить не буду. Больше всего мне понравились «Дон Кихот», трагедии Шекспира, «Фауст», «Манон Леско», «Пармская обитель», «Повесть о двух городах», пьесы Ибсена, «Боги жаждут». Впрочем, всего не перечислишь.

Подробнее хочу рассказать о Хемингуэе, которого прочел в семнадцать лет и который, как ни странно, оказал на меня огромное, затяжное влияние. Особенно его «Прощай, оружие!». Меня долго потрясали фразы: «Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты не то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки». Или: «Меня всегда приводят в смущение слова «священный, славный, жертва»... Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство». Я их знал наизусть, как стихи, потому что они совпадали с моими тогдашними настроениями. У меня довольно рано пропало желание «каплей слиться с массой», и Хемингуэй помогал мне сохранять себя и в Литературном институте, и в армии, да и просто в разных жизненных обстоятельствах.

Лет десять назад я перечитал «Прощай, оружие!» не без чувства некоторой неловкости. Однако все равно не жалею о своем столь долгом увлечении. Как бы там ни было,

---

Продолжение. Начало см. «ИЛ», 1998, № 7, 10; 1999, № 2.

этот писатель мне здорово помогал, причем в жизни больше, чем в литературе. И все же Хемингуэя я больше не перечитываю, мне хочется верить, что «Фиеста» — хороший роман, никак не хуже «Великого Гэтсби».

3. «Улисс» Джойса. Подобно стихам Хлебникова, эта книга скорее для пишущих, чем для читающих. Но она открыла невероятные возможности прозы.

4. На мой взгляд, Воннегут и Умберто Эко. Недооценен, как мне кажется, даже несмотря на Нобелевскую премию, Сол Беллоу.

5. К сожалению, обоснованны. В России, судя по всему, читают все меньше. По-видимому, для многих художественная литература была *источником сведений*, а еще и *способом объединения, своеобразным паролем.* Нынче информацию можно получить иным, более коротким путем, и *объединяться* или *разъединяться* можно, минуя художественную литературу.

И все же мне кажется, что истинный читатель через героев художественной литературы постигает в конце концов самого себя. Флоберовское «Эмма — это я» сказано не только о пишущих, но и о читающих. В высшем смысле прозаическое произведение всегда *роман воспитания*. Поэтому, на мой взгляд, кризис мировой литературы, хоть и может продлиться несколько десятилетий, все равно носит временный характер.

И вот что еще хочется добавить: любовь к литературе невозможна без любви к слову. Как писатель, равнодушный к слову, не может считаться писателем, так и читателя, безразличного к слову, вряд ли назовешь настоящим читателем. Поэтому нечуткий к слову читатель ничем не лучше глухого меломана или дальтоника, коллекционирующего картины.

6. В XX веке, безусловно, английской и американской литературе. Думаю, дело не только в том (хотя и этого не сбросить со счетов!), что англичане и американцы переводились на русский язык в основном лучше, чем французы или немцы. Но, главное, в английских и американских романах XX века больше реальной жизни, больше непосредственности, меньше рассуждений и поучений. Философию, на мой взгляд, следует искать у философов, а в повестях и романах философия выражена в характерах и поведении персонажей. Художественная же литература занимается человеком как таковым и всегда неожиданна, как сама жизнь, и в ней герой может не подчиниться автору (как Татьяна Ларина Пушкину!). В философских романах, в романах-притчах все заранее известно и расчислено.

Так вот, в романах англичан и американцев, как правило, больше души и сердца, хотя, разумеется, и тут не без исключений.

7. Сегодня, как мне кажется, наши романисты учатся у тех зарубежных писателей, которые скорее заняты идеями, чем самой жизнью, которые пишут не романы, а скорее философские трактаты. Конечно, у романа своя философия, но она, повторяю, приходит к читателю через образы героев, а не через долгие рацеи. Мне кажется, что художественная проза и философия обитают в разных мирах. И тому, кто ищет в художественной литературе философию, не лучше ли прямо обратиться к философам. Та же философия, которая полностью не поглощается романным персонажем и выпадает в осадок, оказывается лишним балластом и снижает ценность художественной прозы. Она скорее пригодна для цитирования, чем для эстетического наслаждения.

8. Я считаю себя человеком *без профессии*, поскольку сочинение стихов или статей о стихах профессией вряд ли назовешь. Но чтение книг, что тоже не профессия, всегда помогало и до сих пор помогает опять же не столько моим занятиям, сколько самой моей жизни. Ничто не радовало меня так, как хорошие книги. После каждой талантливой книги что-то менялось не только в моем отношении к художественной литературе, но и в немалой мере во мне самом.

9. Сол Беллоу и писатель, пусть и меньшего масштаба, Алан Ислер, автор романа «Принц Вест-Эндский».

11. Прежде издательства выпускали новинки иностранной литературы, и журнал «Иностранная литература», идя по пути своих западных братьев, мог бы публиковать романы и повести зарубежных писателей в отрывках, как бы анонсируя их. Сегодня новинки зарубежных прозаиков почти не издаются и познакомиться с ними, кроме как в

журнале «Иностранная литература», — негде. Поэтому на журнал ложится пусть нелегкая, зато почетная обязанность знакомить читателя прежде всего с лучшей зарубежной прозой. И публицистика и критика в журнале, в особенности в последнее время, очень интересны, но меня по-прежнему больше всего привлекает все-таки проза.

Прекрасно, что журнал пополняет наши сведения о классиках XX века — ведь больше негде прочесть непереведенные в свое время книги Фолкнера, Вирджинии Вулф и не только их.

МИХАИЛ РОЩИН, драматург

В отличие от наших детей, я бесконечно много читал в детстве, глотал книгу за книгой. Хотя молодые еще родители часто ездили, меняли места жительства, и нельзя сказать, что мир вокруг был однообразен, а я болезнен или необщителен, — чаще всего такие причины погружают ребенка в книгу, отвращая от действительности. Нет, я рос нормальным, жизнерадостным мальчишкой, но с некоторой меланхолией мечтательности. Выучился читать пяти лет: лежал в скарлатине в Ленинградской детской Морозовской, и нянечка по букварю показала буквы и слоги. Первое, раннее, детство прошло в Севастополе: море, корабли, моряки — кажется, достаточно впечатлений. Нет, я уже вовсю читал. В эвакуации — мы бежали из Севастополя еще летом — в теплушке соседкой на верхних нарах была некая Анна Дмитриевна Сургучова, заядлая книжница. Могла без хлеба, без чая, без мыла, но не без книги. Когда кто-то из женщин на остановках, собрав разную одежонку, бежал менять ее на продукты, Анна Дмитриевна, отдавая тоже какую-нибудь юбку или платок, просила: «А мне, милая, погляди, не будет ли у кого книг!» Мы читали с нею в очередь. Но я не мог дотерпеть, пока она все прочтет, и тогда Анна Дмитриевна расшивала, разбирала книгу, особенно старую, отдавала мне начало. Шел, гремел поезд, пищали дети, а мы читали. Понемногу разрозненная книга с ее верхних нар переходила ко мне. Между прочим, так читал книги Чарльз Диккенс: срезал мешающий ему твердый переплет, а страницы стопкой помещал в коробку — оттуда доставая, читая, как мы читаем по страничкам рукопись. Таким образом я прочитал свою первую иностранную книгу: про взрослых, про любовь, жизнь в некоем одиноком домике в горах: он-она-она. Меня уже нисколько не смущал такой сюжет, и Анна Дмитриевна лишь изредка удерживая у себя тонкую стопочку страниц, говорила: «А это тебе не надо!..» Конечно, я канючил, выпрашивал, и она сдавалась. У книги не было ни конца, ни начала, и много лет потом я искал, что же это была за книга? Оказалось, «Сердца трех» Джека Лондона. Перечитав, не нашел в ней ничего особенного. И потом никогда не увлекался Лондоном — помню, нравились только «Рыбачий патруль» и, конечно, «Мартин Иден».

В Москве, в 5—6 классе в моде были Майн Рид, Жюль Верн, мальчишки передавали тома друг другу. О, незабываемый «Всадник без головы»! — как сегодняшние мальчишки могут не читать такой книги!.. Позже пошли Конан Дойл, Уэллс — нравилась «Война миров». Но еще более поразила откуда-то попавшая книжка «Между двух миров» Э. Синклера.

Конечно, читал и Марка Твена, Стивенсона, и О. Генри, и Свифта — Гулливер был одним из любимых героев, — и «Швейка» Гашека.

Скоро детские книги сменились взрослыми. Мама очень любила читать, могла запереться на весь день от хозяйских забот, от нас, детей, читать «Сагу о Форсайтах». Разумеется, я тут же прочитал ее следом.

Рано начал писать стихи, выбрал себе путь: буду только поэтом, писателем. Нашел «Дневник» Жюля Верна, и на много лет он остался одним из учителей: как надо писать. Любил музыку, Бетховена, и тут меня догнал Ромен Роллан с «Жаном-Кристофом»; он имел огромное на меня влияние все годы отрочества. Умел читать две-три книги сразу и помню, что еще вместе со «Спартаком» и «Фараоном» уже читал «Саламбо» и «Мадам Бовари» Флобера.

В разные годы, в разные периоды увлекался то французами, то вдруг Шекспиром или старыми драматургами Греции: Эсхилом, Еврипидом. Любил «Илиаду» и «Одиссею». По «Мифам Древней Греции» Куна цветными карандашами рисовал генеалогические древеса богов и героев: кто чья мать или сын? Однажды повезло: у букиниста купил шесть стареньких томиков Плутарха. Замечательное, кстати, чтение для юношества по сей день, и жаль, что новые издательства мало издают Плутарха и в школе его тоже не проходят.

Были в свое время запойные увлечения то Хемингуэем, то Мопассаном, то Ремарком, то Стендалем — как забыть «Красное и черное»! Великим открытием был Фолкнер! Вообще люблю американскую литературу, Уайлдера, Олби, Сарояна, считаю Теннесси Уильямса лучшим драматургом. И, конечно, одна из лучших пьес на свете — «Пигмалион» Шоу! Из любимых книг хочу назвать еще Монтеня, «Подводя итоги» С. Моэма.

Мне представляется, что наша литература во все времена испытывала глубокое влияние западной, и, разумеется, в наши ворота было забито побольше мячей. Хотя все, конечно, связано, взаимопроникающе и взаимовлияюще, и наша культура есть часть мировой. Не думаю, что есть кризис мировой литературы — она жива, она обретает даже новую энергию. Конечно, кино, телевидение и компьютер отучили людей, и особенно детей, рыться по книжным полкам, но все же какие-то могикане еще остаются. Жизнь жестока и трудна — читателю не до книг. Да и писателям пишется труднее — зачем вы пишете роман? Роман можно купить на углу за четыре франка. И однако, книги пишутся, переводятся — слава переводчикам! — понемногу читаются. Спасибо, в частности, «Иностранке», и нельзя пожелать ей лучшего, чем оставаться самой собой!.. Не может современный культурный человек не читать «Парфюмера» Зюскинда, Джона Фаулза, Жозе Сарамаго, не знать, что XX век дал миру Пруста, Солженицына и Бродского — три великих имени.

Я ничего не сказал о литературе Востока: ни о китайских поэтах, сборники которых когда-то коллекционировал, ни о китайском средневековом романе, ни о японских танку или о Мисиме. Просто мы хуже, к сожалению, знаем зарубежье Востока.

Возвращаюсь к своим полкам, вытаскиваю своего Ренара, Роллана, флоберовские «Письма к Луизе Колле», Фолкнера, Эккермана — какое счастье, какое богатство есть у меня!..

P. S. Мне вспоминается (помним доброе дело), что когда-то подобную анкету проводила Раиса Орлова — в пору, когда им с Копелевым головы не давали поднять.

■

РОЗМАРИ МЕХОНИ

Правдоподобная история: одно лето с Лиллиан Хеллман

Rosemary Mahoney. A Likely Story: One Summer with Lillian Hellman

Doubleday & Company, Inc., 1998

История, рассказанная в этой книге, не просто правдоподобна, она действительно произошла 20 лет назад. В 1978 году 17-летняя студентка Розмари Мехони написала своему кумиру письмо, в котором спрашивала, не нуждается ли Лиллиан Хеллман в прислуге на лето. Положительный ответ позволил автору не только подработать в каникулы, но и близко узнать знаменитую писательницу. В книге описан весь уклад жизни в доме Хеллман, ее нелегкий характер, привычки и странности. Критики отмечают пронзительную искренность и горький юмор своеобразного дневника молодой девушки, быстро потерявшей свои иллюзии и надежду получить уроки жизни от литературной львицы. Сочувствуя Хеллман, стойко боровшейся с болезнями и старостью, Мехони тем не менее безжалостно описывает ее мелочную придирчивость и резкость в обращении с людьми. Читатели получили возможность узнать с неожиданной стороны не только Лиллиан Хеллман, но и некоторых из ее знаменитых друзей — Уильяма Стайрона, Леонарда Бернстайна, Джеймса Тейлора и других.

ДЖЕЙ ПАРИНИ

Роберт Фрост: Жизнь

Jay Parini. Robert Frost: A Life

Henry Holt & Co., 1999

Поэт и писатель Джей Парини не впервые обращается к жанру литературных биографий. В 1995 году он опубликовал книгу о Джоне Стейнбеке, получившую положительные отзывы критики. В биографии Роберта Фроста, вышедшей в свет в преддверии 125-летия поэта, рассказывается о неустанном поиске света и стабильности, который поэт вел в мире, полном мрака и хаоса. Парини описывает детство Фроста, омраченное алкоголизмом отца, его занятия фермерством, годы, проведенные в Англии и ставшие переломными в его творчестве, чувство вины, терзавшее поэта после смерти жены. Большое внимание в книге уделено депрессии Фроста — этот недуг преследовал многих членов его семьи, в том числе отца, сестру и двух детей, покончивших с собой. По мнению Джея Парини, каждое стихотворение Фроста было победой над депрессией, тревогой, страхом и ленью. Критики отмечают, что автору удалось показать, как повлияло на поэзию Роберта Фроста творчество Р. Эмерсона, Уильяма Джеймса, Э. Сведенборга и У. Йейтса. Книга богато иллюстрирована, многие помещенные в ней фотографии ранее не публиковались.

ТИМ О'БРАЙЕН

Влюбленный кот

Tim O'Brien. Tomcat in Love

Broadway Books, 1998

Этот роман известного американского писателя, лауреата многочисленных литературных премий и признанного стилиста совершенно не похож на его предыдущие работы[1]. Во «Влюбленном коте» Тим О'Брайен впервые попробовал себя в комическом жанре. Главный герой романа — сорокадевятилетний ветеран вьетнамской войны, профессор-лингвист Томас Чиппеpинг. Одна за другой на его голову обрушиваются всевозможные неприятности — жена уходит, лучший друг предает, женщины не отвечают взаимностью, начальство гонит с работы, в конце концов приходится обращаться за помощью к психиатру. При этом Чипперинг абсолютно убежден в своем превосходстве над всеми окружающими и в собственной правоте. Комический

[1] Роман Т. О'Брайена «На Лесном озере» был опубликован в «ИЛ», 1996, № 8.

эффект романа состоит в противоречиях между реальностью и фантазиями главного героя. Верный своему стилю, О'Брайен до самого конца книги не позволяет читателю догадаться о возможной развязке (хотя сам жанр комического романа предполагает неизбежность хэппи энда). Критики отмечают, что беспощадная ирония и безупречный стиль ставят «Влюбленного кота» на один уровень с набоковским «Бледным пламенем».

ДЖОН ГРИШЕМ
Завещание
John Grisham. The Testament
Doubleday & Company, 1999

Новый роман популярнейшего американского писателя привлек к себе внимание сразу после появления книги на стендах книжных магазинов. На сей раз «король юридических триллеров» перенес действие своего романа из зала суда в джунгли. Однако и в этой книге присутствует юридическая подоплека, без которой успех писателя был бы немыслим. Главный герой, адвокат Нейт О'Рейли, отправляется на поиски наследницы огромного состояния, работающей миссионеркой где-то в бразильской глуши. Встреча с добродетельной дамой приводит его к полному пересмотру взглядов на жизнь и осознанию высших духовных ценностей. Как и все предыдущие романы Гришема, «Завещание» с первых страниц держит читателей в напряжении. Критика отмечает, что на этот раз писатель показал себя не только профессиональным знатоком юриспруденции. С тем же знанием дела описана деятельность миссионеров, все перипетии путешествия по тропическим зарослям, жизнь в далекой бразильской деревне.

САЛЬМАН РУШДИ
Земля под ее ногами
Salman Rushdie. The Ground Beneath Her Feet
Henry Holt & Co., 1999

Новый роман автора «Сатанинских стихов» можно назвать современным мифом об Орфее и Эвридике. Фотожурналист Рей Мерчант рассказывает историю любви двух музыкантов, индусов по происхождению, — рок-певицы Вины Апсары и композитора Ормуса Кама. Эта история начинается в конце 80-х годов, когда Вина погибает во время землетрясения. Затем рассказчик обращается к событиям прошлого, описывая детские и юношеские годы обоих героев и свои сложные отношения с ними. После этого читатель переносится в 1995 год, когда происходит «реинкарнация» Вины, подтверждающая уверенность Ормуса в том, что «существует другой мир, отличный от нашего, и этот мир прорывается через хрупкую защиту нашего бытия». Воссоединение Орфея и Эвридики оказывается совершенно неожиданным и непонятным для Мерчанта. Роман изобилует историческими, мифологическими, религиозными и даже музыкальными реминисценциями, обращает на себя внимание и та свобода, с которой Рушди «пересматривает» мировую историю (винтовка Освальда дает осечку; борхесовский Пьер Менар действительно является автором «Дон Кихота»...). Критики называют роман «симфонией сталкивающихся и взаимопроникающих миров» и считают его достойным продолжением творчества известного мастера.

ДЖОРДЖ ПЛИМПТОН
Трумэн Капоте: книга, в которой различные друзья, враги, знакомые и клеветники рассказывают о его бурной карьере
George Plimpton. Truman Capote: In Which Various Friends, Enemies, Acquaintances, and Detractors Recall His Turbulant Career
Doubleday & Company, 1998

Известный автор биографических исследований Джордж Плимптон, используя устные рассказы возлюбленных, друзей, коллег и недоброжелателей Трумэна Капоте, составил увлекательное и подробное повествование о жизни своего героя. Среди «соавторов» книги: Гор Видал, Уильям Стайрон, Курт Воннегут, Норман Мейлер и многие другие — в общей сложности 174 человека. Обозреватели сравнивают книгу с «вечеринкой, на которой вы с бокалом в руке можете всласть посплетничать об известном писателе». Перед читателем проходит вся жизнь Капоте — детство в Алабаме, недолгая работа посыльным в «Нью-Йоркере», встречи с известными литераторами, первый успех после публикации

«Других голосов, других комнат», бесчисленные любовные похождения, новые книги, новые достижения, а затем — годы алкоголизма, депрессии и одиночества. От внимания критиков не укрылось, что большинство знакомых Капоте, вспоминая о нем, скупились на добрые слова в адрес писателя — создается впечатление, что они соревнуются в резкости и колкостях по отношению к нему. Многие высказывания характеризуют в большей степени их авторов, чем героя. Впрочем, Плимптон проявил достаточно такта, завершив книгу восторженными строками, принадлежащими поэту Джеймсу Дикки.

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР

Где ты был, Роберт?

Hans Magnus Enzensberger. Wo warst du, Robert?

Carl Hanser Verlag, 1998

Новый роман известного немецкого писателя, поэта и эссеиста, лауреата многих литературных премий. Пятнадцатилетний Роберт обладает удивительным даром: стоит ему посмотреть на картину, как он оказывается одним из ее персонажей и переносится во время, изображенное на полотне. То же самое и с телевидением: случайный просмотр документального фильма приводит к тому, что мальчик оказывается в СССР сталинских времен, где его обвиняют в шпионаже. Увидев в Москве художественный фильм, он оказывается в Австралии 1946 года, а оттуда, посмотрев старые фотографии, снова «перелетает» в родную Германию, но в 1930 год. А дальше — Норвегия XIX века, Средневековье, сражения Тридцатилетней войны... Единственный путь вернуться в собственную жизнь — нарисовать соответствующую картину. Роберт обучается мастерству художника, рисует кухню в родительской квартире и таким образом возвращается обратно. По мнению критиков, Энценсбергер написал сложный и поражающий воображение фантастический роман, одинаково интересный и взрослому читателю, и подросткам. Ему удалось придумать совершенно новый способ перемещения во времени и дать удивительно точные описания исторических эпох, встречающихся на пути героя. Заслуживает внимания и образ самого Роберта — современного мальчишки, сумевшего приспособиться и выжить в самых невероятных обстоятельствах.

■

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КИПЛИНГ — ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

В Англии вышли в свет две книги о Редьярде Киплинге: его биография «Непрощающая минута: Жизнь Редьярда Киплинга», написанная Гарри Риккетсом, и сборник писем самого Киплинга, написанных им в период с 1911 по 1919 год. Прочтя их, те люди, которые искренне полагают, что гениальность немыслима без толерантности, должны будут признать — в данном случае имеет место очевидное исключение из этого правила. Киплингу удавалось соединить в себе дар разностороннего писателя с самыми консервативными и косными взглядами на жизнь, а его письма изобилуют словами и определениями, от которых бросит в дрожь либералов, профсоюзных лидеров и феминисток. Обожающий и гордый отец, Нобелевский лауреат, который разговаривал с молодыми писателями как с равными и не скупился на профессиональные советы, он писал антисемитские стихи, от которых отказывались даже газеты правого толка, а во время первой мировой войны искренне радовался, узнав, что в Корнуэлле толпа линчевала безобидного немца, владельца местной гостиницы. Богатый и прославленный, он жил уединенно в своем имении в Сассексе, часами разъезжая по округе в роскошном «роллс-ройсе». Впрочем, уединение не означало, что писатель не интересовался событиями мировой политики и не реагировал на них. После прихода к власти Гитлера, готовя к изданию свое собрание сочинений, Киплинг потребовал, чтобы с иллюстраций были убраны традиционные индийские узоры в виде свастики.

Гарри Риккетс отличается от большинства авторов литературных биографий тем, что сумел удержаться от пристрастных суждений. Он просто излагает факты, предоставляя читателю самому делать выводы и судить Киплинга. Единственное место в книге, где автор позволяет своим эмоциям прорваться наружу, — описание гибели восемнадцатилетнего сына писателя в битве под Лоо. Очень интересны и письма самого Киплинга. Он писал своим корреспондентам обо всем на свете — о новых прачечных, об удовольствии от вождения автомобиля, о коварстве американцев, воздерживающихся от вступления в войну. Все письма Киплинга отличает тот же великолепный образный язык, что и его книги, но самые лучшие, самые трогательные из этих писем адресованы сыну Джону, мягкому и застенчивому юноше, не имевшему никаких особенных достижений ни в науках, ни в спорте. «Пока у тебя не будет собственного сына, ты не поймешь, как бесстыдно гордятся родители успехами своих детей!» — писал отец сыну. Смерть Джона дала Киплингу новый повод для вспышки националистических, антинемецких настроений. В последнем из опубликованных писем он пишет редактору газеты «Морнинг пост» о возможной связи эпидемии ящура с пребыванием немецких военнопленных в стране. «По-моему, в сельских местностях следовало бы усилить надзор за чрезмерно болтливыми социал-большевистскими иностранцами», — таково мнение великого писателя. Увы, даже гении не всегда помнят великий закон джунглей: «Мы с тобой одной крови, ты и я!»

Иллюстрация к первому изданию «Книги джунглей»

ПОТЕРЯННОЕ ДИТЯ МЭРИ ШЕЛЛИ

В 1816 году Перси Биши Шелли вместе со своей супругой и лордом Байроном приехал в Женеву и поселился на загородной вилле. Именно тогда Мэри Шелли задумала и начала писать своего «Франкенштейна», книгу, положившую начало английской научной фантастике. Все это известно давным-давно. Но, оказывается, жизнь на женевской вилле вдохновила писательницу не только на создание мрачного чудовища. Два года назад теперешние владельцы виллы сообщили, что обнаружили в ее подвалах

рукопись еще одной книги Мэри Шелли, «Морис, или Рыбацкая лодка». Эта книга была написана через два года после публикации «Франкенштейна». К этому времени умерли все трое детей писательницы, и она писала своего «Мориса» в состоянии отчаяния, пытаясь найти утешение в творчестве. В книге рассказывается история мальчика, похищенного из семьи и чудом нашедшегося спустя 11 лет. В прошлом году «Морис» был издан в Англии. Литературные достоинства книги невысоки, но интересна история ее создания. Эту историю исследовала и описала в предисловии критик Клэр Томалин. В начале 1819 года в сиротском приюте в Неаполе была зарегистрирована девочка по имени Елена Аделаида Шелли. Судя по всему, ее подкинули к дверям приюта незадолго до отъезда четы Шелли в Рим. Архивы приюта не позволяют установить, кем были родители этой девочки, но в близлежащей церкви сохранилось свидетельство о ее крещении. Изучив это свидетельство, Клэр Томалин утверждает, что Елена Аделаида была дочерью некой английской аристократки, влюбившейся в Шелли и ездившей за ним из города в город. В Неаполе она оставила ребенка на попечение отца, который сдал малютку в приют. Спустя два года супруги Шелли узнали, что девочка умерла. По мнению Томалин, Елена Аделаида послужила прообразом Мориса, потерянного ребенка из романа. Мэри Шелли написала эту книгу для одиннадцатилетней дочери своей подруги, леди Маунткэшелл, также жившей в изгнании в Италии. Клэр Томалин подробно описывает всю историю поиска и исследования документов почти двухсотлетней давности. Библиофилы восторженно приветствовали издание «Мориса».

■ ИТАЛИЯ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ, ГОСПОДА !

Что такое честь? Этому понятию и смыслу, который вкладывали в него в разные времена целые народы и отдельные философы, посвятила свое эссе «Честь честных» итальянская писательница Франческа Риготти (издательство «Фельтринелли»). Она начинает свой исторический экскурс с Эллады. Судя по мифам и трагедиям, честь, в представлении древних греков, означала «признание достоинств», то есть почет. Религиозные законы требовали почитания не только живых, но и умерших, а отказ отдать им последнюю дань уважения считался, наоборот, бесчестием. В доказательство автор приводит миф об Антигоне, похоронившей тело брата вопреки воле Креонта: речь идет не только о проявлении родственных чувств, важен также и вопрос чести. Другой важный «свидетель» — Аристотель, в трудах которого сказано: «честь — это награда за добродетель, которой, следовательно, удостаиваются люди добродетельные», и, значит, честь имеют «не многие, а лишь честные».

А вот у древних римлян под честью подразумевали общественное признание заслуг человека (в частности, в виде почетных званий и должностей), и нравственной подоплеки это понятие не имело. Чтобы оценить соблюдение человеком общепринятых норм поведения, римляне пользовались понятиями «порядочный» и «порядочность».

Из этих древних корней и произросли два разных понятия чести в европейской культуре: одно связано с высокой оценкой личности со стороны общества (что выражается, в частности, в производном «чествование»), другое делает упор на оценку и самооценку в зависимости от поступков (и здесь слово «честь» приобретает синонимы «уважение» и «достоинство»). По мнению исследовательницы, именно второе толкование могло бы послужить демократии для формирования понятия политической добродетели, составляющие которой — «верность слову, приверженность истине, уважение достоинства других людей». Тогда того или иного деятеля можно было бы оценивать, исходя из его поступков и соблюдения им этических ценностей.

Это привлекательное предложение, однако, весьма уязвимо для критики. Как, например, оценить поступок политика, если он нарушит условия договора или не выполнит данного обещания ради спасения своей страны? Как быть с понятиями «честь Родины», «национальная честь», с которыми неразрывно связаны понятия о воинской чести? Как относиться ко всевозможным проявлениям честолюбия, нацеленным на поднятие личного престижа? Эти вопросы выпали из поля зрения исследовательницы. Тем не менее нельзя не согласиться с ее выводом: «настоящая честь — дочь честности».

■ США

ДЖОН АПДАЙК ПРОТИВ БИОГРАФОВ

В интервью, данном недавно нью-йоркским журналистам, Джон Апдайк высказал свое самое заветное желание: «Да избавит меня Бог от биографов!» Он заявил, что частная жизнь каждого человека, в том числе и известного писателя, принадлежит только ему, и нет никаких оснований для того, чтобы о ней узнавала широкая публика. Апдайк, по его словам, был крайне удивлен, узнав, что его друзья Уильям Стайрон и Джойс Кэрол Оутс согласились сотрудничать с авторами посвященных им биографических исследований. Может быть, Апдайк боится, что станет жертвой того, что сам он называет «биографией от Иуды»? Этими словами он называет биографии, написанные мошенниками, бывшими супругами, мнимыми друзьями, относя к ним, в частности, книги, написанные Клэр Блом о Филипе Роте, Полом Теру о его бывшем друге и наставнике В. С. Найполе или Джойс Мейнард о Джероме Д. Сэлинджере. Вторая опасность, по мнению Апдайка, заключается в том, что авторы биографий часто стремятся выставить своих персонажей в смешном свете, принизить их достоинства: «Люди читают биографии, чтобы почувствовать свое превосходство над известными людьми». Так, например, Майкл Шелдон представил в своей книге Грэма Грина святошей, неверным мужем, сексуальным мазохистом и злобным насмешником, давно растратившим свой талант. Более того, он даже обвинил его в убийстве некой женщины в Брайтоне в 1930 году, якобы совершенном с помощью друга Грина, Кима Филби...

Впрочем, резко критикуя «частных детективов от биографий», Джон Апдайк воздает должное настоящим, серьезным биографическим исследованиям, написанным

специалистами-литературоведами, которые посвящают годы собственной жизни работе над жизнеописаниями великих людей. В качестве примера он приводит фундаментальный труд Леона Эдела о Генри Джеймсе: двадцать один год работы и пятитомная монография! Апдайк смеется, подсчитывая число страниц, которое, по мнению биографов, «заслужил» тот или иной писатель: с его точки зрения, 1200 страниц — мало для Джеймса Тэрбера! Впрочем, Сильвии Плат хватило и 350 страниц (но, правда, она умерла в возрасте 30 лет). И наконец, Апдайк задает главный вопрос: «Для чего это нужно?» Только для того, чтобы кто-то узнал, что Айви Комптон-Бернет работала сидя на краю дивана и засовывала исписанные листы под подушку? Что Эдит Уортон предпочитала сочинять лежа в постели, а страницы просто кидала на пол, чтобы секретарша потом подобрала и перепечатала их? Кому интересно, что Эрнест Хемингуэй работал стоя за секретером и писал только остро заточенными карандашами, что Набоков записывал свои мысли на карточках или что Джон Китс, собираясь написать стихотворение, надевал парадный костюм? Да, похоже, мы никогда не узнаем, как же создавались книги самого Джона Апдайка...

■ ФРАНЦИЯ

«ПОКОЛЕНИЯ»

Есть ли что-то общее между «новой волной» и движением женщин за эмансипацию в двадцатых годах? Ничего, если не считать того, что этим явлениям посвящены два первых тома новой книжной серии «Поколения», выпускаемой издательством «Фламмарион». На очереди книги о битниках, об апашах 1900 года, о стилягах времен оккупации Франции, о лондонских панках, о нью-йоркском андеграунде... Все эти непокорные, активные, не поддававшиеся контролю социальные меньшинства создали свой стиль жизни, научили общество по-новому говорить, воспринимать мир, относиться к общечеловеческим ценностям, позволили самоидентифицироваться и утвердиться новым поколениям. Вначале маргинальные, эти движения постепенно охватывали все большее число

Эмансипированная барышня

людей и в конечном итоге способствовали переустройству жизни общества в целом. Все книги серии иллюстрированы черно-белыми фотографиями, часто очень забавными, которые позволяют читателям в полной мере представить себе облик и поведение людей, раздражавших наших отцов, дедов и прадедов.

По материалам еженедельников «Гардиан уикли» (Великобритания), «Стампа-Туттолибри» (Италия), журналов «Магазин литтерер», «Нувель обсерватёр» (Франция)

Книги, занимающие первые 10 мест в сводном списке бестселлеров США от 11 мая 1999 г.

(данные Ассоциации независимых книготорговцев)

1. **Neal Stephenson.** CRYPTONOMICON
2. **J.K. Rowling.** HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE
3. **Terry Brooks.** STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE
4. **David Guterson.** EAST OF THE MOUNTAINS
5. **John Updike, Janet Silver, Katrina Kension, eds.** THE BEST AMERICAN SHORT STORIES OF THE CENTURY
6. **Michael Cunningham.** THE HOURS
7. **Janet Fitch.** WHITE OLEANDER
8. **Salman Rushdie.** THE GROUND BENEATH HER FEET
9. **Stephen King.** THE GIRL WHO LOVED TOM GORDON
10. **Barbara Kingsolver.** THE POISONWOOD BIBLE

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

АЛЕССАНДРО БАРИККО (ALESSANDRO BARICCO; род. в 1958 г.) — итальянский писатель, музыковед. Автор книг «Бегство гения. О музыкальном театре Россини» («Il genio in fuga. Sul teatro musicale di Rossini», 1988) и «Душа Гегеля и висконсинские коровы» («L'anima di Hegel e le mucche di Wisconsin», 1993). Романы «Замки гнева» («Castelli di rabbia», 1991; премия Кампьелло), «Море-океан» («Oceano mare», 1993; премии Виареджо и «Палаццо аль Боско», рус. перев. в «ИЛ», 1998, № 1) и повесть-монолог «Новеченто» («Novecento», 1994) принесли А. Барикко широкую известность.
Роман «Шелк» был издан в Италии в 1996 году («Seta». Milano, Rizzoli).

РОБЕРТ ХАСС (ROBERT HASS; род. в 1941 г.) — американский поэт, переводчик и эссеист. Преподает американскую литературу в университете Беркли. Автор поэтических сборников «Полевой путеводитель» («Field Guide», 1973), «Хвала» («Praise», 1979), «Людские желания» («Human Wishes», 1989), сборника эссе «Удовольствия двадцатого века: проза о поэзии» («Twentieth Century Pleasures: Prose on Poetry», 1984). Лауреат многих премий, поэт-лауреат Соединенных Штатов Америки. На русский язык переводится впервые.
Публикуемые стихи взяты из книги «Солнце сквозь лес» («Sun Under Wood». New Jersey, The Ecco Press, 1996).

ОРХАН ПАМУК (ORHAN PAMUK; род. в 1952 г.) — турецкий писатель. Автор романов «Джевдет-бей и его сыновья» («Cevdet Bey ve oğullari», 1979), «Тихий дом» («Sessiz ev», 1984), «Белая крепость» («Beyaz kale», 1985), «Новая жизнь» («Yeni hayat», 1994), «Меня зовут Красный» («Benim adim Kirmizi», 1998). О. Памук — лауреат Национальной премии и премии «Европейское открытие», присужденной ему за роман «Тихий дом», переведенный во Франции.
Роман «Черная книга» издан в Турции в 1990 году («Kara kitap». Istanbul, Can Yayinlari). Печатается в журнальном варианте.

ХЛОДОВСКИЙ РУФ ИГОРЕВИЧ (род. в 1923 г.) — доктор филологических наук, критик, переводчик, главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор книг «Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма» (М., 1974), «Декамерон. Поэтика и стиль» (М., 1983), «Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения» (М., 1988, совместно с М.Л. Андреевым), «Анна Ахматова и Данте» (М., 1993) и многих статей об итальянской литературе средних веков, Возрождения, XVII, XVIII и XX веков, а также о классиках русской литературы — Пушкине, Гоголе, Л. Толстом, Достоевском, Тургеневе, Блоке, Розанове и др. В его переводе публиковались новеллы итальянского Возрождения, романы А. Моравиа («Презрение», совместно с Г. Богемским, «ИЛ», 1963, № 9, 10), В. Пратолини («Повесть о бедных влюбленных»), И. Кальвино («Тропа паучьих гнезд»), Н. Палумбо («Заплесневелый хлеб»), пьесы Л. Пиранделло («Наслаждение в добродетели», «Человек, зверь и добродетель»), рассказы современных итальянских писателей (А. Моравиа, Д. Буццати, И. Кальвино, К. Кассолы и др.)

БЕЛА РИГО (RIGÓ BÉLA, род. в 1942 г.) — венгерский поэт, переводчик, критик, сценарист, главный редактор популярного журнала для детей «Кладоискатель» («Kincskereső»). Автор книг «Так жил Йожеф Катона» («Igy élt Katona József», 1952), «Йожеф Катона. Банк-бан» («Katona József. Bánk bán», 1998) и многих книг для детей. В «ИЛ» печатались его статьи «Нравы и пощечины» (1984, № 8), «Венгры вспоминают» (1987, № 12). Публикуемая статья «Пушкин и Йокаи» написана автором специально для журнала «Иностранная литература».

ИОН Д. СЫРБУ (ION D. SIRBU; 1919—1992) — румынский драматург, прозаик. Его драматургия представлена в сборниках «Мыс доброй надежды» («Arca bunei sperante», 1970, литературные премии Союза писателей Румынии и Румынской академии), «Театр» («Teatru», 1976). Перу И. Сырбу принадлежат

также рассказы, составившие сборники «Рассказы из Петрилы» («Povestiri Petrileme», 1973), «Мышь Б. и другие рассказы» («Şoarecele B. şi alte povestiri», 1983; перевод рассказа «Мышь Б.» напечатан в «ИЛ», 1986, № 6); романы «Медвежья пляска» («Dansul ursului», 1988), «Волк и собор» («Lupul şi Catedrala», 1986).

Публикуемые заметки взяты из книги «Журнал журналиста без журнала» («Jurnalul unui jurnalist fără jurnal», vol. 1-2, Craiova, Scrisul Românesc, 1993).

■Переводчики:

КИСЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с итальянского. В его переводе напечатаны новеллы Т. Ландольфи (Библиотека «ИЛ», 1987), книга эссе и рассказов А. Савинио (Библиотека «ИЛ», 1990), романы «Если однажды зимней ночью путник» И. Кальвино («ИЛ», 1994, № 4; перевод отмечен литературной премией имени Цецилии Кин), «Море-океан» А. Барикко («ИЛ», 1998, № 1), главы из книги «Я и он» А. Моравиа («ИЛ», 1994, № 12), «Четыре преамбулы» М. Бонтемпелли, рассказы Д. Буццати («ИЛ», 1994, № 12), рассказ «Лигия» Дж. Томази ди Лампедузы («ИЛ», 1997, № 7) и др. Составитель сборника «Итальянская новелла XX века» (1988) и книги рассказов Т. Ландольфи «Жена Гоголя и другие истории» (1998). Автор учебных пособий.

ШУЛЬПЯКОВ ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1971 г.) — поэт, критик, переводчик. В его переводе публиковались стихи современных британских поэтов Кена Смита, Селимы Хилл, Дэвида Константайна и др. Составитель и переводчик книги эссе и стихотворений У. Х. Одена «Чтение и Письмо» (М., «Независимая газета», 1998).

ФЕОНОВА ВЕРА БОРИСОВНА — переводчик с румынского. В ее переводе на русский изданы романы «Король футбола» Азиза Несина, «Во власти моря» Тарыка Дурсуна, повесть «Дом» Демирташа Джейхуна, а также рассказы Сабахаттина Али, Октая Акбала, Бекира Йылдыза и др.

СМИРНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1948 г.) — переводчик и исследователь классической и современной литературы Китая, кандидат филологических наук. Издал авторские сборники переводов «Из китайской лирики VIII—XIV веков» (М., 1978) и «Яшмовые ступени. Китайская поэзия эпохи Мин. XIV—XVII вв.» (М., 1989). В «ИЛ» печатались его переводы из средневековой китайской поэзии (1986, № 10), повести «Мимоза» Чжан Сянлян (1988, № 8), «Красная Азалия. Жизнь и любовь в Китае» Аньци Минь (1996, № 6).

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик с итальянского. В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, XVII, XVIII, XIX и XX веков. В «ИЛ» в его переводе печатались стихотворения Э. Монтале (1973, № 1; 1976, № 7; 1996, № 12), У. Сабы (1974, № 4), Дж. Джудичи (1976, № 1; 1983, № 5), М. Луци (1981, № 11), Дж. Дж. Белли (1984, № 7; 1993, № 2), Дж. Унгаретти (1988, № 3), стихи швейцарских поэтов Дж. Орелли, А. Несси, Ф. Пустерлы (1998, № 9) и др. Лауреат Государственной премии Италии (1996).

ИВАНОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА — переводчик с румынского и английского языков. В ее переводе изданы книги румынских писателей «Зима мужественных» Шт. Бэнулеску, «Монастырские утехи» В. Войкулеску, «Серенада на трубе» С. Поп, рассказы Ф. Нягу, Д. Р. Попеску, а также рассказы Ф. С. Фицджеральда, У. Фолкнера, Кэтрин Энн Портер и др.

■

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

галерея
линия-арт

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛК
АНАТОЛИЙ ЗВЕ
ВЛАДИМИР Я
ИГОРЬ КИСЛ
АЛЕКСАНДР
ОЛЬГА БУЛ
СЕРГЕЙ А.
ЛЮДМИЛА
ОЛЕГ СЛЕПС
КАТЯ МЕДВЕ

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Г.
с
пс
Те.

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №6, 1 — 288.

ИНДЕКС 70394